

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ СОЮЗДЕТКИН»

ВАЛЕНТИН
КОСТЫЛЕВ

Моя Фразия



Валентин Иванович Костылев

Иван Грозный. Книга 2. Море

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174031

*Костылев В. Иван Грозный: Роман-трилогия. Кн.1. Кн.2(Ч.1): Эксмо;
М.; 2000*

ISBN 5-04-001656-5, 5-04-002755-9

Аннотация

В нелегкое время выпало царствовать царю Ивану Васильевичу. В нелегкое время расцвела любовь пушкаря Андрея Чохова и красавицы Ольги. В нелегкое время жил весь русский народ, терзаемый внутренними смутами и войнами то на восточных, то на западных рубежах. Люто искоренял царь крамолу, карая виноватых, а порой задевая невиновных. С боями завоевывала себе Русь место среди других племен и народов. Грозными твердынями встали на берегах Балтики русские крепости, пали Казанское и Астраханское ханства, потеснились немецкие рыцари, и прислушались к голосу русского царя страны Европы и Азии.

Вторая книга трилогии – «Море» – посвящена сложному периоду утверждения Руси на берегах Балтики в середине XVI века, последовавшему за покорением Казани и Астрахани, сибирского хана Едигера и Большой Ногайской орды Иваном Грозным

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	263
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	468

**Валентин Иванович
КОСТЫЛЕВ
ИВАН ГРОЗНЫЙ
Книга 2. Море
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

I

Звездные ночи, тихие, робкие...

У московских застав караульные всадники чутко прислушиваются к каждому шороху, зорко вглядываясь в темноту. В голове – тревожные мысли.

Война! Король Сигизмунд своих бродяг засылает сманивать из Москвы людей служилых («мол, все одно не победите!») – озлоблять народ против царя... Шныряют они по кабакам, по базарам; в храмы Божии, в монастыри, и туда забираются... втихомолку сеют смуту.

Известно издавна: черт бессилен, а батрак его силен!

Народ неустойчивый уже появился, бегут в Польшу, к воюющим... Дивное дело! Не бедняк бежит от помещичьего яр-

ма, а знатные вельможи, служилые люди... Чего им-то не хватает? Чудно! И куда бегут! К кому!

Простой воин, стрелец, себе того в толк взять не может: как это так? Из своей родной земли в чужую землю убежать, да еще в неприятельскую?..

Но что бы там ни было, стрелец свое дело знает. Попадись ему вельможный беглец либо соглядатай – пощады не жди! Недаром государь-батюшка милостив к стрельцам. Спасибо ему! Да и то сказать: без столбов и забор не стоит. Как царю-то без верных слуг?!

Попробуй-ка, проберись незаметно в Москву!

В одну из таких ночей к московской заставе, хоронясь в оврагах и кустарниках, прокрадывался пришелец с берегов Балтийского моря, датчанин Керстен¹ Роде. Дорогою он много всего наслушался про строгость московских обычаев, узнал и о королевских происках в Московском государстве и об изменах... Попасть в руки сторожей, не добравшись до дворца московского государя, – значит надолго засесть в темницу. Датские купцы, побывавшие в России, уверяли, будто царь благосклонен к иноземцам, особенно к мореходам, но что есть бояре и всякие чиновные люди, которые против того и пускаются на хитрости, чтобы стать между царем и его иноземными гостями. Правда или нет – осторожность не мешает.

Керстен Роде безмерно высок, худ для своего роста. Одет

¹ Христиан.

в короткий жупан из невиданного в Москве белого в желтых яблоках меха. Движения его плавно-неторопливы, размашисты, словно не идет он, а плывет, разбивая руками воду.

И вот этот морской бродяга, привыкший к опасностям, вдруг в испуге нырнул в кустарники.

Совсем недалеко от него, будто из камня высеченный, на громадном косматом коне грузный, страшный бородач.

Пришлось поглубже уткнуться в ельник.

Лишь бы не учуяли псы. Они в этой стране чересчур сердиты. Не раз приходилось отбиваться от них дубиной. Не любят чужих людей.

На бугре, рядом с бородачом, появились еще два всадника в больших косматых шапках, толстые, круглые, плечистые. Сколько в них силы и самоуверенности!

«Любуйся, корсар Роде! Вот бы тебе таких молодцов на море! Керстен Роде тогда стал бы королем корсаров! Перед силой корсар всегда готов преклониться. Однако... пока еще рано, даже и ради любопытства, попасть в руки этих загадочных богатырей. Ах, как хочется еще пожить и погрешить на белом свете!»

Впереди – высокий, выпирающий из сугробов вал, а на нем опутанный еловыми ветвями частокол.

Поодаль, за этую преградою, бревенчатые вышки церквей; на их остроконечных шатрах, как и повсюду в этой стране, мирно сияют освещенные луной кресты.

Московиты тоже христиане, а в Европе прославили их

язычниками. А впрочем, пират, приговоренный в трех странах к смертной казни, не должен быть разборчивым. Ну что же, если и язычники? В этом ли дело? Мало ли всяких бродяг из западных стран потянулось в Москву! Убытка от того им не было. Возвращаются домой, не раскаиваясь, с толстым брюшком и деньгами. И многие из них, пожив у себя дома, опять бегут в Московию. Что-то их тянет сюда. Нашлись и такие хитрецы, – сами липнут к России, а других пугают, царя изображают каким-то чудовищем, дракону подобным... Теперь уж этому и верить не стали... Он, Керстен Роде, знает, что делает. Лишь бы до царя добраться.

«О Боже! Не причисляй меня прежде времени к лику райских праведников! Помоги смиренному скитальцу своим заступничеством, умудри его благополучно перелезть через этот проклятый вал!»

В нарядных хоромах на берегу оснеженной Неглинки, рядом с уютной церковкою преподобного Сергия, что в Пушкинах, – скрип половиц, тихий, ласковый голос. То хозяйка дома, супруга царского слуги и любимца, Василия Грязного, Феоктиста Ивановна, подымает с постели своих сенных девушек Аксинью и Ольгу. Вскочили, шурясь от огонька свечки, давай неистово чесаться. С чего это матушка Феоктиста Ивановна по дому ни свет ни заря бродит да спящих сенных девок будит?! Уж не приехал ли, спаси Бог, в хмельном виде сам батюшко Василий Григорьевич со своими товарища-

ми, разудалыми молодчиками, – тогда берегись! Беда! Угроза девической чести. Озорники они, Бог их прости!

– Полно, глупые! Чего испужались? – Тихо приговаривая, касается хозяйка своею рукой теплого, гладкого тела то одной, то другой девушки. – Вставайте! Сердечко щемит, милые!.. Соснуть не могу... Чует оно беду, чует!.. Оденьтесь да обуйтесь, проводите меня к вещунье, к тетке Сулоихе... Пожалейте меня одинокую, мужем отринутую!.. Нет ему, чтобы посидеть дома да, как государю в своем доме порядливому, жену доброму делу поучить, постращать ее наедине, наказать, а после того и пожалеть ее, приласкать по-хорошему... Увы, не удостоил меня Господь того счастья... Горюшко-горе, и што поделать... и ума не приложу!

Заспанные, дрожащие от холода, связывая наскоро узлами свои косы, в одних рубахах, заметались Аксинья и Ольга. Накинули на себя стеганные летники и бросились в переднюю горницу, чтобы обрядить в горностаевую шубку свою хозяйку, да и самим одеться потеплее. Не лето – декабрь, и притом сердитый, морозный...

– Полно тебе, наша государыня-матушка, Феоктиста Ивановна! Не убивайся. Стерпится – слюбится. В чистом сердце Бог живет, покорится ему и Василь Григорыч... Личико твое словно яблочко, ручки беленькие, добренькая ты... Бог тебя не оставит!..

Девушки принялись наперебой утешать хозяйку:

– Что уж тут, матушка!.. Время наше лютное, мятежное.

В церковь боязно ходить... Народ лихой объявился... Василь Григорьич, батюшко, царское дело справляет... Воров ловит. Ништо, цветик наш, Феоктиста Ивановна, смерть да жена – Богом сужена. Не отступится он от тебя... николи!

Феоктиста Ивановна, слушая девушек, разомлела в слезах:

– Милые вы мои!..

Крепко обняла их, поцеловала по очереди.

Где-то в углу скребется мышь. Свечка озаряет тесовые чисто вымытые стены, железные доспехи на них, бердыши, саблю.

Тихо, перешептываясь, стали прокрадываться на крыльцо.

Кошка прыгнула. Ахнули от страха, прижались к стене. Закрестились. Почудился оборотень. Пригляделись – рыжая Завируха... Видать, мышонка изловила, желтоглазая.

– Ишь ты, дура! Пошла прочь! – толкнула ее ногою Аксинья.

На воле – стужа; огромная, чуткая морозная московская ночь. Месяц небрежно раскидал зеленоватые лучи по крышам приземистых домишек, по надворным постройкам, изгородям и запорошенным кустарникам на побережье.

– Как светло, – молвила, затаив дыхание, Феоктиста Ивановна и, вспомнив, что сегодня день Варвары-великомученицы, добавила: – «Царствуй, девице, со Христом вовеки, Варвара прекрасная».

Фиолетовые искорки в саду – сколько их! Ели в серебряных кокошниках, словно не снег держат они в своих широко раскинутых подолах, а целые россыпи чудесных самоцветов.

Пар исходит от дыхания; холодок забирается под одежду...

Жутко, никого нет. К гадалке два проулка и небольшой овражек. Избенка ее, в одно окошечко, сбоченившаяся, вон там, ютится на самом краю оврага. Будто и недалеко, а страшно.

– Не вернуться ли нам домой, матушка-государыня? – прошептала Аксинья, дрожа всем телом.

– И то правда... – подтвердила Ольга, перекрестившись.

Феоктиста Ивановна тяжело вздохнула:

– Нет, родимые... Не могу!

Аксинья шепотом:

– Теперь самая пора для нечисти, для лихих людей. Целые свадебные выезды они оборачивают в волков, портят они людей, в грех вводят. А гадать грешно! Нечисть потешается, глядя на гадалыщиков.

Никакие слова не помогали, Феоктиста Ивановна стояла на своем, хотя в душе и сама боялась всего: и леших, и колдунов, и греха, и наказания божьего. В самом деле, вдруг нечистая сила из-за елей либо из овина, а то из бани, выскочит... Что тогда делать? Тетка Устинья только вчера видела своими глазами жердяя... Предлинный он, и худой, и любит бродить ночью по улицам. Ходит, заглядывает в окна, греет руки в трубах домов, любит пугать людей... Он осужден на

вечное шатанье по белу свету, без толку, без дела... Не столкнуться бы с ним, спаси Бог!

Так и этак – обсудили – идти!.. Феоктиста Ивановна набралась смелости, передернула плечами: «Ничего не боюсь!» – пошла первая, впереди всех.

И вдруг... свят, свят, что такое?

В ужасе вскрикнула, вцепилась в девушек. Те ахнули, уткнулись лицом ей в грудь: «Оборони, Господи!»

Улицу перебежал кто-то худой, длинный, ну, словно бес. Бежит крадучись, вприпрыжку, как будто заигрывает с ними... хочет их рассмешить... «Ах, окаянный!»

– Милые мои, видите? – прошептала Феоктиста Ивановна. – Нечистая сила... Жердяй!

Бросились с визгом обратно домой. Вбежав в сени, накрепко замкнулись, наставили мелом кресты на всех дверях. Поднялась суматоха. Конюх Ерема, долговязый парень с громадными кулачищами, и тот заорал спросонья, полез в запечье, сбил с ног Аксиною. «Ну, ты, Потап-раскоряка!» – огрызнулась девка, стукнув конюха по потной спине. Тут еще прибежала в одной рубахе старая ключница Авдотья, плюхнулась на пол, не разобрав, в чем дело. «Прочь, прочь, окаянное лихо! Не мешай Богу служить!» – причитала она.

И вот при этом-то общем испуге послышалось игривое постукивание в наружную дверь, словно камешком либо косточкой: тик-так, тик-так!

«Ой! Ой! Ой! Жердяй!»

Похолодело сердце у Феоктисты Ивановны, язык отнялся, – хочет крикнуть и не может.

Никто не тронулся с места.

Но игривое постукивание продолжалось недолго: вскоре весь дом содрогнулся от сильного стука в дверь и послышался знакомый голос.

– Господин наш, Василь Григорьич! Отворяйте! – придя в себя, крикнула хозяйка.

Старая Авдотья оказалась куда смелее молодых. Закряхтела, заворчала, а все же поднялась с пола и торопливо поплелась, прихрамывая, в прихожую.

– Ты ли это, батюшка наш Василий Григорьевич? – спросила она, подойдя к двери.

Все ясно услышали сердитый голос хозяина. Засуетились.

Отлегло у всех на сердце: «Слава тебе Господи! Не жердай!»

Феоктиста Ивановна заторопилась навстречу мужу.

Вместе с густыми клубами ледяного холода, хлынувшими в переднюю горницу, вошел сам хозяин дома, Василий Григорьевич Грязной. Его пышные черные кудри заиндевели, усы и небольшая бородка побелели, щеки разрумянились. Цыганские озорные глаза оглядели всех насмешливо:

– Ага! Испужались? То-то!

Развязывая кушак и снимая саблю, он весело сказал:

– Гостя привел. Хотел нас обмануть... Нет, брат, шалишь! Не тут-то было. Попался голубчик.

Он указал жене рукой на длинного, худого человека, чудно одетого. Его держали за руки двое дюжих стражников. Незнакомец бормотал что-то на непонятном никому языке. Бороды нет – одни усищи. За ним, громко смеясь, вошли со двора дворянин Кусков, ближний друг Грязного, постоянно сопутствовавший ему в ночных объездах Москвы, и еще двое дворян.

– Вот, гляди, какого я зверя взял, – продолжал Грязной, обращаясь к жене. – Пропустили мы его через засеку да и облаву учинили. Мой жеребец не такой бегун, как эта образина... Выпустите его. Не держите... Спас я его. Ладно ко мне попал, а не к боярину Челяднину, а то бы сидеть ему в темнице.

Освободившись от своих провожатых, чужеземец размял руки, вытянулся, окинул ястребиным взглядом окружающих, снял шапку и холодно, пренебрежительно поклонился жене Грязного. Он еще не отдышался после бега.

– Ишь ты, как дышит, ровно лошадь, – усмехнулся Грязной. – А человек, видать, забавный... Надобно узнать, кто он. Эй, Павел! Сбегай позови толмача Алехина.

Самый молодой из спутников Грязного, одетый в стрелецкий кафтан юноша с едва пробивавшимися усиками, быстро исчез за дверью.

Василий Грязной и его друзья помолились на иконы и расселись на скамьях вдоль стены.

– Будто и не враг, не соглядатай, а харя разбойничья... по

всему видать – немчин...

– Королю нетрудно и немчина подослать... Немца купить дешевле онучи... Торгуют они собой, будто распутные девки. Где богаче заплатят, туда и идут! – брезгливо проговорил Кусков, зло оглядев с головы до ног незнакомца. – Нанимаются.

– А прозвище тех людей – кнехты, по-нашему же...

Грязной произнес неудоборекое слово.

– А вдруг, жена моя, государыня Феоктиста Ивановна, полонили мы и впрямь королевского языка?! Нам это на руку.

Феоктиста Ивановна недовольно покачала головой и вздохнула:

– Не след бы тебе, батюшка, сударь мой Василий Григорьевич, сию гадину в дом к нам приводить... Поганые они, немцы-то!.. Грешно их в избу пущать...

Грязной насупился.

– Не соромь царского слугу, глупая! Уж лучше молчи... Грешно было бы упустить сего басурмана. Служат они нашему врагу – королю Жигимонду. Али забыли мы, как за немцев лифляндских заступился он да на города наши нападал? Немалый убыток понесли мы от сего бесчестия. Изловить королевского соглядатая, что ли, грешно? И коли то грешно, принимаю сей грех на себя. Приму. Приму сполна! Царским слугам, что служат правдою царю, все одно не пировать в раю. И монахи то предсказывают, и заволжские старцы. Одни, по их словам, бояре в рай попадут. А докудова што бу-

дет – ставь вино. Немчина напоить надо, будь с ним ласкова; и ты, Кусков, глазищами не пиявь его... Пускай простаками нас считает. Царь-батюшка любит, когда иной раз иноземцы так думают. Так им весело, а нам выгодно.

Грязновские друзья оживились, стали приветливее с заморским гостем.

– Соблюдаем, Феоктиста, обычай!.. Поклонимся гостям по старине. Починай с немчина...

Феоктиста Ивановна побледнела, в ужасе перекрестилась:

– Уволь, батюшка, господин мой. Боюсь! Да и срам.

– Н-ну! – грозно покосился на нее Василий, сдвинув брови. – Для виду-то. Невзаправду.

Супруги стали среди горницы.

– Бьем челом, дорогие гости! – отвесив общий поклон, нараспев сказал Грязной. – Не взыщите, коль скудным покажется вам угощенье наше. Ну-те, облобызайте супругу мою, как то нам из роду в род заповедано, коли гостей принимаем.

Гуськом стали подходить все к Феоктисте Ивановне, отвешивая ей низкий поклон, а затем, обтерев рукавом усы и бороду, прикладывались к ее губам. Отходя, тоже кланялись.

Феоктиста Ивановна знала, что ее супруг во хмелю любит озорничать, любит посмеяться над ней, и все же она никак не ожидала, чтобы он позволил лобызать ее какому-то нехристю, бродяге, – ведь грешно!

Грязной насильно подтолкнул к ней растерявшегося от неожиданности чужеземца, крикнув настойчиво: «Целуй,

целуй! Не обижай нас!»

С отвращением Феоктиста Ивановна приняла поцелуй иноземца. После того вышла за дверь, плюнула, прополоскала и перекрестила рот: «Чур, чур меня!» Всплакнула.

Грязной усадил за стол чужеземца: «Бес с ним! Пускай сидит». Феоктиста Ивановна вновь вышла к столу – блестящая здоровьем московская красавица; раздумянулась от волнения и от досады на мужа. Стройная, полногрудая. Чужеземец украдкой покосился в ее сторону. Вздохнул.

– Ну, ты, матушка! – крикнул Грязной. – Потчуй гостей. Развеселись. Гостьбу блюсти – не коров пасти.

Хозяйка скрылась в дверях и тотчас же вернулась в горницу, сопровождаемая сенными девушками, которые, потупив взоры, несли на серебряных подносах вино, хлеба, рыбу, жареное мясо, грибы соленые, капусту квашеную.

Дворянин Кусков, первым получивший чарку, согласно обычаю, передал ее Грязному, тот передал жене. Она, пригубив, отдала чарку мужу. Тот залпом выпил вино.

Начался пир горой.

Уже когда свечи стали отекать, а гости хмелеть, явился толмач Михаил Алехин, дьяк Посольского приказа, длинноволосый, черный, с мясистым красным носом человек.

– Мишка! Михаил! Будь гостем! Приобщись! – крикнул Грязной, протянув ему чарку. – Испей винца зеленчатого.

Дьяк наскоро перекрестился, отвесил порывистые поклоны хозяину и гостям и, как-то легко, ловким взмахом руки

опрокинув в рот чарку, обтер усы, повертел в руках чарку, вежливо улыбнулся.

– Што? Мало? – расхохотался Грязной. – Хлебни, когда так, еще!

Дьяк деловито, с угрюмым добродушием, принял от хозяина новую чарку и с тем же широким, мягким разворотом руки выпил и это вино. Опять вежливо улыбнулся и опять стал игриво вертеть в руке чарку.

– Ну, буде! – произнес Грязной. – Устрями свой взор сюды, на эту образину. Кто она, откуда, чья? Не королевский ли соглядатай? Да спроси этого сукина сына, как его звать. Распознай, разведай.

Грязной властно ткнул пальцем в сторону чужеземца, усердно жевавшего мясо.

Алехин почесал бороду, покосился на бражный стол и как-то нехотя, лениво стал опрашивать чужеземца, которому Грязной снова подлил вина.

Чужеземец привстал, приложил ладонь правой руки к груди и с пьяной улыбкой ответил на вопросы дьяка.

– Гляди, какая дылда, – усмехнулся Грязной. – Под самый потолок. Им бы ворота подпирать.

– Слушай! – кивнул ему дьяк. – Полно глумиться. Звать сего верзилу Керстен Роде... Дацкий человек... Бывалый.

Грязной и все гости оживились.

– Ну, слава Богу! – облегченно вздохнул Грязной. – А мы думали – немец. Сыты уж мы немцами, устали колотить их,

окаянных, в Ливонии. Дацкий, стало быть? Батюшка-государь с дацкими милостив. А пошто пожаловал к нам?

– С человеком нашим повстречался он в Антропе². С купцом. И сказал тот ему: царю-де надобны мореходного дела мастера. Вот детина и побрел в Москву... Мореходец он. Корсар.

Грязной вскочил с места, обнял Алехина.

– Корсар? Ну, Мишка, удружил! Напою тебя до полусмерти!.. Чай, на царском дворе токмо и разговоров што о корсарах. Спасибо купчине! Надоумил сего лыцаря. Скажи ему: завтра же доложим о нем батюшке-царю. Государь сказал – с морскими разбойниками надобно бороться разбойнику ж.

Алехин перевел слова Грязного датчанину. Тот через силу поднялся и поклонился...

– Сразу видать вора... – самодовольно произнес Грязной. – Спроси, кто у него царь. И почто покинул свою родину. От нас убегают в чужие земли токмо изменники.

В ответ на расспросы толмача Керстен сказал:

– Я сын океана. Родился на корабле и умру на корабле. Мой король скучает обо мне не меньше, чем польский и шведский... Если ваш царь меня не повесит, он полезное для себя дело сделает... Я могу быть ему верным слугой. На виселицу народ найдется и без меня. Я могу вам пригодиться.

Василий Грязной и его гости громко расхохотались. Грязной очень доволен остался ответом чужеземца. Похлопал его

² Антверпен.

по плечу и снова налил ему вина.

– Отчаянная голова, видать, сей проходимец, – весело промолвил Кусков. – Обождите. Все узнаем.

– Наш государь, Иван Васильевич, обрадуется. На морях нам шведы да королевские пираты ходу не дают. Пуская послужит батюшке великому князю. Короли не гнушаются разбоем... Живут им. По всем морям ходят их разбойничьи корабли... Опять наших купцов полонили! Чего же ради нам быть голубями? Станем и мы такими же. На воров и мы будем воры.

Феоктиста Ивановна незаметно удалилась из горницы, спряталась за дверь, с дрожью прислушивалась к беседе толмача с чужеземцем. Услыхав, что у них в доме сидит «морской разбойник», она едва не упала в обморок.

Алехин угрюмо покачал головою:

– Уволь. Не хочу толмачить. Здесь не царев приказ. Наше дело – не для посмешища... Наше дело осторожное.

– Обиделся? На, на, пей! – Грязной начал усердно угощать его. – Ты, Михаил, нос не задирай! Спесь до добра не доведет. Государево дело вершим не токмо в приказах, а повсюду. И в кабаках, и за чаркой вина, и в развеселой беседе... Понимай!

Черные игривые глаза Грязного подозрительно сощурились.

– Не мне спесивиться, Василь Григорьич... Дьяк Посольского приказа я – и только. Однако уволь... толмачить не ста-

ну.

– Знаем мы вас, посольских дьяков!.. Вон Сафронов Петь-ка умнее себя никого не знал, а што толмачил? – Гришка Жаден говорит: врал он все, говорил не то, што слышал... Обманывал. За то и в темнице сидит. А кого уж более-то балует государь, как не вас?

– Не Гришка Жаден, а Генрих Штаден! – усмехнулся Алехин.

Грязной недолюбливал дьяков Посольского приказа. Они слишком много времени отнимают у государя. Зазнаются. Постоянно с иноземцами, а многие из них и за рубежами побывали, в иных государствах, много видели, много слышали. Не чета дьякам Разрядного, Поместного или других государевых приказов... Хвальбишки!

– Ну-ка, Миша, спроси – есть у него жена? – сказал Кусков. – Ладно. Не спесивься.

Алехин покачал головою и с усмешкой задал этот вопрос Керстену Роде. Тот, мечтательно закатив глаза, торжественно произнес:

– Я люблю рвать розы, когда они цветут, а жена – увы! – растение, которое цветет только один раз.

– Батюшки! – весело воскликнул Грязной. – Он и впрямь занятный. Ивану Васильевичу будет чем позабавиться. Остер на язык... Слышите? Жена цветет один раз. Ха, ха, ха!..

Василий Грязной в припадке пьяного веселья принялся

еще настойчивее спаивать своих гостей.

Да и кто же из московских добрых хозяев отпустит из своего дома гостя, не напоив его до беспамятства? А если такой сквалыга и объявится – вечный позор ему и посрамление.

Грязной особенно усердно ублажал толмача:

– Друг за друга, Бог за всех, Миша... Понял ли? – говорил он, неустанно наполняя его чарку. – Дурень ты, Мишка! – вдруг хлопнул он по спине Алехина, обтиравшего в задумчивости усы и бороду. – Не иди против нас. Помни: рука руку моет, и обе белы бывают.

Толмач, поморщившись, хмуро подставил свою чарку.

– Э-эх, Миша!.. – наполнив ее, проговорил Грязной. – Будь я царь, – боярином бы тебя сделал... Знаю: верный ты царю слуга.

– Не хочу быть боярином. Не обижай, – промычал Алехин. – Боюсь.

– Ловок, Мишка! Мою мысль слопал. Да и сам бы я от того чину упрятался... Вон Малюта... «Выше дворянского звания, – говорит, – ничего не знаю». Не надо! Што толку в том, коли залетит ворона в царские хоромы... Все одно ворона! Ха, ха, ха!.. – Грязной расхохотался. – Полету много, а почету нет! Мы с Малютой не гонимся за боярским званием... Не надо нам его. Дело нам надобно, государево дело!.. Пожалуй, дураку дай честь – он не знает, где и сесть. Вон Прокофьев потянулся за боярами, да и расстался с амбарами...

Очнувшись, Алехин вдруг вскочил:

– Апостол Петр... изрек...

– Ну, ну, говори!.. – крикнул Грязной.

Собравшись с духом, дьяк громко провозгласил:

– Гордым Бог про... ти... вится... А смиренным дает бла-
а...дать!..

Степенно опустился на скамью, мотая головой.

– Оставайся, Миша, ночевать... Ты уж, кажись, того...

– Не!.. Ночь пропью... всю ночь... а не ночую... Боюсь! Те-
бя боюсь!

Способные еще понимать что-нибудь рассмеялись. Тол-
мач сидел бука букой, ни на кого не глядя, бурча себе под
нос.

Грязной шепнул Кускову на ухо:

– Сукин сын! Притворяется. Хитрый боров. Что-то есть
у него на уме. Скрывается. Все они, посольские, такие... Го-
ворят не то, что думают. Даже короли иноземные то приме-
тили. Хитрее наших посольских дьяков токмо черти.

Грязной разошелся вовсю:

– Пейте, братчики! Гулять – не устать, а дней у Бога впе-
реди много. Обождите, не то увидите.

Феоктиста Ивановна побежала в девичью. Замахала рука-
ми на девушек, зашикала на них, велела поскорее одеться и
спрятаться на чердаке.

А какие дни! Василий знает, он уверен, что в государстве
наступают иные времена... Ему, Василию Грязному, верно-
му царскому слуге, дует попутный ветер... Для многих этот

бродяга, которого угощает он в своем доме наравне с друзьями, – разбойник заморский, а для него, Грязного, нужный государю человек. Надо знать и понимать, что к чему. Бояре, выпестовавшие царя на своих руках, седобородые мудрецы, хуже знают царя, чем он, дворянин Грязной, – они не могут понять Ивана Васильевича.

Вскоре кое-кто уже задремал за столом... Иные, отдуваясь, морщась, мотая головой, пытались подняться со скамьи, но, увы, напрасно! Некоторые и вовсе сползли со скамьи под стол. Дьяк Алехин поднялся, помолился на иконы, распрощался с хозяевами и, пошатываясь, побрел домой.

Крепче всех на вино оказались Грязной и датчанин. Они молча продолжали пить.

Утром, проводив гостей из дому, Феоктиста Ивановна приказала девушкам выскоблить ножами пол, вымыть его, особенно в том месте, где сидел иноземец. Святою водою побрызгала она там.

Даже образа, стоявшие на полках в массивных киотах, обложенные серебром с гривнами, с жемчугом, с камением, она с благоговеньем обтерла смоченным во святой воде полотенцем.

Чужеземец без бороды – «чур-чур, проклятая поганая латынская харя!» В Москве все с бородами, и у многих она долгая, густая, а у того нехристя голый подбородок, словно у бесов, что жгут грешников на картине Страшного суда. Фео-

ктиста Ивановна, как и все московские люди, верила в бесов, постоянно вела с ними борьбу.

Всякое дело Феоктиста Ивановна выполняла с молитвою, в робком молчании. Постоянно ходила под опасением сказать лишнее слово. Роптание, смех, «песни бесовские» она старалась изгнать из дома. Супруг ее, Василий Григорьевич, к ее великому ужасу, то и дело нарушал благочиние, особенно во хмелю. Соседи диву давались, сколь разные люди были Грязной и его супруга.

В доме ее отца, старого стрелецкого сотника, царила монастырская тишина, изредка можно было услышать слово, да и то произносимое осторожно, без смеха, без улыбок.

«Ангелы, – внушал ей отец, – помогают только тогда во всем людям, когда дом тихий, благочестивый, и бесы в ту пору бегут от человека. Тишина давит их. Пустошные же разговоры веселят бесов».

Но хозяин дома, муж ее, Василий Грязной, постоянно доставляет радость нечестивому бесу. Так и жди, что ангелы отступятся от них, и тогда будет горе обоим! Как она будет жить дальше со своим мужем? – Об этом постоянно со страхом думала Феоктиста.

II

По дороге от Смоленска к Москве и от Москвы к Смоленску, из конца в конец, скачут на взмыленных конях гонцы.

Ни морозы, ни вьюги – ничто не останавливает лихих наездников. Исполняют государев приказ.

Смоленский воевода, Михаил Яковлевич Морозов, вдруг получил от короля Сигизмунда Августа «память»: в Москву отбывает великомочное королевское посольство. Король желает мира. Это ли не событие?

В Посольской избе день и ночь скрипят гусиные перья. Духота. Народищу толпится разного уйма. Пишутся указы: «опасные» грамоты рассылаются в попутные города и села воеводам, старостам, приставам, стрелецким начальникам.

Чудеса! Король, сам напавший на Русь, поклявшийся изгнать московское войско из ливонских городов, вдруг заговорил о мире. Не он ли бесчестно липнет, как смола, к московским границам? Не он ли всем королям уши прокричал о «московской опасности?»

Кто же откажется от мира? Добро пожаловать!

Царь Иван Васильевич радостно встретил это известие.

В храме Архангела Михаила, что на Кремлевской площади, среди гробниц царственных предков, вознес он усердную молитву. Видит Бог: желал ли он войны с королем Сигизмундом! У польско-литовского короля есть изрядное пристанище на Балтийском море – Данциг. Мало ему этого. Он яростно восстает против выхода к морю Московской державы!

Английские купцы докладывали на днях Ивану Васильевичу, – Сигизмунд слишком слушает советов аламанского

императора³ Максимилиана. Немцы сами не сильны вступить в единоборство с Москвою, подбивают других на войну с Россией.

Служил молебен у святого Михаила, обрадованный вестью о мирных переговорах, недужный митрополит Макарий. Через силу поднялся владыко со своего ложа, чтобы идти в церковь. Старенький, сгорбленный, прошел он в храм среди народа, поддерживаемый двумя чернецами. Молебен служил взволнованно, с жаром воздевая руки перед престолом.

По окончании молебна благословил царя, пожелав ему утвердиться не только на суше, но и на морях.

– Западное море и «дюк»⁴ Иван не дают спать нашим соседям! – тихо молвил ему государь. – Настала пора учинить дружбу с моим братом Жигимондом.

Митрополит, покосившись в сторону бояр, тихо сказал:
– Буде имя Господне благословенно отныне и вовеки!

Государь знает, что у митрополита нет разномыслия с царем. Макарий благословил его и на Ливонскую войну, и на «нарвское плавание»...

Царь смиренно облобызал сначала крест в дрожащей руке митрополита, а затем и самого первосвященника.

После службы велено было созвать приставов и дьяков в

³ Германский (аламанский) император, именовавшийся в те времена «римским кесарем».

⁴ Князь.

рабочую палату царя.

Царь сидит за рабочим столом, склонившись над картой, привезенной ему дьяками из Кракова, с обозначением городов и сел смоленского тракта на Литву. Искусно сшитый, в талию, темно-коричневый кафтан красиво облекает стан царя. Волосы, тщательно расчесанные на пробор, густо смазаны розовым маслом. В переднем углу, перед иконами, в золотой чаше медленно тлеют купленные в Греции благовония. Приятный, бодрящий дымок сгустился под сводчатым, расписанным зеленью и киноварью, потолком. На массивной золотой цепи шестисвечное паникадило. Персидские ковры на скамьях и на полу, чистот и тепло сообщают особый уют царевой горнице. Лицо царя приветливое, добродушное.

– Порадуемся же дружбе брата моего, короля Жигимонда. Встретим желание его жить с нами в мире с подобающим русскому царю достоинством; пускай знают: держу я твердо в одной руке скипетр, в другой – меч. Приготовимся требовать и отвергать, как то укажет нам любовь к родной земле.

Иван Васильевич обвел холодным взглядом толпу своих слуг. Висковатый громко докладывал: «А идут к Москве польских людей при послах триста шестьдесят человек, а лошадей при них – пятьсот тридцать две».

Царь удивленно вздернул бровями, покачал головой.

– Ты, Григорий, не медля скажи с приставами в Смоленск к Морозову... – перебив Висковатого, сказал он Гри-

горию Годунову, курчавому, румяному юноше, которому очень шла к лицу серебристая с синим отливом кольчуга. – Скажи, чтобы вели пристава посольскую орду неспешно. В Дорогобуже велели бы им передневать, а в Вязьме бы простоять до указа. Надобно нам тем временем здесь приготовиться. Много их. Однако не забывайте – король учинил немалую обиду мне, напав на нас бесчестно. Он же дал приют и моим холопам-изменникам. Следите, чтоб наши люди не снизились до раболепства и всуе не услуживали бы польским послам.

К столу приблизились другие любимцы царя: Григорий Ростопчин и Дружина Кречетников. Оба тоже в кольчугах, рослые бравые молодцы. На лицах написано: «За тебя, государь в огонь и в воду!» Царь выбрал для встречи королевских послов самых расторопных и красивых своих приставов.

Ростопчину и Кречетникову был дан наказ провожать послов от Смоленска к Дорогомилову. Иван Васильевич научил их, как и о чем вести тайные разговоры с польскими людьми.

– Не докучая расспросами, вызнайте, ведомо ли тем людям, кои при послах, в какой мере ныне король с турецким султаном, и как с крымским царем, и как с угорским, и с дацким, свейским, и с чешским королями, и волошским, и о том обо всем говорите, как я вам приказываю. А если, буде, посольские люди что-либо спросят про Крым: в каких мерах царь и великий князь с крымским царем, отвечайте: царь

и великий князь с крымским царем в дружбе и посла своего Афанасия Нагого к нему отправил. Спросят про Казань – молвите: в Казани ныне государь поставил церкви и посадил архиепископа, да и по казанским уездам государь церкви многие поставил, и многие русские люди живут в городе и по селам. А когда государь приказывает казанским людям куда по своему делу ходить, то они на государеву службу охотно, до ста тысяч ходят, и этою зимой под Полоцком многие казанские люди воевали. А если спросят про Астрахань, говорите: в Астрахани-де живут государевы воеводы; церкви многие там поставлены, и русских людей немало в Астрахани; на цареву службу астраханские люди тоже ходят. А нечто спросят про ногаев – отвечайте: ногайские мурзы государю послушны.

Царь предупреждал, чтобы пристава были особенно осторожны в разговорах с королевскими людьми о шведских и турецких делах.

– Коли спросят про свейского короля, – поучал царь, – молвите: у государя нашего свейские послы были, а о чем их челобитье – нам неведомо, малые мы люди. Спросят про турецкого посланника, с чем он пришел, отвечай, Григорий: «Яз у государя человек не близкий, и мне то почему ведать?!» И скажи им: «У государя нигде недругов нет!»

Иван Васильевич объявил приставам и посольским дьякам, чтобы литовские послы и их люди дорогою ни с кем посторонним ничего не говорили и к ним бы тоже никто не

подходил. Если же будет замечено, что к ним кто-то хочет подойти и завести с ними разговор, тех людей хватать для сыска, сдавать Малюте Скуратову.

Корм и иное довольствие послам, их людям и коням приказано давать щедро, без скупости.

В пояс кланялись пристава и дьяки, слушая слова государя.

Иван Васильевич подозвал к себе пристава Григория Нагого, наказал ему торжественно встретить послов при въезде их в Дорогомилово.

Царь учил приставов и дьяков, как им держаться с послами при встречах и повседневно, что говорить, как спрашивать о здоровье короля, о здоровье самих послов, в какие подворья поместить польских гостей, кого с кем, какую охрану поставить. И еще и еще раз Иван Васильевич повторил, чтоб «с пословыми людьми на улицах и на подворьях не говорил никто: следить за тем накрепко», а потому пословым людям поить коней своих из колодцев около подворьев, а на реку коней не водить. Сказать им, что «колодезная вода лучше речной».

И вообще чтобы посольские люди от своих подворий не удалялись, среди многолюдства не шатались бы.

На дорогах, по которым проезжали послы, было, однако, не так уж безлюдно, как думали пристава и стрельцы.

Правда, тихо, недвижно стояли высокие, в белоснежных

космах, прямехонькие сосны, ели и кустарники, украшенные жемчугом льдинок. В голову не могло никому прийти, что за кустарниками и деревьями прячутся люди: выжидают удобного случая приблизиться к польско-литовским послам, обменяться с ними хотя бы несколькими словами, узнать, как там, в Литве, живется отъехавшим московским приказным, – честит ли их король, жалуется ли их казною и землями и нет ли тайных пересылок из Польши от тех служилых людей к боярам и дворянам московским.

На дороге, около Можайска, выскочили из леса четверо, подкрались к важному, усатому заиндевелому пану, ехавшему в возке, прицепились с расспросами, а тот не понял, в чем дело, да и навел на них пистолет. Думал: разбойники!

А какие же это разбойники?! Обыкновенные дьяки: двое Колыметов, Кайсаров да Нефедов. Любопытство мучило, покоя людям не давало: как, мол, там живут перебежчики-то в Польше?! Нет ли каких пересылок?

Слух о приезде в Москву польско-литовского посольства нарушил душевный покой не у одних этих дьяков, но и у князей и бояр и у всякого иного звания служилых людей. Кто повыше, познатнее, того мучила мысль: выдаст король или нет отъехавших от царя в Литву московских князей и бояр? Спаси Бог, если выдаст! Тогда Ивану Васильевичу станет известно многое, чего он и знать не должен. А коли узнает, не сносить тогда головы кое-кому из ближних бояр. Эти мысли нагоняли уныние, заставляли задумываться о судьбе семей,

делать тайные распоряжения домашним на случай, «если»... Кто помельче, раскидывал умом, какие выгоды могут быть от измены. Что может она сулить малому чину? Колыметы, Кайсаров, Нефедов и другие, им подобные, дьяческого и подьяческого чина, из кожи лезли, горя желанием узнать обо всем этом поподробнее... Им очень хотелось, чтобы между царем и польским королем никакого мира не было, но чтобы раздор между Москвою и Польшею продолжался. Они рассуждали: «Пускай Польша и Литва побьют царские войска. Пускай они отнимут у царя Ливонию. Сигизмунд Август не признает его царем, и не надо! Бог с ним! Пускай остается „великим князем“. Кому нужен его царский титул? Честолюбец! Хорошо, что хоть нашлась сила, которая может унижить его. В Московском государстве ползают перед ним на коленях, превозносят его до небес, а в Литве смеются над ним. Так и надо! Хоть бы краем уха послушать, как его там чествуют! Кажись, все бы отдал за это».

Злые, полные ненависти к царю, мысли и чувства одолевали этих людей. Особенно тех, кто возвысился при Сильвестре и Адашеве и унизились после них и кого тайно и явно поддерживал двоюродный брат царя, князь Владимир Андреевич Старицкий. Недобрые мысли роились и в головах людей, обиженных службою, местническими счетами.

Так и не удалось в лесу Колыметам, Кайсарову и Нефедову пристроиться к посольским людям и поговорить с ними. Пристава бдительно выполняли царский наказ. До самой

Москвы ползали дьяки по сугробам, хоронились за кустарниками, четырех коней попусту уходили в гоньбе за послами в объезд.

А в Доромилове уже поздно!..

Нагой да еще четверо царских приставов, а с ними Василий и Григорий Грязные, обскакали все кругом, вплотную оцепили стрелецкою стражею посольских обоз. Заяц – и тот не проскочил бы.

Неудачливые четыре дьяка видели, как послы выходили из саней и слышали речь к ним Нагого:

– Божией милостью, великий государь, царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич велел вам поклониться и велел вас о здоровье спросить: здоровы ли дорогою ехали? Великий государь и великий князь всея Руси Иван Васильевич велел нам у вас быть и подворье указать!

Каждое слово было на счету у Нагого. Произнес эту речь, а дальше будто воды в рот набрал. Молча, деловито повел послов на подворья, не ожидая ответа их на свое приветствие.

– Погожий ясный день шестого декабря обрадовал пристава Григория Нагого. Москва показалась ему краше яблочка наливного. Пускай полюбуются польские гости русской столицей!

Красное лучистое солнце покрыло густым румянцем Кремль; просветлели самые глухие проулки между узорчатыми хоромами дворцов и храмами, оживляя глянцево-

ды полозьев на крепком белоснежном насте. Купола и кресты церквей горели алым цветом, словно приветствуя наступление высокознаменательного дня переговоров о мире. Война утомила народ. Все радовались приезду польских послов.

Нагой с приставом Олферьевым готовили им пышную встречу.

Оба они удостоились великой чести находиться при послахе и обо всем докладывать лично самому государю. Они всегда думали, что для верного царского слуги добрая слава дороже богатства, ибо хорошую, заслуженную славу ничто не поколеблет. Несмотря на морозный день, у обоих приставов исподние рубахи были мокры от пота – хлопот не оберешься, а главное – глаза да глаза! Лиходеи не спят, чуть зазевался – что-нибудь и предадут литовским людям, а тех ведь вон сколько! Говорили – триста шестьдесят, а прибыло триста девяносто четыре, да, кроме того, немалое число купцов и мещан; другой и гроша не стоит, а глядит рублем. И за всеми ухаживай, всех оберегай, всех ублажай. Царев приказ. Чужого-де не хай, своего не хвали. Кто больше царя-то должен ненавидеть Сигизмунда? Но все знают, как скрытен, непроницаем царь. Государь ни одним словом не выдаст себя, даже перед своими людьми. Желает доброго мира с Польшею и Литвою, вот и все!

Пристава держат ухо востро, ухаживая за польскими людьми, следя за каждым своим словом, ибо «от искры по-

жар бывает». Да не только польских, но и своих приказных людей и кремлевских обывателей не лишне было остерегать-ся. Лезут, болтуны, с расспросами: кто и што? А какое им дело? Ради чего спрос? Царский слуга Григорий Лукьяныч Малюта Скуратов велел записывать выспрашивателей, беречься их болтливости – дело государево! Иной боярин либо дьяк смирен-смирен, а палец в рот не клади. Так уж, видно, Богом положено: дружи, да камень за пазухой держи, чтобы впросак не попасть, особенно после того, как неверные царские слуги утекать за рубеж стали.

Пристав Нагой попросил Василия Грязного пошире расчистить от народа площадь перед дворцом и церковью Михаила Архангела. Конные и пешие стрельцы в новеньких красных теплых охабнях с секирами в руках начали теснить кремлевских обывателей, не обращая внимания на их ропот и ругань, сам Грязной так и напирает конем на людей.

Но вот наступила тишина.

Послышался отдаленный топот множества конских копыт. То послы со своею свитою двинулись к царскому дворцу.

Впереди всех на громадных, стройных аргамаках, в золотой сбруе, гарцевали одетые в нарядные теплые кафтаны, с позументом и меховой опушкой, царские пристава Нагой и Олферьев, грозным взглядом окидывая толпу кремлевских зевак.

За ними в один ряд стройно следовали королевские по-

слы: Юрий Хоткевич, Григорий Волович и Михаил Гарабурда. У всех одинаковые белые кони, обряженные в богатую сбрую. Красиво развевались на конских головах султаны из разноцветных перьев.

Хоткевич, ловко сидевший в седле осанистый пан, с улыбкой кланялся направо и налево толпе жителей. Все три посла были одеты в серые венгерки с черными поперечными шнурами на груди. Через одно плечо наискось ниспадали опущенные белым мехом накидки из малинового бархата. Большие серебряные шпоры блестели на каблуках. Оружия при послах не было.

Вслед за послами, немного поодаль, нестройною толпою двигались верхами посольские люди всех возрастов и званий, одетые пестро, богато...

Иван Васильевич, окруженный ближними боярами, дожидался послов на троне в Брусяной избе⁵.

Навстречу послам вышли ясельничий⁶ Петр Зайцев, строгий, богатырского сложения седовласый старец; глава Посольского приказа и «печатник»⁷, грузный волосатый толстяк Иван Михайлович Висковатый да дьяк Посольского приказа Яков Григорьев. В сопровождении их послы, почтительно склонив головы, вошли в Брусяную избу, а за ними последовали и королевские дворяне.

⁵ Брусяной дворец.

⁶ Управляющий Конюшенным приказом.

⁷ Хранитель государственной печати.

К трону подвел их обладатель самого почетного придворного звания – окольничьего – высокий, статный, Афанасий Андреевич Бутурлин.

Низко поклонились послы царю.

Юрий Хоткевич громким голосом в глубокой тишине прокричал государю поклон короля Сигизмунда Августа.

Царь неторопливо приподнялся, держа в одной руке скипетр, в другой – державу, как-то сразу вытянулся во весь свой громадный рост и замер на месте, сверкнув широко раскрытыми глазами.

– Брат мой Жигимонд Август здоров ли? – спросил он, глядя сверху вниз на послов.

Хоткевич ответил по-русски:

– Божиею милостью, мы поехали от своего государя, а он был здоров.

Иван Васильевич приветливо кивнул головой, допустив послов к своей руке. Послы подали ему королевскую грамоту. Царь тут же передал ее своему самому приближенному дьяку Андрею Васильеву.

Хоткевич, Волович и Гарабурда по очереди доложили царю то, о чем им было наказано их королем. Иван Васильевич, внимательно выслушав, спросил, все ли они сказали. Тогда Хоткевич подал царю письменный посольский доклад. Не читая, царь передал и его тому же дьяку Васильеву, стоявшему около трона.

Послов усадили на приготовленные для них места.

Один из дьяков принялся громко выкрикивать по списку имена посольских дворян, удостоенных лобызания царской руки.

Когда церемония окончилась, царь сказал:

– Юрий, Григорий, Михайла, будьте при нас, у стола!

Послы встали и низко поклонились.

Дьяк прокричал имена польско-литовских дворян, приглашенных к царскому столу.

Обед состоялся в Набережной избе, в простой обстановке.

Во время трапезы царь тихо, как бы между прочим, сказал Хоткевичу:

– Лифляндская земля – извечная вотчина князей русских и ни в которых перемирных грамотах за братом нашим не писана... а Нарва – старинный русский город Ругодив... Берем свое, а не чужое.

Дьяк Висковатый в то же время нашептывал в ухо охмелевшему Гарабурде:

– Лифляндская земля – вотчина нашего государя, ибо в лето шесть тысяч пятьсот тридцать восьмое прародитель его, великий государь Юрий Владимирович⁸, самодержец Киевской и всея Руси и многим землям государь, ходил на тоё землю ратью и пленил ее, и в свое имя град Юрьев поставил, и тоё землю взял на себя, и от тех мест и до сих пор та земля русскому царству принадлежит.

⁸ Князь Ярославич Владимиров (Ярослав Мудрый) имел христианское имя Юрий (Георгий).

Хоткевич слушал царя с растерянной улыбкой, молча.

Гарабурда тоже не противоречил Висковатому.

А поодаль от царева места гудел в ухо пану Воловичу преданнейший царю слуга Бутурлин:

– Государь будет требовать, чтобы выдал король изменников-перебежчиков... без того не может быть и перемирной грамоты... Изменники всяких стран – враги мира и дружбы между государями.

Пенилось вино. Играли гусельники. Хмелели паны и их слуги, а слово «Нарва» то тут, то там вдруг проскальзывало в хмельных речах ближних к царю бояр и воевод и звучало оно грозно, каленым острием касаясь слуха польских панов.

...Много дней совещались польско-литовские послы с московскими посольскими людьми и ни к чему не пришли. Для передачи королю Сигизмунду была вручена грамота, в которой царь требовал «не вмешиваться Польше в государевы прибалтийские дела»; далее он требовал признания польско-литовским королем за Иваном Васильевичем царского титула, затем выдачи ему перебежчиков-изменников, чтобы совершить им строгий допрос и наказать их. Царь требовал также запрещения польским пиратам нападать на торговые суда, уходившие в море из Нарвы, и иноземные корабли, шедшие в Нарву.

По окончании бесед с послами Иван Васильевич с грустью сказал своим посольским дьякам:

– Надежи немного на короля. Коль он из рук панов власть

получил и умом их живет да императора немецкого слушает, какой же он есть владыка в своем государстве? Государю надлежит быть независимым... Никаким королям он верить, а тем паче унижаться перед ними не должен. Своя страна ему ближе жены и детей его...

Послухи Малюты Скуратова вызнали тайно у посольских слуг, будто Сигизмунд хитрит – на тайном совете с немецкими князьями в Вильне будто бы он поклялся положить конец «нарвскому плаванию» и пиратов он не только не сократит, а умножит.

Однако государь после отъезда послов сказал боярам:

– А все же Нарва была и будет нашей. Так предуказано нам самим Богом и завещано предками! Не в наши-то времена, так в иные, но... будет!

III

В сводчатом овале горницы, именуемой «угловой», сумрачно.

Вокруг лампы колышется сотканное из зеленоватых нитей воздушное кружево; серебряные цепи ниспадают с потолка струйками изумрудной капли.

Минута сурового молчанья, того молчанья, когда мысли значительнее, крупнее слов.

Два мужественных, неподвижных лица освещены отблеском лампы. То царь Иван Васильевич и только что при-

бывший из Пскова князь Андрей Михайлович Курбский.

– Уставать я стал, князь, уставать! – тихо говорил царь. – Литовские послы утомили. Много дней сходились мы, но, когда правды нет в сердце, слова пусты... Король лукавит. Пошто держит он у себя моих холопов, изменников? На что ему Тимоха Тетерин, Телятьев, Павшин? Чего ради держит он подлых иуд?! Выходит, они ему друзья, а царь нет?! Стало быть, на языке у него мир, а в сердце война. Требовал я выдачи изменников не ради казни, но чтоб испытать дружбу Жигимонда... Кабы он был мне друг и брат, не променял бы он меня на моих неверных слуг! Ныне мне открылось его коварство... И я знаю, куда наши кони ступят.

Курбский недоверчиво покачал головою.

– Так ли? Молва идет, что-де Жигимонд томит в железах, в подземелье, тех твоих неверных слуг и обиды им чинит великие, пытки лютые...

– От кого слышал ты? – тихо спросил, разглядывая перстень на своем пальце, Иван Васильевич.

– Странник один, чернец, побывал у нас во Пскове.

– Схватить бы надобно такого!.. Лжет он!.. Взяли вы его?

– Архипастыри псковские его приютили. В Новгород будто бы ушел...

Иван Васильевич промолчал.

– Я пытался его схватить, да святые отца не дали... – немного помолчав, как бы оправдываясь, произнес Курбский.

– Святые отцы живут небесами... А воевода повинен жить землею. Митрополит Даниил писал о жизни: «Вся – паутина, вся дым, и трава, и цвет травный, и сень, и сон...» Бывают дни, князь, поддаюсь и я той скорби... Поп Сильвестр внушал мне: «Житие-де сие прелестное, яко сон, мимо грядет...» Но царю ли быть слабым? Нет, князь, жизнь – не сон! Проспать жизнь медведю и тому не дано... А царю и его воеводам – и вовсе... «Яко сон», «Яко сон»... Пустошные слова!..

Царь с усмешкой махнул рукой.

– Великий государь! Сильвестру недаром жизнь чудилась сном. Незнатный, малый человек, он стал первым вельможею у царя. Это ли не сон?! Столь чудесная перемена, государь, казалась ему сном. Не будем судить его! Не будем поминать ни Сильвестра, ни Адашева. Скажу нелицеприятно: твоя государева мудрость, твоя царская прозорливость не без пользы приблизили к тебе обоих; честно послужили они тебе, государь, в иные времена... Боюсь греха осуждать их в угождение тебе, как то делают льстецы!

– Ты говоришь: не будем поминать... А я говорю: помянем усопшего Алексея... Бог ему судья! – громко, с сердцем, произнес Иван Васильевич и быстро поднялся с своего места, а за ним и Курбский. Царь прочитал вслух молитву. Оба усердно помолились об умершем в дерптской тюрьме бывшем царском советнике Алексее Адашеве.

– Глупый да малый могут думать, будто хотел я зла Алек-

сею! Я не хотел того, но иного исхода Господь не указал мне.

Царь нахмурился, молча сел в кресло.

Курбский тоже сел в кресло, хмурый, задумчивый.

– Ну, что же ты приуныл, Андрей Михайлович?

– Дозволь, государь, молвить слово.

– Говори.

– У каждого правителя, у военачальника и даже у холопа – свои пути в жизни. Не суждено, батюшка Иван Васильевич, всем людям быть по едину образу. Можно ли за то их осуждать и казнить? Звезды блестящие, небесные светила, и те разным движением обращаются, и не сам ли творец мира определил им так?

Внимательно вслушивался царь в каждое слово князя Курбского. После недолгой разлуки с князем теперь царю были не только не под душе суждения его, Курбского, но и показались они ему какими-то устарелыми, нудными. Да разве он – царь всея Руси – судит и казнит своих слуг за то, что они инако мыслят? Курбский лучше кого-либо должен знать, что нет. Нет! Не за это царь положил опалу и на Сильвестра и на Адашева. Князь Курбский, опытный воевода, знает, что ливонский город Ринген был взят немцами на глазах у стоявших сложа руки воевод-князей Михаила Репнина и Дмитрия Курлятева. Защитники города были истреблены немцами на глазах у царских воевод. Как это назвать?! Курбский понимал, что повинны в падении Рингена Репнин и Курлятев, а когда он, царь, положил на них опалу, тот же

Курбский заступился за них. Царь внял его голосу и простил неверных воевод. Так было! И после того князь учит царя, что не надо-де казнить инакомыслящих?

Курбский умеет говорить умно и красиво. Царь это знает. Он речист, любит, чтобы его слушали и восхваляли. Друзья, товарищи славословят его за красноречие. Но можно ли тешишься царю красноречием своего слуги, когда говорят пушки и звенят мечи! Сам он, царь, любит говорить, любит и слушать, но не того ждет от воевод государь ныне, когда царству угрожают четыре державы. Вот и теперь: «разные пути небесных блещущих светил...» Что это? У московского царя один путь – путь к морю! И все его воеводы, и холопы, и весь народ должны идти этим же путем.

– Звезды блестящие не все блещут. Они радуют взор не токмо царя, но и черносошника-бедняка, и злосчастливого бродяги, и всякой твари... – закончил свою речь Курбский.

– Знаю, князь, словоохотлив ты, однако не всех радуют блестящие звезды, не радуют они ночного татя. Вору небесные светила не нужны... И скипетродержатели не по сердцу худым людям. Не всем во здравие моя власть... Вора и предателям она в тягость, а царству на пользу. Не так ли? – стяхнув сбившиеся на лоб волосы, тихо рассмеялся царь.

– Истинно, государь-батюшка Иван Васильевич!.. Воры света боятся... а царство твое единою властью крепко!

– Изменники тоже света боятся... Не так ли?

– Да. Изменники тоже... – добавил Курбский. – Нет худ-

шего греха, нежели измена своему государю и своей отчизне!

– Коли так, слушай, князь! Лифляндия – моя, и скорее государь ваш в гроб сойдет, нежели отдаст литовскому либо свейскому королю ту приморскую землю. Ставлю я тебя воеводою над нашим прадедовским городом, славным Юрьевом. Он – сердце земель лифляндских. Токмо я да ты достойны быть воеводами в том граде. Кому доверю его, кроме тебя? Одному тебе, князь. Из Юрьева мы будем грозить всем врагам на западе. Ты видишь, как верю я тебе, ради твоей прямоты.

Курбский приподнялся и низко поклонился.

– Спасибо, великий государь! Мудростью увиты все дела твои. Крест целую тебе, отец наш, клянусь до гроба служить тебе верою и правдой!

Иван Васильевич в раздумье тихо сказал:

– Эх, князь, как мы с тобой славно Казань воевали! Помню тебя... бесстрашного. Спасибо! Да наградит твое потомство Господь вечною славою за твою верность царю и за службу. С такими воеводами, как ты, Бог поможет нам одолеть врагов. Царство без преданных царю слуг, как чаша без вина. Никогда не гневался я на твои смелые речи и никогда я не возносился гордынею, будто я один, без добрых слуг, обойдусь.

Указав Курбскому на кресло, Иван Васильевич продолжал:

– Дело у меня великое задумано. Сам хочу вести войско

в Ливонию... летом... Голову сложу на полях брани, но моря не уступлю... Далекие предки наши ходили по морям и вплоть до Царьграда... Издревле наш народ любил мореходство. Вспомни Олеговы, Святославовы ладьи! Славно справились князья с морскими пустынями. Так нам ли отстать от тех наших предков?

Царь поведал Курбскому о своих переговорах с послами короля Сигизмунда и о тайных своих замыслах: как и куда поведет он свои полки, и о том, что задумано им на севере Эстляндии, близ Ревеля, и на западе, где уже хозяйничают гетманы литовские.

Сильный удар Иван Васильевич готовил нанести Польше со стороны Смоленска, чтобы отвлечь королевские войска от Риги. Сам же намеревался внезапно двинуться против Риги. Он назвал имена тех князей, кому он доверяет, кто будет ему помощниками в походе, и тех, в ком сомневается. Упомянул воевод, которые будут старшими в русском войске, и тех, коих он намерен отозвать в Москву. Рассказал и о привозе в Россию нужных военных изделий через Студеное море, о пристани, сооруженной в Архангельске, и о том, что сделано на Пушечном дворе.

– Ледяное море верно служит нам... Хвала благости Всевышнего! В студеных просторах мы – хозяева! Оттуда мы возьмем корабленников и на Западное море.

Царь порывисто поднялся с своего места.

Он говорил о том, что польские пираты мешают нарвско-

му плаванию, но что он, царь, на разбойников тоже пустит разбойника... Нашелся такой, которому ведомы все повадки иноземных пиратов. В Европе морской разбой в почете. Особенно в Англии, Испании и Голландии. Короли не гнушаются услугами пиратов.

Курбский, почтительно склонившись, с затаенным дыханием слушал его то громкий, басистый, то тихий, усмешливый голос, а порою и злобный шепот, если речь шла о неприятельских странах. Лицо царя преображалось; могучим размахом руки указывал он в сторону окон, выходящих на запад, когда начинал говорить о предстоящих боях, о славных подвигах, к которым он готовил свое войско.

Царь больше всего был уверен в своем пушечном наряде. Курбскому он приказал побывать на потешных полях у пушкарей. Пускай полюбуется, какие железные чудища отлили московские, ярославские и устюженские литцы-пушкарри. Царь велел Курбскому все это держать в тайне.

– Кому не ведомо, батюшка Иван Васильевич, колико печешься ты, государь, о наряде, да и лучшего, что есть в пушках, добиваешься... Добро, государь! Многая польза от того убийственного стреляния учинилась. Великую славу ты обрел, государь, огневою осадюю Казани, Нарвы и Дерпта!

Князь хорошо знал, чем угодить царю. Ничто так не радовало Ивана Васильевича, как хвалебные слова о пушечном деле. Вот и теперь... Лицо его сразу повеселело. Он порывисто поднялся с кресла и, потирая руки, принялся быстро хо-

дить по палате, большой, взволнованный.

– Передай там, в Юрьеве, князю Прозоровскому Михаилу. Осмотрел бы он весь свой крепостной наряд, прочистил бы его, ладно ли он к боям готов! Зелья да ядер посылаю вам до трехсот саней. Берегите пуще глаза! От вражеского хищения хороните! Есть изменники и среди моих холопов...
Страшитесь их!

Курбский принялся горячо расхваливать своего помощника и зятя, князя Прозоровского. Он назвал его храбрым, преданнейшим царю воеводою.

– Найдется ли, государь, у тебя еще другой такой воевода, сердце коего горело бы столь буйной ненавистью к немцам, как у того князя!

– Люб он мне, Прозоровский. Добро, князь! Брать с него крестоцеловальной записи в неотъезде, как с других, не стану. Передай ему поклон царя. Ты и он – да будете примером чести и верности престолу в столь трудное для нас время. Станем, князь, перед иконами и помолимся о благополучии нашего царства. Тревожные дни наступают!

Опустились на колени – царь и князь Курбский.

Иван Васильевич громко сказал:

– Тебе, убо, сотворим молитву, Господи, молитву мою, понеже Авраам не увиде нас, Исаак не разуме нас, а Израиль не позна нас. Но ты, Господи, Отец наш еси, к тебе прибегаем и милости просим – мир даждь нам! Просвение лицо твое на нас и помилуй нас! Отторги длань врагов от пределов цар-

ствия сего! Спаси нас!

Курбский усердно бил лбом о ковер государевой палаты.

Оба высокие, статные, царь и князь Курбский, поднявшись, крепко обнялись и облобызались.

– Андрей! – ласково произнес царь, провожая князя из палаты. – Опять приказываю: держи в тайне мои слова против Жигимонда. Не открывай никому. Даже и князю Прозоровскому. На тайне государево дело могучо!

– Клянусь, государь! Памятью предков своих клянусь тебе в верности!

– Человеку болтливому, – продолжал Иван Васильевич, – молчание есть тягостнейшая скорбь. «Наложи дверь и замки на уста свои, – писал Иисус Сирах, – растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, – пускай взвешивают твое каждое слово!»

– Истинно, батюшка государь! Птица поет – сама себя выдает. Так говорил мой в Бозе почивший родитель, так думаю и я. Могут ли я поступать во вред своему государю?

– Ну, храни тебя Бог!

Иван Васильевич некоторое время стоял неподвижно, прислушиваясь к ровным, твердым, постепенно затихающим шагам князя. Потом помолился и отправился на половину царицы Марии Темрюковны.

Лунный свет пробивался сквозь слюдяные окна длинного темного коридора, бледной, воздушной кисеей ложась на лики апостолов «Тайной вечера», коей украшена была вы-

сокая сводчатая стена.

Царь остановился около самого большого окна, оглянулся на стену: «Где Иуда?! Вот он... тянется ко Христу...»

Порывисто отвернулся Иван Васильевич и стал смотреть в окно.

На дворе светло. Полнолуние. Пирамидальные шатры над крыльцами и лестницами и плоские крыши внутри дворцовых галерей и переходов – все освещено.

Три года как скончалась блаженной памяти царица Анастасия Романовна, но каждый раз, когда царь ночью проходит этим коридором, она вновь перед ним, словно живая. Вот и теперь... Ах, лучше не думать!

Отчетливо видны раздутые в боках, похожие на кувшины колонки, на которых покоятся золоченые шатры крылец. Около больших бревенчатых кладовых, среди сугробов, по протоптанной дорожке пустынного двора неторопливо шагают взад и вперед неуклюжие в своих медвежьих тулупах караульные стрельцы.

«Анастасия в ту пору посылала им по чарке вина... – вдруг вспомнил царь Иван. – Жалела!»

Опять?!

Нет! Не надо думать! «Курбский сказал: звезды блестящие, светила небесные – и те разным движением обращаются. Зачем он это сказал? Какие-то свои мысли бродят у него в голове? От былой ясности и следа не осталось. Мутные мысли!»

Иван Васильевич пригнулся, стал вглядываться в небесные знаки, как бы проверяя слова Курбского.

Итальянец-астролог болтал, будто в небе есть овцы, и львы, и медведица... Анастасия не верила ему, смеялась!..

Опять «она»! Опять!.. Вот она стоит в белом, смотрит на него, своего супруга... Она!.. Она!..

Царь схватился за голову: «Господи! Душно!» Прислонился к косяку окна: «Уйди! Не мучай!..» Нет! Нет! Это не она – это ангел в белом одеянии... на стене... у входа в палату... Но глаза? Это ее глаза!

Дрожащими губами пытается царь шептать молитву: «Упокой душу...»

Анастасия! Она приходит к нему по ночам, не хочет расстаться с ним навсегда, она ходит за ним повсюду, она – в звездах, в снегах, в лазури небес, в церковном песнопении, в иконах, в книгах... А вон тот шатер, под которым, скрываясь от солнца, она сыпала на крыльцо голубям зерна. Разве не она указала розмыслам и богомазам, как украсить те шатры?

Курбский? Да. Она не любила Курбского. Почему же она не верила ему? «Анастасия! Что ты видишь, что чуешь ты в нем своим сердцем голубиным, – царица?»

Иван Васильевич выпрямился. Страшно! Даже наедине с самим собою страшно видеть царя жалким, слабым!

Прочь наваждение! Прочь! «Тайную вечерю» на стене надо закрыть занавесью.

Утром надо созвать воевод. Да, надо, надо! Сигизмунд не

дал благоприятного ответа, не выдает изменников. Бог ему судья. Царское войско уже село на коней.

То, чему суждено случиться впереди, – ведомо токмо Курбскому, Висковатому, братьям царицы Михаилу и Матрьюку, Челяднину, Басманову Алексею и Малюте Скуратову.

Надо торопиться снарядить новое посольство в Данию и отправить торговых людей за море. Пускай король Фредерик не вмешивается... Пообещать ему остров Эзель... Довольно с него!

Никто не должен мешать Москве! Великие обиды нанесены русскому царю Сигизмундом и немцами; обиды требуют возмездия. Бог того ждет от царя!

– Анастасия! Помолись перед престолом Творца о святой Руси!.. – шепчет царь, робко, спиной удаляясь от окна.

В царицыной опочивальне тихо. Божница прикрыта пологом. Мария позаботилась! Иван Васильевич улыбнулся...

Осторожно, на носках приблизился к ложу супруги, прислушался к ее дыханию. Царица прекрасна. Пышные черные косы, мягкие, как шелк, обвивали ее стан, будто шарфы. Тонка, подвижна, словно горная козочка. Глаза – вишенки.

Мария не похожа на русских женщин. Ей чужды покорливость, смирение, слепая подчиненность супругу. Домострой не для нее. В нежных, томных глазах ее наивная уверенность в своей красоте, избалованность, привычка к поколону.

Этого не могут, да и не хотят скрыть густые бархатные ресницы. Она требовательна и капризна; каждый вечер завешивает пологом иконы, ожидая ласк царя. Она постоянно недовольна тем, что он, Иван Васильевич, мало бывает с ней. Да, сегодня он ушел, не дослушав до конца ее упреки. Он не в силах был возражать ей, – так властно сверкал ее взгляд, так гневно и вместе страстно звучал ее голос. Ему хотелось схватить ее, сжать в крепких, горячих объятьях... Блеск ее прекрасных глаз привел его в крайнее возбуждение... Страсть, неукротимая, бешеная, ударила в голову. Можно все забыть! И то, что ты царь, что ты муж, супруг, а не бесчестный любовник, тайно прокравшийся к чужому очагу. Смуглое, подвижное тело ее притягивало к себе... Оно создано для ласк и греха... Оно – стихия, безумие...

Но Иван Васильевич подавил охватившие его чувства и, молча выслушав жену, вышел из опочивальни. Надо было видеться с Курбским. Назначив время для встречи, царь должен быть верен своему слову. Тем не менее он чувствовал себя теперь провинившимся перед царицей.

– Прости! – прошептал он, припав губами к ее теплой, пышной груди. – Мария! Бог послал мне тебя, чтоб успокоить мою душу... Ты – дар пресветлый... небесный подарок царю... Бог видит мои страдания.

Царица открыла глаза, погладила его по голове, прошептала:

– Не говори о Боге. Ложись!.. Сокол мой... Жду тебя!

Крепко поцеловала его в щеку.

– Ты – царь? Ты мой.. Зачем ушел? Зачем обидел? Худо так! Скушно мне. Я тебя почти не вижу...

– Посольский приказ... Литва... Дьяки уезжают... – оправдываясь, ласково произнес он, зная, что царица ненавидит Курбского, а потому и не поминая его имени.

– Не надо никого!.. Прогони их всех. Убей! Ну их! Ты, ты один!.. Ты – мой! Останься!..

– Останусь! – с кроткой решимостью в голосе сказал Иван Васильевич. – Злая ты, Мария. Злая, – рассмеялся он, готовясь ко сну. – И чудная! Тебе не к лицу тяжелые мантии царицы. Кошка!.. Загрызешь меня?

– Зачем обижаешь?

– Не обижаю, государыня!.. Нет. Русский царь взял тебя в царицы, ибо достойнее не нашел украшения своему трону... Только в той солнечной стране нашлась достойная.

И в ту минуту, когда он прильнул к ее груди, вдруг в голову ударило: «Анастасия!»

Невольный вздох, вырвавшийся у него, смутил Марию.

– Государь! Вздыхаешь?!

Прошептав молитву, Иван Васильевич лег в постель.

– Нет, ты не злая! – дрожа всем телом, сказал он. – Мои враги, неверники, клеветают на тебя... В ту ночь, завтра, ты пошлешь в чарках вино нашим сторожам, которые оберегают нас... возьмешь лукошко с зерном и станешь с крыльца кормить голубей... На паперти, в соборе, одеяй нищих леп-

тою из своей казны... Таков наш обычай. Будь доброй!..

– Ну их всех!.. – крепко прижавшись к мужу, по-мальчишески крикнула Мария. – Не хочу их!.. Одного... тебя одного хочу!.. Забудь Москву! Люби меня, одну меня!

Она обвила руками шею царя и с силою притянула его лицо к себе.

– Задушишь, – прошептал Иван Васильевич, покрывая ее лицо поцелуями.

А караульные стрельцы и не чуяли, что за ними следил сам царь...

– Гляди, штой-то там! Будто дрова развалились?.. – указал копьём в сторону дровяника один из них.

– Так то и было, – лениво зевнув, ответил другой.

– Кто же то сделал? – сердито спросил третий.

– Эх ты, дурило!.. Вот разобью тебе рыло, да и скажу, што так было... – рассердился его товарищ.

– Буде. Угомонись!

– Ну, а чего ж ты пристал? Чай, мы с тобой дров у царя не воровали...

– На нашей душе греха нет. То верно.

– Спаси Бог! Мы с тобой не бояре. Нам бегать от царя неча. Слыхал?

– Не. А што?

– Будто Сильвестра-попа из монастыря дальше угнали.

– Куды?

– Закудыкал! На Студеное море... В Соловки... Бояре, слышать, того более осерчали... К королю бегут...

– Бедняги мы, братец, с тобой, а гони меня теперича в какое хошь царство, силом тащи – не пойду. Ни за што. Истинный Бог! Нечего мне там делать!

– То-то и оно: правда светлее солнца.

– Што и говорить! Все одно – беги не беги, а от правды никуда не денешься. Завали ее золотом, затопчи ее в грязь, – она все наружу выйдет.

– Государь наш батюшка лют стал, гневен... Исхудал...

– Адашевские, вишь, прихлебатели изводят.

– Бог их знает! Кто их там разберет! Они на царя, царь на них, тока нашему-то брату не легче.

– И што боярам надобно?

– Все царями хотят быть... Скушно!

– Видать, уж такой у них норов. А норов, как говорится, – не клетка, его не переставить. Вот и бегут. Позавчерась Антон Богданов, да Карачаров, да Марк Сарыгозин утекли в Польшу, а ныне, гляди, Верейские князья да Белозерские... Беды!

– Одначе морозит. Бывало, винца выносили... Теперь уж нет... Эх, эх! Скушно!

– Снежку бы!.. Он согревает.

– Господня воля... может, и пойдет. А што приставов-то везде понагнали, страх! Ни конному, ни пешему проходу нет... Хватают кого попало, да все не тех... Грех один!

– Тут-ко человека едва не изрубили на засеке, а он будто царский же гонец. Беда!

– Мало ль народу похватали зря да и пытке предали...

– Теперь у царя новых усердных слуг много... Вон Малюта кого хочешь порешит... Сгубит – и не узнает никто: где, и когда, и кого... Просто! Тайный человек у царя. Перелобанил уже немало вельмож.

– В таких статьяx люди напролом идут – голов не жалеют. Чья возьмет.

– А ты думаешь – чья возьмет?

Наступило молчание.

– Бог каждому путь указывает. Народа токмо жаль! Измучились люди. Война разорила.

– Дай Бог нам терпенья!.. Страшно, коль подкосимся. Страшно. Пропадет Москва. Тяжко, брат, на душе, тяжело! Народ терпит... Ждет все... чего-то ждет...

– Так уж Бог создал: у каждого званья своя мысль... Их, Господи! Дождаться бы светлых деньков... Видать, так и умрем... Измучили мужика, уж и смерть не страшит его.

IV

Царский постельничий, бравый молодчик Вешняков, обнажившись по пояс, стоял утром на дворцовом крыльце и усердно растирал себе снегом грудь, шею, руки, чтобы прийти в себя после вчерашнего.

Всю ночь пировали большой пир у царя. Уйма выпито, горы всего поедено, – а теперь тяжесть в голове. Да и во всем теле противная какая-то ломота. Под утро разошлись. Еще не все и разошлись-то! Кое-кто и сдвинуться с места не смог, остался заночевать на царевом дворе.

– Эй ты, друг, где ты? – слышал за своей спиной приветливый оклик Вешняков.

Вздрогнул. Оглянулся. Тяжело грохая сапогами, кто-то спускается вниз по лестнице.

– Ба! Малюта, чего не спишь?

– Эй, брат! Позавидуешь тебе, – рассмеялся Малюта. – Дай-ка и я. – Перекрестившись, он снял с себя кафтан и рубаху. – Гоже, гоже!

– Холодно! Зуб на зуб, Григорь Лукьяныч, не попадает... – бормотал Вешняков, напяливая на себя рубаху. – Видать, старость приходит...

– Не лукавь, парень. Будешь лукавить – черт задавит... – погрозился на него пальцем Малюта, прищурив мутные с похмелья глаза.

– Полно, Лукьяныч... Кабы я кривил душой – у царя-батюшки в слугах не был бы... Три десятка уже на свете прожил, немало...

– Оно так. Ну, ладно, иди, иди, не остынь, мотри, застудиться недолго.

Громко отдуваясь, начал растирать себя снегом бородастый, лобастый Малюта. Его волосатая грудь стала красной,

могучие мускулы вздулись от напряжения. Сложения он был крепкого – невысок ростом, плотный, плечистый. Лицо скуластое, монгольское: при улыбке серые глаза, прикрытые чуть заметными ресницами, скрывались в складках кожи; в едва заметных щелках остро чернели зрачки.

Малюта имел привычку, насторожившись, втягивать шею в плечи, подаваться лицом вперед, словно обнюхивая воздух...

На царев двор въехали дровни, окруженные всадниками, во главе которых гарцевали Василий и Григорий Грязные.

Проворным движением Малюта надел рубаху, накинул кафтан, поспешно заглянул в сани.

– Ба! Василий! Кого это тебе Господь Бог послал?

Грязной важно, сверху вниз, взглянул на Малюту, усмехнулся:

– Орел мух не ловит. Везу царю знатный подарок.

Малюта с любопытством осмотрел со всех сторон дюжего детину, старавшегося укрыть лицо в тулупе. Виден был только длинный красный нос.

– Гляди, сколь сух и нелеп.

– Не человек, а колокольня.

– Сказывай, кто?

– Ладно, узнаешь... Иноземец... Тайное дело... государево.

– Веди покудова в подклеть... Там тепло... Пушай обогрется, – произнес Малюта, с деловым видом еще раз осмотрев незнакомца, отвернулся, брезгливо плюнул: «Господи, што

же это такое?»

– Не плюй, Малюта, любопытный это человек.

Неторопливо, вразвалку стал подниматься Малюта по лестнице во дворец.

Вешняков сидел в своей горнице и тянул из чаши теплое сусло.

– Милости просим! Помогай! – приветливо улыбнулся он, указывая на скамью около себя.

– Благодарствую!.. Помолюсь сначала.

Малюта помолился, сел, чинно принял из руки Вешнякова чашу с суслом.

– Приволок царю гостинец наш друг, Василий Григорьевич...

– Знаю. И царю ведомо. Дацкий мореход.

– Видать, не худо у нас, – идут к нам? Шлитте, Крузе, Таубе, Штаден... Со всех сторон, стервецы, тянутся.

– Отщепенцы. Королям своим плохо служили.

– Ой, не верю! Не верю, штоб за свой труд человек угодил в хомут. Неспроста, ой, неспроста лезут к нам!.. Своему королю плохо служили, а чужому будут служить лучше? Время не такое, штоб всем верить. Бешеное время! Все короли когти выпустили, людишек своих засылают в иные страны... Поживы ищут. Словно псы голодные, по кусочкам разрывают землю Божию.

Малюта задумчиво погладил своей большой, веснушчатой рукой лоб. Вздохнул.

– Чего уж тут иноземцы? Своим ныне веры не стало. Во-на дьяк Самойла... Што старая лиса, – мордой землю втихомолку рыл, а хвостом заметал... Из царевой казны деньги царевым врагам пересылал, за рубеж... Опальным людям, изменникам помогал... Есть такое слово: не всяк спит, кто храпит. Не верь никому, друже! Я никому не верю.

– Страшно так-то! Бывал я во всех походах с государем Иваном Васильевичем. Видел много разных людей, и будто...

Вешняков вдруг замолчал.

Малюта нахмурился.

– Што «будто»? – сердито переспросил он.

– Будто не приходилось видеть злоумышления...

– Перекрестись! Што ты? Того и не думай, и не говори.

Бывал и я в царевых походах, но злых людей немало видел в войске. А ныне и вовсе. Вон дьяк Самойла показал, будто деньги своровали у него лихие люди... А пойманный нами на засеке чернец под пыткой покаялся, что-де пятьсот ефимков, найденных у него, получены от Самойлы, чтоб передать их в Вильне беглому боярину Повале Митриеву... Вот и думай!.. Чудом и царя-то Бог уберег, – враги-бояре, зная, убоялись всенародства... Рука не поднялась... А заговор был. Сам знаешь.

Послышался стук в дверь.

Вошел Василий Грязной.

– Мир сиденью вашему!

– Бог спасет, Василь Григорьич!.. Аль замерз?

– Когда батюшка государь примет нас?

– Сказывал батюшка государь: сидел бы ты и дожидался. Хлебни сусло! Теплое, душу греет, сердце радует. Да уж и то сказать: света Божьего не видит государь: либо послов принимает, либо грамоты королям отписывает...

– Редку неделю не гостит и на Пушечном, – сказал Малюта.

– И скоро ль у нас война кончится?.. – вздохнул Вешняков.

– Не нашего ума то дело, – угрюмо хлопнул ладонью по столу Малюта. – Не вздыхай. Государю от вздыхальщиков и без тебя проходу нет.

– Деревня опустела, обеднела, – продолжал Вешняков. – В середу был я в Мазилове, спрашиваю одного старика: «Как дела, дед?», – а он зубы оскалил, смеется: «Живем хорошо, колос от колосу – не слышать голосу; копна от копны – три дня езды!» Передал я царю его слова.

– Ну, а царь што?

– Винит приказы. Плохо-де вотчинам дозор чинят. Землю-де мало боронят, не радеют о хлебе бояре...

– А бояре болтают невесть что про царя. Винят его: людей, мол, не жалеет... – вставил свое слово и Василий Грязной. – Народ-де заморил...

– Слыхал и я тоже, будто этак, – сказал Вешняков. – Войне наперекор идут. Мешают.

– Войне помешать – стало быть, Русь потерять... Того и

нужно Жигимонду, того он и добивается... Кто не уразумел сего, – горе тому! Лучше бы он не родился на белый свет. А который уразумел, да идет против – того на плаху... голову рубить! – стукнув кулаком по столу, прорычал Малюта.

И Вешняков и Грязной, взглянув на него, испугались его звериных щелок-глаз... Стиснутые скулами, откуда-то изда- лека, словно прицеливаясь, смотрели глаза Малюты. Подав- шеся вперед лицо покрылось бледностью, челюсти застуча- ли, как в лихорадке. Он вскочил со скамьи и, отвернувшись от собеседников, стал молча глядеть в окно, поводя носом, как бы обнюхивая воздух и к чему-то прислушиваясь.

Вешняков и Грязной в страхе переглянулись.

Керстен Роде предстал перед царем.

Иван Васильевич до этого окропил «святой водой» ту гор- ницу, в которой он тайно принимал бродягу-чужестранца, закрыл занавесками иконы, что бывало при совершении са- мых грешных дел.

Корсара сопровождали Грязной, Малюта и толмач Миха- ил Алехин.

Керстен Роде не привык унижаться. Соблюдая изыскан- ную учтивость, Роде любил втайне рассматривать королей и всяких земных владык как своих данников. Самого себя мнил он королем из королей, владыкою человеческих жиз- ней и полновластным хозяином чужого добра. При взгляде на какого-либо короля или вельможу ему было небезынте-

ресно, сколько он, Керстен Роде, мог бы получить выкупа за оную персону, кабы она попала ему в руки.

Царь с усмешливым недоумением осмотрел корсара с ног до головы. Ему понравился бравый, могучий вид морского разбойника.

Толмач по приказу Ивана Васильевича спросил Керстена Роде, кто он.

– Кто я, где родился, кто мой отец – не ведаю. Знаю одно: морская бездна – мать моя; море – мои кости, мое сердце, мое тело, моя кровь, и думается мне, что море станет и моей могилой. Если мирно дышит ветер и волны тихо перешептываются – я постоянно слышу одно и то же: «Когда же ты, Керстен, наконец послужишь и морскому царю?»»

Ответ корсара понравился Ивану Васильевичу. Он рассмеялся, переглянувшись с Малютой, которому Керстен также пришелся по душе.

– Спроси его, пошто бежал он в Москву.

Толмач перевел вопрос царя. Корсар низко поклонился, приложив ладонь правой руки к сердцу.

Своею заморскою учтивостью Керстен, обтянутый в черный бархат, с золотым ожерельем на шее, с руками в драгоценных перстнях, с золотой серьгой в виде полумесяца в правом ухе, напомнил царю иностранных именитых гостей, посещавших Москву. И показалось Ивану Васильевичу смешным, что разбойник с виду мало чем отличается от них.

Ответ корсара был кроток и почтителен:

– Прежде морского царя хочу послужить его величеству московскому государю.

Царь, совсем повеселевший, велел спросить корсара: не был ли он в родстве с каким-нибудь королевским домом.

Керстен ответил:

– Да, был, ваше величество.

Иван Васильевич расхохотался. Малюта и Грязной зажали рты рукой, чтобы тоже не расхохотаться в присутствии царя.

– Пускай поведает о том, как то было, – кивнул царь толмачу.

– На далеком, горячем море есть остров. Там люди черные, эфиопы... С ними я подружился, и король их почел великою честью для себя иметь такого благородного зятя, как я... Морские бури разлучили меня с моей королевой... Увы, великий государь, больше уже мне не суждено вернуться в то царство! И королевич эфиопский так и не увидит своего отца.

Иван Васильевич, слегка улыбаясь, со вниманием выслушал рассказ Керстена и шепнул на ухо Грязному, чтобы поместили его на Посольском дворе в особой палате и держали бы с почетом, не как обыкновенного иноземца, да присматривали бы: не было бы опасности его жизни от ворогов царевых. Да и за самим корсаром присмотреть не лишне.

– Беру тебя на свою, государеву, службу. Но должен ты крест целовать в верности московскому царю и грамоту цареву выполнять совестливо.

Алехин перевел ему слова Ивана Васильевича.

Керстен Роде низко поклонился.

Царь сказал:

– Мои корабли по пути в англиское и другие государства терпят постоянные обиды от польских, свейских и аламанских пиратов. Те разбойники грабят неповинных, вольных купцов из многих христианских государств, убивают, и корабли их и все товары в полон берут, и злодейским способом мучают, и убытки им и нашему царскому величеству причиняют многие. Того ради будь нашим корабленником, защитником наших и дружественных нам иноземных мореплавателей. Будешь ли? Тебе ведомы разбойничьи повадки, и ты сумеешь побить тех пиратов.

Керстен Роде, подняв правую руку, поклялся, что он принимает как ниспосланный ему самим Вседержителем дар служение на море такому великому и славному государю. Весь мир почитает московского великого князя Ивана Васильевича, ибо он прямой наследник достохвальных римских кесарей.

Василий Грязной чуть было не прищелкнул языком от восторга: «Ах, мошенник! Твои речи да Богу в уши! Сам Николай-угодник не угодил бы царю лучше этого морского разбойника!»

Иван Васильевич с видимым удовольствием и царственно снисходительной улыбкой выслушал речь Керстена Роде, допустив его даже облобызать свою царскую руку.

– Василий, накажи Басманову – отписал бы он с Висковатым жалованную грамоту сему корабленнику и чтобы допрежь того явился ко мне для совета.

Грязной стал на колени, поклонился царю.

В сопровождении Грязного, толмача Алехина корсар удалился из царевой палаты.

После его ухода царь велел поскорее принести кувшин для омовения рук и тщательно вымыл ту руку, которую облобызал корсар.

Малюту Иван Васильевич оставил в палате.

– Ну, Григорий Лукьяныч, что молвишь?

– Твоя воля священна, государь!.. – поклонившись, ответил Малюта. – Однако не могу о том промолчать, батюшка Иван Васильевич, не надежен он, да и все немцы, што льнут к нам, скрытую корысть имеют, и не верю я им.

– Не верю и я им, Лукьяныч. Но государю не столь прискорбно терпеть обман от чужеземцев, сколь от своих вельмож. Подбери-ка корабленнику надежных людей. Не худо бы со Студеного моря своих мореходов ему в помощь дать. Они бы нашу снасть оберегали и были бы нашим глазом при нем. Пушкарей поставить вельми искусных в стрельнии. Да следи, чтобы все в тайне было. Не болтали бы о кораблях и об атамане... Пускай Жигимонд ничего не знает о том. Королева Елизавета имеет своих корсаров, испанский король також, и свейский, и аламанский, – почто нам в загоне быть? Позаботься там...

– Слушаю, великий государь!..

На следующий день Малюта держал тайный совет со своим другом боярином Алексеем Даниловичем Басмановым, прославившимся под стенами Казани, Нарвы и Полоцка.

Дело предстояло решить нелегкое.

Царь всему миру объявил:

– Море мы отвоевали. Оно наше, и Нарвы никому не отдадим. Плавали мы по морям с древних пор, будем плавать и впредь.

Надо поставить на корабли таких людей, которые бы смогли богатырствовать на море, оружием защищать суда как свои, так и чужеземные, ведущие торговлю с Москвой. Эти люди должны быть преданными своему государю, отважными, ловкими в бою, хорошими матросами и пушкарями.

Керстен Роде обещал найти в Нарве нужных людей из чужеземцев, привычных к плаванию на море, но царь пожелал, чтобы на московских кораблях было побольше его подданных.

Хлопот было много.

Иван Михайлович Висковатый и Алехин составили на имя Керстена Роде обширную грамоту. Московский великий князь и царь всея Руси Иван Васильевич жаловал «дацкого» морехода Керстена Роде «атаманской» властью над московскими кораблями; в грамоте были перечислены те обиды и утеснения, что претерпело «нарвское плавание» от литов-

ских, немецких и свейских каперов на Балтийском море.

В этой грамоте говорилось:

«...Наше царское приказание атаману Керстен Роде и его товарищам и помощникам силою врагов взять, поймать, убить или в полоне держать, а их корабли огнем и мечом сыскать, зацеплять и истреблять, согласно нашего царского величества грамоты... А нашим воеводам и всяким приказным людям и иным всяким, кто бы ни был, того нашего атамана Керстена Роде и его скиперов-товарищей и помощников в наши пристанища, где ни буди, – на море и на земле, – в береженье и чести держать, запасу или что и надобно, без зацепки, как торг подымет, продать и не обидеть».

Царь Иван велел написать, что Керстен Роде отныне не разбойник и не вор, а его, царского величества, слуга, доверенный человек, взятый на службу царем не для «морского разбоя», но для доброго береженья послов и торговых людей, «кои из заморских городов в Нарву плывут и из нее уплывают в свою землю».

Снарядить и оснастить корабли для Керстена Роде велено было боярину Лыкову. Человек бывалый, Лыков изъездил Европу из конца в конец. Воеводе нарвскому, а также строителю пристанищ Шастунову наказано было присмотр за отправкою кораблей иметь.

Висковатый посетил Курбского накануне его отъезда в Дерпт.

Андрей Михайлович подробно расспросил его о переговорах царя с польско-литовскими послами. Он от души смеялся над упорством Ивана Васильевича, сотни раз повторявшего, что «Лифляндская земля – извечная вотчина его прародителей, русских князей». Курбскому казалось «несусветным чудачеством» и требование его о признании королем Сигизмундом за ним царского титула.

– Великий князь он, а не царь, – холодно произнес Курбский. – Чего ради возвеличиваться, да и от других требовать, чтобы возвеличивали?! Сигизмунд горд и политичен.

Мужественное, открытое лицо Курбского, по природе слегка насмешливое, покрылось пятнами от волнения, когда Висковатый рассказал, как настойчиво требует царь выдачи отъехавших в Литву бояр, князей и дьяков.

– Ну, а что Макарий?

Висковатый с улыбкой развел руками:

– Што великий князь, то и Макарий. Нету уж ноне тех иерархов... Подмял под себя святую церковь наш великий князь. Макарий! Жмется он, как истый иосифлянин, к князю... Прав Вассиан: холопами стали попы. Будто ты его, Андрей Михайлович, не знаешь! Неспроста он возвел на соборе в святые великого князя Александра Ярославича... Царь того князя своим прямым прародителем почитает... И ныне повсюду его образа красуются... Черный народ той лживой иконе молится...

Курбский с улыбкой покачал головой:

– Невскому князю и я молюсь. Храбрый воин; спас он нашу матушку Русь!.. Знатно бил он лифляндских князей... И народ за то его почитает. Головы неповинным он не усекал. Землю оборонял не ради честолюбия, не ради алчности и причуд. Гордынею своею не красовался... Поистине, святой князь!..

При этих словах Курбский набожно перекрестился.

Висковатый не стал спорить, он перевел разговор на другое.

– Дожили мы с тобою, Андрей Михайлович, – наш царь-государь даже с разбойниками дружбу свел, между нами будь сказано.

Висковатый под большим секретом рассказал князю о появившемся при царском дворе корсаре и о том, что Иван Васильевич тайно снаряжает ему караван кораблей. Каково доверие?! Своих воевод таким доверием не обрекал.

– Дивлюсь я, сколь неразборчив великий князь в людях! – пожал плечами Курбский. – Обождем, как на сию разбойную затею взглянет литовский король. Ведете переговоры о мире, а сами корабли готовите для нападения?.. Худое дело задумано. Все короли всполошатся, коли узнают. Уронит наш великий князь свой сан и свое имя, погубит родину.

При расставании толстяк Висковатый, широко раскинув руки, крепко прижался своим теплым, пухлым подбородком к щеке князя Курбского.

– Ладно, Иван Михайлович, потерпим. Свара будет еще

великая. Апостол Павел говорит: «Духа не угашайте! Буква убивает, а дух животворит!» Царские законы – буква, а наше недовольство – дух живой. Князья не сдаются столь позорно, как того ждет царь. Уеду я в Дерпт, не сложив оружия... Нет! Борьба продолжается... И вы не будьте ягнятами... духа не угашайте!

На глазах у Висковатого выступили слезы.

– Крепимся, князь... Держимся надеждою...

– Надежды мало... Нужны дела... Пока меч у вас в руках, вы – сила! Прискорбно смуте радоваться, да нет у нас иного исхода.

– Да, нужны дела!.. – тихо повторил слова князя Висковатый. – Бог поможет нам... Хоша, не скрою, мудростью Господь Ивана Васильевича не обидел... и царскую твердостью тоже... Не ошибиться бы...

Курбский промолчал.

Иван Васильевич поднялся с своего ложа ранее обыкновенного, затемно. Из головы не выходила мысль о болезни митрополита. Еще один старый друг на смертном одре.

Сбросив с себя одеяло, царь сунул ноги в теплые обшитые сафьяном туфли, накинул на плечи пестрый, подбитый мехом халат, подошел к двери и крикнул постельничьего.

Вошел Вешняков, зажег свечи.

– Пускай уведомят преподобного отца – буду у него в полдень.

Вешняков стал готовить умывание.

Иван Васильевич скинул халат, снял рубашку по пояс, склонился над большой умывальной чашей. Вешняков помог царю, обильно поливая из кувшина его широкую спину, шею и голову. Царь умывался подолгу и с большим усердием, часто смотрелся в большое зеркало, с видимым удовольствием похлопывая себя по могучей волосатой груди.

– Худ становлюсь я! Что скажешь?! Глянь на меня!

Вешняков поднял робкий взгляд на царя. Постельничий знал, что Иван Васильевич мнителен, сильно заботится о своем здоровье. То и дело он выписывает из-за границы лекарей. Вот и теперь около него появился чужеземец-лекарь по имени Бомелий. Знахари тоже постоянные гости во дворце.

– Ну!.. – нетерпеливо толкнул его царь.

Молодое, обрамленное русою кудрявою бородкою лицо Вешнякова раздумянилось. Что сказать?! На слова он был не находчив и не речист, зато быстро и деловито выполнял все приказания царя.

– Бог щедр к земным владыкам, великий государь! Его постоянное благоволение простирается над твоей царской милостью. И глаз подданных твоих радуется, видя твое, государево, здоровье, – произнес он на память слова, которые некогда подслушал у митрополита Макария.

Иван Васильевич остался доволен ответом постельничьего.

После его ухода он, уже совсем одевшийся, подошел к зеркалу и, взлохматив бороду, увидел в ней несколько седых волос. Покачал головою. Надобно бы выдернуть, да грешно! Тщательно расчесав волосы на голове и бороду, опустился в кресло.

Настроение Ивана Васильевича изменилось.

«Старость? Рано! Три десятка с четырьмя годами прожил на свете, а сделано мало. Ничего не сделано. Ливония так и не завоевана. Нет. Неправда! Молодость прошла не зря. Бога гневить грешно».

Глубокое раздумье овладело царем.

Затеяно большое дело. Воеводы стараются угодить ему, царю, но лучше, если бы они думали о войне то же, что думает царь. Усердствует Морозов, усердствует Лыков, из кожи оба лезут, чтобы доказать свое доброхотство. Не отстают от них и Воротынский с Шереметевым, но что там у них в голове? Он, царь, хорошо знает, что не то... не то!.. Страшно! Море... море!.. Когда же их головы склонятся перед твоими водами? Курбский смелее, правдивее. Нельзя ни с кем его сравнить... Горд он, с норовом, хитер, неуступчив порою, но он-то уж понимает, чего хочет царь. Увы!.. Он понимает, что море еще сильнее поднимет власть царя, еще выше вознесет над миром Московскую державу и еще более ослабит княжескую гордыню на Руси... Ни один город на Руси тогда не сможет сравняться с Москвой. Он понимает...

Иван Васильевич задумался. Мелькнула удивительная

мысль: хорошо ли, что Курбский понимает, чего добивается он, царь? Ведь и Курбский вначале был против войны с Ливонией, потом пошел на попятную. Принялся с большим ожесточением, честно бить ливонских рыцарей... Но... как мог он, гордец, примириться с уступкой царю, и от чистого ли сердца то?

Одно за другим возникали в голове царя сомнения.

Почему поведение воевод никогда не было таким смиренным, как в последнее время? Не худой ли то признак? Не кроется ли под этим какого-либо умысла?..

Иван Васильевич на днях сказал Малюте, что больше всего теперь он, государь, боится «смиранных» бояр и князей.

Малюта некоторое время медлил с ответом, что-то обдумывал, и вдруг сказал:

– Кто в злобе скрытен, тот обладает оружием сильнейшим, великий государь! Истинно!

– Стало быть, они сильнее меня, ибо я не могу скрывать своей злобы.

– Они сильнее тебя, батюшка Иван Васильевич, – угрюмо ответил Малюта.

– Но мы должны сделать их слабее меня.

– Бог поможет нам в этом, государь.

– А из людей многие ли помогут?..

– Многие... весь народ...

– Народ? – Царь испытующе посмотрел на Малюту. – Народ мне помогает на полях битвы... но в оном деле народ

слеп, темен... Григорий, скажи: много ли ты знаешь людей, которые помогут мне быть сильнее моих вельмож?..

– Знаю...

– Много их?..

– Много... За них я ручаюсь, государь... Они ждут! – сжав кулаки, втянув голову в плечи и раздувая ноздри, проговорил Малюта. – Жилы вытянем из твоих недругов!

Царь обнял его.

После этого началась тайная беседа о порубежных областных воеводах. Царь и Малюта перебирали имена воевод, вспоминали их прошлые заслуги и вины, их друзей...

– Негоже им засиживаться на одном месте, – сказал Малюта. – Пображничали, поблудили и с места долой, в другой уезд либо на другой рубеж...

Теперь, наедине с самим собою, царь вспоминал во всех мелочах ту беседу с Малютой. Одно упустил он из виду: в каких мерах те воеводы к князю Курбскому? Малюте надобно дать наказ: пускай разведает...

Совсем недавно приблизил он к себе Малюту, этого незнатного дворянина, но уже проникся к нему полным доверием. Мало того, этот крепкий, расторопный, бессердечный человек стал необходимым ему, как его, царев, глаз, как неторопливый, но в то же время беспрекословный исполнитель воли царской. Его неторопливость не есть нерасторопность. Она – и не отсутствие холопьяго усердия. Она помогла Ивану Васильевичу распознать в Малюте человека степенно-

го, делового, не слепого исполнителя его приказаний, а гордого, молчаливого, нелюбезного в государственных делах слугу, ярого сторонника среднего и мелкого дворянства.

Иван Васильевич в своих людях любил доблесть и воинскую отвагу, и не раз в походах он любовался безумной храбростью дворянина Григория Лукьяныча Скуратова-Бельского, никогда не дорожившего своею жизнью и не знавшего пощады ко врагам, жестоко каравшего их.

Государю любо видеть страшную ненависть и неутолимую злобу, которые загораются в глазах Малюты при одном упоминании о ливонских рыцарях. Бояре не имеют такого кровавого ожесточения против немцев, хотя и воевали с ними и побивали их в боях. А некоторые из них втайне желают и неуспеха в этой войне. Для дворянина Бельского немецкие рыцари – лютые враги. Да и бояре тоже. Еще бы! Бояре презирают худородность дворян, приближенных ныне ко двору! Малюта самолюбив... Это хорошо! С ним спокойно. Это – новый человек при дворе.

Иван Васильевич вдруг удивился сам на себя: почему он так долго размышляет о Малюте? Не потому ли, что теперь ему, царю, нужны люди, люди особенные, новые, такие, каких, может быть, не имел ни один из великих князей, до него живших?

Иван Васильевич с лукавой улыбкой подумал: «Царю нужны всякие люди – нужен Курбский, нужен и Малюта... А Курбскому не нужен Малюта, и Малюте не нужен Курб-

ский... И кто-то из них один другого съест!.. Это должно случиться, но кто?»

В приходе Варвары-великомученицы уютился окруженный невысоким тесовым забором неказистый бревенчатый домик. И на дворе и снаружи жилище говорило о неряшливости его обитателей. Трудно ли прибить болтающуюся на одном гвозде доску у забора? Ничего не стоит поправить и покосившиеся ворота. Редко кто-либо из московских жителей спокойно взирал бы на облитую помоями мерзлую кучу мусора у самого крыльца. В Москве не в почете подобные неопрятливые и нерачительные хозяева.

Чей же это дом? Что за люди живут в нем?

Дом этот дьяка Посольского приказа Ивана Ивановича Колымета.

Вот и сам хозяин появился на крыльце, сбегал за угол, вышел, застегиваясь, плюнул, пошел обратно в дом. Штаны сзади рваные, валенки худые.

В небольшой горнице бражничают четверо его друзей. Один – его племянник Михайла Яковлевич Колымет, тоже слуга Посольского приказа, другой – Гаврило Кайсаров, дьяк Поместного приказа, третий – слуга князя Курбского, Вася Шибанов, четвертый – дворянин, подьячий Нефедов, служивший некогда писарем у бывшего царского советника Сильвестра.

– Уф! Холодно, – потирая руки, сказал Иван Иванович,

вернувшись со двора в горницу. – Дай-ка погреюсь!

И, присев на корточках около печурки, стал продолжать прерванный до того разговор:

– Не нужны, видать, мы стали... Отслужили свое... к послам не подпускают... В черном теле держат... Кто тут супротив нас – и в ум не возьму, но вижу: чести нам нет!

– Какая уж тут честь, коль нечего есть!.. Бедность нас с тобой, дядюшка, одолела... – отозвался Михайла Яковлевич.

– Когда около литовских послов в прошлые времена терлись, известно, доходишко был... лепта была, а ноне у нас с тобой в Посольском одна лебеда... С кого возьмешь? С немца? Возьмет кто-нибудь, да не мы. Есть покрупнее щуки... Им надо!

– Будто у вас запасец не накоплен? – робко спросил Вася Шибанов, молодой, румяный паренек с едва заметным пушком на губе.

Иван Иванович поводил языком под верхней губой (его постоянная привычка, когда он что-нибудь обдумывал), вздохнул, погладил ладонью себя по груди и сказал с ядовитой усмешкой:

– Кабы, как говорится, был снежок, скатили бы и комок! На кой бы мне леший в те поры Москва? Сто лет Ивану Васильевичу прослужишь, а толку из того никакого!.. Денежки – што голубушки: где обживутся, там и живут... Чай, Григорий Малюта не пожалуется... Гляди, как живет. Не дом, а благодать!.. О Басманове и говорить неча... Васька Грязной,

что конь без узды... по вину и по девкам! Шурья государевы, Темрюки Черкасские, Щелкаловы, Мстиславские, Захарьины – вот кто живет! А в Посольском приказе вон и Годуновы появились: Григорий, Никита и Михаил... А наше дело што!

– Ты бы, сударь Иван Иванович, к моему князю на службу пошел, к Андрею Михайловичу? – голосом, в котором слышалось сочувствие, спросил Шибанов.

Черный, с взъерошенными волосами, головастый, какой-то весь щетинистый, грязный, Колымет насторожился:

– Ась?!!

Сделал вид, что не расслышал.

Шибанов повторил свой вопрос и добавил:

– Государь посылает князя старшим воеводою в Дерпт.

– В Дерпт? – оживился Иван Иванович.

– Да, в Ливонию...

Дядя с племянником переглянулись. На полном, упитанном лице молодого Колымета появилась радостная улыбка.

– Добро. Пора бы царьку давно до того додуматься! – сказал он. – Кабы Висковатый отпустил, то чего бы нам не пойти к князю на службу... Плохо ли! Наскучила неудачливая жизнь в Москве. Другим, видно, пришла пора сытные места уступить, – новым!.. А нам прозябание, а может, и темница... Адашевские мы, силвестровские писаря...

– Висковатый отпустит... Его самого, князь говорит, оттирают от посольских дел, – знающе заметил Шибанов. – Он подбирает князю людей на службу... Писемский будто метит

на его место.

Оживился и Гаврило Кайсаров.

– В Поместном приказе и мне не житье... И я бы пошел. Плохо стало и в нашем деле. Худородных испоместить – все одно што из пустой чаши щи хлебнуть... Дохода нет. Занедужил я от той скудости, тоска гложет по ночам – все думаю и размышляю: как буду жить?! Попроси, голубчик, князя и за меня... Челяднин отпустит, коли челом буду бить. А там, думается, народ пуганый, завоеванный... нет в нем той строптивости, што у наших дворян. Жить, думается, там можно?

– Не ведаю, какой народ там, а порадеть пред князем за вас порадею... – ответил Шибанов.

– Изопьем же чашу! – воскликнул Иван Иванович.

– За здоровье князя Андрея Михайловича!

– Да уж заодно и за милостивца нашего, князя Владимира Андреевича Старицкого!.. – провозгласил хмельной Кайсаров.

– Тише, дурень! Обалдел? – испуганно стукнул его по спине Колымет. – Спаси Бог, услышит! Што знаешь – держи за зубами. Не забегай вперед.

– Эх, брат Иван! Уж до чего тяжело. Когда же?

– Молчи! – прошипел на него Колымет. – Болтлив ты!

Кайсаров зажал себе рот ладонью. Накануне только он продал немцу Штадену список с тайной грамоты Посольского приказа голландскому послу о датском мореходе, поступившем к царю на службу. А списал ту грамоту воровски у

того же самого Колымета, когда тот беспробудно спал после одной пирушки. Вдруг резнула мысль: не выдал бы Штаден! Болтают, что человек он лихой и в доверие к царю всяким способом влезает. Бывает такое, что через донос люди вышшаются. На что бы лучше теперь же обратиться из Москвы в Литву... Чего ждать прихода Сигизмундова сюда?! Пожалуй, еще и обратиться из Москвы не успеешь, как тебя самого сцапают. Глупцы – заговорщики-бояре, что таятся здесь!

– Князя Курбского я, как отца родного, люблю, – произнес он после некоторого молчания. – Велик он! И умен, и дороден, и воинской доблестью украшен – всем взял! Скажи-ка ему, Вася, – мол, спит и видит Кайсаров, как бы ему к тебе, князю, на службу перейти!

– На кого же опричь-то надеяться нам с тобой, Миша, в проклятой вотчине тирана московского? – сквозь пьяные слезы воскликнул дремавший дотоле подьячий Нефедов. – На кого? Двадцать лет я в подьячих хожу... Сильвестр – и тот не удостоил меня своей милостью... Князь меня хорошо знает... Ох, Господи!

– Буде хныкать! – поморщившись, посмотрел в его сторону Шибанов. – Стало быть, не за што было... Стало быть, не заслужил...

Нефедов гадко обругал Шибанова и снова стал дремать.

– Такие люди есть... – продолжал Шибанов. – Им все давай, а они ничего... И все им мало, и все они всем завидуют, у всех добро считают: кто што имеет, кто чем богат... В чужих

руках ломоть велик, а как нам достанется – мало покажется. Не люблю таких!.. Не двадцать, а сто лет такой просидит в приказе и постоянно будет нищ и незнатен.

– Ладно, Вася, не мудрствуй! Молод еще ты Бог с ним! Это он так, спьяну... – похлопав по плечу Шибанова, засмеялся Иван Ивановича. – Человек он хороший. Всякие, Вася, люди бывают. Князь его знает.

– Иван Васильевич, батюшка наш государь, полюбил моего князя Андрея Михайловича, как родного. За што? За верную, непорочную службу, за усердие в делах царевых... Царь видит, кто и чего стоит... – не унимался Шибанов.

– Полно, Василий! – угрюмо возразил ему Иван Колымет. – Не верь государевой дружбе! Близ царя – близ смерти! Видал ли ты его? Молод ты еще, дите, разбираться в наших делах.

– Нет, близко царя я не видывал...

– То-то и есть. Всего три десятка с четырьмя годов ему, а зверь-зверем! Вот каков он! Глаза большие, насквозь глядят в человека... Пиявит! Ласковости никакой! Морщины... нос огромный, крючком, будто у ястреба... Зубы волчьи – большие, белые... С таким страшно в одной горнице сидеть, а ты толкуешь о дружбе...

– Андрей Михайлович говорит о царе, будто он лицом zelo лепый... И статен, и голосом сладкозвучен... «Всем бы хорош наш батюшка царь, – говорит Андрей Михайлович, – токмо властью прельстился, бояр ни во что ставит и князей

перед всем народом унизил... Не к добру то!»

– А што ж и я тебе говорю! Разве народу жизнь при таком?... – приблизившись своим лицом вплотную к лицу Шибанова, прошептал Колымет. – Не верти! Твой князь не такой, как ты думаешь. Полно тебе морочить нас. Не скрывай. Не любит он царя. Да и за што его любить?

– Народу от его лютости – гибель! – прорычал из угла Гаврило Кайсаров. – А Курбский – наш! Наш князь!

Василий Шибанов поднялся с места, красный, возбужденный.

– Грех порочить государя! Уймьтесь! Народ его, батюшку, любит... Народ за него Богу молится, да не по внушению приставов, а по влечению сердца... Да и песни про царя сложены добрые, сердечные... Народ все обижают: и бояре, и князья, и того больше дворяне, пристава, волостели, целовальники... И князя моего не порочьте! Не надо. Прямой он.

– Он прямой, но токмо не с царем. Не любит он новин, – то я знаю, – недовольным голосом сказал Иван Колымет. – Ты, Вася, мало знаешь.

– Истинно так!.. Когда царь ввел в суды «излюбленных старост», кто больше всех ворчал тогда?! Твой князь да матушка Владимира Андреевича – Евфросиния.

Колымет весело рассмеялся. Захихикали и остальные его гости.

– Не знаю... – растерянно произнес Шибанов. – Малый человек я. Недавно и на службе у князя.

Шибанов встал, поклонился всем:

– Бог вам в помощь!.. Прощайте! А князю Андрею Михайловичу я о вас доложу. Он не откажет.

После его ухода Колымет и Кайсаров, потирая руки, весело рассмеялись:

– Как малое дите – Вася! Сам Курбский хорошо знает, што нам с ним по дороге!.. И просить за нас нечего. Дело и без того решенное. Эх, Вася, Вася! Птенец! Простофиля ты!

– Послушал бы, как «честит» царя Курбский в хоромах Владимира Андреевича. Он тоже был против наследования Дмитрием-царевичем престола в дни болезни царя... И с Вассианом Патрикеевым не он ли был в согласии? Вчера князь Андрей прямо от царя ходил тайком к Владимиру Андреевичу под видом монаха...

– Э-эх, кабы Иван Васильевич Богу душу отдал, да на престол Владимира Андреевича бы возвести – вот бы жизнь-то у нас получилась! – закатив мечтательно глаза, произнес Кайсаров. – В те поры и батюшка Сильвестр в вельможах бы остался, и Адашев...

– И Колычевы бы власть великую имели, а теперь Никиту на войне кто-то из своих же убил, а других – кого в темницу, кого казнили... Курбский поклялся вчера отомстить за них, – шепотом на ухо Кайсарову сказал Иван Колымет. – Обождите, еще все изменится... все повернется не туда, куда царь тянет... Есть тайное дело у меня. Всех его злодеев, льстецов и прихлебателей мы еще на плаху потащим... Сам я возьму в

руки топор и головы начну им рубить... Вот как!.. Обождите.

Иван Колымет заставил поклясться Кайсарова и Нефедова, что они сохранят в тайне все, о чем он им скажет. Оба поклялись Богом, что будут хранить его слова в глубокой тайне.

Колымет сообщил шепотом: как ни охраняли пристава польско-литовских послов, а все же пан Вишневецкий, родственник бежавшего в Литву воеводы, удосужился передать ему кисет с деньгами для раздачи государевым служилым людям, имеющим мысль бежать в Литву, да и на Курбского он же намекал, чтоб те люди придерживались его. А один из них, Козлов, перешедший в польское подданство, из наших же, – он тоже был в посольстве, – и вовсе о выдаче королю нашего царя речь вел. Как токмо сам царь в поход пойдет... никто помехи чинить не будет, и Челяднин тоже. Люди свои. А царь, как слышно, собирается сам вести войско в Ливонию... Выждем год-два, а дождемся... Спасибо королевскому великому посольству – большое дело сделали!

В дверь постучали.

Колымет испуганно перекрестился: кто там? Вошел стрелецкий десятник Меркурий Невклюдов. Помолившись на иконы, он поздоровался со всеми.

– Давно не видались... Мороз, гляди, загнал?

– Нет, Иван Иванович, не мороз, а тоска-кручина.

– Што такое, дружок?

– Нелегко мне опальных в пыточную избу таскать... Душа

болит. Воин я, да током сердце мое слабое... Жаль мне всех!.. Глазыньки бы мои не глядели на лютость царскую!..

– Ладно. Садись. Вот... пей!..

– Бог спасет, Иван Иванович. Благодарствую! За твое здорovyице и за упокой Григория Лукьяныча!

– Вот еще дьявол появился! Откуда наш царек Малюту выкопал? – спросил Кайсаров.

– Басманов будто во дворец его ввел... – ответил Колымет.

– Сукин сын! Какой страх на всех нагнал. Собаки – и те притихли... боятся лаять... хвосты поджали.

– Обожди, еще хуже будет, – угрюмо сказал стрелец Невклюдов. – Слышал я – особый полк государь собирает... из дворян-головорезов... Клятвы с них будут брать, штоб от отца и матери отрекались... Окромья царя, никого штоб не признавали...

– Неужто правда? – в страхе воскликнул Колымет и Кайсаров.

– Правда.

V

Поздно вечером освободился от работы в литейной яме на Пушечном дворе пушкарь Андрей Чохов. Вышел на волю, вобрал в себя всей грудью свежий воздух. Так хорошо кругом! Словно ему, именно ему, мигнула вон та маленькая звездочка, что высоко-высоко в небе над оснеженным

Кремлем. Да что говорить! Где найдешь, в какой стране, город лучше Москвы?! А Кремль? Его три белые стены – словно волнистые ступени, устланные зеленоватым, изумрудным ковром – полосами лунного света, и восходят те ступени вверх, к золоченым главам соборов, и дальше к небу.

Андрей помолился на сияющий в вышине крест и айда на усадьбу Печатного двора! Там маленький бревенчатый домик, а в том домике она, Охима. Двадцать семь лет! Такому дородному, веселому парню, как он, Андрей, не грешно иметь и зазнобу... Не первый ведь день той любви. Правда, был долго в разлуке, в походах, но любовь побеждает года...

Ночь хоть ветрена, но месячна, идти легко, легко и весело. Перешел Неглинку-реку и на холм взобрался. Вот она, диковинная хоромина Печатного двора, и расписные ворота его. Татарин-воротник – друг. Пропустил без ворчанья. «Селям алейку!» – «Алейкум селям!»

Пробрался по сугробам в дальний угол двора к заветному домику.

– Холодно. Уф! – сказал Андрей, остановившись на пороге и отряхивая с себя снег. – Вот уж истинно: пришел Федул – ветер подул! Не сердчай, что поздно.

– Бude, Федулице! Где пропадаешь? – усмехнулась Охима.

– Сёдни день святого Федула, к тому и говорю. Не сердчай. Об эту пору постоянно ветры дуют. Старики пророчат: к урожаю-де. Врут или правда – не ведаю.

– Да ты садись. Полно болтать.

– Постой, – отстранил он ее. – Не торопись. Дай Богу помолиться. Видать, понапрасну тебя крестили. Была ты язычницею, ею и осталась.

Помолившись, Андрей смиренно опустил голову.

– Добрый вечер, сударыня!

Охима встала со скамьи и низко поклонилась Андрею.

Облобызались.

– Ох, матушка моя, великие дела у нас творятся... – располагаясь за столом, произнес Андрей. – Любовь – любовью, а дело свое требует.

– А ты нынче чего запоздал?

– То-то и оно. Работа!.. Хоть ночуй на Пушечном. Большое государево дело.

– Какое?

Андрей наклонился к ней:

– Молчи. Никому не говори. Государева тайна.

И совсем шепотом добавил:

– Пушки для кораблей куем, новые, широкодульные...

– Для кораблей?!

– Чего же ты удивляешься? Нарву, чай, брали не ради того, чтобы в воду глядеть. Плавать надо. Слыхала, поди: топят наши корабли... Вон к твоему же хозяину, к Ивану Федорову, станки из Дании везли заморские, а немецкие либо литовские разбойники потопили их. Пушки нам надобны малые, но убойные... Нынче у нас на дворе сам батюшка госу-

дарь Иван Васильевич был. Доброю похвалою нас пожаловал... Чего же ты сидишь? Аль нечем угостить, аль гость не люб тебе?

Ой, юница-молодица,
Подавай живой водицы!

Охима с улыбкой засуетилась, слушая парня. Поставила кувшин с брагой да чашу с грибами солеными, другую с капустой квашеной, чеснок накрошила, хлеба нарезала.

– У нас с тобой истинно княжеский пир, – сказал Андрей, потирая от удовольствия руки, и зачастил вполголоса:

Рябой кот блины пек,
Косой заяц нанес яиц,
Вывел детей – косых чертей...

Охима обняла парня, крепко поцеловала, покраснелась:
– Ах ты, мой бубень-бубенок! Все бы тебе прибаутошничать.

К пиршеству приступили с молитвою. За стол сели чинно. Наливая третью чарку, Андрей, совсем повеселевший, играя глазами, тихо запел:

Как по сням, сеничкам,
По частым переходичкам,
Тут и ходила-гуляла

Молодая боярыня,
Приходила, пригуляла
Ко кроваточке лисовою,
Ко перинушке пуховою...

На этот раз хмель быстро ударил в голову Андрею. Охима крепкую брагу сберегла для него. Свою чашу она только пригубила, поднимала так, для вида. Он это заметил, но ничего не сказал, хотелось самому побольше в этот вечер выпить. На Пушечном дворе ведь и в самом деле большой праздник – царь похвалил работу пушкарей-литцов; по гривне приказал выдать им. На душе весело. Пускай на воле мороз, зимняя погода! Пускай бесы воют в трубе да намечают сугробы поперек дороги. Здесь уютно. Охима ласковая, глаза ее блестят, сверкают; до самого сердца проникает их полный любви взор, а в печурке тлеют красные угольки. Тепло. Хорошо.

И опять Андрей заговорил о войне.

– Видать, самим Богом так указано. И до Ивана Васильевича воевали, и теперь воюем. Русь крепка, неподатлива. Своего никому не уступит! Э-эх, Охимушка, дорогая, люблю тебя! Никому не отдам!..

Андрей ударил кулаком по столу:

– Слыхала? Телятьев, сукин сын! Порочил меня, батожьем сек, сгубить хотел, а ныне царю изменил... Ускакал, будто заяц, в Литву... Наш брат, как был на Пушечном, так на нем и сидит, а бояре все с него утекли... Словно их корова слизнула.

Охима толкнула его:

– Буде. Што нам бояре? Есть они или нет – нам о них заботы мало. Прижмись покрепче!

– Врешь! – сердито крикнул Андрей. – Не забыл я, как меня, заместо Пушечного, плотничать послали... Кто?! Телятьев! Царь шлет в литейные ямы, а боярин гонит мост уде- лывать. Не забыл я, как он бродягу Кречета подкупил, штоб меня в лесу убить... За што? Што я – пушкарем был исправ- ным, пожалован царским словом ласковым...

– Чего старину поминать?.. Да и царь-государь тебя не за- был, обиды учинял тебе немалые...

Андрей уставился с хмельной улыбкой на Охиму:

– Баба ты, баба! Царь один, а бояр сотни... Царь, коли про- гневается, – тебе один ответ, а коли сотня бояр пройдетя палкой по твоей спине, тогда уж лучше царь, нежели стая бояр! Тоже... спина-то человечья, не каменная.

Охима грустно вздохнула:

– Ваш Бог злой, несправедливый.

Андрей погрозился на нее пальцем:

– У нас с тобой теперь один Бог... Не забывай!

Охима покачала головой. На лице ее выступили красные пятна. В голосе ее слышалось волнение:

– Меня крестили, но я от мордовского Чам-Паса не отрек- лась... У меня два Бога...

Андрей насупился:

– Полно. Двум Богам не молись. Либо нашему, либо Чам-

Пасу... Ну, говори! Какого Бога избираешь?

Охима с улыбкой тихо сказала:

– Твоего. Потому что он – твой.

Андрею почему-то стало жаль Охиму. Он погладил ее по плечу ласково.

– Ладно. Молись Чам-Пасу, все одно ты наша, русская... Многие народы у нас и разные веры, а воюют все одно вместе... И на Пушечном дворе есть и татары и мордва, а работают с нами заодно. И все одно ты меня полюбила больше своего жениха Алтыша... Даром что он мордвин, а я русский...

Андрей вспомнил, как бывший жених Охимы, мордовский наездник Алтыш Вешкотин, вернувшись с войны из Ливонии, сказал ей, вынув из ножен саблю:

– Я или он?

Охима бесстрашно ответила:

– Он.

Сабля вывалилась из рук Алтыша.

– Прощай! – сказал он, и больше его уже не видала Охима.

Андрей подвинулся к ней и тихо, вкрадчиво заговорил:

– Люблю я тебя, то ты знаешь... И ни на кого я тебя не променяю. Так вот слушай. Боярин Басманов вчера сказал мне: «Ты добрый пушкарь, и пошлем мы тебя на тех кораблях в чужие страны...» Охима, Охимушка, не плачь, коли на корабль меня посадят. Жив буду – вернусь. Богу не угожу, то хоть людей удивлю. Чего нахмурилась? Посмотрю, какие там пушкари! Свой глаз – алмаз, чужой – стекло. Ливонских

пушкарей видел: похвальбой богаты, а делом бедны. Погляжу на иных...

Охима прикинулась спокойной, будто ее не тронули слова Андрея, отвела его руки в стороны.

– Уймись, – сказала она небрежно. – Чего красуешься?

– Пять кораблей снаряжает царь... Наши пушки ставят на них... Будем с морскими разбойниками воевать... Топить их будем!..

– Не болтай! – дернула она его за рукав. – Не хвались. Доброе дело само себя похвалит.

Андрей замолчал, сел за стол, опустив голову на руки, тяжело вздохнул.

– Эх-кое времечко, – тихо произнес он. – Дай-ка еще браги!

– Нету больше... Што было – выпил.

– М-да... Не хочется мне тебя покидать...

– Милый, желанный... Не уезжай! – прижалась она к его могучей груди.

– Милая... желанная и ты!.. – отстранил ее и снимая с нее бусы, шепчет Андрей.

Бусы отложены далеко в сторону.

Уже косы ее распущены, и голос уже не тот...

– Велик день, красна заря, как сошлись мы с тобой тогда на Волге... И чудесен путь, по которому шли мы с тобой в сей светлорусский град, чтоб увидеть государя батюшку... – говорил тихо с восторгом пушкарь в то время, как Охима

прикрывала шелковым лоскутом икону. – Время идет, будто хлопья снега; летят и месяцы... Но любовь к тебе все крепче и крепче, моя ненаглядная!..

– Пускай была бы жизнь наша, как тихая река... Хочу с тобой быть всегда.

– Эх ты, ягодка моя!.. Не бывает река всегда тихою. И туманы, и ветры, и грозы беспокоят ее... Хоть бы виделись нам сны узорные, и за то благодарение Богу. Быль наша котлу жаркому подобна... Огонь... Чад... Паленый дух... Шипит... Бурлит!..

– Молчи! Ты не на Пушечном дворе. Что за огонь?!

– Ладно, лебедушка... Молчу.

– Коли так, думай об одном: не светел ли месяц светит? А? Андрей рассмеялся.

– Ах ты, цветик мой, царская дочь! Трень-трень, гусельцы!

– Давно бы так... Глупый! Не пущу я тебя никуда! Мой ты! Не выпущу!..

Василий Грязной начисто раскрыл свою душу перед братом Григорием.

Караульная изба в Котлах. Ночь, мороз, тоска, а он жалобно, не своим голосом, бубнит:

– Полюбилась она мне с давних пор... И ни еда, ни питье не идут в горло... Не угощай меня, брат, не томи... Хушь бы руки мне наложить на себя, разнесчастливого...

Григорий старше Василия на семь лет. Степенный, черноглазый бородач. Ему смешно слушать эти речи брата.

– Эх, молодчик! К лицу ли тебе, царскому слуге, нюни распускать. Добывай счастье своей рукой...

– Да как же так? Венчаный ведь я на Феоктисте, Бог ее прости!.. Не люба она мне. Не хочу я ее. Засушит она меня.

– Ну, какая тут беда. Мало ль ныне чудес между венчанными... Возьми да и напусти на нее потворенную бабу⁹... Пущай на грех ее, Феоктисту, наведет... А посля того – в монастырь ее... грехи замаливать.

– Эх, брат! – тяжело вздохнул Василий, растрепав свои черные как смоль кудри.

– Ну, чего вздыхаешь? Аль не дело я говорю?

– Это одно. А другое того хуже...

Григорий с удивлением посмотрел на брата.

– Ну, чего еще хуже? Аль перед царем провинился?

– Не угадал, братец... Пропала моя головушка!

– Да ну, не тяни, сказывай, што еще у тебя? – всполошился

Григорий.

Немного помолчав, совершенно раскиснувший, Василий робко промолвил:

– Та, о которой страдаю я, из головы у меня не выходит... монахиня она...

– Ого!.. – задумчиво протянул Григорий. – Дело суматошное... Худо, брат, худо. Опять блажить начал.

⁹ Сводня-чародейка.

– То-то и оно! Не избыть мне моего горя-гореванного...

Видать, уж конец мне пришел...

– Буде, щипаный ус! Негоже. Небось горе – не море: выпьешь до дна, охнешь, да не издохнешь... Тебе еще жить да гулять, да грешить вдосталь на роду написано.

– Так што же мне делать? Научи!

– Беда – ум родит... Вывертывайся сам, а я помогу...

Василий оживился, вскочил с места, крепко сжал рукоять сабли.

– Давно бы так, – добродушно ухмыльнулся брат. – Далеко ль та монахиня? Да и кто она?

– Не догадался? Григорьюшка, братец, подумай-ка! Может, вспомнишь? Я тебе сказывал о ней.

– Не колычевская ли блудница?

Василий побелел от гнева.

– Нет, Григорий! Она – святая, подобная ангелу. Не изрыгай хулу, не видя ее. Не блудница она...

Щеки его покрылись густым румянцем.

– Она ни в чем не повинна, не охотою ушла она и в монастырь, а заточил ее царь-государь батюшка.

– Не беда. Государю батюшке не до нее. Война!

– Ну, так присоветуй же мне, што теперь делать?

Григорий задумался. После продолжительного молчанья он спросил:

– Далече ли тот монастырь?..

– В глухих раменах¹⁰ Устюженской земли...

– Эге! Далече, – покачал головою Григорий. – Путь, как говорится, мерила старуха клюкой, да и махнула рукой... А выручать надо. За грехи свои на том свете распокаемся... А докудова поблудим малость.

– Говори же скорее... чего придумал? – нетерпеливо, вскочив с места, в отчаянье крикнул Василий.

– Скоро сказка, братец мой, сказывается, да не скоро дело делается... Садись-ка лучше да слушай... Не торопись. Исподволь и ольху согнешь, а вдруг и ель переломишь.

Василий сделал над собой усилие, притих. Стал терпеливо ожидать. Черные цыганские глаза его с крупными белками, опущенные густыми ресницами, вопросительно остановились на лице брата.

– Есть у меня тут один... Изловили мы татя¹¹... – медленно начал Григорий. – Молодец хоть куда. А у него еще молодцов с десятков... Разбойнички один к одному. Ведь тебе из Москвы не уехать незаметно... Может государь спохватиться да Малюта... Теперь ведь он твой начальник. А эти молодцы вот как у меня в руках!

Григорий энергично выбросил вперед обе руки с крепко сжатыми кулаками.

– Вот они здесь у меня. У немца они, у Штадена, сокрыты в сарае.

¹⁰ Лесные уголья.

¹¹ Вор, грабитель.

– Ну, ну, слушаю!.. – шептал взволнованный Василий.

– Они поскачут в ту обитель, ограбят ее и увезут твою зазнобу... А допрежь того ты удали от себя Феоктисту... Пока ты сего не совершишь, отправлять молодцов мне не рука. Я держу их под замком. Они уже помогли мне в иных делах. Глядя у меня: язык за зубами, не болтай! Виду не показывай, что тоскуешь... Станет все по-твоему, а государю-батюшке подлинно не до нас... С Литвой свара. Да и братец его, Юрий Васильевич, помре. Митрополит тоже на ладан дышит. Не до нас ему.

– Ладно, братец. Благодарю. Бог спасет! Сам хитрец-дьяк Висковатый того не придумал бы, что ты, братец, мне при-советовал... Прощай, сяду на коня. В объезд!..

Братья облобызались.

Василий, зло сжимая рукоять сабли, вышел из избы бодро, размашистой походкой. На душе сразу полегчало... Григорий весело рассмеялся ему вслед: «Дело будет!»

VI

В приемных покоях митрополита Макариялюдно, но тихо. Собравшиеся здесь игумены, монахи, белое духовенство, дьяконы, пономари и просвирни перешептываются о том, что митрополиту стало хуже. Недуг усиливается.

Предвидя скорую кончину митрополита, духовные лица тайно судили, всяк по-своему, об умирающем архипастыре.

Одним, уединившись в сторонке, обвиняли митрополита в том, что он, якобы честолюбия ради и по робости духа, по-творствовал царю, не наставлял его «на путь правды и добра, как Сильвестр и Адашев». Ведь Макарий стал около царя с тринадцатилетнего возраста его. «Хитрец он, – говорили они, – руки умывал, подобно Пилату, видя жестокость государя, и тем его портил».

Другие, наоборот, восхваляли митрополита, говоря о его мудрой кротости и справедливости, называя его «тихим деятелем, его же любит Бог». Они отвергали обвинения, возводимые на Макария, в честолюбии, напоминая о том, что сам митрополит много раз отказывался от своего сана, прося царя отпустить его в монастырь, чтобы провести остаток жизни «в молчальном уединении».

Они напоминали и о том, что мудрейший из старцев, Максим Грек, восхвалял «христолепную тихость, кротость и книжную ученость» болящего первосвященника.

Третьи указывали на преклонный возраст Макария. Может ли немощный восьмидесятилетний старец обуздать объятаго страстями буйного, грозного царя? Благо, что он никогда не льстил царю и не унижался перед ним. Сан митрополита держал с честью двадцать один год. Прежде бывшие митрополиты не могли продержаться на первосвященническом месте и двух лет.

Духовенство собралось для встречи царя с подобающей торжественностью.

Немногим из московского духовенства выпало счастье удостоиться чести лицезреть в этот день Ивана Васильевича.

На иеромонаха Димитрия Толмача было возложено блюсти чин этой встречи. Толмач ранее слыл помощником Максима Грека, мужа ученейшего и своей мудростью привлечшего к себе внимание великих князей Ивана Третьего и Василия Ивановича. После великокняжеской опалы, павшей на Максима Грека, Димитрий Толмач был бесстрашно взят митрополитом Макарием к себе на подворье. В благодарность Толмач посвятил митрополиту своей перевод Псалтыря Брюно, епископа Вюрцбургского, за что Макарий его щедро одарил.

По пути следования государя от дворца до митрополичьего подворья Грязной расставил самых видных стрельцов с секирами. Они стояли в ожидании царя, будто вкопанные, — строгие, неподвижные великаны.

Пригревало полуденное солнце. Золоченые купола кремлевских церквей пламенели в вышине, похожие на громадные светильники, уходящие языками огней в голубую высь...

По сторонам устланной коврами дорожки, где должен был следовать государь, стояли с непокрытыми головами кремлевские жители, вышедшие из домов поклониться царю.

Иван Васильевич, опираясь на длинный посох, появился на красном крыльце дворца, окруженный рындами и боярами.

На нем бархатная, широкая, опушенная соболями шу-

ба, бобровая шапка, осыпанная драгоценными камнями и жемчугом.

Ступал он тихо, медленно, в задумчивости. Иногда останавливался. Внимание его на минуту привлекла стая белоснежных голубей, которая закружилась, взлетела высоко над собором Успенья. В стороне, на кремлевском дворе, царь увидел толпу ратников. Они волокли на плечах бревна. Остановился, покачал головой, видимо чем-то недовольный, двинулся дальше по дорожке к собору. Провожавшие его вельможи подобострастно замедлили шаг, боясь забежать вперед. Они не спускали глаз с высокой фигуры царя, робко поглядывали на его шею, слегка прикрытую подстриженными скобою волосами. Шея сильная, жилистая, говорит об упрямстве и властности. Такая шея может склониться только перед Богом.

Остановившись около митрополичьего подворья, Иван Васильевич оглядел с недовольным видом толпу своих провожатых. Бояре низко поклонились ему.

В это время, распевая псалмы, навстречу государю вышли архипастыри в полном облачении; впереди всех с крестом в руке выделялся игумен Чудова монастыря, старец Левкий, снискавший особое расположение царя.

Приняв благословение от Левкия, Иван Васильевич, в сопровождении духовенства, направился в покои митрополита Макария. Митрополит принял государя, лежа в постели. После взаимных приветствий царь и митрополит пожелали

остаться одни.

– Стар я, государь мой, батюшка... Стар и немощен. Видать, уже и с ложа не подняться мне. И молитва не помогает. Давно жажду повидаться с тобой, батюшка Иван Васильевич. И лекари твои не помогли... Видать, Господу Богу угодно прибрать меня... Пожил я... устал... Прощай! Совесть моя спокойна. Молитвою послужил родине. Не боюсь предстать пред Всевышним.

Иван Васильевич сел около митрополита, участливо посмотрел в его исхудалое, морщинистое лицо.

– Многоценная жизнь твоя, – тихо произнес он, – во благо царю и всей земли нашей! Твоя паства, как цветы от солнечного обогрева, растет и множится. И счастье и страдания твои меркнут перед тем, что содеяно тобою. А мои дела ничтожны перед теми страданиями, что выпали на мою долю. Сделанное вчера сегодня разрушается, и кем? Моими же людьми. Что сделаю завтра – не могу верить в незыблемость того. Твои дела всем видны и никогда не забудутся!.. Своими писаниями ты говоришь с веками.

Царь встал, прошелся из угла в угол по келье. В глазах его – тревога, подозрительность.

– Ангелы восхваляют имя твое, ты добр и милостив. Ради тебя, святой отец, снял я опалу с бояр... Простил Ивана Кубенского, князя Петра Шуйского, князя Александра Горбатого, Федора Воронцова, Димитрия Палецкого и других. Их было немало. Простил я и Семена и его сына Никиту, то

бишь князей Лобановых-Ростовских. Оба они были пойманы на явной измене. Я по слову твоему помиловал их.

– Помню, Иван Васильевич, помню, родной наш государь... Бог спасет тебя, батюшка!

– Увы, отец мой! Ведомо мне – князи те тайно сносятся и ныне с Литвою. Готовят гибель мне и посрамление нашему царству...

– Слыхал я и такое, Иван Васильевич... Правда ли? Не изветы ли их врагов?

Царь задумался. Видно было, как подергивается его плечо. Митрополит знал, что это обозначает сильнейшее волнение у царя.

– Клеветники есть... Проклятие им! Запутали. Ни один владыка не уберется от увития сих ядовитых змей... Где сила, власть – там и клеветники! Не раз пытались они оклеветать и тебя, но я оттолкнул их от себя, жестоко наказал... И трудно, святой отец, отделить клевету от правды. Этим многие пользуются. Но могу ли я быть глухим к доказчикам? Что ты скажешь мне, святой отец, о дворянине Скуратове-Бельском, о Малюте?

Макарий слабо улыбнулся и тихо проговорил:

– Знаю я его... Мой богомолец. Благословил я его на службу тебе, государь... Упрям он, жесток, но предан тебе.

– То и я мыслю. За воинское дородство приблизил я его к себе. Он – недруг мятежникам, правду молвил, преосвященный отец наш.

– Сила Святого Духа буди над вами!.. Пришли, государь, его ко мне ради смертного моего поучения. Блажен муж, еже печется о своем отечестве. Смягчить его сердце хотел бы я перед кончиною.

– Скажи мне, святитель, не есть ли грех в том, что восхотел я на службу свою царскую посадить чужеземца, латинской веры, душегуба морского, дацкого разбойника, коему поручить задумал я бережение наших судов в Западном море?

– Трудрами чужеземцев не гнушались... древние пророки и цари. Вспомним Давида и Иисуса Навина... И да благословен будет путь твоих кораблей, ибо, то ко благу нашего царства.

Оба перекрестились.

– Друкарей¹² и рухлядь всякую словолитную из-за моря умыслил я к нам вызволить. А в душе для чужеземцев я и сам чужеземец. Опора нам – свои, русские люди.

Митрополит через силу приподнял голову с подушки. Пристально остановил на лице царя свои впавшие от худобы глаза. Задыхающимся, больным, старческим голосом тихо, с остановками рассказал: первопечатник Иван Федоров заканчивает «Апостол», но чем ближе к концу его работа, тем больше врагов становится у Печатного двора. Уже не раз пытались неведомые люди поджечь его. И на Федорова было ночное нападение подле Неглинки-реки.

Выслушав до конца жалобы Макария, царь гневно произ-

¹² Печатник, типографщик.

нес:

– Крамола и здесь!.. Злодеи не ведают, что творят. В угоду то и зарубежным врагам. Не от разделения ли и несогласия, не от гордости ли и самочиния распалось Израильское царство? Коли поймаем поджигателей, медведями я затравлю их.

Он с горечью поведал митрополиту о кознях своих врагов: не идут в открытую, а действуют исподтишка, подпольно, пуская в ход обман, лесть, лицемерие. И сила их велика. По городу и государству ходят всякие слухи, суды и пересуды о войне. Иван Васильевич вспомнил митрополита Даниила. Во времена княжения Ивана Третьего Даниил жестоко осуждал «зазирателей, завистников, наругателей и клеветников».

«Какую хочешь милость приобрести, – говорил Даниил, – иже зря неких в течение жития сего настоящего осуждаешь, клеветнешь и поносишь и других на это наводишь, яко лукавый бес?»

С негодованием передал царь митрополиту гадкие сплетни о нем самом; о том, будто он, царь, предается содомскому греху с Федором Басмановым. О царице также всякую небылицу болтают враги царского дома. А ему, царю, ведомо: сплетники те из знатных, древних родов, и он, царь, признается – трудно ему бороться с клеветниками. Тайный враг страшнее явного.

Митрополит, слабо улыбнувшись, сказал: и про него непотребное болтают люди, предают хуле и его, святителя. Даже

в глаза ему говорили, будто он не митрополит, не святитель, Богом избранный, а царский холоп, бесчестный угодник и ласкатель. И «Степенную книгу» написал будто бы неправедно, возведя на незаслуженную степень родословную Ивана Васильевича; и святых канонизировал в угоду московскому великому князю; Александра Невского якобы причислил к лику святых единственно ради того, что он предок Ивана Васильевича, како и великие князья московские; и печатное дело завел в угоду царю, «хотящему властвовать едиными печатными законами повсеместно и единым молением во всех селах и городах по его, царским, печатным богослужебным книгам...»

Великое, доброе дело ставится ему, Макарию, в укор!

Иван Васильевич слушал митрополита, гневно сдвинув брови, дрожа от негодования.

Он ясно представляет себе, какая угроза нависла над всеми его делами... А по лицу его ближайшего помощника и друга – митрополита – видно, что недолго осталось ему жить. Смерть стоит за его плечами.

– Нет, нет! – как бы про себя сказал царь и, обратившись к Макарию, произнес: – Новый лекарь объявился у меня знатный... Немчин из Голландии, Елисей Бомелий... Пришло к тебе... Ты должен жить. Не покидай меня. Не умирай!

Иван Васильевич вдруг стал на колени, припав губами к холодной, морщинистой руке митрополита.

И, как бы спохватившись, добавил:

– Благослови!

Порывисто склонил голову.

Макарий, застонав, снова приподнялся и трясущейся рукой, со слезами на глазах, перекрестил Ивана Васильевича. Царь взял худую, морщинистую руку митрополита и крепко прижал ее к своим губам...

Вышел царь от митрополита гневный, мрачный Бояре, рынды, монахи в страхе склонили свои головы перед ним.

Накануне отъезда в Дерпт Курбский собрал у себя своих друзей. За столом, уставленным кувшинами браги и меда, разгорелись горячие споры, перешедшие в пререкания.

Курбский много говорил о тихости и покорливости бояр, напуганных казнями, упрекал своих друзей в бездеятельности. Он осуждал упорное молчание Боярской думы, по его мнению, бездеятельной.

Казначей, боярин Фуников, попробовал возражать Курбскому:

– Не порочь нашей Думы, князь, не виновна она. Коли тиран изведет крови, то уж его так и тянет к ней... Его не остановишь! Дума в загоне!

Презрительно сощуриив глаза, выслушал его Курбский и вдруг сердито крикнул:

– Умолкни, боярин! Легче мне было бы язвы сносить в ушах своих, нежели слышать такие речи. Дума в загоне! Побойся Бога.

Сутулый, рыжий, с блестящей от масла, расчесанной на пробор головой, Фуников имел жалкий, пришибленный вид. Гнев Курбского устрасил его. Да и остальные бояре и воеводы притихли, с робостью поглядывая на князя.

– Кровь за кровь – вот мой закон. Вы забыли, что лишил он князей власти, земли, чести, принизил древние, освященные церковью и ратной славой княжеские роды... Он вам головы рубит, а вы по старому, мудрому обычаю и отъехать из государства не можете!.. И уж от Думы отрекаетесь! Не так ли говорю я?

Лицо Курбского исказилось злобою, сделалось страшным.

Тяжело переводя дыхание, он продолжал:

– Он изведал кровь... А когда же мы изведаем его крови? Вы, князья, бояре, воеводы! Пошто вы держите меч в ножах? Было время, когда вся сила ратная воевала лифляндские земли, а царь перекопский шел к Москве. Вы упустили то время, а ныне плачете. Плачьте же! Проливайте слезы о том, чего не вернешь!

– Обожди, князь, дай мне слово молвить, – замахал на него обеими руками старик, архиепископ новгородский Пимен, только что прибывший из Новгорода якобы для того, чтобы навестить болящего митрополита Макария.

– Говори, – кивнул ему Курбский, продолжая стоять, тяжело дыша и окидывая всех недобрым взглядом.

– Новгородские священнослужители, воинские люди, торговые гости, дьяки, подьячие и весь наш народ крепко сто-

ят на своем... Не нужен им московский царь!.. Не признаем мы его... Не худо было бы московским вельможам придер- живаться батюшки Великого Новгорода, а не вилять хвостом туда и сюда. Кто древнее: мы или Москва?

Лицо Курбского просветлело.

– Истинно молвил, преподобный отец! Нам, князьям, боярам и всем московским служилым людям, прибыльнее стать на дороге тирану заедино... плотную стеною, но не помогать ему душить древний Новоград. Москва – неразумное дитя перед Новоградом.

Архиепископ Пимен шепнул соседям, будто новгородские торговые люди уже ведут тайный сговор с литовским королем, чтобы ему отдать Новгород и Псков. И то будет на пользу Русской земле и во вред царю Ивану.

Курбский назвал имя некоего Козлова. Хвалил его за расторопность; он-де ловко обманул царя Ивана, будучи посланным к королю Сигизмунду, – остался у короля на службе. Ныне этот Козлов ищет друзей среди московской знати. А чтоб иметь связь с ним, надобно незаметно ни для кого сходиться у давнишнего друга его, Курбского, у Ивана Мошинского, что живет под Москвою в селе Крылатском.

Гнев Курбского после слов архиепископа Пимена смягчился. Пимен сразу раскрыл главную тайну сегодняшнего соборища.

– Буде хныкать, – строго произнес Курбский. – Пора и за дело взяться. Лихое лихому, а доброе доброму... Доколе жив

великий князь и его пагубные ласкатели, – жизнь родовитых князей и их семей в опасности. Положим сему конец!.. Уезжаю я в Дерпт, а вы не теряйте времени... сжимайте кольцо ненависти своей вокруг московского князя и его двора... Из Лифляндии явлюсь я к вам со всею своею ратью. Помните. митрополит Макарий на смертном одре... Схороним же вместе с ним и царскую корону. Новгород изберите своим родным гнездом. Кого же нам поставить во главе сего святого заговора?

Раздались голоса:

– Князя Владимира Андреевича! Кого же иного?

Курбский поморщился:

– Добрый он человек, да несмел, робок... и не надежен...

Не тверд он!

С удивлением взглянули на него бояре.

– Не надежен? – воскликнуло несколько голосов.

– М-да... – раздумчиво повторил Курбский. – Не надежен.

Я так думаю: у сего дела должен стать достойнейший из всех нас, боярин Иван Петрович Челяднин-Федоров...

Курбского поддержало несколько голосов.

Сам Челяднин, грузный высокий боярин, погладил свою широкую бороду, задумался, храня молчание, хотя к нему были обращены взгляды всех присутствующих.

– Иван Петрович, друг, отзовись! – толкнул его в бок боярин Бельский.

Очнувшись от раздумья, Челяднин тяжело вздохнул.

– Ненадежный народ ныне появился и среди бояр... Эх-эх-эх! Дожили! Сами на себя ножи точим. Как людям верить-то? Около святых и то черти водятся. Так и во Святом Писании свидетельствовано.

– Мы все поклянемся тебе в верности! – сказал Курбский. – Не так ли? Клянемся?!

Со всех сторон понеслись голоса: «Клянемся! Слово перед святым крестом дадим! Клянемся, батюшка Иван Петрович!»

– Мне жизни своей не жаль. Пожил ни много ни мало шесть десятков лет с небольшим, можно и в домовину. И не о том я... Дороже жизни мне честь! Иван Васильевич не обижает меня, честит, жалуется: обижаться на него не могу. Однако продавать себя царю не желаю. Прав Андрей Михайлович – недалеко то время, когда все у нас возьмут...

– И жизнь отымут! – крикнул Курбский.

– И жизнь отымут, как отымают наши наследственные уделы... Кто такую власть дал московским великим князьям, чтобы в грязь топтать княжеские роды? Никто не давал. Разбойным промыслом завладели!

– Истинно! Похитили они власть обманом и коварством, – снова подал свой голос Курбский.

– Верно ты молвил, Андрей Михайлович, безмолвствует Боярская дума, не к месту, не ко времени притихла... Растет и множится своеволие Ивана Васильевича... Не в меру разошелся царек. На што нам война? Што нам море? Буде, побаш-

ловали. Што накрошил, то сам и выхлебывай!..

– Золотые слова, князь! – воскликнул с усмешкой Фуников.

Челяднин обвел хмурым взглядом окружающих.

– Первым боярином и судьей посадил меня царь на Москве, но што я буду делать, коли не лежит у меня душа к похитителю нашего державства?.. Все, што делает он, не по душе мне...

Курбский оживился, голос его прозвучал восторженно:

– Мудрое слово сказал: «державство»! Мы на Руси должны править, наша держава! Мы князья, мы большие воеводы, бояре, а ни земли, ни рати, ни судов своих не имеем... Нашего ничего нет. Все его! Законно ли так? Справедливо ли? И меня он недавно лобзал, обнимал. Иудины ласки! Сладкими речами обволакивал он меня... Добивался измены старине. Не поддался я тому соблазну... Нет!

– Обманщик он! – рявкнул Челяднин. – Сегодня поставит первым воеводою, а завтра казнит!.. Подальше от его добродетели.

– Проклятие! – слышалось со всех сторон.

Глаза у всех разгорелись, волнение охватило даже спокойного, покладистого Фуникова. Репнин, топнув ногой, крикнул в исступлении:

– Перекопского хана позвать. Выдать хану кровопивца. Смерть убивцу!

Курбский зашикал на него:

– Тише, не шуми, дядя Михаил! Хан будет!.. В Москву придет... Тише! Литовские люди мне весточку передали через Колымета Ваню. Хан давно ножи на Ивана точит.

Сразу настала тишина. Испуг появился в глазах некоторых бояр. Страшились московские вельможи татарских набегов. Татары обращали в пепел и боярские вотчины, делали нищими богатых, а то и жен и детей в полон уводили.

– Ладно ли будет так-то?.. – покачав головою, возразил Челяднин. – Не прогадать бы?

Курбский внимательно осмотрел своих гостей. Остановив взгляд на архиепископе Пимене, спросил его:

– Преподобный отец, благословишь ли на то дело?

– Нет. Негоже то. Единоборство с христианскими князьями, коли к тому нужда явится, в честном бою не зазорно, а штоб неверных татар, язычников наводить на своих же – не могу то дело благословить, князь!

Воцарилось тяжелое, неловкое молчание. Курбский не ожидал такого ответа от новгородского владыки. Ведь он думал, что Пимен его поддержит.

– То же думаю и я... Наводить нехристей на Русь – грешно и бесовестно!.. Надо нам подумать, нельзя ли без чужеземцев согнать с престола Ивашку, заковать его в железа и отправить в заточение? Мы против царя, но не против Руси! На вечные времена заточить!.. – поддакнул Фуников.

Курбский покачал головою:

– Нет. Не мыслю о боярской смелости, коль помощи от ко-

роля не будет... Сила царя велика, он окружил себя собаками, кои обнюхивают каждого честного человека... Бояре не дружны, о том говорил я... своей силы нет у нас. Без короля не сломить нам тирана... Не сломить! Он хитер и решителен.

Курбский пренебрежительно махнул рукой:

– Куда нам! Только король, вместе с... ханом!

Понуриив головы, в раздумье, слушали его бояре.

Поднялся со скамьи Челяднин.

– Что там спорить? Добро! Принимаю на себя... Клянусь вам, братья, честно послужить родному делу.

Низко поклонившись, Челяднин снова сел.

Курбский мягко, на носках, подошел к нему, крепко обнял его и поцеловал.

– Господь Бог видит правду... Вседержитель на нашей стороне. Велика его святая воля.

И, обратившись к боярам, сказал:

– А мы разве не сила? Поглядите: кто здесь! Вот Михаил Воротынский. Муж крепкий, мужественный, в полкоустроениях зело искусный. Народ его любит. Что воздал ему за службу царь? Ссылку!.. Опалу, неведомо за што, неведомо про што... О, князь! Слезы проливали ратные люди, когда услышали о таковой несправедливости...

Воротынский улыбнулся, вздохнул и тихо промолвил:

– Ну что же! Бог ему судья! Забудем об этом. А как мы с Владимиром Андреевичем? Чью сторону он примет? Ты, князь Андрей, знаешь ли?

– Нашу! – с твердою уверенностью произнес Курбский. – Был я у него. Когда все пойдут – и он пойдет...

– Правильно молвил князь... Нашу, нашу! – подтвердил Мстиславский. – Тоскует и он.

– Эх-эх, друзья, а как жить-то хочется! Глянем на мир – все движется, все радуется; в Польше у вельмож – праздники изо дня в день, а у нас? – покачал головою Курбский.

– А у нас – покойнички. Синодиками об убиенных все монастыри засыпали... – громко произнес архиепископ Пимен. – Что ни день, то список...

– Душа русская пустынею стала, по которой бродит лев рыкающий... скучает о крови... – подал свой голос молчавший угрюмо князь Михаил Репнин, свирепый, ошетилившийся вид которого привел в ужас сидевшего рядом с ним Фуникова.

– Коли ты уедешь, князь, как мы будем тут знать о тебе и ты о нас?.. Кого мы изберем из малых людей, штоб гонцами нашими быть и вести к нам и до тебя доносить? – спросил Челяднин Курбского.

– С Висковатым сговоритесь... Пускай гоняет по посольским делам Гаврилу Кайсарова да Колымета, а я буду засылать своего стрелецкого десятника Меркурия Невклюдова... То люди верные, надежные.

– В которое время ожидать нам весточку о твоём докончателном сговоре с королем? – продолжал задавать Курбскому вопросы Челяднин.

Все с настороженным вниманием прислушивались к ответам Курбского.

– Скоро... не пройдет и сорока дней от кончины митрополита Макария, как прискачет к вам гонец с моим словом... Во Пскове стану я твердой ногой...

– Псковичи и новгородцы с тобою, князь, в огонь и воду! – торжественно заявил Пимен. – Однако и Москве надобно помене думать о земном благоденствии, о чревоугодии и месте близ трона. О душе подумайте, московские бояре, не пощадите себя во имя правды! Вот мой сказ.

– Передай, преподобный отец, новгородцам и псковичам: будем добиваться правды, не жалея себя и детей своих, – ответил Пимену Челяднин. – Всюду будет наша рука: и в приказах и в воеводствах... Увянут в ней законы великого князя... Все пойдет наперекор ему. А коли он и в самом деле поведет в Лифляндскую землю войско, схватим его там и отдадим королевским людям.

– Этого подарочка – увы! – давно ждет король. Он сумеет отблагодарить вас за это... – усмехнулся Курбский. – Иван Васильевич и мне говорил, будто сам собирается идти на войну в ливонские земли... море отвоевывать... Море! Ему нужно море, и во имя сего проливает он моря крови!..

– Морского разбойника себе в товарищи взял...

– Васька Грязной приволок супостата.

– Схожая братия...

– Вору и слава воровская!

– Корабли водить будет в аглицкую землю.

– Порешить бы и его! – промычал Репнин. – Найти бы такого молодца, штокб придушил его где-нибудь...

– Колымет его знает... Пускай подговорить кого-нибудь...

Отравить бы хорошо, – сказал Курбский. – Море королю – нам суша. Хватит нам своей воды. Через короля мы со всеми царствами сойдемся и по суху... Будешь жить в мире с соседями, весь свет объедешь и со всеми дружбу заведешь: с аглицкими, и с дацкими, и с немецкими людьми, и с франками... без моря!

– Да будет так! – оживился Пимен. – Без своих морей новгородцы весь свет объехали, и везде нас знают и любят и золотом платят за наши товары... Москве, сколь ни прыгай, не перепрыгнуть Новгорода-батюшки... Не посрамить древности!

– Море – бездельная выдумка. Обойдемся и без него.

Сказав это, Челяднин поднялся и, подойдя к Курбскому, обнял его.

– Ну, прощай!.. Храни тебя Бог! Надо расходиться: не подсмотрел бы Малюта со своими поскребцами. Помни, князь, свою клятву... Погибать, так вместе.

– Прощай, добрый боярин, дай Бог нам снова свидеться уже хозяевами на своих землях!

– Дай Бог!

Дьяки Посольского приказа заметили, что царь Иван Ва-

Сильевич в последнее время стал чаще прежнего собирать их у себя во дворце. Беседы его были теперь какие-то особенные, не похожие на прежние. Раньше начинал он прямо с дела, отдавал приказы, посылал дьяков, диктовал грамоты иноземным государям. Теперь долго молча осматривал каждого дьяка, задавал вопросы, что этот дьяк думает о Жигимонде, о хане крымском, об Эрике, о Фредерике датском. Его интересовало, как смотрят дьяки на Перссона¹³ свейского, прославившегося на весь мир своими лютыми казнями, да и что говорят о том на иноземных подворьях.

А к чему это? К чему такие вопросы?

Однажды царь, указав пальцем на изображение своего деда и тяжело вздохнув, сказал:

– Никто не слышал о больших делах его, но подвиги его – суть деяния истинного властителя; при своей великости они совершались невидимо, а Москва стала видимой всему миру. Разновластие князей, владычество татар, кичливость рода Гедиминова, двурушие Новгорода – все, в тихости, с Божьей помощью, одолел он. Не торопился, но был впереди всех. Державу свою поднял высокою рукою, и мне ли умалить ту высоту? Могу ли я отступить от дедовских дел? Денно и ночью молю Господа Бога, чтобы мне быть достойным хранителем дедовских заветов. Я хочу заставить моих людей держать крестное целование грозно и честно, по старине.

¹³ Начальник тайной канцелярии при Эрике Шведском.

Дьяки притихли, стояли ни живы ни мертвы, боясь пошевелиться. А царь вдруг спросил Ивана Колымета:

– Не слыхал ли ты, что болтают на немецком дворе о недуге митрополита?

Колымет смутился, челюсти его задрожали:

– Нет, великий государь, не пришлось слышать.

– Ну, а как ты? – царь указал на другого Колымета, на Михаила Яковлевича.

– Також не ведаю, батюшка-государь, – едва слышно ответил он.

Иван Васильевич, пристально вглядываясь в их лица, молча покачал головою.

Робость нашла на дьяков. Сегодня утром всей Москве стало известно, что прошлую ночью еще два десятка служилых, боярами ставленных людей брошено в пыточную избу. А ведь люди-то те были друзьями многих посольских дьяков. У Писемского часто бывал Юшка Сомов, бывший адашевский дьяк, мало того, приходилось за ним ухаживать, льстить ему, водкою поить. У Никифора Соловья Кузьма Гвоздев, ближний к Колычевым, сватом был, в монастырь к Сергию преподобному вместе ездили. Иван и Михаил Колыметы у Сильвестра на побегушках были – его похлебцы, а теперь... Страшно подумать. О, Курбский! Тебе бы тут быть, да посмотреть, да помучиться! На тебе весь служилый люд держался. Тоже и Микита Сушев, первейшим другом Сильвестра был, а дворянин, оружейник, Нефедов и вовсе полгода

толкался на усадьбе у Адашева. Да и мало ли кто у кого бывал и кто с кем виделся? А многие даже и детей крестить считали за счастье с ныне опальными государевыми вельможами. А если, бывало, бражничать кто-нибудь из них позовет, так после этого плевать на всех меньших людей хотелось! Господи, Господи, прости ты нас, грешных! Кто не любит под бочком у вельможи пригреться, да эту близостью повеличаться, да и выгоду из того извлечь?!

Пот выступил на лицах приказных дьяков. А царь все говорит и говорит – и будто не слова, а булыжники на голову сыплются.

Вдруг Иван Васильевич грозно воскликнул:

– Что же вы притихли? Аль не любы вам мои речи?!

Дьяки вздрогнули.

– Любы!.. Любы!.. Любы, пресветлый государь! Любы!.. – нестройно, испуганными голосами, наперерыв закричали дьяки, и все как один стали на колени, сделав земные поклоны.

Брови Ивана Васильевича гневно сдвинулись.

– Смотрите! Вы думаете, царь простачок и ничего не знает? Ошиблись! Помилосердствуйте. Уделите кроху ума и государю! – Язвительная улыбка мелькнула на лице царя. – Всех переберу, докудова зло не измету! Наш извечный враг король Жигимонд далеко от нас... но я вижу его, собаку, как он бегаёт в ваши подворотни, хвостом вертит и скулит, смущает вас. Мечом не мог одолеть нас – изменою захотел раз-

валить наше царство... Но Бог никогда не забывал Русской земли... Всевышний по вся дни помогал нам, видя скорби наши.

Долго и гневно говорил царь. Изо всех его слов, к которым с жадным любопытством прислушивались дьяки, становилось ясно, что Иван Васильевич задумал великий поход на своих же, на приказных и воинских служилых людей. И у кого была какая-либо тайна, тот холодел от страха, слушая царя.

Юшка Сомов, косоглазый, хитрый адашевский гонец и друг, которому сам Адашев дал кличку «вьюн», решил завтра же оседлать коня, якобы по государевой надобности, на самом же деле, чтобы ускакать в Литву. Там теперь друзей много – скучно не будет!

Оружейник, дворянин Нефедов, давно лелеял мысль скрыться из Москвы вместе со своим верным слугою. Многие дела сотворил Нефедов во зло государю. Известно стало от бежавшего боярина Телятьева, пересылку которого ему передали приезжавшие в Москву польско-литовские люди, что польские паны с радостью примут его; они нуждаются в хороших оружейниках. Да и кое-что мог бы он, Нефедов, поведать королю о слабостях царского оружейного дела и о новшествах, вводимых Иваном Васильевичем в войско.

«Подсеку твою гордыню, батюшка царек, подсеку секирою острою, и ахнуть ты не успеешь!» – злобно думал Нефедов, с умиленной улыбкой кланяясь царю в ноги.

Один из самых приближенных царских дьяков, дворянин Никифор Соловей, тайно доносивший царю на многих бояр, клеветца на честных и обеляя ненадежных, старинный друг озлобленного на царя рода Колычевых, по-собачьи услужливо глядел в глаза царю, выражая всем видом свою готовность привести в исполнение любую меру против неверных бояр.

Царь, видя смирение своих холопов, лежавших у его ног, смягчился:

– Буде я кого из вас обидел, за грехи мои Богу ответчу, за пролитую кровь молиться стану... Неправедной казни избегаю. Да минует и вас змея коварной измены! Да сгинет чудище, коему продали свою душу бежавшие к королю мои холопы! Да растопчет копыто конское их иудино племя, и меч расплаты опустится на их головы! Всеу хлопочут мои неверники, цепляясь за старое. Как старику невозможно вернуть юности, так невозможно и нам с вами воскресить в государстве ушедшее в древность... Развалины прошлого не соблазнят того, кто построил новые чертоги, более светлые, более крепкие, лучше защищенные от ветров и гроз... – сказал царь Иван Васильевич с насмешливой улыбкой. – Токмо безумец может думать о возврате протекшей жизни... Господь Бог дал нам молитвы поминовения, и этот дар принесем в воздаяние праху былой жизни, былых витязей... Бог дал нам многие таланты – и не для того ли даны они нам, чтобы мы добивались лучшего? С Божьей помощью, други, ступим смело по новой дороге в предбудущие времена... Аминь!

Братья Щелкаловы, Андрей и Василий, и многие другие любимцы государя были спокойны, держались просто, не глядели с подобострастием на царя.

Так начался этот день Посольского приказа, день составления грамоты датскому королю Фредерику о том, кому и какими городами и землями владеть у Западного моря.

Было удивительно всем, что Иван Васильевич после такой горячей, взволнованной беседы мог легко перейти к деловым занятиям и спокойно начать разговор об иноземных делах.

Царь приказал дьякам опять и опять напомнить «приятелю и суседу» своему «Фредерику, королю дацкому», что Ливонию он считает своею исконною вотчиной, а если Москва что и берет в Ливонии, то это она берет свое, ей одной принадлежащее. И что московский государь всегда готов быть «союзником и доброхотом Дацкого куролевства».

К тому же он велел написать, что-де «наше царство столь широко и безмерно долго, однакож от всех стран есть заперто к торгованию. От севера нас опоясывает Студеное море и пустые земли. От востока и полудни окружают дивии народы, с которыми никоего торгования быть не может. Торгование азовское и черноморское, кое бы наикорыстнее было, то держат крымцы. И тако нам остаются токмо три от страхов слободна торговища: по суху Новгород и Псков, а на воде Ледовое пристание, но от того выгоды мало, к тому и путь есть неизмерно предалек и трудовен».

Иван Васильевич сказал, прослушав письмо к королю

Фредерику:

– На берегах Балтийского моря два прямых государя – я и Фредерик. Свейский Эрик гнется то туда, то сюда. Скудоумен, задорен, непостоянен. Искал союза со мной, а ныне милуется с послами Жигимонда. Союза ищет с ним против Москвы. А кто же ему поверит? Малые робята знают, – спит и видит Эрик, как бы ему вытеснить из Лифляндии Польшу...

Писемский, умный, уважаемый царем дьяк Посольского приказа, побывавший во многих странах Европы, слушая Ивана Васильевича, недоумевал: на что надеется царь? Стоит ли продолжать борьбу за Балтийское море? Три сильные державы пытаются разодрать по частям Ливонию, их полки уже идут вкупе против царя; Польша и Швеция готовы поднять все державы на Москву. Дьяку Писемскому, как бывалому послу, хорошо известно, какое возмущение поднялось во всей Европе при известиях о победах царя Ивана в Ливонии. Тяжелые грозовые тучи надвинулись на Русь, а государь словно бы этого и не замечает. Упрямо, без усталости, пробиравается на запад.

Ведь уже часть Эстонии захвачена Швецией; остров Эзель стал под покровительство Дании; Лифляндия, вместе с Ригой, добровольно сдана магистрами польско-литовскому королю. Курляндия тоже подпала под его власть. Польское правительство, жадно вцепившись в эти земли, прибегло к хитрости – провозгласило над ними суверенную власть герман-

ского императора. Стало быть, и германские князья держат сторону Польши и Литвы.

Что делать? Не помутился ли рассудок у любимого им, Писемским, государя?

Правда, панская власть, отторгнув громадные участки ливонских земель, как будто стала потише. Швеция тоже делает вид, что согласна прекратить распрю с Москвой. Правда, Польша и Швеция при всем том находятся меж собой во враждебных отношениях. Принужденное их содружество зиждется на том, что они никогда не забывают своего соседства с московским царем. Каждая по-своему мешает плавать русским по морю. Свирепствуют их каперы, грабя и увозя в полон московские корабли, да и те, что плывут в Москву, иноземные, тоже.

Оба правительства заявляют, что они не имеют никакой власти над морскими разбойниками, – они будто «сами страдают от них».

В сундуках Посольского приказа есть литовские грамоты, в которых король требует возвращения обратно Ливонии, Феллина, Дерпта, Нарвы и других завоеванных царем городов.

Царь и слышать об этом не желает. Он приглядывается к войне Швеции с Данией и говорит о своем намерении заключить военный союз с Англией. Он смотрит бодро вперед, тогда как бояре и многие дьяки тяжело вздыхают, в горестном раздумье покачивают головами: «Пошло царь залез в эту ка-

шу?» Многие из них тайно уверяют, что Иван Васильевич «в своем пристрастии к дружбе с Англией» завел Россию в тупик, из которого и выхода теперь нет. Челяднин вслух сказал однажды: прав-де Курбский, советовавший царю заключить союз с Литвой, отказавшись от Нарвы.

И вот теперь: зачем пишется это послание дацкому королю? Дальше в лес – больше дров.

Царь Иван, как бы угадывая мысли Писемского, хлопнул его по плечу, весело рассмеявшись:

– Грызутся они там из-за нас... Нарвское плавание королю дацкому и Любеку – выгода! Любек торговлишкой обогащается, а дацкий Фредерик пошлиной... Обирает в проливе Зунде купчишек, везущих товары мимо него... Август Саксонский – и тот против Эрика пошел. Не мешайте-де той торговле... Не чините помехи плывущим в Нарву! Вот почему будем держаться Дании. Мне не Англия и не Дания дороги, – дорога Нарва, наша Нарва!

Царь упрямя. Никого не слушает.

Польские и литовские паны тоже упрямы и воинственны. Они не уступят. Они не верят царю. Они опасаются его.

Совсем недавно литовский гетман Хоткевич пытался вторгнуться в пределы Московского государства, однако был наголову разбит Курбским. В начале сего 1563 года большое московское войско, предводимое самим царем, осадило и взяло приступом крепость Полоцк, а передовые русские отряды и вовсе подошли к Вильне, к самой столице Литвы.

Польша поняла, какую силу представляет собой ее сосед. Эрик Шведский тоже не унимается, хотя вид пытается казаться миролюбивый.

Рассердившись на Данию и Любек, а кстати и на Августа Саксонского, он написал германскому императору жалобу на них... В ней он грозил императору, что-де великая опасность для всех христианских государей от торговых сношений ганзейцев с русскими... Он жаловался и на французского и испанского королей, поддерживавших «нарвское плавание». Эти короли тоже требовали свободного плавания по Балтийскому морю.

Обо всем этом знал дьяк Писемский и ничего не ждал хорошего от всевропейской распри из-за «нарвского плавания».

Того и гляди германский император поднимет крестовый поход против Москвы.

И все рухнет... Вся надежда на торговлю с Нарвой!

При слабом свете лампы низко склонился над листом бумаги седой как лунь протопоп Феофан. По воле болящего митрополита писал он для «Четий-Миней» о том, как семьдесят двух человек русских мирных жителей замучили ливонские немцы.

«Мы скоро преставимся, и аз предвижу свой конец, – говорил Феофану тихим, болезненным голосом Макарий, – но пусть наши дети и внуки знают о мучениях, коим подвергли

их предков те злохищные немцы в Юрьеве-городе!..»

А случилось это при великом князе Иване Третьем. Рыцари, обозлившись на священника Исидора, настоятеля церкви святого Николая в русской слободе города Юрьева, набросились на него во время крестного хода, сначала избили его, затем раздели и вместе с женщинами и детьми спустили в день Богоявления под лед, в прорубь. Ни мольбы, ни вопли матерей, ни детский плач – ничто не подействовало на немецких рыцарей...

Кто-то постучал.

Протопоп вздрогнул. Отворил дверь.

Старец Зосима, один из старых друзей его. Теперь он поборник иного толка, исповедует уставы заволжских старцев, нестяжателей.

Помолился Зосима на иконы, поклонился Феофану и с тихой укоризной в голосе молвил:

– Паки и паки молю тебя, старче, не прельщайся славою царского пса!..

Покачал головою протопоп и ответил, тяжело вздохнув:

– Пошто жить, понеже лицо отвернешь от родины своей, в келью уткнешься, яко мышь в норе, и света Божьего не видишь?

Зосима, старик с острой седой бородой до пояса, засмеялся, оскалив большие белые зубы:

– Осифлянин, молись, а злых дел берегись! Бог видит, кто куда идет. Вы народ обманываете. Царю угождаете. Но прав-

ду от людей утаишь, от Бога нет. Бог один, а живых царей много... Мотри, старче, берегись!.. Бог виноватых найдет!

Феофан нахмурился и, не оборачивая головы к Зосиме, сказал недовольно:

– Полно лаять! Наш Государь есть Богом венчанный помазанник, чтоб править ему, как на то будет воля Господня. Осударь наш батюшка за всех нас страдалец и ответчик, а нам ли судить дела его?

– Государь ваш сцапал в единую длань не токмо дела земные, но и небесные. Он хочет пригнуть к стопам своим и церковь Божию, а вы, несчастные, в том ему угождаете. Достойно ли то? Покойный старец Вассиан перед кончиной проклял всех вас, осифлян!.. Праведник прозорливец напрозорчил гибель царскому роду... Опомнись, протопоп!

Зосима стал говорить о том, что царь лют, несправедлив, что Бог от него отступился и бесы влезли в царские чертоги, что Вассиана, главу заволжских старцев-нестяжателей, почитают такие князья, как Андрей Михайлович Курбский, Челюднин и другие.

– Пошто к лику святителей соприсчислили вы усопших князей и мнихов, кои деспоту московскому угодны?.. Пошто восхваляете вы их в своих новописанных лжеучителем Макарием книгах? Пошто иконы угодников иных княжеств похитили и заковали в золото московских иконостасов? Или вы почитаете Москву святее всех городов на Руси?

В сумраке мрачной кельи Зосима, с блестящими глазами,

источавшими злобу и ненависть, размахивая длинными сухими руками, выглядел зловещим привидением, явившимся искушать его, Феофана, именно в ту минуту, когда он, выполняя волю своего умирающего наставника и друга митрополита Макария, торопился писать, чтобы успеть...

Протопоп отложил свое писание в сторону и грузно поднялся со скамьи.

– Перестань лаять! – гневно сверкнув глазами, крикнул он. – Еретик! Ступай прочь!

– На-ко тебе! – затрясся в злобном смехе Зосима. – Не люблю слушать правду, царская ехидна, ласкатель проклятый!

Схватив свой посох, протопоп с силой ударил им старца Зосиму.

– Вот тебе, василиск адов! Вот тебе. Не мели, чего не след!.. Царь – наш спаситель!

Старец сначала оцепенел от боли и неожиданности, потом и сам замахнулся посохом.

В это время дверь отворилась, и в келью вошли монахи с секирами, сторожа митрополичьего подворья.

– В железа его! – крикнул Феофан, указав на Зосиму. – В темницу!

Дюжие чернецы накинулись на старца, поволокли его вон из кельи на митрополичий дворик.

Здесь уже бодрствовали монастырские кузнецы, черные, косматые. Неторопливо, с шутками и прибаутками, принялись они за работу. Крепко заковали ноги старца в кандалы.

– Проклятие вам! Слуги сатаны! Про-о-кля-а-а-тие!

Протопоп сказал что-то на ухо начальнику стражи, громадного роста пухлощекому монаху с секирой в руке. Тот кивнул головой. Стража на руках понесла отчаянно барахтавшегося старца.

Сквозь крохотное оконце пробиваются слабые лучи дневного света. Они падают на лицо царя Ивана и Марии Темрюковны. Только царская чета да конюший Данилка Чулков находятся здесь, где накануне совершилось замечательное событие: грузинские князья поставили здесь подаренного царице кабардинского коня. Вот он! Черные, прекрасные глаза царицы смотрят с восхищением на живой, подвижный стан, на беспокойно насторожившиеся глаза и уши коня, на его золотистую гриву и шелковую спину. Конь горячо дышит, не стоит спокойно на месте. Он готов вырваться из своего стойла, он никак не может примириться после горных просторов с этой полутемною каморкой конюшни.

Царица слышит – Иван Васильевич дотронулся до нее, тихо зовет ее обратно во дворец, но трудно ей оторвать взгляд от красавца-коня. Ей вспомнились цветущие зеленые долины, убеленные снегами гребни гор, над которыми царят небесные светила и орлы; вспомнились бесстрашные всадники, скачущие над бездонными пропастями, спеша с бранного поля к своим мирным аулам, где их ждут уют и ласка... Ей страстно захотелось и самой, вот теперь, сейчас, как

встарь, скакать на коне, скакать навстречу ветру, навстречу солнцу, хочется забыть, что ты – царица, забыть дворец и придворный почет, который утомляет, связывает, обезличивает... Долой стражу, эту скучную молчаливую толпу телохранителей, которые мало чем отличаются от тюремщиков!.. Душа просит свободы, простора, того, чем пользуется самый последний горный пастух и что недоступно ей, царице, повелительнице!..

– Государыня, очнись!.. – засмеялся Иван Васильевич. – Твой конь... Охрана надежная...

– А коли мой он, государь, – сказала Мария Темрюковна, – так дозвожь мне сесть на него и скакать по государеву двору.

– Может ли то быть? – вскинув брови, в удивлении пожал плечами царь. – Не зазорно ли царице на виду у холопов скакать на коне, подобно казаку либо татарину?

– Сгони пока с государева твоего двора всю челядь... Не обижай меня, дозвожь!..

В ее глазах нежная грусть и мольба, и не мог никак государь сдержаться, чтобы вдруг не обнять ее и не облобызать... Потом, вспомнив, что они не одни, что поодаль стоит конюший, он зло поглядел в его сторону, громко крикнув на него: «Пошел, боров! Кликни Федьку Басманова. Чтоб бежал сюда!»

Конюший исчез.

Царские аргамачьи конюшни, где стояли государева седла аргмаки, жеребцы и мерины, находились у Боровицких

кремлевских ворот. Здесь же была и «санниковая конюшня», в которой помещались санники, каретные и колымажные возники¹⁴.

В летнюю пору большую часть коней отводили в Остожье, на государев Остоженный двор; там и гоняли их на богатые травую москворецкие луга под Новодевичьим монастырем, а теперь кони стояли в кремлевских конюшнях.

Иван Васильевич молча любовался своею супругой, ее возбужденным лицом с раскрасневшимися щеками, горящими восхищенно глазами.

– Ты что, батюшка государь, так на меня смотришь?

– Смелая ты!.. Улада моя... Не приключилось бы беды?

– Полно, государь... С малых лет на конях. Не боюсь коня... ничего не боюсь!.. – Она с задорной усмешкой посмотрела на царя.

Ивану Васильевичу очень нравился неправильный выговор плохо знавшей русский язык царицы Марии. К ней это очень шло.

Вернулся Данилка Чулков с Федором Басмановым.

– Федька! Возьми стрельцов, разгони дворню с государева двора да пошли татар, чтоб коня сего отвели во двор, – приказал царь.

Высокий красивый юноша, Федор Басманов, низко поклонился сначала Ивану Васильевичу, а затем царице и быстро скрылся в дверях конюшни.

¹⁴ Упряжные лошади.

– Вот какие у меня молодчики! – тихо сказал царь, кивнув вслед Басманову.

Боярин Фуников и князь Репнин, выйдя из храма Успения и увидев двух дьяков, которые, сгорбившись и растопырив руки, прильнули лицом к ограде государева двора, остановились.

– Пойдем заглянем и мы, – прошептал Фуников.

– Противно!.. Бок о бок с худородными, – недовольно пробурчал Репнин.

– Апосля отплюнемся... – дернул его за рукав Фуников.

– Ну да ладно, – махнул рукой Репнин. – Все одно уж опозорены.

Как и те два дьяка, прильнули и они к ограде и стали вглядываться в щель между досок.

Они увидели то, что и во сне им никогда не могло присниться, а если бы и приснилось, то они с испуга начали бы так кричать, что всех бы домашних своих уродами сделали.

А тут и кричать-то нельзя, потому что совсем недалеко у забора стоял сам государь.

– С нами крестная сила! – прошептали оба.

Прямо на них бешено неслась лошадь, а на ней верхом сидела царица. Волосы ее развевались по ветру, глаза сверкали, она громко гикала, размахивая кнутом. На самой короткой, подбитый мехом кафтанец, какой-то рудо-желтый чешуйчатый кушак шамохейский, чоботы турские, тоже желтые, бу-

сурманские, и шальвары стеганные бусурманские... Срам!

– Гляди! – зашелестел в ухе Репнина шепот боярина Фунникова. – Ведьма! Настоящая ведьма!

– Бусурманка проклятая, испугала как! – тяжело отдуваясь, проворчал Репнин.

– Гляди, князь... Сам-то ослабился, ровно бес...

– Он и есть бес!.. В преисподней бы им обоим...

– Ой, какой грех! Баба в татарских портках... Петрович, успокой... сердце холодеет.

– Челяднину надобно поведать. Пушай смутит церковную братию.

– Гляди, Михаил Петрович, лошадь совсем загнала... Едва дышит конь...

– Баба кого хошь загонит, особливо такая... Та была хороша, а эта еще лучше!

– Остановилась... Конь весь в мыле... Царь снимает ее... Тьфу ты пропасть! Господи Боже мой! Грех-то какой... в портках...

– Бес не ест, не пьет, а пакости делает... У нас ему простора много...

– Снял. Держит ее на руках... Силища-то какая! Оба смеются... Она, будто не супруга, а девка блудная, сама виснет на нем... Господи, до чего дожили!

– М-да, царек... бодучий!.. Куды тут. Што и говорить: рогом – козел, а родом – осел. Не то еще увидим...

– Ах ты, мать твою!.. Согрешишь, ей-Богу!.. Стерва!..

Гляди, и лошадь в морду лобызает... Сперва царя, потом лошадь... Што ж это такое!

Репнин зло рассмеялся:

– Так ему, глупцу, и надо... Одна честь с жеребцом!.. Правильно!

Вдруг позади раздался грубый голос:

– Эй вы, други! Негоже так-то!.. Отойди от ограды!..

Оглянулись – Малюта! «Штоб тебя пиявка ужалила!»

Сидя на коне, Малюта низко поклонился боярам.

– Не узнал... Винюсь! – сказал он с особою, пугавшей всех почтительностью.

Как это не узнать? Боярина сразу по шапке видать. Но разве осмелишься сказать Малюте, что он кривит душой? Князь Михайла Репнин уж на что прямой человек, и тот ничего не нашелся сказать в ответ на Малютины усмешливые слова.

Поклонились бояре и заторопились к своим колымагам, ожидавшим на площади.

А Малюта поскакал к воротам государева двора. Здесь он проверил стражу: все ли на своих местах и хорошо ли «оружья».

Тайным крытым ходом царь и царица проследовали во дворец.

VII

Василий Грязной стал тяготиться своей супругою Феок-

тистой Ивановной. Теперь, когда он так приближен к царю, когда пирует с ним за одним столом да еще вдобавок попал в большие начальники – сотником на Пушечном дворе, – теперь будто Феокиста Ивановна уже ему и не пара. На все-де свое время! Добро, думал он, что она набожна, строго постничает, пускай целомудренна и покорлива, пускай будет она хотя бы святой праведницей, все одно – не то... не то!.. А главное, никакой любви к ней нет. Прощай! Довольно пожили. В монастырь тебе, голубица, пора, грехи мужнины замаливать.

И людей-то как-то стыдно, что такая простая, обыкновенная женщина – супруга знатного дворянина. Ни слова путевого от нее не услышишь, ни ласки бойкой не увидишь, проста, нет в ней и гордости, как у боярынь, и игривости в глазах, чтобы мужу было удовольствие... Ну, разве можно ее сравнить с боярыней Агриппиной? При великой скромности Агриппина умеет грешить, умеет и замаливать свои грехи. Грех и молитва рядышком живут.

С такими мыслями он поздно вечером подъехал в возке к своему дому. Отдал вожжи конюху, а сам побежал по лесенке к себе в дом.

Дверь отворила, как всегда, Аксинья. В темноте наскоро лобызнул ее, она вздохнула: «Иссушил ты меня!» Ответил шепотом: «Желай по силам, тянись по достаткам. Побаловались, и ладно». Оттолкнул, вошел в прихожую, снял теплый охабень, обругал Ерему-конюха, неожиданно вылезшего из

темноты:

– Ты у меня мотри, около девок не блуди! Засеку до смерти.

Ерема удивленно разинул рот – никакого блуда у него и на уме не было. Он просто украдкой дремал в углу.

Помолившись, Грязной нехотя ответил на поклон вышедшей навстречу жены.

– Чего это ты такая румяная?

– Будто всегда я такая, батюшка Василь Григорьич, – смиренно ответила Феоктиста Ивановна.

– То-то и дело, што не всегда, – заметил он, подозрительно оглядывая ее с ног до головы.

– Да што ж это с тобою, государь мой? – готова была расплакаться она.

– Правды хочу, чести, ан этого и не вижу...

Феоктиста Ивановна окончательно растерялась.

– Бог тебе судья, Василь Григорьич!.. Все не так, все не по тебе... Уж, кажись, худчее меня никого и на свете нет...

– Жена! – гневно вытаращив глаза, крикнул Грязной. – Не подобает бабе мужа поучать! Отвечай: пошто детей не рожашь? Коли жена склонна ко благому житию, она плодовита есть, а коли жена подобна сухой смоковнице, стало быть, она неплодна и место ее единственно лишь во святой обители...

Феоктиста Ивановна сидела у стены на скамье, потрясенная словами мужа. Обида была так велика, что она не могла и слова молвить.

– Супружескую тяготу, – продолжал Грязной, видя ее смущение, – я, подобно древнему праведнику, несу с терпением, без роптанья. Коли нет у нас доброй любви с тобой, не согласнее ли тебе удалиться в монастырь, украсившись иноческим саном?

Этого Феоктиста Ивановна не могла стерпеть. Собралась с силами и храбро сказала:

– Наскучила я тебе, так отпусти... уйду... Бог с тобой!.. Живи без меня, как хочешь.

Василий Григорьевич оторопел. Никогда раньше он не слыхивал таких дерзких речей от своей супруги. А теперь она стояла у стены, побледневшая, гневная, непокорная, вызывающе вытянувшись... «Господи помилуй! Что это с ней?» У него вдруг мелькнуло: «Какая, однако, у Феоктисты красивая, высокая грудь!»

– Не испугалась я! – крикнула она громко и дерзко.

Вот тебе и на! Грязной сразу осел. Теперь он был вконец озадачен. Сидел, как пришибленный, стараясь не встречаться взглядом с женой.

«Что с ней? – продолжал он про себя удивляться. – этак она меня и прихлопнуть может... Ночью... Во сне. Моим же мечом, а то и шестопером!»

– Иль тебе приглянулась другая? – с невиданной доселе яростью и злорадством продолжала Феоктиста. – Иль тебе захотелось бросить меня? Ну што ж. Бросай! Я и сама уйду. Не цвету я в твоих хоромах, мучаюсь!

«Ой, ой, ой! – всполошился озадаченный необычным видом жены Василий. – Вот тебе и монастырь! Ах ты, змея подколотная! Ах ты, ведьма! Ишь ты, расходилась».

– Феоктистушка! – начал было он, притворившись ласковым.

– Молчи, слуга сатаны! – пронзительно взвизгнула она.

Ее трудно было узнать. Какой-то новой, чужой показалась она и наблюдавшим за ней через щель в двери дворовым. У Аксиньи-девки мурашки по телу забегали: уж не из-за нее ли ссора?

И вдруг страшный крик огласил дом Грязных. Рыдания вырвались из груди Феоктисты Ивановны. Девушки в страхе убежали, попрятались по углам. Василий вскочил, растерявшийся, испуганный. Он попробовал было подойти к жене, но она его больно пнула ногой.

Грязной, наскоро одевшись, выбежал в сени.

– Эй! Ерема, седлай коня! – зычно гаркнул он.

Коренастый, широкоплечий, с виду вялый, медлительный, стоял перед Иваном Васильевичем Малюта. Разговор шел о Курбском. Царь, получив из Юрьева уведомление о прибытии туда князя Андрея Михайловича, расхваливал князя за его светлый ум и благородство.

– Наши бояре и князи – круглые, как есть, невежды и не только подписом руки крестоцеловальной грамоты не мощны украсить, да и молитвы Господней прочитывать не горазды.

Честолюбия ради враждуют меж собой, местами считаются, дабы ближе к царю сесть, но не велика слава государя, коли ближние к нему бояре темны и достойны места не в Боярской думе, но подлинно в кротовой норе... Курбский Андрей зело начитан и воинской доблестью украшен с юных лет... Ты, Григорий Лукьяныч, смел, правдив, но кто ты и давно ли тебя царь в свои палаты ввел? Позорящего ничего о князе не говори... и не слушай, что завистники и нечестивцы болтают. Князь – мой друг! Знаю, своенравен он, горд, но царю – верный слуга.

Малюта слушал Ивана Васильевича, глядя исподлобья. Царь не убедил его. Он, Малюта, остается при своем.

– Воля твоя, государь, однако дозвожь и малому слуге твоему иметь суждение смелое, нелицеприятное... Не быв в знатности, не привык я скрывать свои мысли и говорить только такое, что было бы по душе моему государю. Совесть моя не терпит утайки, ибо ближнего места я у трона не ищю и вотчин не добиваюсь...

– Один старец в Троицкой обители сказал мне... – перебил Малюту царь. – М-да... Он сказал мне: «Обрубая сухие сучья на дереве, не посеки самого дерева». Много думал я над теми бесхитростными словами. Не сгубил ли я нужных мне холопов? Мало знаю я своих людей... Бог ведает, не надрубил ли я уж и самого дерева? Страшусь! Знайте меру и вы, чтоб, ради угождения царю, не причинить ему своим усердием зла. Замечаю, Григорий: нашлись у меня и новые слуги,

своекорыстнее, чем старые холопы, стали зазнаваться, волю забирать более положенного.

Пристальный взгляд царя не смутил Малюты.

– Твое справедливое упрямство и жесточь расположили мое сердце к тебе. Но и в лютои держись меры. Свирепость палача я могу добыть на деньги, за кусок хлеба, а слугу разумного, христиански-справедливого, не своекорыстного, а единственно блага желающего царю ищущу я с давних пор... Ошибусь в тебе, нет ли – увижу в будущих днях. А Курбский служит мне давно. Не он ли разбил магистровых рыцарей под Вейсенштейном и Феллином и взял самого магистра в плен? Не он ли бил под Витебском Литву, огню и мечу предал многие села в Литве? А кто изряднее Курбского наказывал крымцев?!

Малюта продолжал глядеть с недоверием, слушая царя, а когда тот закончил, с гордой настойчивостью, поклонившись, сказал:

– В судьи не гожусь я, государь, но ежели бы Господь Бог и мой земной владыка дали мне власть карающую, осудил бы я того князя Курбского прежде, нежели учинит он зло родной земле.

Иван Васильевич удивленно вскинул бровями. На лбу его собрались морщины, в глазах сверкнуло неудовольствие.

– Опомнись, Малюта!.. Судьей над столь родовитым и доблестным князем может быть только ваш государь, а никто из его холопей. И ты, Лукьяныч, смири норы свои и впредь

службою не по чину перед своим царем не красуйся... Знайство – наибольшая опасность для холопа.

Царь прошелся по палате и на ходу сказал, как будто разговаривая сам с собою:

– Герцог свейский Иоганн растерзал раскаленными клещами свейского наместника в Гельмете Ягана Арца. Якобы Ари тайно служил мне, изменил герцогу. А я и не знал никогда того человека и дел никоих не имел с ним! Зря того Арца сгубили!

Малюта опустился перед царем на одно колено.

– Прости, государь! Видит Бог – не ради себялюбия, но ради пользы царства твоего говорю я. Царская милость, на лукавстве раба возросшая, столь же непрочна, как бы тяжелый камень на тонкую дратву положенный. Лукавство в единый миг может раскрыться перед очами государя. Мое слово государю я вражеской кровью омываю. В другой раз прошу прощения, коли не по чину слово молвил. Но верь, государь, пощады твоим недругам от меня никогда не будет, кто бы они ни были.

Иван Васильевич улыбнулся.

– Встань! Впредь не досаждай мне докучливыми извещениями... Недостойно то седеющий бороды твоей.

После беседы с Малютой, войдя в покои царицы, Иван Васильевич устало опустился в большое обитое узорчатым шелком кресло.

Царица Мария, с распущенными до пояса черными косами, сидела за прялкой в шелковом розовом сарафане, плотно облегавшем ее стройный величавый стан. Она быстро поднялась и низко поклонилась царю.

– Вспомнил меня, государь? Бог спасет тебя!

Иван Васильевич улыбнулся.

– Добро! Ты гневаешься? Молви ж, чего ты хочешь от царя.

Мария Темрюковна замялась, с трудом подыскивая нужное слово. Она не знала многих русских слов, хотя ее каждодневно учили русскому языку двое посольских дьяков.

Иван Васильевич порывисто встал с кресла и нежно обнял жену.

– Царица! – тихо сказал он, прильнув к ее теплой, пахнувшей розовым маслом шее. – Поехать бы нам с тобой с Божьего благословенья к твоим родичам, в горы, к теплому морю... Крепость я приказал поставить там, чтобы защищать горскую землю от турок и крымского хана. Та земля отныне будет наша. Твоих братьев Темрюков поставлю начальниками над войском... Там светить нам будет горное солнце, там теплые ветры обласкают мою душу. Я стану сильнее и оттуда учну править моей землей. Мария, найду ли я там верных людей?

Лицо Марии Темрюковны осветилось восторгом; она указала рукой на большой серебряный отцовский кинжал, украшавший стену над ее постелью.

– Заколи меня, буде неправду говорю. Там...

И торопливо, взволнованным голосом, она, подыскивая русские слова, мешая их с горскими, стала рассказывать, как прекрасна ее страна, какой честный и храбрый народ там, как хорошо им будет обоим; там живут ее родители; их дворец будет достигаем только для облаков и горных орлов; в темнеющих небесах царь увидит, как рождаются беспечные звезды, о которых в горах поют песни, называя их «цветами любви». Там не надо никого казнить, а надо любить. Он, царь, в золотом дворце на вершине горы будет петь свои любимые стихиры, играть на своих любимых гусях, а она, царица, будет слушать его. А по утрам на гранитной скале она будет возносить молитвы Всевышнему о продлении царю жизни на долгие годы...

Иван Васильевич с грустной улыбкой слушал горячие, торопливые слова жены. Он усадил ее рядом с собой и, прижавшись щекой к ее голове, жадно впитывал в себя каждое ее слово.

– Здесь горе, обида, измена... Плохо здесь!

Слово «измена» Мария Темрюковна сказала с особым ударением.

– Там мой отец, мои братья, мой народ... Ой, ой, заколют изменников они и бросят вниз... глубоко... туда... в пропасть... Там острые камни... Острые! Горный поток унесет изменников...

Царь нежно поцеловал ее.

– Гоже слушать тебя, моя царица!

Поднявшись, Иван Васильевич тяжело вздохнул.

– Ты вздыхаешь? Тебе скушно... Анастасия!.. Опять? – спросила царица, змейкой обвилась вокруг мужа, в черных глазах – жгучий блеск ревности.

– Не о том мои думы... Еще двое бояр да с ними дьяки тайно из Москвы отъехали... Послал вдогонку Суровцева с казаками, и те все скрылись: «не хотим-де мы служить царю Ивану и по той же дороге к польскому королю уйдем!» Леснику они то сказали. Пытали мы лесника, а он поклялся, будто ничего, опричь тех слов, не слыхивал от Суровцева... Кому верить? Малюта говорит: никому не надо верить! И Курбского он оговаривает... Курбского!..

– Что я знаю? Не знаю никого... Никто мне не люб, батюшка государь!.. Уедем в горы, к отцу!

Иван Васильевич горько усмехнулся:

– Что же будет с моим царством, с Москвой, коли и царь утечет? Каков бы жребий мой ни был – нет мне дороги на сторону! Терпеть до конца – мой удел.

Мария Темрюковна нахмурилась; на переносице обозначились черточки недовольства, глаза ее метнули строгий взгляд в сторону царя.

– Они убьют тебя... отравят...

– Что Бог даст... Мария, но мне ли Москву бросить? А Русь? Большая она. Многоязычная. Беспоконная. О Русь!..

После недолгого молчания добавил:

– И молодая... и еще глупая!.. Вчера, – сказывали пристава, – девки бесстыдно оголились и дацким послам срамные места казали... Пристава захватили их, пытали. Пошло срамились перед чужеземцами? А они ответили: «Што, мол, за диковина? Пушай смотрят нехристи, а в другой раз не поедут к нам...» Послы своему королю расскажут, а я мню союз с ним учинить... Велел я девок тех в пыточную избу забрать да батожьем посечь, чтобы государеву землю не соромили. С дацкими послами о море крестоцеловальную грамоту хочу вчинить, а они кажут... Море надобно, пойми, государыня!.. Дацкий король воюет со свейским. Стало быть, мне с ним в дружбе быть. Подобно польскому и свейскому королям, настало и мне время своего корсара пустить в море. Хочу в мире жить с дацкими людьми. Вникни, государыня. С востока мы, с запада Фредерик свейских каперов учнет теснить... да и королевских тоже...

Мария Темрюковна еще крепче обняла его.

Иван Васильевич отстранил ее руки, продолжая говорить как бы про себя:

– В тисках был я с малых лет... Не волен я и ныне в себе. Да и жить не умею... Что есть жизнь – не ведаю. Править царством учусь... А ныне вот и митрополит занемог... Церковь осиротеет. По ночам, во сне, я вижу, как на меня смотрит множество глаз... Темно... Ночь... Вы все спите... А я отгоняю от себя эти глаза... За ними тьма... Русь! Меня зовет земля!.. Что боярину можно, то негоже царю... Страшно, Мария!

Иван Васильевич схватился за голову.

– Нет!.. Прости, Господи! Не ропщу я... Макарий умирает!.. Брат Юрий преставился. Кругом покойники. Помолимся, Мария.

Оба опустили на колени.

– Спаси нас!.. – едва слышно прошептал царь. Молодое, мужественное лицо его вдруг покрылось морщинами, постарело...

Своей рукой он сжал руку стоявшей с ним рядом царицы.

– Ой! – съежилась она. – Рука – лед!..

Злая улыбка скользнула по губам царя.

– Бойтесь меня, – прошептал он.

VIII

Наливки – ранее глухой, безлюдный уголок Москвы – в последние два-три года стали совсем уже не таким глухим уголком, как в былое время. Правда, эта часть яузского побережья все еще была густо покрыта деревьями и кустарниками, но уже повсюду в чаще протянулись частоколы да изгороди, и стоило углубиться подальше в рощу, как можно было увидеть не одну и не две затейливые новостройки.

Здесь же находился и обширный постоянный двор, воздвигнутый датскими купцами для приезжавших из Дании в Москву торговых людей. С тех пор как Нарва стала вновь русской, в Наливках одно за другим вырастали иноземные

подворья. Оттого и окрестили эту местность – Иноземная слобода.

В «дацкой избе» проживал приставленный к датчанам дьяк-толмач Илья Гусев.

Гусев чувствовал себя в этом доме полным хозяином и принимал гостеприимно, толстотрапезно приезжавших из разных слобод иноземных и своих, московских, друзей. Питейная услада привлекала сюда людей различных вер и национальностей.

Место тихое, невидное, занесенное снегом так, что и самая изба давала о себе знать только крышею с трубой да выглядывавшими из сугробов слюдяными оконцами. Кому из начальства была бы охота сюда забиваться? Никто никогда сюда и не заглядывал, кроме гусевских приятелей-питух.

Гусев бывал в Пруссии и Дании, целый год прожил в Копенгагене и научился говорить по-датски и по-немецки. В Посольском приказе значился как «муж государственный, ко многому зело способный, но в хмельном неустойчивый и по этой причине к посольской работе не всегда пригодный».

Гусев и сам не расположен был к исполнению более важных дипломатических поручений. Лучше того места, на котором он теперь находился, ему трудно было и придумать. Забыли? Ну и слава Богу, что забыли! К лучшему! Время-то какое. Тише едешь – дальше будешь.

Среди его друзей было несколько немцев: вестфалец Генрих Штаден, уроженец Померании Альберт Шлихтинг, тол-

мач, немецкий юрист, богослов Каспар Виттенберг, купец Генрих Штальбрудер и поступившие на службу к царю ливонские немцы Иоганн Таубе и Эларт Крузе. Все эти немцы любили посещать «дацкую избу», в которой постоянно бывали и голландцы, друзья московского купца Степана Твердикова. Всех их тянуло сюда хлебосольство Гусева и возможность вести веселую беседу с москвитями на своем родном языке. Много ли таких-то в Москве?

В этот вьюжный, обильный снегопадом день в «дацкую избу» забрели Таубе, Крузе, Штаден и другие немцы. Закутанные в меховые плащи, в сапогах из меха, они грузно ввалились в переднюю горницу гусевского жилища, обдав вышедшего им навстречу дьяка Гусева холодом и мокрым снегом.

Сняв с себя меховые кафтаны, выданные им из царевой казны, немцы бурно приветствовали гостеприимного дьяка. Низкорослый, простоватый на вид, с реденькой бородкой, он напоминал простодушно улыбавшегося русского мужичка, еще не старого, пухлого, румяного. Неторопливо, отвешивая до пояса поклоны, приветствовал гостей на немецком языке.

В следующей горнице немцы увидели стоявшего у стены до уродливости высокого, хмуро, исподлобья глянувшего на них иностранца. О том, что он иностранец, нетрудно было догадаться по его одежде и по выбритому лицу. Его большая с львиной гривой голова почти касалась потолка, ноги были упруго расставлены, а руки заложены за спину. Создавалось впечатление, будто бы этот великан поддерживает свою го-

ЛОВОЮ ПОТОЛОК.

Немцы с особым уважением поклонились ему, ибо что может быть в их глазах почетнее силы?! Сильный всегда выигрывает. Штаден и его друзья были в этом твердо убеждены.

Гусев познакомил великана-иностранца с немцами, назвав его «украшением западных и северных морей, славным атаманом Керстеном Роде». Хитро улыбаясь, дьяк следил за выражением лиц у своих гостей.

Он знал, как ревнивы были немцы к иностранцам, приехавшим в Москву из других западных стран. Немецкие купцы с особым усердием старались склонить своего императора на союз с московским царем.

Гусев указал каждому из них место за столом.

Появилось и вино – два больших кувшина, – а к нему мясо, рыба и другие кушанья. Все это приносил стрелец, карауливший датскую избу.

Висковатый и дьяк Андрей Васильев, ведавшие Посольским приказом, не жалели денег на угощение чужестранцев в «дацкой избе», поскольку Илья Гусев кое-что выведывал у хмельных своих гостей и доносил о том Посольскому приказу. На днях Гусев извлек из кармана пьяного немца Сент Вейта письмо в Вену, к императору, а в том письме было сказано, что «около одной деревни есть соляные варницы, у города, „Новая Россия“ называемого: недалече же от того места соленое озеро находится и оттуда весьма довольно твердой соли достают и варят, так что россияне и малейшего

недостатка в соли не имеют. Есть еще и другие соляные заводы недалеко от Нова-города. Мнение о том, что в сих местах соли нет, – несправедливое, и через Нарву можно было бы ее во множестве вывозить, о чем и докладываю вашему величеству».

За доставку этого письма Посольскому приказу Висковатый передал Гусеву цареву благодарность...

Гусев стал усердно угощать немцев и Керстена Роде, наливая до краев объемистые чарки и подвигая каждому блюда с едою. Сам он закусывал только хлебом да чесноком по случаю рождественского поста.

Генрих Штальбрудер подтрунивал над постничеством Гусева. Вздумал было высмеять поклонение иконам, сославшись на пятую главу «Второзакония» и на послание Павла к коринфянам о том, чтобы люди «не делали себе кумиров». Однако Виттенберг его остановил, сказав, что каждому человеку дорога вера его отцов и смеяться над иконами не велика доблесть.

Сам дьяк хранил полное молчание, не выдавая своего гнева. Посольская работа приучила его скрывать свои истинные мысли и чувства. Этим искусством он вполне владел.

Вестфалец, шустрый, молодой Генрих Штаден, заговорил о жестокостях, творимых вторгнувшимися в Лифляндию финнами. На его глазах они казнили обвиненного в измене графа Иоганна Арца, шведского наместника в Гельмете. Палачи растерзали его раскаленными докрасна щипцами.

– Было темно... огни костров... привязанный к столбу человек... – говорил тихо, опасливо оглядываясь по сторонам, Штаден. – Палачи, словно бесы, ловко прыгали вокруг Арца, вырывая из него куски мяса раскаленными клещами... Мне казалось, что я нахожусь в аду... на том свете... Большой выдумщик финляндский герцог Иоанн! Арца считали тайным слугою вашего царя.

Гусев качал головою, удивленно расширив глаза и приговаривая: «Может ли то быть?!»

Генрих Штаден рассказал кое-что и о себе.

Его скитания заинтересовали слушателей. Он попал в Ливонию в то время, когда разгорелась жестокая междоусобная борьба двух братьев: шведского короля Эрика XIV и Иоанна, герцога финляндского... По его словам, трудно было ему, бедному немецкому человеку, заниматься торговлей на базарах в Ливонии. Его ограбили дочиста ландскнехты шведского короля. Мало того, ему, Генриху, пришлось посидеть в тюрьме. Выйдя на свободу и насмотревшись на ливонские «порядки», Штаден решил бежать в Московское государство. Так ему советовали латыши, которые расхваливали русских людей и бранили ливонских рыцарей, угнетавших латышский народ.

Штаден сказал, что он еще у себя на родине слышал о воинских успехах московского царя, о богатстве русских городов, о гостеприимстве москвитов.

Генрих возвел глаза к небу, как бы благодаря Бога за то,

что он помог ему, бедному немцу, добраться до Москвы. Теперь он толмачит в Посольском приказе. Штаден сказал, что это великая честь для него.

Никто не заметил скользнувшей по лицу Штальбрудера иронической усмешки при последних словах Штадена. Штальбрудер знал и еще кое-что о Генрихе Штадене, о чем тот умолчал. Ведомо было ему, что этот же самый Штаден вместе с польскими солдатами участвовал в набегах на порубежные русские города и села, жег и грабил их, как и другие, и разве не за то попал он в тюрьму, что слишком много присвоил себе русского добра? Но об этом должен знать только он, немец Штальбрудер. Да и мало ли тайн имеется у каждого из чужестранцев, попавших сюда!

Штаден сумел всех рассмешить, описывая свои приключения.

Не смеялся один Роде.

Генрих хорошо знал вельмож, окружавших германского императора Фердинанда. Он высмеивал императорского советника графа Гарраха и его друзей, представлявших себе московского царя в образе медведя, питающегося человеческим мясом. Они уверяют, что царь Иван живет в берлоге, что он людоед и окружен хищниками, которым чуждо все человеческое. Царь не ляжет спать, не убив кого-нибудь из своих подчиненных. Всех пленных ливонских девушек он свел в свое логовище и там их насилует и убивает. То делают и его приближенные. Вельможи императора всячески стара-

ются восстановить европейские государства против Москвы.

Рассказывая об этом, Штаден смешно гримасничал, то и дело вскакивал с места, взъерошивал свои рыжие волосы и сам первый заливался хохотом.

Граф Гаррах, по словам Штадена, запугал померанского, саксонского, бранденбургского курфюрстов. Август Саксонский теперь по ночам не спит, вскакивает в страхе с ложа, молится Богу, чтобы он отвратил «московскую опасность» от немецких государств. Но он малодушен, этот герцог. Он старается идти по стопам Дании, с королевским домом которой он связан родственными узами. Дания ищет дружбы с Россией, и Август поневоле придерживается того же. Его трудно понять.

Речь Штадена неожиданно прервал Керстен Роде. Увесисто ударил он по столу кулаком, так что кувшины и блюда на столе подпрыгнули.

– Болтайте о немцах, Данию не трогайте!.. Что вы понимаете о Дании? Бог обидел Данию, сделав ее соседкою немцев. Вот все, что я имею сказать!

Роде побагровел от гнева, налил себе вина и залпом выпил.

Наступило молчание. Запахло скандалом. Немцы с вымученными улыбками переглянулись. Гусев насторожился, сказал примирительно:

– Наш государь батюшка добр и приветлив ко всем чужеземцам. Ежели ему правдою и честью служат, никакой оби-

ды тем людям не бывает, царь их кормовыми деньгами и поместьями одаривает; коли прямит душою ему чужеземец, он того своими милостями не оставляет, убожает по-царски и на обзаведенье деньги дает. Нет в мире таких народов, коих Иван Васильевич без вины отвергал бы... Дружбой русский царь не гнушается... Немало у нас на службе немцев, есть и аглицкие, и угры, и литовцы, и датчане, и многие другие, их же Иван Васильевич по заслугам честит и награждает. Нам, русским, запрещено открывать кабаки, – чужеземцам можно. И от таможенных пошлин чужеземцы освобождены. Идя встречу иноземцам, государь требует и к себе уважения и покорности. Надо помнить, что вы находитесь не у себя дома, а у нас, в государевом царстве. Коли Иван Васильевич взял на службу тебя, Генрих, то сделал это для пользы царства нашего. То же самое и с ним. – Гусев указал в сторону Роде. – И все вы должны жить дружно, а посему наполним до краев сосуда вином и выпьем за здоровье мудрого государя батюшки Ивана Васильевича!

Все с особой торопливостью потянулись к своим чаркам и быстро осушили их.

Однако успокоить корсара оказалось не так-то легко. Он поднялся во весь свой необыкновенный рост и тихо густым басом произнес:

– Кто запретил немцам плавать в Нарву с военными товарами, закупленными в чужих странах московским царем? Ваш император. Вспомните его указ. Вы!.. вы... мешаете пла-

ванию по Балтийскому морю! Вы, немцы, первые насажали пиратов в балтийских водах... Шведские и польские разбойники творят бесчиние с легкой руки ваших немецких владычинов... Вот, глядите!

Роде протянул сжатый кулак над столом.

– Этой рукой я сверну голову любому, кто будет мешать царю плавать по морю! Море не только польское, шведское, но и датское, и русское!.. Вот как! Три короля приговорили меня к смертной казни. Так пускай их будет десять – меня это не смутит. Буду бороться с бесчинствами их пиратов, как подлинный, Богом помазанный король корсаров.

Роде был страшен. Лицо его, с большим шрамом на щеке, стало красным, глаза горели ожесточением, сильные белые зубы сверкали, словно у зверя, и весь стан его, слегка сутулый, был наклонен в каком-то зловещем напряжении, будто Роде готовился прыгнуть на сидевших против него немцев.

– Я датчанин, но не пощажу я и датских каперов, коли они мне попадутся. Отправлю и их к чертовой бабушке на морское дно!

Опять выступил со своею плавною, спокойной речью невозмутимый дьяк.

– Правду сказываешь, благородный человек, – произнес он, размеренно, в такт словам, делая движение правой рукой, – указ германского императора, два года назад изданный, сильно огорчил нашего государя. После того указа лютое учинилось каперство на море, но что поделаешь: Бог су-

дья немецкому владыке и его вельможам! Однако повинны ли в том деле честные немецкие люди, перешедшие на службу к нашему царю и сидящие за этим столом?

– Нейн! Ми не повинен! Немецкий кюпец разорен от той указ, – грустно покачал головою Штальбрудер. – Не один кюпец, но и простой человек, ремесленник, им нет работа. В германских город голодно, трудно жить. Герои, подобные полковник Юрий Францбек, и те уходят в Москву, для службы царю...

Штаден сорвался с места, воскликнув:

– А Фромгольц Ган? А Франциск Черри? А Фридрих Штейн? Много, много наших здесь, в Москве... И все они осуждают тот указ!

Роде ядовито улыбнулся:

– Бродяг в Германии немало... Видел сам.

– Нечего кивать на Германию – весь запад кишмя кишит бродягами... – обиженно отозвался молчаливый Каспар Виттенберг. – А отчего? Постоянные войны разорили народ, упали ремесла, упала торговля... Вот отчего!

– В Дании бродягами хоть пруд пруди! – засмеялся Штаден, довольный тем, что против Роде ввязались в разговор и другие.

– Бог милостив, – торопливо подливая гостям вино, примирительно произнес Гусев, – царь людьми не обижен... Всякого дела мастеров посылает ему Господь из-за моря: и оружейников, и корабленников... Ну что ж! Милости просим.

Жалуйте! Матушка Москва не обедняет. За Яузой в слободах, на Болвановке и у нас, в Наливках, всюду добрые иноземцы расселились, в полном совете с царевой властью...

– Русский царь слишком добр!.. – мрачно улыбнулся Роде. – И неосторожен.

– Не нам судить, – холодно заметил Гусев.

– Наш император тоже добр... – вспыхнув от досады «на этого назойливого дылду-датчанина», с гордостью произнес Виттенберг.

Штаден обратился к Керстену Роде с вопросом, кто он и по какой надобности приехал в Россию.

Немедленно вступил в беседу дьяк Гусев:

– Не в обиду будь сказано, о том один царь батюшка ведает. Чужеземцу не след допытываться... Всяк сверчок знай свой шесток! Пей!

Датчанин, окинув надменным взглядом немцев, процедил сквозь зубы:

– Скоро в Германии узнают, кто я, зачем пришел в Москву.

Вино давало себя знать.

В речах немцев зазвучал задор. Они начали смеяться над датчанами, что, мол, они плохие вояки. Их дело стада пасти, овец стричь... Шведы их бьют, и поделом. Датчане не умеют и плавать, и воевать на море... Шведский корабль в Балтике «Марс» осаждали все датские корабли и все-таки не могли осилить его.

Керстен Роде сначала угрюмо сопел, слушая немцев, а затем вдруг поднялся и, сжав кулаки, обрушился на Штадена, едва не опрокинув стол. Штаден увернулся, выскочил из горницы за дверь. Дьяк Гусев стал на дороге, стараясь успокоить датчанина, который, однако, успел сбить со скамьи на пол Штальбрудера и Виттенберга.

Немцы спрятались в переднюю горницу, со страхом следя за Керстеном через щель в двери. «Чудовище!» – шептал перепуганный Штаден.

Илья Гусев с трудом усадил датчанина обратно на скамью. – Полно, дружок... – приговаривал он. – По-нашему так: языком мели, а рукам воли не давай. В Москве есть на каждого своя управа, коль к тому нужда явится... Уж кому немцы так назлобили, как англичанам, а до драки у них все ж дело не доходило. Христос с тобой, дядя!.. Ишь, силища какая! Есть у меня друг, пушкарь один... Молодой парень, Андрей Чохов, вот бы тебе с ним побороться. Кто из вас кого!.. Надо бы свести вас... Право! Голиаф какой объявился! Нам свою силу тут не показывай. Сами с усами.

Роде нескоро успокоился. Сел за стол. Сбил три сулеи на пол. Опустив голову на руки, задумался, взволнованно покашливая. Немцы тихо, на носках, вернулись в горницу, косясь исподлобья на датчанина. Они не ожидали такой решительности с его стороны. Через несколько минут вернулся и Штаден. Как ни в чем не бывало уселся он за стол, проговорив:

– На дворе темно... Вьюга!.. Трудно привыкнуть немцу к московской зиме. Невозможно.

– Декабрь... Чего же другого ждать? – произнес Гусев, стараясь затушевать происшедшее. – Какая уж это зима – без холодов! Мороз людям на пользу. Кровь разбивает.

Роде, не глядя ни на кого, налил себе вина. Поднял чарку и нарочито громко крикнул:

– За датского его величество короля!.. Я жду. Ну! Наливайте, коли вам дорога жизнь.

Немцы робко переглянулись, встали, подняли чарки и нерешительно, дрожащими руками налили себе вина.

– Ну, – рычал Роде.

– Ничего... ничего... Ну! Изопьем винца-леденца! Чего лучше? – заюлил Гусев, поспешно наполнив свою чарку вином.

Немцы торопливо выпили. Последним – Роде, искоса следивший за немцами.

После того Штальбрудер, покачиваясь, оглядел всех мутными, хмельными глазами и, подняв свою чарку, сказал неуверенно:

– За римского кесаря, немецкого императора!..

Немцы подняли свои чарки.

Роде не шевельнулся, зло плюнул в угол.

Илья Гусев толкнул его:

– А ты что же? За твоего, небось, пили.

– Какой он кесарь? – махнув небрежно рукой, усмехнулся

Роде. – Римских кесарей теперь нет! За здоровье покойников не пью!

Немцы повторили свой тост.

В это время дверь распахнулась и на пороге показался Василий Грязной, в снегу, с саблей через плечо.

– Выплесните вино! – крикнул он. – Долой! Встаньте все. Слушайте. Скончался отец наш духовный, батюшка митрополит Макарий.

Опустив головы, выслушали эту весть все находившиеся в избе.

– А теперь, – прервал молчание Грязной, – нам надлежит выпить по чарке за его святую душу!

– От человек! – со слезящимися от удовольствия глазами воскликнул Штаден. – Люблю!

Все оживились, торопливо наполнив свои чарки.

– Ты, Генрих! – обратился Грязной к Штадену. – Разворачивай корчму, буду гостем твоим до смерти! Государь разрешил.

Штаден низко поклонился Грязному.

Указав рукой на Керстена, Грязной сказал:

– Поздравьте его! Первым человеком он в нашем царстве будет. Давай выпьем с тобой за нашего милостивца государя!

Грязной налил себе и корсару вина. Оба выпили и облобызались.

Немцы с завистью в глазах следили за этою сценой.

– Уважайте его, почитайте, как первого государева слугу!

Гусев переводил датчанину слова Грязного.

Роде низко, с достоинством, поклонился, приложив ладонь правой руки к сердцу.

– Рад служить величайшему из европейских властелинов!.. Датчанин свое слово выполнит с честью! Скажите вашему великому государю, что я готов умереть за него! Клянись в этом!

Керстен поднял правую руку вверх.

– Мы тебе и так верим... Не клянись! Давай изопьем еще раз... Теперь за благо твоего дела!

Немцы были молчаливыми свидетелями этого непонятного им разговора между Грязным и Керстеном Роде, которые вели себя так, как будто они одни в этой горнице. Штаден сразу возненавидел датчанина. А теперь ему и вовсе было обидно, что Грязной изобразил его в глазах Керстена каким-то шинкарем, а с ним, с Роде, говорит о загадочных важных государственных делах. Немцы переглядывались в злобной молчаливости.

«Подожди, рассчитаемся!» – мысленно бросил угрозу Керстену с трудом сдерживавший свою ярость Генрих Штаден.

IX

Дворянин Иван Григорьевич Воронов был одним из тех слуг государевых, которые честны, усердны, способны ко

всякому мастерству и знанию и в то же время пребывают в неизвестности, остаются незамеченными. Они за каждое дело берутся с увлечением и усердием. Так и с ним было. Он – то дьяк Посольского приказа, овладевающий двумя языками, выполняющий за границей поручения государя, то рядовой приказный дьяк, то строитель пристанищ, то пушкарь, то судостроитель, то простой гонец из Разряда.

Во времена Сильвестра и Адашева Воронов выше приказного подьячего в чинах не поднимался, – не давали ходу; зуб против него имел Адашев. А за что? Хотел Воронов пользу государю же принести. Написал челобитную о новом виде корабля, способного легко и безопасно ходить и по рекам и по морям. Да спроста, помимо Сильвестра и Адашева, ахнул челобитьем прямо к царю, в ноги ему на Красном крыльце поклонился, в его царские руки подал свое писание. Осерчал тогда крепко на него Алексей Адашев, едва в темницу не бросил. За великую обиду для себя посчитал он челобитье помимо него. А ведь он, Воронов, так восхищался им же, Адашевым! Всегда считал его хорошим человеком.

И только после ухода от власти Сильвестра и Адашева вздохнул полной грудью Иван Григорьевич.

Кому горе приключилось от той перемены в государстве, а кому и радость. Ему, дьяку Воронову, и другим таким людям – радость.

Большого ума были царские советники Сильвестр и Адашев и ко благу государства весьма рачительны, а простой ве-

щи не поняли, что не ради наград, не ради царских милостей и себялюбия голову ломал день и ночь над своим потешным кораблем подъячий Иван Воронов, но для пользы русского царства.

Иван Григорьевич еще молод, ему всего тридцать пять лет. Румяный, здоровый. Ну что ж! Молодость – не грех, старость – не смех, а государь молодыми не пренебрегает, дела им большие дает. Вон Борис Федорович Годунов – и родом незнатен, и совсем зеленый юноша, давно ли рындою был, – а ныне в Поместный приказ царем посажен дела вершить важные. Царь не боится молодых, не обходит новых людей!

Сильвестр, Адашев и их друзья недолюбливали тех, кого государь помимо них брал на службу. Иван Васильевич – смелый на людей, даже на иноземных.

Что ни день – чье-нибудь новое имя у всех на устах. Особенно много народа понадобилось государю для нарвского морского плаванья. И то сказать: новое дело – море на западе, и люди здесь нужны новые.

В Посольском приказе Иван Григорьевич слышал, будто царь даже морского разбойника, самого страшного пирата, к себе на службу взял, не побоялся.

Дьяк Колымет встретил на улице Воронова и сказал, смеясь:

– Ты, как и я, трудишься, усердствуешь, а толку никакого! Никто не видит наших трудов. Вот и ныне на самое трудное дело тебя посылают, а добра и тут не жди. Один позор:

на разбойника будешь работать... корабли ему строить!.. Вон возьми Кускова, – уж сотником стал да за одним столом с царем пирует... А кто он такой? Простой дворянин он, как и мы с тобой. Нет уж! Видать, так и помрем мы с тобой, не солоно хлебавши... Правды нет. Она, матушка, истомилась, злу покорилась...

Воронов пожал плечами.

– Каждому свое счастье, – сказал он с добродушной улыбкой, – а работать надо! Как без работы-то? Грешно!

На том и разошлись. Надо было торопиться в Земскую избу.

По наказу государя вызвал к себе Воронова боярин Бельский. Человек строгий, мало говорит. У государя в числе приближенных бояр. Удивительно! Колымет наперед знал, что надо ему, Воронову, ехать в Нарву, готовить к весне корабли. Дело тайное. Откуда он узнал?! Леса будто бы наготовили видимо-невидимо в Иван-городе. Боярский сын Шастунов уже там, и боярский сын воевода Лыков тоже.

– Царь, милостивец наш батюшка, Иван Васильевич, не забыл тебя, – сказал боярин Бельский, – возлагает на тебя ту важную работу, храни ее в тайне. Яви свою любовь и прилежание к государю и родине, чтобы досада учинилась от твоей пригожей работы иноземным мастерам-розмыслам¹⁵. Пускай не думают иноземцы, будто русский человек Богом забыт и не умудрен корабельному делу. Государь Иван Васи-

¹⁵ Инженеры.

льевич терпит великий ущерб своему царскому дородству, когда его люди в чем-либо уступают иноземчишкам. «Мы не боимся чужих сил, пользуемся, коли во благо, – говорит наш батюшка государь. – Чужеземную мудрость не отвергаем, коли надобно... А полонить чужеземной премудрости нас не придется... Кабы то случилось, то и государство наше не было бы столь могуче!» Да благословит тебя Господь Бог на то доброе, великое дело! Парень ты смышленный. Собирайся, и айда в Иван-город!

Поклонился низко, до самой земли, Иван Григорьевич боярину Бельскому и быстрехонько собрался в путь-дорогу. Перед выездом Богу помолился у Николы-Сапожок. Иконку, благословение матушки своей, захватил с собой.

Боярин Бельский человек сорок плотников и кузнецов насажал в сани. С этим обозом в крепком кожаном возке должен был ехать и Воронов.

Наказ таков: на постоянных дворах не задерживаться, лошадей поить и кормить во благовремени, чтобы силу имели и в Иван-город путь без промедления совершили. До весны осталось немного. О ходе работ под Нарвой доносить ему, боярину Бельскому, понедельно посылая для того особых гонцов в Москву. За хорошую работу всем людям Нарвского пристанища награда будет, а за худую работу гнев государев ляжет.

Плотники и кузнецы подобрались молодец к молодцу. Многие из них – опытные мастера по части корабельного

строая, это те, что в Поморье на работах были и с английскими мореходцами на Студеном море сдружились. Всех их в Москву из Архангельска свезли. Каждый хорошо известен боярину Бельскому. Время такое: человек, знающий мастерство, – государю находка! Хороши мастера-чужестранцы, что на службе у царя, слов нет, однако, как ни одаривай их, какими милостями не осыпай, все они чужие люди, наемники.

С пилами, с топорами, отулупившись, затянувшись кушаками, деловито разместились рабочие во многих розвальнях. Лица суровые, раскраснелись на морозе; брови, ресницы, бороды покрылись инеем.

Помолились: «Господи, благослови! В добрый путь!»

Под свист, галдеж возниц снялись с места; заскрипели полозья, и длинный, пестрый обоз медленно пополз из Сокольничьей рощи в поля, провожаемый суровым взглядом гарцевавшего на коне седобородого боярина Бельского.

Утро тридцать первого декабря было тихое, пасмурное. Непохоже на зиму. Накануне выюжило, теперь моросил дождь. Дороги почернели, распустились. С крыши потекло. Голуби, как всегда, весело копошились в навозе на кремлевской площади против Вознесенского монастыря.

Молодые послушницы щедрыми пригоршнями бросали им зерно, разомлев, раздумяившись от оттепели. Стремянная стрелецкая стража с секирами за спиною, лукаво ко-

сясь в их сторону, объезжала кремлевские улицы. Тоскливо, уныло тянулся однообразный похоронный благовест со всех кремлевских и посадских церквей.

Москва была оповещена глашатаями о кончине смиренного первосвященника, блаженной памяти митрополита все-русского Макария.

В доме двоюродного брата царя, князя Владимира Андреевича Старицкого, сошлись его друзья, бояре и дьяки, чтобы помянуть почившего святого. Увы, ни на лицах собравшихся, ни в речах их не было скорби.

Напротив, в отдельных словах кое-кого, холодных, сухих, послышалась скрытая неприязнь к почившему иерарху.

Иван Петрович Челяднин, развалившись в кожаном кресле, ранее принадлежавшем ушедшей в монастырь матери князя Старицкого Евфросинии, и перекрестившись, сказал с явным равнодушием:

– Ну что ж! Стало быть, уж так Господу Богу угодно. Да оно и к лучшему. Греха меньше будет. – Откинув на затылок свои пышные, курчавые, с проседью, волосы, вздохнул: – Бог его знает!.. Не каждого человека поймешь... Кем был покойный батюшка митрополит? Господь Бог ведает!.. Не пойму я что-то.

Воевода Морозов встал со скамьи, заложил руки за спину. Высокого роста, с крупными чертами лица, выразившими упрямство, решительность и некоторую надменность, он всегда внушал служилым людям смешанное с робостью ува-

жение к нему. И теперь все находившиеся в княжеской палате невольно притихли, угодливо обратив в его сторону лица.

– Великий князь – прямой ученик митрополита... Нужно ли тут прилагать льстивое извятие словес?.. Не могу аз помянуть его со смирением и скорбию... Увольте! Не заслужил он того!

Морозов напомнил о бывшем при отце царя, великом князе Василии Ивановиче, митрополите Данииле. Не он ли, зазывая северского князя Василия Шемячича в Москву, клялся «на образ Пречистые Богородицы, да на чудотворцев, да на свою душу», что Шемячич будет неприкосновенен, коли приедет в Москву, что великий князь ему никакой досады не учинит, а когда Василий Иванович бросил прибывшего в Москву Шемячича в темницу, митрополит Даниил ничего не сделал, чтобы освободить князя. Он заведомо обманул несчастного Шемячича. В угоду царю не погнушался преступить клятвы перед Богом. А развод Василия Ивановича с Соломониею Сабуровой? Восточные патриархи, выше стоящие над московским митрополитом, отказали великому князю в разрешении развода, почитая то великим грехом, нарушением христианских уставов. А митрополит Даниил, вопреки неблагословению восточных патриархов, сам благословил развод великого князя наперекор учению евангелия и всем церковным уставам. Покойный Макарий восхвалял Даниила за это, почитал его как своего учителя...

– Да... – мрачно насупившись, охрипшим от волнения го-

лосом произнес Морозов. – Митрополит безжалостно, насильно постриг супругу великого князя Соломонию в монашество. И потом благословил новый брак великого князя с иноземкою Еленою Глинскою, да и сам венчал их... Мы этого не забыли, хоша и давно то минуло... Стало быть, царь выше Бога для наших митрополитов?!

– Иосифляне!.. Все они таковы... Все они отвернулись от истины евангельской ради угождения прихоти тиранов... – возмущенно воскликнул тоненьким голосом дьяк Поместного приказа Путило Михайлович, маленький, седой, курносый толстяк.

Ему дружно поддакнули князя Шаховской и Ушатый, дьяки Колыметы.

Боярин Никита Романович Одоевский медленно, с вдумчивыми остановками, поглаживая тощую седую бороденку, тихо, грустно проговорил:

– Рушится вера!.. Нет у вас праведников!.. У всех на глазах истребил государь Данилу Адашева с малолетним, ни в чем не повинным сыном; загубил Иван Васильевич и сродников Адашева три души – Сатиных; погубил Ваню Шишкина, родича Адашева... Где же был наш первосвященник? Молча взирал он на беззаконное мучительство. Или очи его запоносило, или разум его оледенел, или за рубежом отечества он находился? Молчал митрополит, молчала с ним вся православная церковь!.. Царь наступил на горло нашим каноникам... Митрополит и тут равнодушно взирал на ужасную

судьбу своих собратьев, на посрамление Божиих пастырей.

– Проклятие! – рявкнул басистый, неуклюжий Иван Булгаков, государственный казначей. Соседи дернули его за рукав: «Не у места проклятие». Он оглянулся на них хмельными глазами, с отчаянием махнул рукой: «Все одно!» Матерно ругнулся.

Его горячность напугала всех. Хозяин дома, Владимир Андреевич, даже привскочил на месте, словно ужаленный; встревоженным взглядом окинул своих гостей, поманил к себе пальцем своего верного слугу, стрелецкого десятника Невклюдова, шепнул ему на ухо, чтоб проверил стражу у входов.

Стройный, услужливый стрелецкий десятник быстро удалился из горницы.

Князь Горбатый-Шуйский, бледный, тонкий, сухой человек, вполголоса намекнул на нелюбовь польского короля и католических каноников к Макарию. Говорил он не торопясь, вкрадчиво, повертывая лицо то в ту, то в другую сторону.

– Того ради... – сказал он с ядовитой усмешкой. – Мы не в убытке... Королевские люди на нашей стороне. Плакать нам не о чем... Покойный угождал царю, льстил ему... Ну, и Бог с ним! Мы тут ни при чем. Добро, хоть царь не забывал пастыря... По взятии Полоцка Иван Васильевич не нам честь воздал, а ему, Макарию!.. Михайла Темрюка, князя Черкасского, послал к Макарию. «Твоими-де, богомолец, молитвами

Бог отдал нам Полоцк...» Серебряный позолоченный крест с алмазами ему послал... А мы кровь проливали!.. Ночи не спали!.. Это ему ни к чему. Э-эх, да што говорить! Студено на душе. Студено!

Иван Булгаков не унимался, ему хотелось еще что-то сказать, его одергивали соседи-дьяки.

– Полно вам!.. – оттолкнул он их. – Что тут разглагольствовать? Ласкатели – те же злодеи! Лукавый дед был Макарий... Туда ему и дорога, прости Господи!.. Лукавец... Хитрец!.. Пора бы и царьку сдохнуть...

В это время вернулся Невклюдов, шепнул что-то на ухо Владимиру Андреевичу... Тот поднялся, бледный, растерянный, замахал на всех руками:

– Молчите. Нас подслушивают... Малютины похлебцы!

– Как же нам теперь быть? – прошептал Челяднин.

Все окружили его плотным кольцом в напряженном ожидании дальнейших его слов.

– Как же нам теперь быть? – повторил он. – Князь Андрей Михайлович советовал... – Челяднин закашлялся.

– Что советовал? – шепотом спросил Владимир Андреевич.

– Ну... как бы тебе сказать, чтоб ты понял? Тогда ты не был с нами... Он советовал – голос нам свой поднять...

– И дело совершить! – перебил его Михаил Репнин хриплым от злости голосом, сжав волосатые кулаки. – Да! Совершить! Во время похорон.

Все оглянулись на него.

– Чего глаза таращите? Да, дело!.. Буде болтать... Противно слушать ваше нытье!.. Пора!

Репнин с отвращением плюнул на пол.

Владимир Андреевич слегка побледнел и, едва дыша, промолвил:

– Страшно! Что вы говорите? Опомнитесь!

– А коли тебя на плаху потащат, тогда не страшно? – огрызнулся Репнин, сверкнув налитыми кровью глазами.

– Того так и жди, – сказал Горбатый-Шуйский.

– Каждый вечер я жду... вот... вот... – тяжело вздохнул Турунтай-Пронский. – Уж и с детками простился, в вотчину их отправил...

– Ох, ох, милый!.. И я тоже... – махнул с отчаяньем рукой, горько улыбнувшись, Фуников.

– В монастырь уйду!.. Давно уж думаю о том... – тяжело вздохнул раскосый князь Щенятьев, перекрестившись.

– Княжеский род в опасности! Бояре в опале!.. Недолговечна Русь, коли нас не будет...

После этих слов Челяднин кивнул головою Владимиру Андреевичу:

– Что скажешь, князь? Что присоветуешь? Тебя мы хотели бы царем... В дни болезни царя Ивана мы уже присягали тебе...

С убитым, растерянным видом Владимир Андреевич тихо ответил:

– Воля ваша! Видит Бог, не стремлюсь я к власти. Не хочу силою похитить ее у брата своего.

Вступился Михаил Репнин:

– Полно тебе, Владимир Андреевич, не криви душой... Кто не хочет власти? А уж тебе-то и грех бы говорить... Мало срубили головушек за тебя, да и еще срубят!.. А чем ты заплатишь нам за эти головы? Отказом. Негоже так-то!..

Челяднин остановил Репнина:

– Не тяни его насильно в цари!.. Пускай князь сам подумает. Нам будет конец – и ему тоже.

– Некогда думать! – сразу крикнуло несколько голосов. – Надобно скорее.. Курбский ждет... Смерть митрополита...

Челяднин с улыбкой покачал головой:

– Не горячитесь, бояре! Горячностью дело сгубите. И другое нам говорил Курбский: коли со смертью митрополита дело не выйдет, так бы в походе... Иван Васильевич собирается сам с войском идти в Ливонию... Тебя, Репнин, он хочет взять с собою, и тебя, Турунтай, тож... Двинуться он хочет к Риге, а по дороге Юрьев... князь Андрей Михайлович... а в соседстве Псков и Новоград... Чуете, бояре? Кольцом окружим его!

Тяжелый вздох многих князей и бояр был ему ответом.

– Что ж молчите?

– Скорее бы! До лета скоро ли! Душа истомилась... – перекрестившись, простонал Щенятьев.

– Много нас падет до той поры... – скорбно покачал голо-

вою родственник Курбского, князь Львов Федор.

– Э-эх, бояре! бояре! Доколе же протянется истома та? Доколе будете вы холопствовать? – закричал, а не заговорил волосатый, злой, давясь слюною, Михаил Репнин. – И ты, Иван Петрович! Плохо ты наш наказ выполняешь... Сам ты качаешься, словно былинка от ветра... Веди нас во дворец!.. Я возьму своих людей... Ты своих... Вот на похоронах митрополита... и порешим! Все приведем своих молодцов... Не успеет ахнуть, как мы...

После слов Репнина наступила тишина. Владимир Андреевич сидел, опустив голову, тихонько поколачивая кончиком своего посоха по острому носку сафьянового сапога. Челяднин задумчиво потирал лоб. Остальные хмуро, исподлобья косились друг на друга, словно желая узнать по лицам, как встречены слова Репнина.

Заговорил Колымет Иван:

– Прошу прощенья, коли не по чину что скажу!

– Дерзай! – ободряюще кивнул ему Челяднин.

– Князья и бояре, аз, как малый чин, однако приближенный к Курбскому, прошу вашу милость выслушать меня!.. В недалеком времени еду я в Юрьев. И думается, было бы наиболее удобно летом... Князь так же думал, а в нынешние дни не предвидится удачи... Опасался Андрей Михайлович, как бы не сорваться да в пропасть всем не упасть... Тогда, говорил он нам, и вовсе погибнет надежда...

– Не рука нам вперед забегать!.. Семь раз отмерь, один

отрежь! Так я думаю, друзья мои... – решительно заявил Челяднин. – Надо повременить.

Владимир Андреевич оживился.

– И я за то же! – твердо произнес он.

– А коли и ты за то же, нам и сам Бог велел, – обрадованно воскликнул Фуников. – Мы пока можем и без того...

– Можем и без того трон подрезать... в приказах и на полях брани... – закончил его слова Турунтай.

Среди бояр началось волнение. Всем захотелось поскорее освободиться от власти Ивана Васильевича, однако решиться на его убийство не хватало духу...

В конце концов порешили «отложить до лета, до царева похода к Риге».

Челяднин, по окончании боярского совета, обтирая на лице и шее пот, сказал:

– Сам Бог надоумил нас дело то отложить... Чует мое сердце – не ошиблись.

Погруженный в глубокий мрак Успенский собор пуст.

Четыре инока, с большими восковыми свечами в руках, опустив долу глаза, окаменелые, неподвижные, окружили гроб первосвященника.

У изголовья покойного – сам грозный царь. Бледный, слегка колеблющийся свет падает на его лицо – оно хмурое, мрачное, на челе собрались морщины.

Инокам слышно неровное, прерывистое дыхание царя.

Иван Васильевича наклонился, пристально вглядывается в застывшие черты воскового исхудалого лица митрополита. В них царь видит выражение мудрого спокойствия праведника, выполнившего свой земной долг перед родиной, перед царем, перед людьми.

Иван Васильевич видит в них и славное прошлое своих юных лет, счастливых походов, венчания на царство.

Прав ли он, царь, добиваясь для родины благ, столь чуждых и неприемлемых его ближним боярам, восстающим на него, всяко осуждающим его, строящим козни против него?

Едва ли не самым близким человеком, хорошо понявшим царя всея Руси в его делах, страстях и мытарствах, был покойный митрополит. И не с его ли благословения он, Иван Васильевич, предпринимал каждое большое и малое дело?

«Пускай люди злохотящие, лицемерные порочат память твою, святой отец, говоря: как мало ты добра сотворил во имя благоденствия святой праведной церкви, пускай судят о тебе якобы о безвольном и умывающем руки верховном пастыре, – ты навсегда останешься в памяти царя как его духовный, мудрый отец и верный друг».

«Не ты ли благословил высокоправедную, достойную чести предков войну с злохищными ливонскими немцами?»

«Никогда не забудутся твои слова, которые сказаны были тобою в напутствие походу к морю!»

Снова звучат они в ушах государя:

«Пределы твои – в сердце морей; строители усовершеншили

красоту твою; из синарских кипарисов устроили все мосты твои; брали с Ливана кедр, чтобы сделать мачты; из дубов васанских делали весла тебе; скамьи из букового дерева с оправою из слоновой кости с островов Хиттимских; узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса и служили стягом твоим; жители Сидона и Арвады стали гребцами у тебя; фарсистские корабли стали караванами в твоей торговле, а ты сделался богатым и славным среди морей; от вопля кормчих твоих содрогнутся государства и в сетовании своем поднимут плачевную песнь о себе. Аминь!»

А кто дал совет бракосочетаться с Анастасией Романовной? Как сейчас, видит Иван Васильевич свое венчание здесь же, в этом храме. Он помнит цветы, которыми боярыни убрали большую палату во дворце. Анастасия выглядела девочкой; она сидела, стыдливо потупив глаза, и на губах у нее была совсем детская улыбка... Митрополит, глядя на нее, говорил тихим, ласковым голосом: «Муж должен любить свою жену, а жена должна слушаться своего мужа, ибо как крест – глава церкви, так царь – глава царице и прочим всем».

«Анастасия! Разве я не любил тебя? Анастасия! Сколько радостных дней было в те поры! Как часто святой отец благословлял твою доброту и ум! Где же лучше-то царь найдет советчицу? Теперь Макарий там же, где и ты!»

«Анастасия!.. Макарий!.. Молитесь... Молитесь перед престолом Всевышнего обо мне, несчастном!»

Слезы? Иноки стараются не видеть лица государя.

Со всюю глубиною скорби властелина, теряющего преданного ему друга и соратника, Иван Васильевич чувствует эту незаполнимую, неутешную утрату, как будто вместе с Макарием умерла часть его самого, откололся громадный кусок его духовной силы... Страшно чувствовать, будто ты стал меньше, слабее, и это в то время, когда вражеские силы растут, объединяются, наползают со всех сторон... Церковь осиротела. Но еще сильнее осиротел государь. Церковь не всегда склонна поддерживать царя, нередко она стоит в стороне – в своей духовной отрешенности, в своей молитвенной замкнутости, – и что будет после Макария, кто заменит его? Не явится ли эта смерть источником еще горшей судьбы государства?..

Иноки видят, как царь наклоняется над гробом и целует в лоб покойного митрополита... Царь шепчет что-то. Что? Расслышать невозможно, – кажется, клятву.

Х

– Эх-ма, жизнь ты наша!

Андрей, появившийся в горнице Охимы, с сердцем бросил свой малахай в угол.

Истинно, не так живи, как хочется, а как Бог укажет. То ли дело с тобою бы, в твоей избе, пожить в мирном доме. Э-эх, Охимушка! Будто вчерась только я увидел, какая ты красавица, какая зорюшка алая на ланитах твоих!..

Охима, в крепком объятии Андрея, заглядывала со счастливой улыбкой ему в лицо: давно уж так горячо, так любовно не ласкал он ее. Но чуяло сердце, что неспроста это!

Утомившись ласкою, исчерпав все нежные слова, какие у него были, Андрей сел на скамью и разгладил на прямой пробор волосы.

– В Нарву, видать, придется ехать. К морю!

– В Нарву? – озадаченно переспросила Охима. – Пошло?

– Нарва ныне стала в почете. Едут туда и едут, и размыслы, и корабленники, и воеводы, и попы, и дьяки, и стрельцы. Господи, все туда едут!.. Государь батюшка Западного моря добивается навечно.

– Ах, Андрюша! Грешно будто бы царя осуждать, да не вмоготу уж мне стало. Пошто нам-то море? Мало ли крови пролито из-за него!

– Лебедка, лебедушка моя, серебряно перо! В моей ли то воле?

– Не хочу я, штоб ты покинул меня!..

– Да и я не хочу, сказал уж!

– Ну и оставайся! Чего ж ты?

– Тогда мне голову срубят... У нас недолго. Того ли ты добиваешься? Чудно!

– А мы убежим, давай... убежим!

– Куды?

– Куды бояре бегут... В Литву!

Андрей вскочил, испуганно зажал ей рот.

– Уймись! Дура! Ой, глупая! Ишь, чего сморозила! – взглянул он с опаской в оконце. – Ноне везде послухи... Везде тайно кроются уши государевы... Тараканы – и те прислушиваются, гляди, усами шевелят. Сказала тоже... Смешная! Да разве мы бояре?!

Охима оттолкнула Андрея, обиженно:

– Пускай уж лучше голову мне отсекут, коли так!

Андрей укоризненно посмотрел на нее.

– Баба ты, баба! Подумала бы лучше: чего ради мы воевали, ради чего кровушки реки пролили? Неужто для того, чтоб все снова отдать немцам?! Подумай! Легко ли мне-то с тобой разлучаться? Глупая! А все же...

Охима заплакала.

Андрей молчал, не зная, что сказать в утешенье.

Так прошло несколько минут.

Вдруг раздался стук в дверь. Андрей насторожился. Отворил.

Печатник Иван Федоров.

Охима быстро поднялась. Оба, Андрей и она, низко, в пояс, поклонились ему.

Помолившись на икону, Иван Федоров сказал:

– Мир беседе вашей, добрые люди! Садитесь, покалякаем.

Андрей и Охима дождались, когда он сел на скамью под образа, сели и сами, почтительно потупив глаза.

– На дворе мокро... Будто и не зима... Теплый туман... Знать, к урожаю. Знать, Господь Бог сжалился над нашей

грешной землей. Все в его святой воле.

И, обратившись к Андрею, спросил:

– Ну, как, пушкарь, дела?.. Слышал я: суматошно там у вас... в слободе?

Андрей тихо ответил:

– Государь батюшка Иван Васильевич изволил побывать на Пушечном. Новые ковали мы пушки, легкие, малые. Тайное дело. Работаем!.. С ног сбиваемся! Беда!

Иван Федоров одобрительно покачал головой, слушая пушкаря, затем, понизив голос, тихо спросил:

– Слышал я, будто боярина Самойлова государь изгнал с Пушечного... Так ли?

Андрей, опасливо озираясь по сторонам, прошептал:

– Разгневался государь на него, а за што – не ведаем... Много уж у нас сгнуло людей. Не первый он.

Иван Федоров задумался.

– М-да, трудненько государю батюшке!.. Не чаял он, что так-то обернется. Да к тому же и батюшку митрополита схоронили. Не набивался смиренный первосвятитель в советники к царю, а человеком был нужным и ему и всем нам... Враги Печатного двора ликуют, и Бог весть, что будет дальше! Поджигателей на днях Григорий Грязной похватал в пустыре... Будто сжечь нас задумали... Скрыли мы то от государя, и без того ему тяготы немало... Будущее темными тучами окутано... Волнами бедствий захлестывает... Что станет – Бог ведает!

Иван Федоров с волнением в голосе рассказал о том, как он удостоился в прошлую субботу бить челом государю. Доложил ему о том, что близится к концу печатание долгожданных «Деяний и посланий апостолов».

Иван Васильевич благодарил его, Ивана Федорова.

– «Благое то, угодное Богу дело, – сказал он, – ибо доставит оно христианам, в замену бездельных, неверных и богохульных писаний, исправную печатную книгу. В ней мы дадим народу единый закон Божий и единую службу церковную... Пускай ополчатся строптивные грамотеи, корысть кои имели от списывания книг, пускай с ними заодно суеверы, изумленные новиною, пускай!... Сумею я управиться и с ними, как с Божьей помощью, управляюсь с изменниками...»

Повторив слова царя, Иван Федоров задумчиво произнес:

– Но едва ли удастся батюшке государю защитить нас, печатников! У него и без того дела много, а враги наши не спят. Не будем же мы ходить и жаловаться всяк раз его царской милости. Он высоко – мы низко. А злоехидные гады ползают на низах. Они там властвуют. В иных делах гады сильнее царей. Мне страшно, чада мои! Боюсь, не сдобровать мне и помощнику моему Петру Тимофеевичу Мстиславцу. Съедят нас!

Андрей хорошо понимал Ивана Федорова. Ему, как отмеченному царской милостью пушкарю, нередко приходилось испытывать то же самое. Зависть и недоброжелательство преследовали его на каждом шагу. Не выделяйся!

Иван Федоров поднялся, степенно помолился на икону, поклонился сначала Андрею, затем Охиме. Они ответили ему тем же.

После его ухода Андрей обнял Охиму и крепко-крепко ее поцеловал. Она была такая нежная, ласковая, теплая, что трудно было удержаться от новых, еще более страстных ласк. Ее черные, бедовые глаза, с капризными слезинками на бахроме ресниц, ее сильные и вместе с тем подвижные плечи, высокая грудь, все, все так хорошо знакомое, дававшее столько уюта и счастья, – все это заставило Андрея забыть и Пушечный двор, и царя, и Нарву...

– Милая!.. – шептал, задыхаясь от волнения, Андрей. – Не надо думать!.. Я с тобой! Глупая! Твой, твой я!.. Слышу!.. Сердечко дрожит! Полно! Не горюй! Убаюкай меня!.. Забудем все на свете.

Охима все забыла!

Андрею слышен ее несвязный шепот: «Солнце крадет росу, как твоя улыбка сушит мои слезы!» Девушка чувствует любовь Андрея. Он ей принадлежит. Бесстыдница! Ой, какие слова она шепчет ему в ухо! Да, она не отпустит его и тогда, когда в ее горницу через оконце проникнут бледные полосы, предвестницы рассвета... Никто и не должен слышать тех слов! Пускай будет вечная ночь! Никого и ничего ей не надо!

Угловая дворцовая башня.

Горница в ней; кирпичные стены сплошь обиты кизил-башскими коврами. За маленьким круглым столом – Григорий Лукьяныч Малюта Скуратов. Вокруг башни пустынно, внизу переходы, охраняемые стрельцами, и нежилые покои – пыточное место по крамольным делам.

Лицо Малюты веселое. В слюдяную глазницу виден большой желтый круг солнца, затуманенного предвесенней сыростью. Вчера таяло – сегодня с утра подморозило. Февраль, видимо, не будет таким лютым, каким был декабрь.

Григорий Лукьяныч помолился на икону, раскрыл свиток, врученный ему накануне царем.

Просматривая его, с усмешкой покачал головою.

– Они же! – проговорил он. – Вздыхальщики.

Писано самим царем со слов одному государю известного человека. Уже пять лет, – по словам царя, – как он завербован лично самим Иваном Васильевичем в соглядатаи.

Опять боярин Иван Петрович Челяднин, а с ним его неизменный друг Турунтай-Пронский, едва ли не самый кичливый из князей и бояр. Без Ростовского тоже дело не обошлось. А Репнин? Когда же, борода, уgomонится?! Фуников... Этот и туда и сюда – не поймешь, какому он Богу молится. И снова пристал к ним Михаил Яковлевич Морозов. Жаль человека! Государь Иван Васильевич хочет уберечь его от греха, любит он этого воеводу, хочет угнать его из Москвы вторым воеводой в Юрьев-Дерпт. И все самые доверенные царские дьяки. Сколько раз царь предупреждал Ивана Ми-

хайловича Висковатого, чтоб подальше держаться от дружбы с князем Старицким. В чинах его повышал, государственную печать ему доверил. Ведь был же он когда-то против князя Владимира Андреевича, а теперь стакался с ним. Склонен царю наперекор идти. Чего ему надо? Все у него есть. И дом богатейший в Китай-городе, и казны в сундуках немало, и почетом окружен как никто, а вот поди ж ты!.. Не прямит царю, с недругами его якшается! Дьяки Поместного приказа за ним тянутся, Василий Степанович и Путило Михайлович. Как же! Он заступник их и покровитель! Да Андрей Васильев из Посольского приказа... Тоже его воспитанник. А казначей Иван Булгаков? Чего этому пьянице надо?

Все они уверены, будто Ивану Васильевичу неизвестно, как они собираются то у князя Владимира Андреевича, то у Турунтая-Пронского, то у святоши Щенятьева и противу войны восстают! Вишь и море на западе – пустая забава царя, и народ и деньги царь якобы безрассудно расточает. Казначей Иван Булгаков даже государственную тайну перед друзьями открывал о расходах на снаряжение кораблей... А на поминках по митрополиту у князя Старицкого тот же Иван Булгаков во хмелю говорил, что-де царь немало бросает золота на подкуп немецких сановников и не жалеет будто бы казны на морскую торговлю, от которой один убыток. И даже будто бы государь разбойниками заморскими не гнушается. Дешево ли будут стоить корабли, кои царь снаряжает для дацкого корсара Керстена Роде? Жаль, что не все при-

шлось подслушать в тот день, его, Малютиным, людям.

Князь Владимир Андреевич постоянно жалуется боярам на несправедливость Ивана Васильевича, заточившего его матушку Евфросинию в монастырь. И это известно!

– Изобидел брат Иван неповинную душу моей матушки, – жалуется всем Владимир Андреевич. – Бог его покарает за это!

Висковатый постоянно в глаза восхваляет мудрость государя, извлекающего-де пользу государству от сношений с Англиею через Нарву. На дому у Владимира Андреевича тот же Висковатый говорил обратное: «Довольно, дескать, и Студеного моря, пошто нам лезть на запад?!»

Малюта покачал головою, читая эти строки. «Баламутная борода!» Лицо его побагровело.

Уж кому-кому, как не Висковатому, знать, что Иван Васильевич никогда не отказывался от Поморья, никогда и в мыслях у него не было сменить Студеное море на Западное. Напротив, царь приказал там построить судоверфь и пристанище для морских судов. Он всегда говорит: «Нам надобно и то и другое море». Лучше всех это знает именно Висковатый. Клевещет на государя с умыслом, нечестно.

Турунтай и того чище. Болтал, будучи во хмелю:

– Нашему царю-де государю заморские немцы стали дороже русских людей! Лишил его Господь Бог разума: помешался батюшка Иван Васильевич на море... на морской воднице...

И говорили после того бояре и дьяки, что Иван Васильевич и лекарям-знахарям русским не доверяет, а верит одному супостату Бомелию, и охрану набрал из черкасских, горских людей и иноземцев, и поваров держит нерусских, и жenu-то взял иноземку, горскую княжну черкасскую. Откачнулся, мол, государь от всего русского. А про татар и говорить нечего – первые люди они стали у него. И они за него горой!

Послы польско-литовского короля успели перешепнуться кое с кем из приказных дьяков. Подозрение имеется и на дьяков Колыметов. Писульки будоражных беглых бояр из Литвы перехвачены Малютиными людьми. Немец Генрих Штаден вытащил у дьяка Колымета из-за пазухи письмо к Турунтаю от боярина Липатова, убежавшего в Литву. Польский король сманивает московских воевод к себе. Зараза коснулась многих приказных людей.

Малюта задумался: мудрены дела! Как теперь ему быть? Царь сказал: «Казнить сих людей успеем, надо потерпеть... Чую другое я... Пускай живут и работают, а мы выведать должны: нет ли у них забот похуже. Ты, Григорий Лукьяныч, подумай, что нам сделать, чтобы кого на чистую воду вывести, кого на путь праведный наставить без опалы, без кровопролития».

Малюта со злобою плюнул, свертывая царский «столбец»¹⁶.

¹⁶ Рукописный свиток.

– С Божьей помощью надобно сей вертеп разметать. Во всем тут таится яд Курбского... Везде его рука... Пригрел царь змею у своего сердца.

Немца Генриха Штадена Малюта уже одарил и деньгами и грамотой на открытие шинка. Гнусный человек, хуже собаки, но полезный царю. От таких сторониться не след. Государь одно постоянно твердит: «Доброму делу не токмо хорошие, но и худые люди пользу приносят».

Сыск – нелегкая статья! Государь знает это. Мышь лесную легче изловить ночью, нежели матерого изменника днем. Тяжело! Домашний вор опаснее вора стороннего.

Он, Малютка, много раз отказывался от разбора тайных, сыскных дел. Ему любо ратное дело, конный копейный бой на полях сражения. Лучше умереть, сойдясь в поединке с врагом, в бою, нежели быть заколотым из-за угла каким-нибудь шелудивым наемным убийцей. Однако надо делать не то, что тебе по душе, но что прикажет царь. Малюта привык к порядку. Он, Малюта, не знатен родом, не высок чином, и гордится он только преданностью своему государю.

XI

Об Иване Васильевиче в Москве говорили как о «непоседе» и «торопыге».

Давно ли Нарва стала русской гаванью, а царь уже вздумал стать полным хозяином на Балтийском море.

И велика ли прибыль будет от того плавания?

Рассуждали дьяки: забыл он, какое несчастье постигло лет семь назад русских купцов в Швеции. Триста человек с товарами и деньгами были захвачены королем Густавом Вазой. Ограбили, оскорбили честных русских торговых мужиков, а потом ни с чем и отпустили домой.

В зарубежных государствах не считается грехом причинить ущерб московскому купцу. Нет ему той чести, как другим купцам!

Будто уж там какие-то другие люди, особой милостью Господней отмеченные. Высокомерие непостижимое! А посмотрели бывалые русские люди на их торг – и противно стало! Рассказывали: на иного взглянешь – картина, а разглядишь – скотина! Сам поет, сам слушает, сам себя хвалит!

Ограбленные в Швеции триста купцов пострадали не от разбойников, а от самого короля и его вельмож. Вот и думай, как хочешь! Стоит ли с такими соседями дело иметь?!

Русские торговые люди неспроста начали остерегаться плавания за рубежи.

А царь спит и видит, чтобы приумножить толпу купцов, торгующих с иноземными странами. Разбойники на море навели страх на них, теперь же – на разбойников и у царя нашелся разбойник. Надобно снова посылать корабли на торг за море.

Вот и сегодня. Во дворце должен состояться прием гостей – торговых людей московских. Прослышав об этом, бояре и

прочие знатные люди переполошились. Опять новости! Давно уже бояре стали смотреть на купцов как на недругов вотчинного быта, оспаривающих у вотчинников первенство на городских рынках. Низкие, подлые осмеливаются «лезть в люди». Недаром-де монастыри считают купцов «порождением ехидны», своим появлением на свет мешающим монастырской торговле.

Иван Васильевич твердит одно и то же: «Море без торговых людей пусто и незачем оно без них, заморские государи не спят, не гнушаются посылкою своих торговых людей в Москву и прочие страны».

В Московское государство иноземные гости ездят во множестве и повсеместно и возвращаются к себе на родину с богатым торгом, а московские купцы, не то что новгородские, – дальше своих базаров носа не показывают! Самолюбие Ивана Васильевича, самолюбие московского царя, страдает от этого неравенства. И многие ли из московских вельмож понимают, какой убыток от того Московскому царству?! Москва должна стать выше всех городов!

Вот они, эти гости – люди, составляющие «гостиную сотню»¹⁷. Стали у трона, сопровождаемые боярином Бельским, дьяками Висковатым и Андреем Васильевым и именитым пермским гостем Яковом Строгановым.

Иван Васильевич в бархатном желтом, отделанном золо-

¹⁷ Доверенные, привилегированные купцы, пользовавшиеся особым почетом и льготами.

той тесьмой и драгоценными камнями платье. На голове – корона, убранная алмазами. В одной руке – скипетр, в другой – держава. Он неподвижно сидит на высоком золоченом троне, словно неживой. Рядом, немного пониже, – царевич Иван, худощавый мальчик с голубыми, сверкающими любопытством глазами. Царевич в красном бархатном платье. Оно тоже унизано драгоценными камнями и жемчугом. На голове – опушенная мехом маленькая шапочка с золотым доньшком.

По обе стороны царского трона – юные рынды в белоснежных, обшитых золотым позументом кафтанах стоят с секирами в руках. Несколько бояр и дьяков поодаль почтительно окружают трон.

Челядник, посматривая исподлобья на пышную обстановку приема и на торговых мужиков, с недоумением кусал себе губы. «К чему сия торжественность? Чудо! Не стоят подлые люди такого величавого приема!»

Ивану Васильевичу, напротив, казалось: не слишком ли ошибся он, принимая гостей в Малой палате и без духовенства? Толпа купцов внушала ему странное чувство, похожее на страх.

Накануне он много думал об этих людях.

Они – большая сила! Надо показать им величие царской власти. Царь, самодержец выше всего, он – всемогущий властелин, он богат и славен, как никто в мире.

Купцы стоят смиренно на коленях, с умилением, робко

поднимая взгляд на царя, но он не верит их смирению. «При-
творяются», – мелькнуло у него в уме.

Яков Строганов, грузный, черный, как цыган, с большим красным мясистым носом, – борода с проседью, – стоит, низко опустив голову, впереди всех. За ним в ряд: рыжий, бойкий молодец Трифон Коробейников; черноглазый, плечистый детина Юрий Грек; почтенный пожилой человек с смеющимися глазками, с острой седенькой бородкой – купец Иван Тимофеев; за ним – сутулый, длинноротый Тимофей Смывалов и ранее известный царю, знакомый с заграницей, Степан Твердилов и, наконец, благообразный старец Федор Погорелов, прославившийся крупной, смелой морской торговлей с англичанами на Студеном море.

Иван Васильевич внимательно приглядывался к каждому в отдельности. Он подметил: сутулый бородач Тимофей Смывалов, закатывая глаза к нему, вздыхает, жует губами, вертит большими пальцами, словно бы его насильно заставили стоять тут, перед троном. Это не понравилось царю: очень хотелось бы знать, о чем думает этот косматый дед. Царя покорило, когда он подметил, что Юрий Грек исподтишка кусает ноготь, а курносый Степан Твердилов как будто к чему-то принюхивается, косится на что-то в угол. Что он там увидел? Старец, купец Погорелов, морщит лоб, шепчет про себя, словно его мучает нетерпение и он ждет не дождется, когда ему удастся исчезнуть из государева дворца.

Все это и еще кое-что, подмеченное царем, наводило его

на неожиданные, новые мысли. Ивану Васильевичу пришло вдруг в голову, что он мало знает своих подданных, он привычен только к повседневному кругу придворных бояр, дворян, воевод... И, может быть, совсем рядом с ним, совсем около него, зреет, наливается силою толпа чуждых ему, чуждых его вельможам дерзких людей, которые скоро дадут себя знать и ему, царю, и всем его вельможным холопам... Дворец, вельможи, приказные... это не все!

Иван Васильевич круто повернулся в сторону Висковатого и слегка кивнул ему головой.

Висковатый сухо прокричал:

– Торговые московские люди! Царь и великий князь, наш батюшка Иван Васильевич столь милостив к вам, что невозбранно удостоил вас собрать в свои царственные Богом хранимые покои, чтоб направить разум ваш на дела, угодные Хранителю царствия нашего, Всевышнему Создателю, и на благо великого государя и царя всея Руси Ивана Васильевича.

Речь самого царя была немногословной:

– Все старо по-старому в нашем торговом промысле, – сказал он, окинув суровым взглядом купцов. – Силен ли наш гость? Нам нужны соли, краски и олово голанские, медь и железо из Антропи. А где оно?.. Кто из вас доставил то нам? Никто. Пускай все то будет.

Дальше снова загредел голос Висковатого, провозгласившего, что отныне государь милостиво разрешает и самим

московским торговым людям плавать по Западному морю в заморские земли для доброго торгового соглашения, под охраною царевой морской стражи – мореходов. Отныне торговым людям опасаться морского разбоя не следует. На цареву службу принят атаман, который сумеет покарать польских, немецких, шведских и иных каперов.

Висковатый далее объявил: в какую страну именно и куда надлежит отправиться, будет указано в посольском государевом приказе особо.

Робко переглядываясь, тяжело отдуваясь, быстро поднялись купцы с пола по знаку боярина Бельского. Вспотели, бедняги, побагровели от напряжения. Ноги отекали, словно чужие. Невольно полезли мысли в голову: «Вот уж истинно: пришла честь – сумей ее снести!» Нелегко в государевых хоромах гостем быть. Диву давались втайне купцы, глядя на неподвижно застывших у трона рынд. Спаси, Господи, и помилуй! Ну, а ежели их укусит, не дай Бог, какая-нибудь муха либо блоха, так, значит, и стой, не дыши? Э-эх, скорее бы отсюда выбраться! Да и сам царь-то сидит и не дышит, словно заколдованный, и мальчонка-царевич не шевелится. Чудеса! Царем, видать, тоже нелегко быть: в одной руке шар, в другой жезл, тяжелые, надо полагать, из золота!

Смущенные, озадаченные купцы обратили на себя внимание царя. Усмехнувшись, он шепнул что-то царевичу. Тот засмеялся. Видя это, улыбнулись от всей души и купцы. Их обрадовало, что царь и царевич «оживили», «стали на людей

похожи».

Бельский, озабоченный, деловой, подошел к купцам, шепотом велел земно поклониться Ивану Васильевичу и, пятясь задом, удалиться из палаты.

Якову Строганову сказано было, чтобы он остался. С ним Иван Васильевич изволит учинить беседу иную, и притом после обеденной трапезы, в своей царевой рабочей горнице.

Царь и царевич поднялись со своих мест. Все присутствующие низко поклонились царю.

Челяднин и его друзья из бояр терпеливо ждали окончания приема торговых людей. Посольский дьяк Андрей Щелкалов слышал, как Челяднин с Висковатым тихо переговаривались, выражая сомнение о пользе торговли через Западное море. Студеное море уже оплавали русские гости и поморские иноки. Многие иноземцы тоже находят, что «для того-де, чтобы торговля с Московским государством шла успешно, желательно, чтобы она шла целиком через Архангельск».

«Сам государь, – говорили, усмешливо улыбаясь, бояре, – многие караваны со своими мехами, пенькой, льном и мылом посылает на архангельские базары, чтобы обменять их там на шелковые ткани, бархаты, парчи, атласы, сукна и на другие товары...»

Приближение Малюты Скуратова прервало этот разговор. Щелкалов хмуро сдвинул брови, бросив недружелюбный взгляд в сторону бояр.

Неторопливо, переваливаясь с ноги на ногу, прошел Малюта при полном молчании бояр.

Строганова, по приказу государя, угостили обильным обедом из сорока блюд. Трапезой ведал боярин Бельский. Изрядно было выпито. Языки развязались. Исподтишка ехидничали Семен Ростовский с Турунтаем: «Вот до чего дожили – с торговыми мужиками бояре бражничают!»

– Перед концом света, знать... – с мрачным видом процедил сквозь зубы Михаил Репнин.

Вино непослушно. С разумом не ладит. Хмель шумит – ум молчит. Надо бы хмельному боярину где и воздержаться, смиренно воспринимая «священную влагу», да нет!.. Недаром бес с рогами да с хвостом, а никто его не видит. Наслушались Малютины послухи немало о царе, о московской торговле, о гостях... Недовольство вылилось все-таки наружу. Осудили бояре государя за его сегодняшней прием купцов, за столь обидное, не по чину, угощение холопствующего перед царем Яшки Строганова во дворце.

Все это завтра будет известно царю, да еще к тому же будет прибавлено послухами кое-что от себя, – иначе сказка не складна. Иван Васильевич любопытен и простых доносов недолюбливает, – кляуза «в оправе» доходчивее.

Государь принял Строганова после повечерия. Перед этим усердно молился на коленях, прося Господа Бога не судить его, царя, за посылку русских людей в латинские, ере-

тические страны. Ожесточенно ударяя перстами себя в лоб, говорил он с презрением об иноземцах, обратившись к иконам: «На кой они мне?!» Да! Не о себе он печется, но о царстве своем, чтобы не осилили его «нечестивые агаряне», обитающие по берегам морей и океанов. Так неужели же станет грехом, коли корабли его подданных поплывут в те земли и люди его скажут там московское, доброе, христианское слово?! Пускай голос Москвы прозвучит над морями! Там, в королевских странах, несправедливо клеветают на Русь, пугают ею народы, отвращают разум честных иноплеменников от признания Руси равноправным царством с прочими; московские корабли будут вестниками правды, глашатаями могущества Московской державы!

О том Иван Васильевич и повел беседу со Строгановым, который стоя отвечал на вопросы царя. Кроме Строганова, в покоях присутствовал боярин Бельский; к нему царь более других питал доверие.

Строганову было сказано, что ему, государю, доподлинно ведомо, сколь обширную скупку русских товаров на севере ведут иноземные купцы.

Как ни кичатся иноземцы своею мудростью, а кожи лучше русских людей никто не выделяет. Набрасываются на них приезжие иностранные торговцы, особенно немецкие да голландские купцы. И нигде нет таких красильных веществ для тканей, как в Московском царстве. «Не все их увозят за рубежи; да мастера иноземные учатся в Москве нашему

крашению тканей и кож тоже не попусту», – с горделивой улыбкой сказал царь.

– И тем обычаем, – продолжал он, – у русских гостей хлеб изо рта они вырывают. Не спят. Построили амбары и жилища в Холмогорах, в Вологде и Ярославле, на Вычегде поставили железоделательный завод. В самой Москве на Варварке, воздвигли себе усадьбу. Стало быть, им у нас не худо. Невелика корысть царству, коли московские гости будут сидеть у очага и попусту хулить чужестранцев, обзывая их «ворами и супостатами». Прибытка от сего мало государю. Посуду надобно спускать на воду, свозить в Нарву товары и, помолясь Богу, двинуться в дальний морской путь. Взираю с гордостью на иноков Печенгского монастыря, – молвил Иван Васильевич: – на утлых ладьях дерзают они плыть в чужедальные края. Ведомо мне: приходили они в ладьях с рыбой, рыбьим жиром и прочими товарами в дацкую крепость Вардегуз, что на норвежском берегу...

Лицо царя просветлело.

– Иноки, смиренные богомольцы, не погнушались мирским делом; церкви оно доходно и государю полезно... Так неужто наших гостей не умудрил Господь Бог на морское плавание? Вы, Строгановы, мною не обижены. Жалованными грамотами не однажды награждены. И ныне государь ждет от вас верной и полезной службы.

Иван Васильевич сказал, что вологодскими купцами ему подана челобитная на заехавших в Вологду голландских куп-

цов, которые не столько продают своих товаров, сколько покупают.

«Твоя, государева, весчая¹⁸ перекупная пошлина на той торговле тебе, государь, не собирается... ибо иноземцы градских государевых никаких податей не платят и тяглых служб не служат».

Так писали вологжане.

Строганов внимательно слушал молодого, любимого им государя. Иван Васильевич действительно оказал большую милость строгановскому гостиному роду, сделав Строгановых полными хозяевами камских и приуральских земель. Правда, царь велел им поставить «собою» (на свои деньги) укрепленные городки со стражею, засеки с казаками, но это не в тягость Строгановым. Немало воинской силы «из охочих людей, стрельцов и казаков» собрали они в своих городках, чтобы охранять государевы земли и «войною ходити и воевать черемису, остяков, вотяков и ногай, которые государю изменили».

– И того ради, – продолжал Иван Васильевич, – должны вы, столь знатные и казною богатые торговые люди, к морю иметь доброе пристрастие. Жду от вас десять сотен всадников, чтобы стали они под царевы стяги на ливонских землях...

Строганов стоял в недоумении. Набрать десять сотен казаков и послать их завоевывать чужое Западное море! Об

¹⁸ Весовая.

этом никогда не думал Строганов. И в голову никогда не могло прийти ему такой мысли. Кабы Студеное море – другое дело, а Западное – ни к чему оно им, пермякам Строгановым.

Дал слово собрать и послать казаков «без волокиты».

«Надо помогать! Авось и эта служба не пройдет даром. Богу на свечу, царю на подать, а себе на пропитание. Много ли купцу надо?» – размышлял Строганов с улыбкой, возвращаясь в кибитке из дворца на монастырское подворье в Замоскворечье.

Зря, что ли, Иван Васильевич разрешил им, Строгановым, держать свое войско и не только иметь снаряд огнестрельный, но и пушки с пушкарями?!

Даром, что ли, царь-государь запретил пермским наместникам и тиунам судить их, Строгановых?! Один царь – их суд! Как же не угодать государю?!

А торговля в течение двадцати лет без пошлины солью и рыбой! Разве это не клад купцам Строгановым? И не стоит ли одно это пятидесяти сотен всадников?! А царь просит только десять сотен.

Что отбилась от строгановских рук? Царь обязал Строгановых «не делать руд», а если где-нибудь и удалось бы им найти серебряную, или медную, или оловянную руду, то чтобы они немедленно извещали государя.

При воспоминании об этом тяжело вздохнул Яков, откинулся на спину в своей обитой мехом кибитке, перебираясь

по льду на ту сторону Москвы-реки. Ну, что ж теперь делать! Такая уж судьба купецкая: прибыль с убылью живут! Купец – что стрелец: попал – так попал, а не попал – так заряд пропал. А насчет морской торговли надо подумать. С братом Григорием вместе обмозговать ту статью, чтобы и царю не думалось о нерадивости Строгановых, да чтоб и самим в убытке не остаться. Без ума торговать – только деньги терять!

Иван Васильевич, отпустив из своей рабочей горницы купца Строганова, весело произнес:

– Этот Яков однажды, когда его приказчика наместник посадил в острог, сказал о наших законах, что они словно паутина: шмель проскочит, а муха застрянет.

Царь громко расхохотался. Засмеялись и Бельский с Висковатым.

– Истинно так! – укоризненно покачал головою царь.

ХII

Немецкий ландскнехт Генрих Штаден – лисьи глаза, вьюн и пролаза – не из таких, чтобы попусту бродить по чужой земле. Ландскнехт даже во сне видит поживу. И на что ему мушкет, коли есть случай поживиться иным способом? Штаден обзавелся корчмой. Нигде так хорошо не было ему, как в Москве. Царю нужны люди бывалые, расторопные, знающие хорошо заморские мастерства, а ради этого царь покровительствует чужеземцам и разрешает им такое, чего не дозво-

ляет своим подданным. Корчмы держать можно только иностранцам. Корчмы! Спасибо московскому владыке! Генрих Штаден не останется в долгу!..

Василий Грязной и его брат Григорий называли себя «отцами крестными» немца Штадена. Это они добились в приказах, чтобы он стал корчмарем; это они добились и того, чтобы он попал на службу в иноземный полк.

За это Генрих даром поит вином своих благодетелей; у хмельных гуляк подслушивает «супротивные речи», ведет тайный сыск в пользу государя.

Мало того – приходит однажды к Штадену его друг, Фромгольц Ган, вместе с которым он пробрался в Россию, и говорит:

– Для московских Господ великая радость, когда иноземец принимает их веру. Что ты думаешь по этому поводу?

За чаркой вина решили подать челобитную, чтобы окрестили: выгода!

Там, на родине, в Вестфалии, ведь ждут его, Генриха, с хорошей добычей: отец его, Вальтер Старший, да мать, да брат Вальтер Младший, да Генрих, да Марта!.. Ради этого любую веру примешь на время!

«Подождите еще немного, мои родные! Дело только начал. Барыш предвидится немалый. Дай Бог здоровья москочиту Ивану Васильевичу. Упаси Боже, коли враги-бояре изведут его! Тогда все дела у тебя, Генрих, вверх дном пойдут. Помогай царю!»

Генрих Штаден, конечно, далек от мысли вмешиваться в «семейные дела» русских правителей. В сущности и он был бы совсем не прочь полюбоваться, «как бояре вздернут на дыбу царя». Важно только, чтобы при нем царь был жив. А там... когда он, Генрих, уедет в Германию, к своим родным, «пускай будет междоусобица в Московской земле. Можно даже помочь этому».

На днях удалось подслушать у бывшего царского опекуна, ближайшего к Ивану Васильевичу боярина Бельского, что осуждает государя родной дядя его – Василий Михайлович Глинский... Он говорил, что-де «Иван Васильевич зело лют стал и непослушен, и оттого великая поруха царству будет, а моря ему, Ивану Васильевичу, не мощно удержать!»

Слова Глинского уже переданы Грязному. Свара будет! «Э-эх, сюда бы теперь братьев Вальтера да Генриха! Вот бы весело было всем троим в Москве! Есть над чем посмеяться! Смешной народ – русские! Среди них немец, если он не глуп, может свой век прожить совсем безбедно. Надо только быть немножко подальновиднее». Так тешил себя мыслями Штаден.

Он, Штаден, знает, что Василий Грязной взял у него деньги, и знает, для кого: для царского постельничьего Вешнякова. Разве не лестно это? Ходят «люди» Вяземского, «люди» Басмановых, ходят дьяки Земского приказа, пьют вино, берут деньги... а за вино не платят и деньги не возвращают, но разве от этого обеднеет Штаден? Смешно! Наоборот, в

корчме делается день ото дня все люднее и доход от нее увеличивается не по дням, а по часам...

Скучно одному? Так разве нельзя свою жизнь сделать веселее?!

На днях Штаден с одним бродягою-кнехтом отправил на родину письмо, а в нем писал:

«Когда болела великая княгиня Анастасия Романовна, великий князь послал в Лифляндию, в Дерпт, за некоей вдовой Катериной Шиллинг. Ее везли на Москву в золоченой карете. Великий князь надеялся, что она поможет великой княгине. Он щедро одарил платьем эту женщину и сказал ей: „Если ты поможешь моей царице, мы пожалуем тебя на всю твою жизнь половиной доходов с Юрьевского уезда в Лифляндии“.

Великая княгиня говорила: «Ты же можешь помочь мне! Помоги же!» Она умерла, и женщина эта была обратно отвезена в Лифляндию...

Генрих в письме родителям должен был признаться, что дочь Катерины Шиллинг, Гертруда, обворожила его своею добротою, стройным, пышным станом и умением обходиться с ним, с Генрихом. Царь Иван Васильевич не прогневался на Катерину Шиллинг, одарил ее великими подарками, хотя ей и не удалось вылечить царицу. Царь великодушен.

Судьба сжалилась над бедным Генрихом. Катерина Шиллинг снова в Москве, а с нею и ее дочь Гертруда. Им очень понравилось здесь.

«Увы, мои дорогие родители и дорогие братья! Ваш Генрих открылся этой девушке в своей нежной любви!»

Письмо к родителям было наполнено самыми краткими, чистыми признаниями. Разве можно милых родителей, добрых христиан, верующих протестантов, огорошить вестью о том, что и мать и дочь... («Пресвятая Дева, прости мне, одинокому скитальцу Генриху, прегрешения вольные и невольные!»)

По приказу Ивана Васильевича немецкой лекарке отвели «особый» двор на Болвановке, где она и занималась теперь своим заморским знахарством.

Дом был небольшой, но теплый, уютный. В горницах чистота и порядок. А главное, и мать и дочь приветливы, просты, гостеприимны. Генрих Штаден чувствовал себя у них лучше, чем дома, особенно, когда сама Катерина Шиллинг уходила к соседям, тоже ливонским немцам. По его собственному признанию, он несравненно хуже чувствовал себя, когда уходила к соседям ее дочь, Гертруда, и ему приходилось развлекать мамашу.

Однако можно ли требовать у немецкого Бога, чтобы все было хорошо?! Немецкий Бог расчетлив и знает меру человеческим удовольствиям. Немецкий Бог снисходителен только там, где немцу удастся пожить за счет других людей.

В день своего рождения Штаден закрыл шинок ранее обыкновенного. У Шиллингов в доме оставалась одна мама-

ша.

Штадена всегда пробирала дрожь, когда при его появлении в доме Шиллингов на него надвигалась пышная громада хозяйки дома. К тому же от нее всегда пахло какими-то едкими лекарственными снадобьями, от которых тошнило.

И теперь он стоял перед ней, маленький, неловко улыбающийся, с трудом скрывая свое неудовольствие. О, эта большая голова! О, эта прическа, напоминающая морские валы! Сильно выпуклые, шарообразные щеки и толстые губы сверкали малиновой краской и сластолюбием.

«Ради тебя, прелестная Гертруда, я готов на всякие жертвы!» – каждый раз одно и то же думал в этих случаях Генрих Штаден.

Неумеренные объятия со стороны фрау Шиллинг и нудные ласки с его стороны.

Усевшись на скрипнувшую под ее тяжестью скамью, Катерина грустно вздохнула:

– Мой друг Генрих, в этой стране так холодно, что трудно любить, как бы хотелось!

Штаден, смиренно опустив глаза, тоже вздохнул:

– Это – страна наживы, а не любви, фрау! Обладать Москвией, во имя священного чувства любви, пожелаем нашему императору. На Московию посматривает жадно целая стая королей и герцогов. Нет того года, чтоб у них душа не страдала о московском добре.

Катерина удивленно пожала плечами:

– Зачем ты мне говоришь об императоре?

Штадену хотелось по возможности отдалить час любовной ласки. Он решил поведать ей одну из своих немецких тайн.

– Задумал я, фрау Катерин, когда вернусь на родину, подать всепресветлейшему, вельможнейшему римскому императору...

Штаден прошептал ей дальнейшее на ухо:

– ...всеподданнейшее и всепокорнейшее прошение о том, каким образом Русскую землю обратить в немецкую провинцию...

Шиллинг вскочила со скамьи, громко вскрикнув и в ужасе оглядываясь по сторонам. От ее тяжелых ног, казалось, содрогнулся весь дом.

– Бог с вами, Генрих!.. Вы погубите всех нас! Молчите! Он так много хорошего сделал для меня и моей дочери! Он добр к иноземцам!.. Великодушен.

– Наш император к нам будет еще более добр, если мы поможем ему...

Штаден, воспользовавшись произведенной его словами суматохой, прикинулся до последней степени напуганным, ошеломленным словами Катерины.

Она не унималась. Она схватила его за ворот.

– Так, значит, это правда?!

– Что правда? Зачем вы меня душите? Умерьте любовный пыл!

– Так это вы, значит, хотели отравить датского матроса?..

– Какого матроса?

– Керстена Роде.

– Молчите! Безумная! Вы же немка!

Теперь уже Генрих Штаден и в самом деле испугался до смерти... Он побледнел и потянулся, чтобы зажать ей рот своей рукой...

Она с силой отбросила его. Он ткнулся лицом в подушки.

– Я думала, что вы честный человек... – тихо, со слезами на глазах проговорила она, засучивая рукава.

– Молчите или вам грозит смерть! Не я, так другие убьют вас! Кто вам сказал это?

– Эберфельд!.. Вы, кажется, думаете, что я дура?!

– Болтун он!.. Пьяница.. Развратник! Обкаркал на всю Москву нашу тайну!

Штаден не ожидал такого оборота дела. Неужели Эберфельд способен на такое предательство?!

– Послушайте, фрау Катерин, вы не дура, вы немка, вы дочь того народа, на которого напал дикий варвар, Московит... Надо ли мне просить вас, чтобы вы молчали? Надо ли...

– Не надо! Отвечайте, правда ли это? – прошипела разъяренная фрау.

– Правда. Керстен Роде, бродяга, датчанин, поступает на службу к Московиту. Он будет топить немецкие и литовские корабли. За его смерть нам обещаны литовским королем большие деньги... Вот я вам все сказал... Не сердись на

меня, Катерин! И молчи! Не то смерть будет тебе, и мне, и многим боярам! В заговоре против корсара много людей...

– Но кто же вам передаст королевские деньги?

– Имена их не назову. Два московских дьяка. Да и зачем вам?! Деньги верные. Можно будет уделить и вам.

– Мне не жаль московитов, Генрих, но этот матрос... Он такой большой, сильный... Сохраните ему жизнь! Зачем вам литовские деньги? Вы и так богаты. Если же вы поднимете руку на этого красавца, берегитесь – все открою царю!

Штаден от души расхохотался, услышав эти слова:

– Кра-са-вца! Ха-ха-ха! Я охотно уступлю свое место этому датчанину... Я даже могу вас познакомить с ним... Пускай поблудит еще немного перед смертью.

– Мой Бог! – с жаром всплеснула руками Катерина. – О, это было бы для меня благодеянием с вашей стороны! Какое счастье!

– А с меня была бы снята одна из тяжелых обязанностей в отношении вас, фрау.

Он и она застыли в радостном объятии: сговорились! Роде будет жить.

В это время в дом вошла Гертруда.

Она в смущении остановилась на пороге при виде объятий матери. (Для нее это не было новостью.)

– Я думала, что вы уже ушли, – сказала она Штадену.

– Да, Гертруда, я ухожу... Завтра я опять приду к вам...

– А после того Генрих к нам будет приходить только через

день... – весело произнесла мать.

Гертруда проводила Генриха в сени, шепнув:

– Не понимаю!.. Что случилось?!

– Послезавтра вам станет все ясно, фрейлен...

По дороге к себе домой Штаден мысленно ругал Эберфельда: «Ах, болтун, болтун! А еще немец!» Как же так он решился выдать этой ливонской жабе тайну его, Генриха Штадена? Правда, и она немка, и она ненавидит русских, но она баба... дура... кровопийца!.. Легко сказать – целых три месяца уж она его терзает своей гнусной любовью! Если бы не Гертруда, никогда бы его и нога-то не была в ее доме! Надо во что бы то ни стало временно сохранить жизнь подлецу Роде и свести его с этой ливонской скалой! Пускай!..

На улицах было безлюдно, чему весьма обрадовался Штаден. Не хотелось ему ни с кем встречаться. В душе остался неприятный осадок. Вот так день рождения!

«Да и сам я... тоже – болтун! На кой бес понадобилось мне рассказывать ей про свои замысли против русских?»

Генрих Штаден теперь горько раскаивался в этом. Думал, что это пройдет так, незаметно, а вышло совсем не так просто. Да если теперь и сдохнет разбойник Роде, эта бешеная корова, чего доброго, донесет, из мести, царю на него, на Штадена! Бабы в подобных случаях голову теряют... Пускай бродяга поживет! Черт с ним! Пускай разобьет свой дурацкий лоб об эту бочку! Об эту ливонскую тумбу!

«Надо быть осторожным!» – твердо решил Штаден, под-

ходя к своему дому.

«В немце должны быть две души, когда он находится на службе у московитского царя, – размышлял Штаден. – В Московии надо как можно больше угодать царю и его любимым вельможам, славословить их на всех перекрестках, а о литовских, польских, ливонских и прочих посулах пока забыть. Ругать надо шведов, Польшу! Пока!.. Пускай даже у московских голубей не будет никаких неприязненных чувств к немцам!..»

Прав Сенг Вейт, когда говорит, что «величайшего наказания заслуживают те государственные люди, которые столь неразумны и слепы, что не видят великой пользы для империи от сношений с русскими...»

С такими мыслями вошел к себе в жилище Генрих Штаден и нашел на своей постели спящего Эберфельда.

В ярости, с негодованием он надавал ему тумаков. Он дрожал весь от злости при виде проснувшегося товарища.

– Ты с ума сошел, ослиная голова! – крикнул на него Штаден. – Зачем ты проболтался, что мы хотим отправить в ад датского корсара?

– Кому? – почесываясь, зевая, спросил тот.

– Ливонской жабе... Катерине Шиллинг! Забыл разве?

Эберфельд поднялся с постели и, протирая глаза, глуповато улыбнулся:

– Она просила меня тайком от тебя привести его к ней... Пивом угощала меня. Я обиделся за тебя. Я сказал ей, что

он тебя оскорбил тогда... в тот вечер у дьяка Гусева. И мы за это хотим отправить его к чертям в ад! Она заревела. Вот и все! Глупая баба!

Штаден, обессилев от злобы и растерянности, опустился на скамью.

– А я открыл ей истинную причину. Я – глупец! Что наделал?.. Ты... Ты!.. Один ты виноват!

Эберфельд обозлился, плюнул и ушел из дома.

Долго лежал на постели в тяжелом раздумье Штаден.

И вдруг вспомнил Григория Грязного, в пьяном виде рассказавшего ему, Генриху, о желании своего брата Василия избавиться от жены. Григорий Грязной намекал и на то, что есть у Василия зазноба на стороне, какая-то инокиня, бывшая боярыня... Она в монастыре, недалеко от Устюжны-Железнопольской... Он говорил, что умыслил тайно увезти ее из монастыря, но не находит головорезов для этого тайного дела.

Вот оно что! Надо помочь Грязному. В случае беды Грязной окажет поддержку ему, Штадену. Найти людей для сего дела, чтоб отослать их в Устюженские леса, нетрудно. В корчме всякий народ толчется. Есть молодцы, головорезы. Им доставит удовольствие похитить ту инокиню. Генрих Штаден должен помочь Василию Грязному, а Грязной в случае беды выручит его, Штадена. «Не унывай, Генрих! Бог не обидел московского царя: способные отвратить его гнев от любого человека, а тем более от иноземца при царском дворе

найдут. Есть люди и у Генриха Штадена. Они могут совершить любое злодеяние. О! Штаден, владелец корчмы, всех привлекающей к себе, способной поглотить любое московское чадо своей ненасытной, хмельной глоткой, – всемогущ».

«Помолившись Богу, можешь спокойно заснуть, добрый, честный ландскнехт». У русских есть хорошая пословица: «Утро вечера мудреней». Ты родился под счастливой звездой – тебе суждено выполнить великую миссию своего императора, Богом хранимого цезаря!»

– Спокойной ночи, гер Штаден, – с самодовольной улыбкой сказал немец вслух, укладываясь спать. – Лишь бы не приснилась фрау Катерина. Сохрани Бог!

ХШ

Не всем молодым побегам суждено стать большими деревьями, не всем и «новым людям» суждено стать угодными, полезными государю помощниками.

В бурях, в зимних стужах, в лесных пожарах растут молодые деревца, и немало их гибнет. Оставшиеся вырастают крепкими, прямыми, под стать самому старому дубу. Добро и на том!

Такие мысли мелькали в голове царя Ивана Васильевича, когда он верхом на коне объезжал ряды своего недавно обновленного молодого полка «тысячников». Каждого из этих людей знал он в лицо, – не первый год присматривается к

московским и иных уездов дворянам.

Они стоят вытянувшись, смиренхонько, провожая глазами царственного всадника. В их глазах послушанье, готовность по первому слову государя ринуться в огонь и в воду. Многие из них уже бились на глазах царя и под Казанью и под Полоцком, где одержаны были великие победы. Они явили себя храбрыми воинами, не жалевшими своей жизни.

Многие из них были усланы им, царем, и в иные земли. В Англию плавал Федор Писемский; в Данию – князь Ромодановский и дворянин Петр Совин. В Горские Черкасы «у черкасских князей дочерей смотрети» ездил Федор Векшерин; в те же горские края на Кавказ царем были не раз посылаемы Иван Федцов и Никита Голохвостов. К турецкому султану ездил послом Иван Новосильцев.

Да и многие другие «тысячники» славно послужили царю и родине, будучи в послах.

Мог ли царь не полюбить их?! Мог ли он оставить без внимания их усердие, их молодое удалство, их бешеную смелость, их ратную дерзость?!

В Москве говорили втихомолку, будто Иван Васильевич хочет набрать себе таких молодцов до шести тысяч. А зачем – никто того не знает.

Бояре дивуются затее царя, не могу спокойно смотреть на его привязанность к новым этим людям, молодым, почти не знавшим тихой, мирной жизни теремов.

Бояре не раз говорили царю, что неладно так-то: моло-

дось-де подобна ветру, и нельзя положиться на полк из ху-
дородных либо вовсе безродных посадских и уездных моло-
дых дворян, на детей боярских, на «робят земских и подья-
ческих», ибо нет у них должного понятия о чести, нет у них
и твердых уставов домовитости, как у боярства и княжеских
детей.

В глазах своих вельмож, сопровождавших его, Иван Ва-
сильевич видел холод и презрение.

Снежная площадь перед царским дворцом наполнилась
народом. Из кремлевских улочек и проулков в изобилии
хлынул на площадь кремлевский обыватель. Пристава и
стремянная стража оттеснили толпу от места царского смот-
ра, шелкая бичами.

Князя и бояре в накинутых на плечи пышных златотка-
ных шубах, из-под которых выглядывали теплые стеганые
кафтаны, гарцевали, важные, надутые, на тонконогих скаку-
нах поодаль от царя.

Здесь были: князь Владимир Андреевич Старицкий, Ше-
реметевы, Мстиславский, Бельский, Воротынский, Ворон-
цов, Данилов, Челяднин и многие другие всадники княже-
ского и боярского родов.

Им было непонятно: зачем царю вдруг понадобился этот
смотр?

В последнее время, что царь ни делал, все было неочи-
данно, все вдруг, а подготавливалось, видимо, царем много
раньше втайне, ни для кого, кроме немногих его теперешних

слуг, неведомо.

В Новом полку стояли на конях же Василий Грязной, Басманов Федор, князя Черкасские Михаил и Мастрюк Темрюковичи – братья царицы, и другие, вновь приближенные царем люди.

Многие ратники вооружены мушкетами и пищалями.

Под звуки труб и грохот набатов¹⁹ войско быстро двинулось по площади в обход царя и бояр.

Впереди на конях Басманов Алексей, князь Вяземский и Малюта Скуратов-Бельский.

Царь внимательно, испытующим взглядом осматривал каждого из проходивших мимо воинов.

Вот стройный, румяный, чернокудрый юноша – любимец царя Борис Годунов, и другой такой же молодец Богдан Яковлевич Бельский. Шагают твердо, красиво, с достоинством.

Вот бойкий, молодой Одоевский Никита, тоже любимец царя. Он княжеского рода. С ним рядом Осип Ильин, «зело способный к грамоте» юноша. А это – князек Хворостинин Митька – один из любимых царем воевод, с ними Новосильцев Лука, Григорий, Никита и Дмитрий Годуновы. Тут же Иван Семенов – отчаянная голова из дьяческих сынов, а с ним Холопов Андрейка – стрелецкий сын... и многие другие.

Татарский князек Семеон Бек-Булатович и с ним еще несколько молодых татарских князей ловко прогарцевали мимо царя.

¹⁹ Подобие барабанов.

О каждом у царя свое мнение. На каждого из них у него особые надежды. Нелегкое дело угадать, кто наиболее к чему способен, кто наиболее предан царю и стоек в житейских бурях, чья душа менее подвержена сомненьям, кто останется прямым, крепким под напором страстей честолюбия, гордыни, своекорыстия. А главное: кто из них способен променять отца, мать, жену и чад своих на государя.

Царь никогда не испытывал такой тоски по верным, преданным ему слугам, как теперь. Может ли он сберечь молодую поросль от ветров, дующих с польско-литовской стороны? И многие ли устоят перед слабостями своекорыстия, себялюбия? Многие ли не поддадутся искушению своеволия, воровства и властолюбия? Плаха одинаково беспощадна будет как к старым, так и к молодым.

Проходившие мимо царя его отборные воины искоса видели неподвижный, пронизывающий взгляд царя и заметили, что царь то и дело с сердцем дергает за узду спокойно стоявшего на месте коня.

Этот смотр особенно встревожил пожилых, седобородых вельмож. Поступки царя день ото дня становились для них все более загадочными и страшными, круто идущими наперекор стародавним устоям. Вместо уюта теремов – смотровые площади, потешные стрельбища, поля сражений... Отдохнуть бы! А тут совсем иначе: жизнь все суетливее и суетливее становится...

Можно ли так жить дальше?

Царь Иван вдруг обернул коня в сторону бояр и сказал громко, с усмешкой:

– Вижу! Притомились? Бог спасет! Благодарствую!.. С миром! Отдыхайте.

Вельможи, расходясь по домам, продолжали недоумевать. «Чего ради царь устроил сию потеху?! Как видится, неспроста».

Григорий Лукьяныч Малюта Скуратов-Плещеев-Бельский, родич прославившегося своим бесстрашием во времена татарского ига святого митрополита Алексея, жил в небольшом, опрятном домике. Богатством жилище его не блистало, но во всем видна была заботливая рука домовитого хозяина. На широком дворе: житница, сушилка, погреб, ледники, клетки, подклетки, сенницы, конюшня, поваренная изба. Все это было полно запасов. На крюках в сараях мясо, солонина, языки, развешанные в образцовом порядке. На погребицах сыры, яйца, лук, чеснок, «всякий запас естимый», соленая и свежая капуста с собственных огородов, репа, рыжики, квасы, воды брусничные, меды всякие, до которых хозяин дома был большой охотник.

В этот масленичный день Григорий Лукьяныч, устав от пыточных дел, вдруг задумал позабавиться лопатой на дворе.

Накануне была сильная выюга, занесло снегом даже стоявшие под навесом сани и дровни.

Из дома то и дело выходила жена Малюты Прасковья Афанасьевна, недовольная его затеей; наконец она потеряла терпение:

– Полно, Григорий Лукьяныч, не к лицу тебе, батюшка! Чего еще придумал? Не дворянское то дело.

Малюта сердито махнул ей рукой, чтобы уходила.

– Домом жить – не развеса уши ходить, матушка, – хму-ро проговорил он, обведя строгим взглядом своих дворовых людей.

Услышав его голос, заржали лошади на конюшне. За ними подняли возню, хрюкая и взвизгивая, свиньи, а там всполошились гуси, утки...

Вся эта живность хорошо знала своего хозяина, который не только днем, но и ночью, со свечой, в сопровождении хозяйки, обходил конюшню, хлева и птичник. Малюта привык к ночной жизни. От света он постоянно жмурился.

Вдруг он бросил лопату, широко перекрестился, толкнул в грудь подвернувшегося по дороге ключника Корнея и пошел к себе в дом.

Воздух не особенно морозный, крепкий; дышится легко, пахнет сеном из сеницы, небо ясное, синее; на крыше, вылетев из чердака, расселась стая голубей.

– Эй, девки, побросайте голубям зерна! – крикнул в сени Григорий Лукьяныч. Еще раз по-хозяйски сердито осмотрел двор и вошел в дом.

Жена и дочь Мария, подросток, красавица, похожая боль-

ше на мать, нежели на отца, худощавая, стройная, тонкие черные брови серпом, красиво изогнутая шея и простые, серые, добрые глаза, – обе встали.

Лицо Малюты прояснилось при взгляде на стол, убранный пирогами, лепешками, рыбными телесами, икрой всякой и прочими любимыми им кушаньями. Помолился на иконы, поклонился почтительно стоявшим у стены жене и дочери, сел за стол под иконами, в переднем углу. Сели после того и его домочадцы.

– Подавала ли нищим сѣдни? – спросил Григорий Лукьяныч, оглядывая стол.

– Подавала, батюшка, подавала.

– По вся дни надлежит помнить о бедных, – все еще не приступая к трапезе, сказал он. – «Придежь дрожащего от зимы излишнею своею ризою, протяни руку скитающемуся, введи его в хоромы, согрей, накорми. Дай мокнущему сухо место, дрожащему теплоть! Насыщаяся питием, помяни воду пьющего...» И, погладив Марию по голове, ласково улыбнулся ей:

– Так, милая дочка, не забывай Святое Писание...

Он прикоснулся к пище. За ним последовали и мать с дочерью. Малюта не питал особого пристрастия к хмельному, предпочитая вино меда и квасы.

За столом заговорил о царе. Приказал при упоминании имени Ивана Васильевича встать и помолиться на иконы.

– Дай Бог здоровья нашему батюшке государю на многие

годы. Им все держится. С тою молитвою вставайте с ложа и с тою же молитвою отходите ко сну. Народ – тело, а царь – голова. Так-то!

– Молимся, батюшка, по вся дни молимся...

– Не почитающий государя – бездушное тело. Лучше грозный царь, нежели боярская тарабарщина... Натерпелись от безначалия при матушке великой княгине Елене... Боже упаси нас от смут многобоярщины!.. Увы, у нас еще и по сию пору царские милости через боярское сито сеются... Бушуют они, тайно бушуют, часа своего ждут. Не напрасно ли? Бог сохранит Ивана Васильевича! Да и мы постоим за него... Пускай велика их силища – ничего, справимся! Жизни своей не пожалею, а постою за правду!

Жена и дочь Мария не первый раз слышат такие речи Григория Лукьяныча о царе и боярах. Они хорошо знают, как он привязан к царю, как высоко ставит он Ивана Васильевича надо всеми людьми не только Московского государства, но и «выше всех живущих в пределах света». Мало того, он внушает это и всем друзьям своим. Подолгу беседует об этом с постоянным гостем своим, Борисом Федоровичем Годуновым: «Москва – град священный, токмо в нем народится царь земли, царь вселенной, царь добра...» Не так ли учили преподобные старцы – первосвятитель Даниил и покойный митрополит Макарий?

Затем, обратившись к жене, Малюта спросил:

– Сшили ли рубаху Борису? Ну! Покажите.

Прасковья Афанасьевна сходила в свою светлицу и вынесла оттуда расшитую гладью рубаху.

Малюта залюбовался ею.

– Мария, не твоя ли работа?

Маша потупила глаза. Щеки ее зарделись румянцем.

– Гоже, гоже, – деловито похвалил он. – Годунов достойный отрок. Бог не обидел его благим разумом. Не всуе государь полюбил его... И ты, дочь, блюди ревность к рукоделию и вежеству, не будь немощною, ленивою девкой. Бездельники – бесу на радость... Все худое – от безделья. Горазд Борис своим усердием в работе... Неудержим в государевых делах. Горяч!

Молча, с почтительным вниманием, слушала Григория Лукьяныча его дочь. Малюта зачастую расхваливал Марию на стороне, «зело кроткую, в Священных Писаниях искусную и к пению божественному навикшую, крепкую постницу и молитвенницу».

Что может быть привлекательнее в отроковице?

Дочь Малюты была большою искусницею в прядении и вышивании на пяльцах.

Налюбовавшись ее рукоделиями, Григорий Лукьяныч поднялся из-за стола, помолился, поклонился «малым поклоном» сначала жене, потом дочери. Они ответили ему почтительно «большим поклоном».

В это время в сенях послышались чьи-то голоса. Малюта на ходу выпил ковш квасу и быстро вышел из горницы, а

вернувшись, озабоченно сказал:

– Гонец государев!.. Еду во дворец. Собирайте меня!..

На дворе любимый Малютою конюх Нечай уже приготовил ему возок...

Помолился на иконы и вышел Малюта во двор, к возку.

Ночью было ветрено и подморозило.

Белее и приглаженнее стало кругом. Ближайший к Печатному двору сад – настоящий хрустальный дворец. Про такой дворец сказывал сказку однажды Охиме Иван Федоров.

Выглянуло солнышко, блеснули ледяные веточки. Сегодня каждая уцелевшая от осени сухая былинка на оттаявшем краю оврага, каждый стебелек густого прутняка на задворье, каждое корявое деревцо под окном Охимы – нарядные-пре-нарядные: в кружеве, в лебяжьем пуху, в серебре да алмазах... Овраг, что лежит у подножья каменных стен Печатного двора, похож на широкую чашу, в которой, вместо браги, пьянящее влюбленную душу Охимы тепло солнечного света...

На репейниках птички, словно цветы. Перелетают с ветки на ветку. Иногда пышно нахохлятся, спрячут головки в крылышки.

Лицо Охимы разрумянилось от мороза, осветилось улыбкой.

Охима с любопытством следила за маленькими, шустрыми нарядными птичками.

Веселое щебетание птичек; небо чисто; Москва – золотисто-бревенчатая, вся в теремах, в островерхих колокольнях; легкий, пахнувший накиданным близ сарая сеном воздух. Птичьи голоса будто говорят: «Скоро, скоро весна. Прощай, зимушка-зима!»

И в душе вера в жизнь счастливую, вечную, не знающую ни страха, ни горя...

О, если бы это и впрямь были цветы! Она сорвала бы один из них и подарила бы Андрею. Боярин с Пушечного двора не хочет отпускать его в Нарву... Глупый Андрей! Чего он злится на этого боярина? Опять он задумал идти с челобитьем к царю.

«Не пушу я его. Не пушу к царю! Пускай остается в Москве. Непокойный он... Пошто ему море? Спасибо добродушному боярину, спасибо, что отменил царев приказ».

Порхают щеглы с ветки на ветку около Охимы. Крылья желтоватые с черными и белыми крапинками, головка ярко-красная, затылочек черный, грудка и брюшко белое... Вот бы поймать и расцеловать!

Сегодня праздник на Печатном дворе.

Вчера была служба в приходе св. Николая. Иван Федоров и Мстиславец усердно благодарили Бога за то, что умудрил он их закончить благополучную работу над книгой «Деяния и послания апостолов».

Молились все в Печатной палате. И она, Охима, тоже. Первая своя, русская, печатная книга!

Сказал Иван Федоров, когда закончил печатание последней страницы:

– Слава тебе, Господи! Да воссияет свет разума!

После обеда, вчера же, государь принимал у себя в палатах Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца. Милостиво допустил обоих к своей царской руке, наградил их благодарностью и вручил им по иконе святого князя Александра Невского в золотой оправе, да грамоты получили они через дьяка от великого князя и царя всея Руси.

Об одном грустили друкари: покойный батюшка митрополит Макарий не дожил до «Апостола». Немало приложил он труда к сему делу. Если бы не он, враги помешали бы.

Иван Федоров после приема у царя вчера сказал:

– Отныне врагов у меня станет еще больше. Много видел я озлобления и до сего от начальников, священнослужителей, вельмож и злых людей. Многие зависти, многие ереси они умышляли, хотяще благое дело во зло обратить и Божие дело вконец погубить.

Раздумывая об этом, Охима вдруг увидела, что ворота распахнулись и двор наполнился толпою стрельцов. Одетые в красные, долгополые теплые кафтаны, перетянутые кушаками, стройные бородачи с секирами и саблями наголо вытянулись в два ряда от ворот до подъезда Печатной палаты.

Во двор с шумом въехал царский возок, белый, обшитый златоткаными узорами. Его окружали всадники, среди которых выделялся начальник государевой стражи, одетый в от-

личие от всех остальных в черный, с одним рядом золотых пуговиц на груди, охабень, – Малюта Скуратов.

Охима в страхе бросилась к себе в избу. За ней помчался один из стрельцов. Он схватил ее: «Чья?»

Узнав, что она холопка Печатного двора, стрелец выпустил ее из рук, строго сказав: «Батюшка государь! На колени!»

Охима опустилась на колени.

Она видела, как из возка, поддерживаемый каким-то боярином, вышел царь Иван Васильевич в светло-голубой бархатной с соболем шубе. Молодое, обрамленное небольшою бородкою лицо его было приветливым. Царь с ласковой улыбкой осмотрел выбежавших ему навстречу и ставших на колени печатников.

Потом Охима видела, как царь указал посохом на Ивана Федорова, и тот быстро поднялся, стал слушать царя, который ему что-то сказал.

Иван Федоров, поклонившись, пошел, сопровождая царя, впереди всех внутрь Печатной палаты.

На звоннице Николая Гастунского бойко затрезвонили колокола.

В глухой, обложенной камнем башне государевой Постельной казны чернец Никифор целую ночь метался в страхе: как и что скажет он завтра царю о книге «Азя-ибу-имах-

лукат»²⁰. Уже с месяц, как государь «тое книгу в казнах своих искати велел», но «доискатися ее нигде не могли». Уже и толмача, знающего арабский язык, привели на государев двор, а книги так он, Никифор, и не добыл. О морях будто в той книге много писано. Государь загорелся весь от радости, когда услышал о том.

На днях только Иван Васильевич похвалил его, Никифора, что-де с легкой его, Никифоровой, руки получена рукописная книга словенского перевода «Синтагмы Матвея Властаря». Сам епископ романский Макарий переписал ее по поручению своего молдавашского господаря Александра, пославшего царю Ивану дружескую приветственную грамоту.

В последние дни царская книгохранильница пополнилась Библией, беседами святого Иоанна Златоустого на евангелие Матфея, переведенными иноком Селиваном под рукою Максима Грека, житием преподобного Антония Печерского, греческим переводом деяний Флорентийского собора в бархатных досках²¹ и многими «сербскими книгами»..

Несколько сот рукописей на словенском, греческом, латинском и древнееврейском языках бережно хранились в дубовых шкафах и окованных железом сундуках.

Но «Азя-ибу-имах-лукат» не сумел он, Никифор, достать. Полжизни бы отдал он за эту книгу, лишь бы нашлась.

²⁰ Чудеса природы.

²¹ Переплетах.

Сколько приехало в последнее время греков с православного Востока! Не далее как вчера пришли десять старцев со Святой горы, из монастыря святого Пантелеймона, принесли царю в дар Толковый Псалтирь на греческом языке. Но и у них нужной царю арабской книги не оказалось. Жаловались они на «великие скудости книжные» в их землях. И он, Никифор, удивил этих старцев, показав собрание греческих книг в хранилище московского государя.

Чернец – царский книгохранитель – с гордостью вспомнил о том, что еще Максим Грек при великом князе Василии, отце царя Ивана, «во многоразмышленном удивлении бысть о толиком множестве бесчисленного трудолюбного собрания и с клятвою изрече пред благочестивым государем, ибо и в Грецах толикое множество книг не сподобихся видети...»

Царь Иван Васильевич гневом страшным потрясен был, когда ему десять старцев рассказали, что по взятии Константинополя турками греки увезли свои книги в Рим, а там латыняне перевели их на свой язык, а самые книги, по словам старцев, «все огнем сожгома».

Нередко во дворец к царю ходил проживавший в Москве лютеранский пастор Илия. Он и поведал царю о той несчастной, нигде не находимой книге «Азя-ибу-имах-лукат». И за что его Иван Васильевич таким почетом окружил?! Болтун, супостат, лютеранский поп-проходимец. Легко ему было говорить о той книге, – лучше бы он нашел ее да царю принес. А Ивану Васильевичу только скажи! Теперь он му-

чает всех, а его, Никифора, гляди, и батогами велит бить «за нерадивость»! Хитрый немец, как лиса, залез в доверие к государю. Так и вьется, словно рыба-вьюн. Да правда ли, что в той эфиопской книге о морях много писано и о мореходах? Может, и врет немец, а царь требует. В последнее время он любит читать книги о мореплавании. Недавно другого пастора этот лютеранин привел... какого-то Шеффера... Тот ему тоже наговорил разные «чюдесы» про заморские страны, про райских птиц, про корабли... Охаживают государя в угоду его слабостям...

Как ни стараются «печатник» Висковатый и казначей, боярин Фуников, огородить царя от иноземцев, – нет тебе! Лезут, словно бесы. Один пастор взялся переводить «Ливиевы истории» и «Цицеронову книгу», другой – «Светониевы истории о царях». Особенно угодил царю один католический поп, переведя на русский язык «Тацитовы истории», «Книгу римских законов» и «Кодекс конституций императора Феодосия».

Иван Васильевич любил слушать чтение комедий Аристофана и «Энеиду» Вергилия.

Все эти рукописи писаны были на тонком пергаменте в золоченых досках. А присланы по просьбе царя германским императором.

«Господи! Господи! – Чернец Никифор перекрестился. – Обо всем передумаешь, все вспомнишь, когда тебе не спится, а все же: где найти эту проклятую эфиопскую книгу?»

Гнать надо в шею всех этих непрошенных советчиков. И без них бы книги перевели. Что, у Москвы своих толмачей нет? Есть! Да еще какие!

Вон дьяк Гусев не хуже немцев перевел «Пиндаровы стихи» и «Гелиотропы». Царь, когда читает эту книгу, отплевывается. Уж очень она бесстыдная, греховная. Однако он берет ее в свои покои часто. И царице не раз, говорят, читал. И смеялся над царицыным смущением».

«Буде тебе, инок Никифор, кости людям перемывать! Подумай-ка лучше: что ты теперь скажешь царю об эфиопской книге?» Вот уже утро брезжит, заря занимается; уже через узенькие башенные окна осветило золотые корешки книг; мыши угомонились в подполье; загудели колокола.

Чернец опустил на колени. Принялся добить лбом деревянный пол. «Господи, отврати гнев батюшки государя от смиренного инока Никифора!»

В ту минуту, когда чернец, совершенно раскиснув, в неподвижности уткнулся лбом в шершавый пол и читал про себя молитву, в книгохранильницу вошел кто-то. Никифор сердито рванулся с места, вскочил, оглянулся: «Боже мой! Батюшка Иван Васильевич!»

Чернец пал ниц перед царем.

– Богомольный ты, видать... Добро! У Бога милости много.

– Господом Богом да пресветлым государем земля наша держится и человеки щасливы!.. – пролепетал Никифор.

(Чернец знал, как польстить царю.)

Иван Васильевич рассмеялся.

– Мудро изрек. Не попусту, голова, сидишь у моих книг.

Иван Васильевич осмотрелся по сторонам. Первые лучи солнца легли на его лицо. Царь зажмурился, сказав:

– К весне, видать, время идет. Господь Бог милостив к нам.

Перекрестился.

– Вставай! Негоже чернецу-книжнику, будто щенку, перед царем пластаться. Дай принесенную мне в дар книгу каноников польских.

Никифор быстро отыскал ее в одном из шкафов. С глубоким поклоном подал царю.

Иван Васильевич сел на скамью, прочитал вслух по-польски начало книги и покачал головою:

– Блудословие! И здесь еллинское блудословие!.. Много соткано лжи о прошлых временах. Пишут страсти о покойниках и славословят живых. Всю старовечность русскую охажали! Легкодумы! В непочитании предков ржавеют сердца, оголяется разум.

Царь усмехнулся.

– Придут времена: и царя Ивана будут... Ладно! Чего глаза тарацишь? Сию книжицу я унесу с собой... Ну, а эфиопскую премудрость раздобыл ли?

Чернец упал на колена:

– Помилуй, великий государь! У того грека, что указал

мне Висковатый, книги той не было.

Иван Васильевич нахмурился:

– Не давал ли ты слова мне, будто найдешь?..

– Давал, великий государь, прошу прощения!

В воздухе мелькнул посох царя. Сильный удар пришелся по самой спине чернеца.

– Коли не можешь, молчи! Всуе не болтай. Не угодничай!

Книжица та нужна мне...

– Винюсь, батюшка наш, государь Иван Васильевич!

– Как часто слышу я: «винюсь» да «винюсь»!.. Вину сотворить легче, нежели служить царю правдою. Не был я рабом, но научился через вас ненавидеть ложь, бояться обмана. Кабы я был рабом после того, как я царь, а ты бы стал царем – смиреннее, правдивее, честнее меня ты бы не нашел раба!.. Давши слово, держись его безотступно. Да не будь легковверен. Не верь попусту.

Никифор со слезами в глазах слушал Ивана Васильевича, оборвав свой жалобный лепет.

Царь взял с собою книгу и, хмурый, недовольный, вышел из помещения Постельной казны.

XIV

В штаденновской корчме разлитое море. Не пьет только громадный пес, примостивший в углу, близ стойки хозяина, да голый человек с деревянным крестом на груди. Глаза у пса

слезливо-презрительные, весь он – кожа да кости; дрожит, жметя к голому, словно выталкивает его из корчмы. Голый грязен, волосат; лицо, распухшее от пьянства; глаз почти не видно; временами пес облизывает плечо голому, заглядывает ему в лицо. На них никто не обращает внимания, разве только плюнут или выплеснут недопитое в их угол.

Землянка, выложенная внутри бревнами, и есть корчма. Снаружи большой бугор снега, а на верхушке его кол с зеленой тряпкой. Вместо трубы дыра. Невысокий плетень во круг.

При слабом свете глиняной плошки, у длинного дощатого стола, бушуют хмельные питухи. Пьяный, потерявший образ человеческий, стрелецкий десятник Меркурий Невклюдов, стоя во весь рост и подняв чашу, восклицал:

– Что ти принесем, веселая корчма? Каждый человек различные дары тебе приносит со усердием своего сердца: поп и дьякон – скуфьи и шапки-однорядки... Чернецы – рясы, клобуки, свитки, все вещи келейные... Пушкари, стрельцы и сабельники саблю себе на шею готовят!..

Из мрака вдруг протянулась рука, дернула стрельца за полу кафтана.

– Буде! – рявкнул грубый, сиплый голос.

Стрелец лениво повернул голову:

– Ты кто?

– Наш нос не любит спрос... Не кивай, не моргай, – лучше вина подай!

– Живешь-то где? – не унимался стрелец.

– Против неба, на земле, в непокрытой улице. Вот где!

Помилуй, дядя, не бранись, коли не по нраву пришелся.

– Вора помиловать – доброго погубить, – вот мой тебе сказ! – огрызнулся стрелец.

Во всех углах слышалось гнусное хихиканье.

– Молчи, стрельче! В убытке не будешь. Знаю я вас... Лапти растеряли, по дворам искали, было шесть – нашли семь.

Взрыв хохота. Невидимым во мраке, но в изобилии набившимся в кабак питухам весьма понравились слова смельчака. Заинтересовались. Потребовали: «Выйди, человек, к свету, покажись».

Стали разглядывать: коренаст, бородат, глаза воровские, шрам на щеке; назвался бездомным странником, не знающим родства.

Никто ему не поверил, от этого стало еще веселее.

– Хлебни за князя Андрея Курбского!

Стрелец сунул свою чашу бездомному. Тот помолился, потом выпил, затряс бородой от удовольствия.

– Бог спасет, добрый воин. За кого ни пить, лишь бы пить. Я не задумчив, мал чином... Вон бояре... были, были и волком завыли, а князь Курбский орел у нас!

И вдруг, злорадно оскалив зубы, выпучив белки, прошептал стрельцу на ухо:

– Наш брат вором зовется, а кто боле бояр крадет? Вчерась еще троим головы смахнули. Слыхал ли?

Стрелец протер глаза, с удивлением посмотрел на него, погрозил кулаком:

– Мотри. Чужой бедой сыт не будешь!..

Из-за стойки послышался голос Генриха Штадена:

– Чужой беда?! Люблю слушать умной речь!

– Сиди, немчин! Ты знай – монеты считай, а мы пропивай.

Токмо тем и дышим, што знать ничего не знаем и ведать не ведаем...

Штаден вздохнул с притворной обидой:

– Не понимаю! Русский слово не всякий понимаю...

Кто-то из угла тихо, с усмешкой сказал:

– Где ему корысть, – он живо поймет, а где нет корысти, там он не понимает. Знаем мы его. Ушами прядет да хвостом вертит, а говори да оглядывайся... Сволочь!

Штаден прикинулся, будто не слышит, а сам подумал: «Стрелец Невклюдов... десятник. Не забыть бы. Пускай еще что-нибудь скажет. Да не мешает его напоить да к себе звать».

– И-их, Господи! И когда только война кончится... – вздохнул громко, с чувством, хмельной стрелец.

– Измучила война всех... Польза – воробьиный клюв! – поддакнул Штаден.

– Што народу-то сморили... Господь ведает... А моря все не видать!.. – усмехнулся Невклюдов, приняв от Штадена большую кружку браги.

– И не увидим!.. – многозначительно покачал головою

Штаден.

– Все во власти Божией и государевой, – вдруг тоненьким, слащавым голоском нараспев произнес голый, подобрав под себя ноги. – Обесхлебился народ. Обесхлебился!

– Ты уж там, лежебока, помалкивай, не гунди! – крикнул ему в ответ Невклюдов. – Вина, што ли, захотел?.. Н-на. Лакай, дьявол.

Голый проворно вскочил. Выхватив чашу с вином из рук стрельца, стал жадно пить.

– Фу! Дух какой от тя чижолый...

– Ба! Да что же это такое?

Сидевшие вблизи него питухи зашевелились, зажали носы. Пес тоже встрепенулся, став на ноги, недовольно фыркая, отошел в сторону.

– Сами видите, братчики, живу честно, как малое дите. Прожил век ни за холщовый мех... Будто во сне... Меня не опасайтесь. Смотрите на меня – весь тут!

– Было б на что глядеть. Отойди, кобель убогий! Фу, фу!

Снаружи донесся шум. Послышался властный окрик, затем что-то шелкнуло, будто удар бича, и внезапно дверь распахнулась.

Василий и Григорий Грязные.

В руках кнуты.

– Эй вы, гости любимицы – толстые ваши губищи! – крикнул Григорий оглушительно. – Вылезайте на белый свет!

Питухи всполошились, вскочили; с грохотом повалили

скамьи. Первым вылез наружу голый, за ним пес, набросившийся с лаем на Грязных. Сильный удар кнута заставил пса, поджав хвост, с визгом отбежать прочь. На голого Василий Грязной брезгливо плюнул, ловко хлестнув его кнутом по заду. Голый подпрыгнул, а затем заплакал, дрожа всем телом...

Стрельца Невклюдова Штаден быстро спрятал в чулан.

– А-а! – в удивлении воскликнул Василий Грязной, увидев бездомного. – Вот он где мне попался. Стой, увертыш!

И схватил за руку бездомного.

– Помнишь ли меня?

– Не ведаю... быдто не видывал.

– Врешь, песий хвост, врешь! Ты разбойник и вор, а звать тебя Василий Кречет.

Штаден вступился за него:

– Нам слуга. Наш он. Не тронь!

– Вор тебе слуга.

Штаден деловито подмигнул Грязному и, взяв Кречета за руку, ласково сказал:

– Не бойся... Мой гость будешь... Мой гость!

Кречет нехотя пошел вслед за Штаденом, который шепнул Василию Грязному на ухо: «О нем я тебе говорил».

Штаден запер дверь на засов. Зажег две толстых свечи. Усадил с поклонами за стол своих знатных гостей.

Кречет стал, прижавшись к стене спиной.

– Добро, коль так! Што ж, садись... вина дам, – приветливо кивнул ему Василий Грязной. – Сердце не камень. Человек

жалью живет. Рассказывай, где был, што видел?

Кречет стыдливо опустил глаза.

– Много ли душ на белом свете загубил? – спросил насмешливо Григорий Грязной. – Ну! Не скрывай.

– Един Бог без греха, – смиренно ответил Кречет, все еще не поднимая глаз.

В это время Штаден что-то шепнул Василию Грязному.

– Знай, лукавая душа, дело до тебя есть, – сказал тот, выслушав немца.

– Рад служить вашей милости, Василь Григорьич. Што прикажете, то и будет. У меня легкая рука.

Кречет поднялся со скамьи, выпрямился.

– Услужи, послужи мне, дружок, а я тебя от плахи спасу... По делу тебе бы давно надо голову усечь, а вот ты еще жив, да еще в мои слуги норовишь попасть. Выходит: не по нашему хотенью, а по Божьему веленью... Благодарю Бога!

– Известно, батюшка Василь Григорьич, Бог найдет и в люди выведет... – заискивающе улыбнулся Кречет.

– Раньше веку не умрешь, – рассмеялся Григорий Грязной, не сводя испытующих глаз с Кречета.

– Так вот, молодчик, слушай!.. Выполнишь мой наказ – награду получишь, одарю по-царски; не исполнишь – сам на себя пеняй.

– Бояться несчастья – и счастья не видать, Василь Григорьич! Послужу, как то угодно вашей милости.

– Добро. Слушай. Найди с десяток таких же, как ты, бро-

дыг и айда в дорогу...

– В какую сторону? – встрепенулся Кречет.

– Молчи. Слушай! Скачи с ними в Устюженскую землю. Есть там монастырь, недалече от Устюжны. Бабий монастырь, и есть там монахиня, игуменья, от роду боярыня Колычева... Посхимилась она. Ныне же имя ее Олимпиада.

Немного подумав, Василий строго и резко произнес:

– Привезешь ее сюда!.. Тайно. Чтоб никто не видел. В возке. Остановишься, не доехав до Москвы; там станешь, где тебе укажет некий монах, што с тобою же поедет. Из Москвы выезжай ночью. Коней и сабли дадут в Засечной избе за Сокольничьей рощей. Туда же и обратно пристанешь. А мы тебя поджидать будем.

– Завтра ввечеру... – добавил Григорий Грязной. – Скажешь засечному десятнику слово: «Устюжна!» Гляди, не проболтайся. Со дна моря достану тебя в те поры... и шкуру с живого сдеру.

Кречет перекрестился.

– Спаси Бог, ваша милость. Рад услужить. По такому делу с малых лет! Уж все одно в аду сидеть.

«Берегитесь! Нет епископа – нет короля!» – так сказал один из французских епископов королю Франциску Первому.

После кончины Макария крепко задумался над этими словами царь Иван Васильевич. Много рассказов слышал он

от дьяков Посольского приказа об этом короле, еще больше того слышал о его самовластии и премудрости. Пускай о нем говорят обиженные им вельможи, что «король франков теперь стал королем рабов!» Королевскую власть он возвеличил. Одно мысленно осуждал Иван Васильевич – придуманный королем Франциском «королевский совет». Невольно приходили на память Сильвестр, Адашев и другие.

«От сего и происходят ныне губительные смуты у франков», – думал Иван Васильевич.

Однако и государю московскому надлежит не медля поставить иерарха на первосвященническое место.

Трудные дни громоздились один на другой, вырастали в непреодолимые горы. Временами он, царь всея Руси, чувствовал себя задавленным этими жуткими громадами.

Несчастья следовали одно за другим: только что схоронил сына, царевича Василия, внезапно умершее дитя царицы Марии; затем Макарий. Кто дальше?

Иван Васильевич подолгу простаивал у себя в моленной, коленопреклоненный перед иконами, мучимый сомнениями, терзаемый неутешною печалью.

«Господи! Не надломилось ли сердце мое, и не омрачились ли гордынею очи мои, и не входил ли аз в недосягаемое для меня?! Усмотри, успокой душу мою, как душу дитяти, отнятого от груди матери! Но можно ли, Господи, то почесть гордынею, коли жаждою горит душа царя, благохотящего, любящего свою землю?»

Только что вышел медленною походкой в раздумье из царских покоев Никита Романович, брат покойной царицы Анастасии. Гадали с ним, кого поставить митрополитом.

– Не позволю, чтоб с первосвятительского трона сеяли семена вассиановского суемудрия. Не время церковной распри. О ней помышляют мои недоброхоты. Бегают по монастырям, сбивают игуменов с толку.

Никита Романович взял на себя смелость сказать, что митрополита выбирает собор епископов; неуместно царю вмешиваться в это дело.

Иван Васильевич хмуρο улыбнулся.

– Не Господь ли Бог дал мне власть? Не его ли милостию сижу я на троне?! – Царь нервно захлопал ладонями по локотникам кресла. – Преподобный Иосиф из Волоколамского монастыря сказал: «Царь естеством подобен есть всем человекам, властию же подобен высшему Богу...» Так и будет, Никита!

Покраснел до ушей государев шурин от неловкости, а затем, опустив глаза, кротко произнес:

– Истинно! Премудрость Божия во всех делах твоих, государь!

Царь укоризненно покачал головою:

– Пора бы тебе знать, что ставленники монастырские и боярские не на пользу святой церкви. Намучилась она с ними: и унижена была, и беспризорна, и раздираема. Один тянет к себе, другой к себе, и невесть кого слушать епископам, игу-

менам и попам. Оттого великие нестроения пошли на Руси. Патриарх далече, за морем, а царь Богом посажен до смерти на великой Москве... Он и решит.

Никита Романович, посидев еще немного, низко поклонился Ивану Васильевичу, пожелав доброго здоровья при расставанье. Он унес с собою из царского покоя великую тайну: государь назвал имя своего духовника, чина невысокого – благовещенского протопопа Андрея – близкого и покорного царю пастыря иосифлянского толка.

Именно протопоп Андрей, по приказу митрополита Макария, составил «Книгу степенную царского родословства», а в ней высоко поднято и красно сказано об исконных правах на царский престол его, Ивана Васильевича.

Протопоп доказал, что истинный наследник «царя Владимира» именно он – «Богом утвержденный скипетродержатель, царь всея Руси Иван Васильевич».

О московском княжеском доме Андрей написал: «Сад доброраслен и красен листвию и благоцветущ, многоплоден и зрел, и благоухания исполнен». Все это очень пришлось по душе Ивану Васильевичу. Степенная книга – грозная книга! В ней говорится: «Да примут мечь и да престанет дерзость в Русской земле помышляющих злое на самодержавных, дабы и прочие не навикают убивать государей на Руси, но со страхом повинуются величию царства начальников Русской державы».

Царь в беседе с Никитой Романовичем высказал желание

восстановить для московского митрополита белый клобук с рясами и херувимом, как то было в древности у святых митрополитов московских Петра и Алексея.

– Чего ради святители новгородские носят белые клобуки? – сердито сказал он. – Нигде в писаниях того нет, чтоб та честь надлежала единственно новгородским святителям. Москва моложе Новгорода, но в ней царь-державоносец... Она ближе Богу. Она знатнее Новгорода.

И о печати для московского митрополита Иван Васильевич говорил, что собор епископов должен установить митрополиту печатание красным воском, как то есть у новгородских архиепископов, и чтоб на одной стороне печати было изображение Богоматери с младенцем, а на другой рука благословляющая, с именем митрополита.

– Московский митрополит должен быть выше новгородского.

Никита Романович, выходя из дворца и усевшись в свой возок, озабоченно вздыхал, опасаясь, что вмешательство царя в церковные дела озлобит еще сильнее боярскую и монастырскую знать.

После ухода Никиты Романовича царь стал рассматривать поданный ему сегодня тайный список людей, замеченных Малютою в пристрастных суждениях об избрании митрополита.

В корчме немчина Штадена стрелецкий десятник Невклюдов говорил, что-де «от собора того нечего ждать, окро-

мя душевредства и бесконечной погибели», а иноков называл «непогребенные мертвецы», ибо все одно им «аминь». Дьяк Нефедов из Посольского приказа, он же оружейник, старинный друг изменника боярина Телятьева, посещавший некогда и Сильвестра, под хмельком говорил, что «царю-де надлежит царство держати с боярами да с князьями, а не с иноками и попами. Как того царь похочет, так и на соборе явится, и ждать доброго избрания богомольцам неча». Малюта говорил об этом дьяке, будто бывший конюх Нефедова Василий Кречет показал, что «оный Нефедов задумал бежать в Литву к тому изменнику, иуде Телятьеву».

А вот донос князя Афанасия Вяземского на нижегородского воеводу князя Антония Михайловича Ряполовского, наместника в Нижнем Новгороде. Чистая небывальщина. Ему, царю, доподлинно ведомо – честнее и прямее Ряполовского не найдешь воевод. И, вместо того чтобы рубить ему голову по доносу Вяземского, он должен наградить его. Изрядно рыбы для войска с Волги посылает. В посольском плаваньи в Данию был верен и честен. Дворецким надо его поставить, а не голову рубить. Собака Вяземский! Клевещет. И царю хорошо известно – почему. Малюта доказал. На родных сестрах оба князя женаты. Не поделили землю, что у Балахны. Но хоть Вяземский по злобе и солгал, хоть и собака он, а держать его при себе не мешает: собаки нужны!

Голову же отрубить придется приказчику, что своровал из обоза того нижегородского пять пудов судака. Раб лукавый

и ленивый нанес тем самым ущерб цареву войску, бьющему немцев в Ливонской земле.

Много и других доношений лежало на столе, и все прочитал Иван Васильевич со вниманием и холодным спокойствием.

Потом принялся на свет рассматривать чернила. Новые, свои чернила, четкие, яркие – блестят!

Стрелецкой слободы, Васильева приказа, дьяк Жуков Ефимка сам их составил, а Малюта купил их два кувшина, по одному алтыну за кувшин. Иноземные чернила, что привез дьяк Сомов из Неметции, куда хуже.

А дьяка Нефедова, чтоб не болтал и порухи государеву делу не чинил да не переметнулся бы к Литве, надо взять под стражу и накрепко заковать «в железа». За стрелецким десятником присмотр учинить: чьей стороны держится, кого поскребцов²² имеет...

– Сами для себя плети вьют, – убирая доношения Малюты в кованный серебром сундук, проворчал царь.

«Дьяка Жукова, что чернила составил, не худо бы одарить...»

Усердно помолившись, Иван Васильевич, большой, суровый, опираясь на длинный, из слоновой кости посох, пошел на половину царицы. Весь день не пришлось с ней видеться. Бояре из Разрядного приказа о воинских делах докладывали. Многое не согласуется с доношением его, царевых, ма-

²² Соучастников, друзей.

лых людей. В угрюмом раздумье покачивая головой, Иван Васильевич подошел к царицыным покоям.

Царь сидел, перебирая четки, в кресле, около него находился Малюта. Шел допрос князя Владимира Андреевича. Князь стоял перед царем, униженно опустив голову. Глаза его были мутные, усталые. Худое, желтое лицо говорило о пережитых страданиях.

– Чего же ты хочешь от меня? – спросил Иван Васильевич, вдруг откинувшись на спинку кресла. Лицо его было спокойным, насмешливым. – Ну что ж, отвечай! Спрашивает тебя царь, а не брат твой Ванюха... Я – царь, а ты царский холоп... Ну!

Старицкий поднял голову, с невинной улыбкой развел руками:

– Не ведаю, государь, – чего для пытаешь?.. Хочу я, чтоб здравствовал ты многие годы. Вот и все. Хочу, чтоб в царстве твоём ладно все было.

Царь взглянул на Малюту.

– Эх, Лукьяныч, и тут я провинился. Попусту обеспокоил князя... Гляди, гостьбе в твоём доме помешал, Владимир? Гостеприимен ты!

– У меня гостей не бывает. Живу, будто под схиною, одиноко, с тех пор, как ты, государь, безвинно удалил в монастырь мою матушку.

– С ней было веселее – знаю. И гостей бывало в те поры

много больше. И то знаю. Ну, чего же, однако, ты от меня хочешь?

Окончательно растерявшийся князь ответил тихо:

– Ничего.

Иван Васильевич недоверчиво покачал головою:

– Может быть, удел прирезать? Будто так уж ничего ты и не хочешь?

– Повторяю, государь: хочу, чтобы ты здравствовал многие годы, и больше ничего... Покарай меня Бог, коли лгу. Устал я.

– Тяжело тебе, князь, вижу. Как не устать! Иные тайны тяжелее жерновов. Тянут книзу, в землю тянут, окаянные, а скинуть их сил не хватает... Вот твоя матушка и в Новодевичьем монастыре, во святой обители, и то не может расстаться с тою тяжестью...

И, указав на Малюту, царь проговорил:

– Прости, братец, что некий дворянин, простой холоп, рядом с царем стоит да слушает твои неверные речи; ну, коли царь не гнушается его держать с собою рядом, то и ты не будь в обиде... Не гневи Бога!.. Обидчивы стали вы. Знатность не на пользу вам. Голову кружит.

Старицкий тяжело вздохнул; на худых щеках его выступил румянец.

– Увы, государь, ко всему привычны стали мы. Знать, так Богу угодно.

– Кто «мы»? – вкрадчиво спросил царь, слегка наклонив-

шись.

– Мы, русские люди, – после некоторого раздумья произнес князь Владимир. – Притерпелись. Всего насмотрелись!

– А я знаю, кто «вы» и чего «вы» хотите. Верь, братец, мне: не того хотите вы, чего хотят русские люди.

– Великий государь! Самим Богом ты поставлен над нами: тебе ли не знать? Ты все ведаешь, все знаешь... Не всем только верь!

– И не один царь то знает, о чем хочу я тебе напомнить, а дело известное. Как же тут не верить?

– В том прошу тебя, брат, напомни...

– Ужели забыл ты вечер, когда преставился первосвященитель? Кто у тебя был? Кто порицал покойного, как бы лицемера и льстеца государева?

– Не помню... – смутившись от неожиданности, тихо ответил князь Старицкий.

– Много ли было гостей у тебя? Один? Двое?

– Будто бы двое...

– Кто же?

– Ростовский... Больше никого не помню.

– Стало быть, один князь Семен осуждал? Чудно! Чем, чем же не угодил вам покойный митрополит?

– Мы молились об упокоении его души...

Царь с лукавой улыбкой посмотрел на Малюту.

– Кто же «мы»? Князь Семен и ты? Благо и на том. Вы – набожные... Доброе дело! Когда я болен был, помнишь, брат,

при Анастасии-царице, вы тоже молились обо мне. И тоже «об упокоении». Твоя матушка свечки вниз огнем ставила, чтобы поскорее Богу душу я отдал и тебя бы бояре на престол посадили. Моего царевича за царское семя не признали вы. Ты и это забыл? А я вот помню. До смерти не забуду.

Владимир Андреевич молчал, не смея взглянуть на царя.

– А я остался жив, да еще и власть забрал себе в руки. Кое-кого из моих доброхотов убрал; их уже и на свете нет, и молятся не они об упокоении моей души, а монастыри по царскому синодику поминают их грешные души. Не так ли? Не легко и мне признаться тебе, брат, в этом. Грешен и я; не будь я царем, легче было бы мне бражничать с ними, нежели теперь молиться об их упокоении...

– Государь, – сказал, оправившись от смущения, Владимир Андреевич, – твоя воля казнить и миловать! Я готов! Все одно в таком страхе не жизнь.

– Знаю, князь... Увы мне! Лучше бы никого не казнить и не миловать, а украсить свой трон цветами мира и добродетели. Но... цветок любит солнце, благодетельную небесную влагу, а от стужи и ветров он засыхает. Подумай над этим. Да ответь мне без извития словес: чего же вы добиваетесь? Нет ли у вас какой тайны против меня?

– Не ведаю, государь, что требуешь. Помилосердствуй, не томи! Ни в чем я не виноват перед тобою.

Иван Васильевич поднялся с кресла. Лицо его стало строгим.

– Владимир! Дважды обманываешь ты меня: и как царя и как своего брата. Коли не ведаешь ты, я ведаю, чего вы добиваетесь. Да и то сказать! Плохо ли жилось удельному князю? Ведь он смотрел на свое княжество, словно бы торговый мужик на свою лавку. Прикажет дворецкому либо казначею обобратить своих поселян, и наместники его и волостели тащат ему великую казну. Мало того, они и себя не забывали кормом и постоянно своего прибытка добивались. А ныне все вы должны пещись единственно о пользе царству. Плохо ныне стало. А скажи-ка мне по-братски, без утайки: если бы тогда преставился я и стал бы ты великим князем на Руси, дал бы ты волю княжатам, вернул бы ты им старые порядки? А? Скажи, не лукавь.

– Государь, Иван Васильевич, ты знаешь – я делал бы то, что укажет Боярская дума. В разногласии не может быть крепким царство. Князья – не враги тебе. Клевещут на них тебе твои ласкатели. Не верь своим новым слугам. Ради своей пользы клеветают они.

– Не то говоришь, Владимир! Я не враг Боярской думы. Она и ныне здравствует, и государь одобряет ее приговоры. Иван Васильевич в дружбе с Боярской думой, но в несогласии с изменниками. Пора бы тебе то, князь, знать. А вот сия писулька, переданная одним из людей литовского посольства твоему другу. Кому? Ты должен знать. Знакома тебе?

Царь достал из кармана небольшой клочок бумаги и показал его князю Старицкому.

– Бывало ли это в твоих руках?

Владимир Андреевич неуверенно покачал головой:

– И не слыхивал о ней.

– И не слыхивал? А в ней писано, что-де незачем московскому царю бездельную войну вести. Все одно ему моря николи не видать. А чтоб война скорее кончилась, воеводы отъезжали бы в Литву к королю, не давали бы поблажек своему тирану. Ничего того ты не ведаешь?

– Нет, не ведаю!

– Ну, добро, князь! Будем думать, – ты мне преданный слуга и честный брат, – сказал царь и, достав из стола другой клочок бумаги, спросил: – А это знаешь, чье это писание?

– Не понимаю, что это, – прочитав бумагу, ответил князь.

– Ну, иди с Богом... Бude с меня. Бог спасет. Иди.

После ухода князя Старицкого Иван Васильевич спросил Малюту:

– Где тот немчин?

– Он тут, великий государь...

– Покличь!

Малюта удалился, а через несколько минут вернулся, таща за рукав Генриха Штадена.

– Вот он! А своровал то у хмельного стрелецкого десятника Невклюдова, когда он уснул у него в корчме. А Невклюдов получил ее от князя Владимира Андреевича для передачи князю Василию Темкину. В хмельном виде похвалялся он милостию к себе князя Старицкого, оный Невклюдов.

Генрих Штаден стал на колени:

– Истинно, ваше величество, было так... Клянусь!

Иван Васильевич долго ледяным взглядом рассматривал немца.

– Возьми с него поручную запись в том! – презрительно ткнул он жезлом в сторону продолжавшего стоять на коленях Генриха Штадена. – Собака!

Малюта поторопился поскорее вывести немца из царевой палаты, зная, как царь брезгует иноземными шинкарями. А тут еще и доносчик царю на его же двоюродного брата!

Оставшись один, царь помолился на икону:

– Проясни мой разум, Вседержитель! Не допусти бездельно до греха. Помогни мне побороть крамолу! Слаб аз без твоей, Боже, помощи. Спаси нас!

В той бумаге, что держал в своей руке царь, было писано неизвестно кем: «Курбский готов... Новоград... Псков... Дерзайте!»

Фрау Катерин совсем потеряла голову от подобных морской буре ласк Керстена Роде.

Сегодня у нее прощальное свидание с ним.

Свою дочь Гертруду она пилила с утра. Не так будто бы сварила уху, как любит Керстен Роде. Пришлось варить новую уху. После этого она стала укорять дочь за то, что та переняла у русских боярынь обычай краситься. Это было сочтено каким-то особенным оскорблением для немецкой на-

ции. Да и смотреться в зеркало не следует так часто. А потом... Сколько раз говорено, чтобы не появляться в доме, когда у ее матери в гостях Керстен Роде!

– Ты не только лезешь ему на глаза – вчера ты даже подала ему шляпу. Неудобно молодой медхен так унижаться перед иностранцем. Он же намного старше тебя... Он старик в сравнении с тобой.

Гертруда уже давно потеряла наивность. Ей не надо было намекать на то, что мать ревнует ее к датчанину. И не случайно подала она ему шляпу. В той шляпе лежала ее очередная записочка к Керстену. Он ведь ей тоже очень нравится. И она охотно уступила бы мамаше отвратительного Генриха Штадена, который не дает ей прохода своими ухаживаниями.

Дочери не обидно было терпеливо сносить неустанное ворчание фрау Катерин: «Бог с ней! Датчанин все равно не любит ее, а ходит в дом ради меня».

В этот знаменательный день отъезда Керстена Роде в Нарву влюбленная немка начала суетиться с самого раннего утра. Хотелось доставить своему возлюбленному всевозможные удовольствия. Она сварила любимую им уху из судака, настряпала медовых лепешек, зажарила кур, свинину.

Вина, пива, браги, медов разных наставила в изобилии.

Ведь Керстен был в ее глазах вообще необыкновенным человеком – он все любил, но только чтобы было много. Человек, привыкший к морским просторам, человек, вся жизнь

которого прошла в борьбе с небесными стихиями, с грозными силами природы, мог ли довольствоваться малым?.. Навивная Гертруда!

«Бог ей простит! – думала с улыбкой мать, когда ушла из дому ее дочь, „чтобы не мешать“. – Она думает, что ему нужна молодость, грация... Бедная девочка! Глупенькая».

В сумерках пожаловал долгожданный друг.

Облобызались многократно.

Как моряк, приведший благополучно свой корабль в тихую, уютную гавань, осмотрел Керстен празднично убранную комнату немки. Особое внимание уделил он столу с яствами и пышно убранной постели, у изголовья которой сегодня были прикреплены самодельные розовые цветы.

Сначала он подошел и потрогал их, затем улыбнулся, протянул руку к розе, сорвал лепесток, взглянул на фрау Катерин многозначительно. Она покраснела, сделала вид смущенный, укоризненно покачала головой, что вызвало у корсара громоподобный хохот, от которого, казалось, потрясло до основания весь дом.

Керстен с жадностью много ел, и это приводило в восхищение фрау Катерин. Она сама считала «вторым» удовольствием в жизни еду.

– Милый друг, как ты сегодня обворожителен... – тихо сказала фрау Катерин, прижавшись к его могучей груди.

– Тем не менее мы должны на некоторое время расстаться с тобой, моя сирена. Моя медуза-погубительница! Господь

так создал моряка, что на суше его пребывание – случайность.

– Ради одной только мысли, что мы снова встретимся с тобою, я готова с христианским терпением принять на себя такое страшное испытание!.. До сих пор не было повода мне роптать на Бога. Напротив, каждое утро я возносила молитву благодарности за то, что Вседержитель создал Адама.

– Подари же Адаму что-нибудь на память об этом, какой-нибудь амулет, который бы спасал меня от бурь и вражеских клинков.

Фрау Катерин сняла с своего пальца перстень, отдала его датчанину, сказав:

– И от измены!

Керстен поцеловал ее руку.

– Эта вещица должна напоминать мне о нашей дружбе.

– И любви! – добавила она, жеманно улыбнувшись.

Керстен Роде продолжал жадно уничтожать питье и кушанья, как будто хотел насытиться на всю навигацию.

Фрау Катерин чувствовала приятную усталость от ухода за ним во время еды.

Вино быстро иссякало, затем пиво, затем брага... мед...

Керстен, расстегнув ремень на животе и отдуваясь, отвалился спиной к стенке, сказал хмуро:

– Об одном сожалею: не пристукнул я вашего Штадена! Обидно! Всю дорогу буду раскаиваться. Никогда ниоткуда я так не уезжал, без дела, коли кто мне не нравился!..

– Но ведь ты же вернешься?

– Вернусь. Дал слово государю московскому... Дивлюсь я сам на себя: за что полюбил я царя? Видел я разных королей, но такого не встречал... Клянусь!

– Я тоже, милый друг, благодарна ему. Лечила я его супругу... Скончалась она. Плакал, страдал он о ней, однако и после ее кончины остался милостив ко мне. И нынче помогает мне... и Гертруде.

– Подумай, Катерин! Единственный из владык земных поверил мне. Моему слову поверил! Дает мне деньги, корабли, людей, отпускает своих купцов со мной с богатыми товарами. Такие люди мне по душе, их мало... Царь Иван заслуживает того, чтобы я правдиво служил ему. Теперь я голову сверну любому, кто захочет блудить против царя!

Лицо его покраснелось и от вина и от какого-то самому ему непонятного волнения. Да еще тут эта самая гурия... «Ну, прямо рай Магомета!»

Фрау вся на небесах. Глаза ее томно закрылись, она как бы замерла и лишь носочком башмака слегка щекотала ногу Керстена, будто давая какой-то условленный сигнал.

– Я хочу умереть... вместе с тобой... Мне так хорошо!.. Лучше не будет! – тихо, с дрожью в голосе промолвила она.

Керстен Роде, держа ее в объятиях, нет-нет да и взглянет на дверь, прислушается.

– Не говори так, мое мучение!.. На суше умереть позорно... Когда понадобится, милости прошу на корабль! Ты

должна умереть на воде... После смерти стать морской сиреной. Щекотать корабли, топить их...

– Что ты говоришь, милый... Мне страшно!.. – испуганно прошептала Катерин.

Керстен громко расхохотался.

– А Штадена я все-таки убью! Не люблю немцев. Завистливы! – не обращая внимания на ее слова, продолжал Керстен. – Наш род от Авеля, а немецкий от Каина. Не обижайся. Ты не похожа а немку.

Он вспылал в эту минуту гневом. Недавно пришлось видеть Штадена на берегу Москвы-реки вместе с Гертрудой. Он поклялся мстить и мстить кабатчику.

«Однако терять времени нечего. Пора сняться с якоря!»

Керстен с остервенением обнял фрау Катерин.

Вдруг в дверь постучали. Кто?

Керстен быстро выпустил немку из объятий. Отворил. Гертруда!

Никого, вероятно, в течение всей своей жизни фрау Катерин не награждала таким полным ненависти взглядом, каким встретила она в это мгновение свою дочь.

– Где же ты, прелестное дитя, скрываешься? – воскликнул охмелевший Керстен Роде. – Смотри ты у меня!

Фрау делала глазами знак своему возлюбленному, чтобы он не пускался с Гертрудой в разговоры. Не вытерпела, сухо сказала:

– Почему ты не слушаешь мать?

Гертруда потупила взор.

– Я не знала...

Керстен подумал: «Ого, притворяется! Девка далеко пойдет. Вот если показать мамаше ее записочку, с мамашей родимчик сделается! А в записке той: „Я не могу с тобой не видеться сегодня, потому что ты уезжаешь. Целую!“

– Гертруда, сходи к соседям. Я забыла у них свой псаломник... Спроси у Марты Шульц... На полке я забыла...

– Мама, ты псалмы читать собираешься? Спать хочешь ложиться?

Терпение фрау иссякло. Она побледнела. Лицо ее, перекошенное злобою, стало таким страшным, что Керстен Роде не мог не пожалеть от всего сердца о том, зачем судьба завела его так далеко. Прости ему, Вседержитель, что он в тот гнусный зимний вечер «соблазнил» эту свирепую медведицу! Мороз, ледяная выюга и вино были причиной тому.

– Мама, вы слишком строги к этому невинному существу, – сказал он, преодолев гнев.

– В первый раз я вижу такое непослушание. Гертруда, уйди, я тебе приказываю!

Девушка поклонилась и вышла. На глазах у нее блеснули слезы.

– В таком случае я поднимаю паруса и уплываю из вашей гавани, фрау Катерин, – окончательно рассердившись, раскланялся Керстен Роде.

Хлопнул дверью – и был таков!

Фрау Катерин завыла на всю Яузскую слободу и побежала
вслед за ним...

Утром следующего дня фрау на коленях поклялась отомстить Керстену Роде, она раскаивалась в том, что спасла его от смерти, помешала немцам, своим друзьям, отравить его. Ей жаль стало и подаренного Керстену перстня.

– Подожди! – дрожащими губами бормотала она. – Мы рассчитаемся.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В царевом кремлевском дворце состоялся торжественный прием прибывших из Англии купцов и ученых.

Сводчатые, украшенные золотыми по синему узорам дворцовые переходы, убранные хвойной зеленью террасы и горницы наполнились для встречи англичан нарядно одетыми боярами, дворянами, боярскими детьми и военными служилыми людьми. Парчовые, сверкающие золотом, в собольих мехах опашни и охабни, драгоценные камни, а главное, глубочайшая, почтительная тишина поразили заморских гостей. Они шурились, с удивлением осматривая с ног до головы бояр, величаво стоявших по бокам коридора.

Каждый из царедворцев хорошо знал, какое важное значение придает царь Иван приезду англичан, и поэтому стремился блеснуть перед иностранными гостями роскошью своих одежд, своею высокородною повадкою. В лицах вельмож бесстрастное, чинное спокойствие, хотя многим из них казались смешными и эти тонкие ноги, обтянутые цветным трико («будто нагие»), и эти кружева, и пышные жабо на шее, стеснявшие подбородок, и куцые плащи сверх узорчатых ба-

ранних камзолов.

В приемных покоях англичане были еще более поражены великолепием палаты и ослепительным блеском тронного места. Царь в золотом кресле; перед ним на атласных подушках осыпанные самоцветами три короны.

Четверо юных рынд в белых, вытканых серебром кафтанах вытянулись по сторонам трона. В руках у них серебряные секиры с древками, обвитыми золотым шнуром. Солнечные лучи, сквозь окна ниспадая на тронное место, освещали крупное, мужественное лицо царя.

Князья, бояре, думные дворяне неподвижно, словно неживые, сидели полукругом перед царским тронном.

Англичане, слегка наклонив голову, подошли к трону; государь поднялся с своего места. Поднялись, как один, и все московские вельможи, шурша шелком и парчой одежд.

Гости низко поклонились царю.

Старший из них, высокий, худощавый мужчина лет сорока, подал в руки царя Ивана письмо английской королевы.

Принимая письмо, царь снял свою обшитую соболем и осыпанную алмазами шапку и спросил англичан, как здоровье «сестры, королевы Елизаветы».

Ответом было взаимное приветствие от лица королевы и спрос ее о здоровье Ивана Васильевича.

Царь пригласил королевского посланника занять место рядом с ним на скамье, особо приготовленной для него, убранной дорогими красочными коврами.

Следующий вопрос царя английскому послу был о том, видел ли он в Вологде, какие большие суда и баржи построены его, царя, мастерами.

Англичанин ответил:

– Видел.

– Какой же это изменник показал их тебе? – улыбнувшись, спросил Иван Васильевич. А затем приветливо кивнул головой: – Коли так, скажи, как то было?

– Молва о них пошла по городу, где мы стояли, – ответил англичанин. – Народ бегал в праздники смотреть на них. И я решил с моими товарищами идти и полюбоваться на их удивления достойную величину, красоту и странную обделку. Я – англичанин, сын морской державы... Мы любопытны!

Царь спросил, немного подумав над словами англичанина:

– Что означают те слова: «странная обделка»?

– Изображение львов, драконов, слонов, единорогов, так отчетливо сделанных и так богато украшенных золотом, серебром, яркою живописью, с таким искусством, которого я не видал у иностранцев.

– Добро! Ишь, как расхваливает... Гоже! А кажется, ты их зорко высмотрел? Сколько же их?

Царь слегка наклонил голову в сторону чужестранца, сощурил глаза, как бы в нетерпении.

– Ну, говори...

– Я видел не более двадцати, ваше величество, – спокой-

но, с достоинством ответил англичанин.

Царь внимательно посмотрел на него. Ему нравилась гордая, благородная осанка англичанина, его открытое, с крупными и мужественными чертами лицо, обрамленное коротко подстриженной русой бородкой.

– Ну что ж, добро!.. – сказал царь с приветливой улыбкой. – В недалеком будущем ты увидишь их сорок и не хуже этих. Я доволен тобою, верный слуга моей сестры-королевы! Бог с тобой!.. Однако ты более того удивился бы, кабы посмотрел, каковы сокровища внутри моих морских посудин... Особенно в тех, что стоят у нас в Нарве... Видишь – мы ничего не скрываем от вас. Так поведай же и ты нам: правда ли, что у твоей королевы, моей любезной сестры, лучший флот в мире?

– Правда, ваше величество, – с явным самодовольством ответил посол.

– Не скрой от нас, добрый человек: чем же он отличается от моего?

– Силою и величиною: наши корабли могут пробиться вразрез волнам через великий океан и бурные моря.

Иван Васильевич задумался, пасмурным взглядом обвел своих вельмож. Слушают ли они внимательно беседу с чужеземцем? Кое-кто дремлет, кое-кто, выпучив глаза, бессмысленно смотрит на царя, а иные сидят с «пустошным подобострастием». Он перевел взгляд на англичан.

– Как же они построены, те корабли?

– С великим искусством, ваше величество! У них острые, как ножи, кили. У них плотные и крепкие бока... Пушечное ядро едва может пробить их...

– Что еще?

Иван Васильевич вздохнул. В глазах его и в звуке голоса была заметна зависть.

– На каждом корабле нашем пушки и сорок медных орудий большого калибра. Немало боевых припасов. Есть мушкетеры, цепные ядра, копыя и другие орудия защиты.

– Пушки медные? – как бы про себя повторил Иван Васильевич и покосился на дьяка Василия Щелкалова, которому заранее приказал записывать все, о чем он будет спрашивать англичан и что те ему будут отвечать.

Дьяк Щелкалов усердно выполнял приказ и, по обычаю, стоя записывал на бумаге слова царя и англичанина.

– Ну, а какой народ?.. Смирен ли? Прилежен ли к королевской службе, украшен ли цветами благочестия?.. Есть ли у вас дружба меж начальниками?.. Не утесняют ли они во вред королеве, сестре моей, малых людей, не обижают ли их в корме?

Англичанин поднялся с места. Царь сделал жест, чтобы он снова сел.

– На английских кораблях народ хорошо обученный, послушный начальникам и каждый один другому брат. Может ли быть иначе, когда столько опасностей и горя в морях и океанах им приходится переносить всем вместе? Они еже-

дневно читают молитвы.

Царь опять медленно обвел хмурым взглядом своих князей и бояр. («Слава Богу, Фуников проснулся!»)

– На английских кораблях, – продолжал посол, – в изобилии хлеб, мясо, рыба, горох, масло, сыр, пиво, водка и всякая другая провизия, дрова и вода. Всего вдоволь. И никто не обижает малых людей, матросов и юнг. Таких, которые воровали бы у своих товарищей, – какой бы начальник ни был, – у нас казнят... Они оскорбляют всю нацию!

На щеках посла выступил густой румянец. Голос прозвучал негодуяюще:

– Таких следует убивать! Их нельзя называть англичанами. Они оскорбляют знамена с гербом и вымпелом королевы, перед которыми преклоняются корабли других королей.

Иван Васильевич одобрительно покачал головой.

– Вижу – честный ты слуга своего царства... А много ли таких кораблей у твоей королевы, что ты поведал нам?

– Сорок, ваше величество!

– Хорош королевский флот, как ты назвал его! Он, гляди, перевезет не меньше сорока тысяч солдат к союзнику? – произнес царь.

Англичанин сделал вид, что не слышит.

– Далеко ли плавают те слуги королевы на ее судах? Я слышал, что плавают они в дивии, неведомые доселе страны?

– То верно, ваше величество, но в этих странах есть много золота, жемчуга, драгоценных камней. Наши мореходы

легко побеждают черных эфиопов и иных дикарей и берут их в плен. Они доставляют королеве то богатство и привозят на кораблях много рабов, и земли те отдают во власть нашей пресветлой королевы.

– Я слышал, – продолжал царь Иван, – что теми рабами на торжищах обогащаются ваши купцы и государственные люди. Так ли это?

– Чернокожие люди подобны зверям, они поклоняются огню и деревянным идолам.

Царь Иван задумался и после некоторого молчания тихо произнес:

– У нас на торжищах торгуют только скотом. Наш закон и вера не позволяют торговать на торжищах людьми. Мы считали бы это великим грехом.

Англичанин промолчал.

– Ну, спасибо тебе, добрый слуга королевы, сестры моей! Побывай завтра у нас, в Посольском приказе... Дело до тебя есть.

...Разъезжаясь по домам, бояре ворчали: попусту, мол, государь с нехристями-иноземцами беседу ведет. Грешно русскому человеку со всяким чужестранцем дружить. Еретики они! Бесстыдники! Голоштанники!

Челядник возвращался домой в одном возке с Фуниковым.

– Негоже, боярин, спать, когда сам говорит... – укоризненно сказал он Фуникову.

– Вздремнул я... скушно!..

– Смотрел он на тебя... приметил... поостерегись!

– Бог с ним! – зевнул Фуников. – Ближе горе – меньше слез. Ничего! За правого Бог и люди.

– Когда же царь поведет войско-то? Заждался Курбский. Заждались и новгородцы... Чего он медлит?

– Видать, сердце его чует беду, – нараспев зевнул Фуников и с усердием почесал под бородой. – А покудова вона што сотворяет в Нарве!.. Будто всяких языков народы набились в корабли, штоб в море плыть...

– Все нам наперекор... Все назло нам, прости Господи! Православные мы люди, душа не терпит того бесчестия.

– Все вверх дном, Петрович! Седни курица – и та фурится. Задор, сам знаешь, силы не спрашивает. Все перевернулось.

– Боярин Овчина Димитрий правильно его называет «англицким царем»... Далась ему Лизавета...

– Сестрою ее величает... Да Бог с ней! Как наши-то дела?

– Третьяк, брат Висковатого, упреждал Володимира Андреевича, штоб сидел тихо до поры до времени... Пуццай Семен Ростовский не водит к нему тайно литовских людей и к нам бы не заезжал. Царевы уши везде... Князь Палецкий Митрий тоже не горазд в молчании. Слаб на язык. Поостерегаться его Третьяк упреждал...

– Ах, Висковатый! Сам себе тирана на шею посадил. Он и Воротынский... Помнишь их лютование против нас, когда Иван Васильевич на одре лежал. Што бы нам в те поры поса-

дить на престол Володимира-то. Вот бы счастье! Висковатый и Воротынский помешали в те поры нам! Пущай теперь и не жалуется. Спихнули бы мы его тогда, лежащего на одре, с престола. И-их! Глупость человеческая! Уж, видать, мы не дотянем до конца этой песни. Нет. Не дотянем!

– С дацким королусом будто бы наш вздумал стакаться. Союза ищет против Литвы.

– Не против Литвы, а против нас! Все к тому, чтоб нас крепче прижать... Дацкий Фредерик свару завел со Свейским, так будто наш думает: корысть от того на море ему прилучится, силы больше заберет через то... А по-моему, по-стариковски: собакой залаешь, а петухом не запоешь!.. Иван Висковатый, и тот уже руками разводит... Следовало бы, говорит, отступиться от Ливонии. Давно бы пора. Побаловали, да и довольно! Дацкая страна, говорит, нам не поддержка.

– Ладно! Помалкивай до поры до времени... Там, в Посольской избе, знают, што делать... Есть наши люди... понимают пользу. Положимся пока на волю Господню. А то истинно... всяк понимает, чем крепче будет царева держава, тем худчее нам, боярам... Ливония, коли станет его вотчиной, – умножит его могущество... Великая радость его – наше горе.

В утро следующего дня царь Иван Васильевич снова беседовал с англичанами. Расспрашивал их не только об Англии, но и задавал им вопросы о богатстве, о военно-морской мо-

щи, вере и обычаях франков, скандинавов, испанцев...

Рассказы англичан сильно интересовали его.

Здесь, в Посольской избе, занятой будничной повседневной работой, беседа с царем понравилась англичанам более вчерашней, происходившей в пышной обстановке царского дворца. И царь как будто чувствовал себя свободнее наедине с иностранцами, нежели в присутствии сонма надутых, чопорных бояр. Дьяки, почтительно стоявшие вдоль стен, также принимали участие в беседе, и некоторые из них выполняли обязанности толмачей. Здесь были: Висковатый, Андрей Васильев, Писемский, Совин, оба Щелкаловы, Колыметы, Алехин и многие другие.

От англичан не укрылось то, что царь Иван с некоторыми дьяками держится проще, чем с боярами, милостиво улыбается в ответ на их слова... И вообще царь показался англичанам совсем другим, чем во дворце. Он попросил английского посла письменно изложить ему то, что он знает о флоте английской королевы и о флоте иных стран. Посол ответил, что он рад исполнить это и будет счастлив представить государю завтра же свою докладную записку об этом, а теперь он просит его величество разрешить людям королевы поднести ему последний образец английского корабля, точно изображающий натуральный корабль.

Один из членов английского посольства вынул из чехла модель корабля и подал ее Ивану Васильевичу в собственные его руки.

Маленький корабль был хорошо выточен из букового дерева, разрисован красками, оборудован снастями, распущенными парусами, флагами, раззолоченными пушками и другими военными принадлежностями.

– Этот подарок поручили передать вашему величеству знатные королевские люди. Они благодарны вам за мудрую дружбу с Англией.

Иван Васильевич приподнялся и ответил англичанам также глубоким, «поясным» поклоном. Он долго, с любопытством рассматривал кораблик, расспрашивал о значении той или иной его части.

По окончании беседы царь Иван подозвал к себе дьяка Андрея Васильева.

– Одарите мехами и конями добрых рыцарей королевы Елизаветы... Опись покажи мне. – И добавил тихо: – Нерадивы стали дьяки у тебя к царской службе... Наказать надо! Живут праздно.

Васильев не осмелился ничего ответить в свое оправдание, боясь вызвать у царя гнев, но подумал: «Сукин сын, Вяземский, наболтал! Постоянно сует нос в посольские дела!»

Царь сказал, чтобы дьяки уделяли больше внимания иностранцам, побольше бы узнавали об их обычаях и делах.

– Мой отец, в бозе почивший великий государь Василий Иванович, запрещал чужеземцам бывать в нашем царстве и ездить далее на восток... Бог мне простит мою слабость. Не потехи ради пускаю в свою землю чужеземцев. Мои владе-

ния открыты им. Помните! Бог простит мне и то, что держу иных у себя силою. Судят меня бояре и прочие. Скажу им: не сокрушайтесь, за все ответит Богу грешный царь!

Васильев сказал, что немногие иноземцы, уехав за рубеж, пишут правду о Москве и государе.

Иван Васильевич рассмеялся:

– Беседовал со мной в субботу фрязин Ванька Тедальди²³. И печаловался, будто много народу погубил я. Так-де пишут в западных странах... Стар он, неразумен. Губил я изменников, да и где им почет?! Вон Эрик Свейский с своею собакою, кровосмесителем Георгом Перссоном, сколько высоко-родных гордецов сгубил, да и брата своего Иоанна, коли он попал бы к нему, не пощадил бы... Эрик губит своих вельмож без толку, я перебираю людишек моих по делам. Следовало бы и еще кое-кого убрать, но я терпелив... жду, покуда исправятся... Царю все ведомо, и коли ты за собою вины никакой не видишь, то, будь покоен, царь ее видит!..

Краска смущения залила лицо дьяка. Он не ожидал такого оборота речи Ивана Васильевича.

– Убийца либо вор, присвоивший чужое добро, явственно видит свое преступление... Тот, кто грешит против государя и родной земли, не убивая и не воруя, почитает себя правым и всякое дело свое творит, гордясь тем, будто делает добро... будто в том нет греха... будто ошибается государь, – уходит по тому пути далеко... Так далеко, что уж ему и преступле-

²³ Итальянец Джioванни Тедальди.

нь не кажется преступлением. В те поры беру его и казню, а он, умирая, говорит: «Прости, Господи, царю и великому князю грех его – не ведает бо, что творит!» Так и умирает, не покаявшись. Ну и Господь с ним. Монастыри я заставил поминать их души.

Царь милостиво распрощался с англичанами.

Окруженный дьяками, сопровождаемый Малютою Скуратовым и стрелецкою стражею, опираясь на посох, он неторопливо пошел во дворец.

Вернувшись в свои покои, Иван Васильевич приказал постельничьему послать поклон матушке государыне.

Мария Темрюковна пришла, приветствовала царя, он ответил ей таким же приветствием. После этого подвел ее к столу и показал ей кораблик, подаренный английским послом.

Царица залюбовалась им; ей очень понравилась отделка корабля, но она сказала, что хорошо бы прикрепить к мачте московский греб – будто бы это наш корабль.

Царь был в восторге от этого совета супруги. Он велел слугам немедленно сыскать на митрополичьем дворе новгородского богомаза Марушу Нефедьева и привести его во дворец.

– Вот бы мне такое судно!.. Поехали бы мы с тобой на море... Любопытно мне посмотреть на ихнюю жизнь... Уж больно расхваливают они себя... Так ли это?

Мария Темрюковна уже не первый раз слышит о желании

царя побывать в Англии. Он ведь знает, что ей не нравится это, и, словно бы нарочно, повторяет одно и то же. Царь по ее молчанию и скорбно опущенному взгляду угадал ее недовольство.

– Ну, не сердись, Бог с тобой, голубица моя! Можно ли царю отъезжать из своей земли? На один день мне из Москвы нельзя отлучиться.

Пришел иконописец Маруша Нефедьев, упал в ноги царю.

Иван Васильевич велел ему подняться и слушать его. Он приказал Маруше нарисовать маленькие вымпелы с двуглавым орлом.

– Поторопись! Живо!

Маруша бросился опрометью бежать и вскоре принес маленькие вымпелы с московским гербом.

Иван Васильевич осторожно прикрепил их к модели корабля.

Царь и царица глазами, полными восхищения, долго любовались кораблем.

– Закажу я такие же корабли в Англии... – И, немного подумав, громко сказал, взглянув на жену: – Нет. Будем делать у нас свои... на Студеном море. У церкви святого Архангела. Самим надо учиться... есть и у нас люди...

Мария Темрюковна сказала сердито:

– Не построим.

– Что так, государыня?

– Они не захотят!

Царь вспыхнул, глаза его заблестели гневом.

– Заставлю! – тихо, но грозно проговорил он. – И мореходцы у нас с древних времен и по сие время ведутся. Умножим их.

Мария Темрюковна недоверчиво покачала головою:

– По силам ли тебе то, батюшка государь?

Иван Васильевич, немного подумав, сказал:

– Сильны бояре, государыня, воистину сильны! Однако не теряй веры. Служилые помогут. У меня одна невзгода, у них другая... И царь, и малые служилые люди в обиде на вотчинных владык. Изобидели они нас. В приказах моих и в войске народ исхудал... ропщет... К делу охоту теряют. Добро бы невзгоды его были от скудости земельных угодий. Мало ли у нас земли? Княжата да бояре на земле распластались, служилым людям уж совсем тесно стало. В приказы ходят, приказами живут, нужду в них имут, а людей приказных ни во что ставят. Нужда охоту отбивает к работе. И малую толику не горазды вельможи уделить им. Сам Бог велит царю согреть щедротами своими малых сих. Кто же позаботится о них? Кто наложит руку на вотчины великие, oprичь государя? Воинники тоже... Обороняют землю, а земли мало кто имеет.

Мария Темрюковна помолилась на иконы:

– Помоги тебе Господь! – И добавила: – Завистливым они тебя обзывают, злобою великою пышут. Берегись, батюшка Иван Васильевич!

– Не все!

– Все, государь! Кому же в ум придет, чтоб землю свою отдавать? Кабы у отца моего кто землю посмел отнять, он убил бы того... проклял бы того навеки!..

Иван Васильевич задумался.

– Да, нелегко терять землю! Нелегко расставаться с родовыми уделами. Это надо понять!

– О том я и говорю, государь, – вздохнула царица.

– Но идти вспять не благословил меня Господь... До смерти буду идти тем путем... Бог поможет мне. Не отступлюсь!

II

В Москве, у Сивцева Вражка, городской приказчик Семен Головня согнал толпу каменщиков, стенщиков и ломцов – тех, что восстанавливали разрушенные царскою осадой стены Казанской крепости. Тут же были резчики по камню из Новгорода и холмогорские работные люди. Царь Иван с особой любовью строил новые церкви и всячески поощрял мастеров-каменщиков. Еще в 1556 году писал он новгородским дьякам:

«Мы послали в Новгород мастера печатных книг Марушу Нефедьева, велели ему посмотреть камень, который приготовлен на помост в церковь к Пречистой и к Сретенью. Когда Маруша этот камень осмотрит, скажет вам, что он годится на помост церковный и лицо на него наложить можно, то вы

бы этот камень осмотрели сами и мастеров добыли, кто б на нем лицо наложил, и для образца прислали бы к нам камня два или три. Маруша же нам сказывал, что есть в Новгороде, Васюком зовут, Никифоров, умеет резать резь всякую, и вы бы этого Васюка прислали к нам в Москву».

И теперь в толпе работных людей находились оба эти мастера: Маруша Нефедьев и Васюк Никифоров, а с ними и знаменитый колокольный мастер Иван Афанасьев из Новгорода.

У костра завязалась беседа.

Петька-новгородец, мускулистый, складно сложенный детина, жаловался: хлеба мало дают.

– Ты и без того што скала и реवेशь почище быка... Без хлеба полгода проживешь... – пошутил над ним его товарищ Семейка, дрожа от сырости и холодного ветра.

Посмеялись, побалагурили.

– Где работано, там и густо, а в бездельном дому пусто, – проворчал, почесав затылок, резчик по камню дядя Федор. – Чего ради нагнали сюды народищу!.. Э-эх, приказные мудрецы! О нас плохо думают.

– Верно, дедушка, ихово то дело... Нас вот из Холмогор пригнали, а мы испокон века на Студеном море плаваем... суда водим купецкие, – тяжело вздохнул расстрига-монах, широкоплечий, косматый детина, одетый в сапоги из тюленьей кожи. Имя его – Кирилл Беспрозванный.

– То-то, братцы... Какие мы стройщики! Мы – мореход-

цы, – поддержал своего товарища холмогорский мужик Ерофей Окунь.

– Прижали нас попусту. И мзда не помогла.

– Што уж! Слыхали, чай: дерет коза лозу, а волк – козу, мужик – волка, приказный – мужика, а приказного – черт!

Расхохотались ребята. Понравилось.

– У нас так... – сказал, притоптывая лаптями по размякшему от весеннего солнца косогорью, похожий на ежа псковитянин Ермилка – малого роста, в тулупе наизнанку. – Службу служить, так значит: перво-наперво – себе, на-вторых – приятелям удружить... Добро прилипчиво... Воевода в городе, как мышь в коробе. Ежели им быть, так уже без меда не жить... Дудки! Одним словом, спаси, Господи, народ, – смеясь, перекрестился Ермил, – накорми господ!

Семен Головня, городской приказчик, прислушавшись к разговору работных людей, насупился:

– Полно вам!.. Чего шумите?

И пошел.

– Ладно, новгородцы! Будем, как пучина морская... Молчите! – проговорил Кирилл Беспрозванный. – Я вот побил игумена, и за то расстригли... Пьяный был я... Во хмелю несговорчив. Да и вольный я человек, морской... Простор люблю... В келье скушно стало мне...

В хмурой задумчивости еще теснее столпились вокруг костра.

– Ишь, земля-то за зиму как промерзла, – покачал голо-

вою Окунь. – Словно у нас в Холмогорах.

– Земля не промерзнет, то и соку в ней не будет!.. – оглянувшись в сторону городского приказчика, громко сказал дядя Федор и тихо добавил: – Прорва, сукин сын!

– А сколько их, Господи! – заохал скорбно Ермилка.

– И что держат народ? Не понять, не разгадать!

– В том оно и дело: гнали – мол, батюшка-царь приказал торопиться, не мешкать... А пригнали – и ни туды и ни сюды... Топчемся по вся дни на Сивцевом Вражке. А для ча – неведомо.

Подошедший к костру Нефедьев, сделав страшные глаза, сказал тихо:

– Будто боярина какого-то ждут... А вот, вишь, он и не едет. Э-эх, Москва, Москва! Вот и вспомнишь батюшку Новгород.

– Истинно! – отрезали новгородцы. – Вспомянешь.

– А мы Студеное наше морюшко все с Кириллом поминаем... Э-эх, душа истосковалась по родным местам!.. – вздохнул Окунь.

– По окияну ходили и так не робели, как тут в Москве, – произнес расстрига. – Окиян нас кормил и поил без отказа, без упреков. Што хошь делай – раздолье!

Пошел хлопьями мокрый снег; ветер, пробегая по лужам, завивал снежок, разрывая огни костров. Кустарники и деревья, почерневшие от сырости, наполнились глухим рокотом.

– Зима ворчит, не хочет уступать весне! – засмеялся

Окунь.

На площадь перед небольшой церковью прибыло множество бревновозов. Лошади астраханские, малого роста, узкобрюхие, с тяжелой головой, с короткой шеей, но крепкие и сильные. Увязая в грязи, они приволокли на телегах не только бревна, но и громадные куски белого камня и кирпича.

Неожиданно на паре лошадей, в закрытой повозке примчался Малюта Скуратов. Выйдя из возка, он неодобрительно осмотрел толпу мужиков. Одет в черный, подбитый мехом охабень с золочеными круглыми пуговицами на груди. Меховая шапка с красным бархатным верхом надвинута на лоб; у пояса изогнутая турецкая сабля.

Поманил пальцем городских приказчиков.

– Пошто народ без дела толчется? – строго спросил он.

– Боярин Фуников уже второй день гоняет их сюда.

– Чьи они?

– Новгородские каменщики, стенщики, ломцы холмогорские тоже.

– Чего ради держат их без дела?

– Не ведаем, батюшко Григорий Лукьяныч.

– Боярин Фуников бывал ли?

– Третьи сутки ожидаем... Так и не привелось нам видеть его светлость.

– Недосуг, почитай, боярину Никите... Немало ему заботушки!.. Как мыслишь? – с хмурой улыбкой, как бы про себя проговорил Малюта. – Ну? Што народ говорит? Слыхал ли?

Головня развел руками, в одной из них держа шапку.

– Как сказать... – замялся он. – Мало ль што брешут черные люди. Мужичья душа темнее омута... Болтают они тут всяко.

– Не спрашивают ли: чего для пригнали их и што делать будут?

– Спрашивали...

– Ну?

– То мы ответим, кой раз и сами не ведаем ничего?..

– Бревен маловато.

– Дьяк Ямского приказа Ямскую слободу не тревожит. Хмельной он вчерась был... Дрался дубьем.

– А копачи прибыли?

– Нетути. В Земском приказе отказали: «Недосуг, мол, обождите!» Целую неделю, почитай, толку не добьемся. По-сохом гонят.

– Боярину Фуникову жаловался?

– Жалобился, Григорий Лукьяныч, ходил в хорому его, жалобился.

– Ну, што ж он?

– Едва собаками не затравил. Гнушается нами. Обидно, Григорий Лукьяныч! С тобою, с ближним слугою царским, говорю честно, без лукавства. Лют тот боярин, лют. Коли был бы такой, как ты, дело бы скорее пошло... Боимся мы его... Боимся!..

Малюта глядел на Головню со спокойною, даже, как пока-

залось приказчику, ласковой улыбкой.

– Ну, видать, сиротинушка, такова твоя доля. Ничего! Бог на небе, царь на земле. Уладится!

И пошел в ту сторону, где толпились мужики.

Подойдя к ним, поздоровался. Косматые шапки были быстро сдернуты с таких же косматых голов. В тихой покорности ребята склонились перед Малютою.

– Надевай шапки! Не икона! – добродушно рассмеялся он. – Ну, как, братцы, житье-бытье? Сказывайте без боязни.

– Бог спасет! Живем, докедова Господня воля. По привычке.

– Добро! Вишь, дело-то у нас не идет. Застоялось. Государь послал проведать вас.

– Хозяев нет, добрый человек, в этом вся суть. Никаким способом смекнуть не можем, пошто согнали нас. Студобит, да и голодно... Хлебом обижены. Обделяют.

– А мы и в толк взять не можем, пошто нас, мореходцев, пригнали сюды, – сказал Кирилл.

Малюта расспросил Беспрозванного и Окуня об их плавании по морям.

Холмогорцы с горечью жаловались Малюте на то, что их заставляют делать незнакомое им дело.

– Ладно. Обождите, – сказал им Малюта. Он стоял, задумавшись.

К месту беседы приближался Головня. Малюта кивнул ему головой, громко сказав: «Отойди!» Головня нехотя по-

брел прочь.

– Кто же вас хлебом обидел? – обратился Малюта к новгородцам.

– Не ведаем, добрый человек. Черные мы люди и не здешние. Токмо голодно нам тут, на Москве, опосля Новгорода... Не то уж! Далеко не то.

– Што же приказчик?.. Говорили вы ему?

– Много раз, Бог с ним! Говорили.

– А он што же?

– Буде, мол, роптать, не велено... Сколь царем положено, то и получайте!..

– Сколь положено? Много ль он дал?

– Полкаравая малого на душу.

Малюта вскинул удивленно брови. Поморщился. Промолчал. Мужики, уловив на его лице неудовольствие, осмелели. Дядя Федор выступил вперед, низко поклонился:

– До Бога высоко, до царя далеко! Где теперича нашему брату искать правды? В наше времечко у всякого Павла своя правда. Вот и ищи ее. У нас так: ни праведнику венца, ни грешнику конца. Мыкаемся-мыкаемся, а дальше плетей никак не уйдешь! Всяк норовит обидеть, обездолить. А как чуть што – на царя кажут... Так, мол, царь приказал. И наша душа ведь, родимый, не погана... христианская же... А главное – што вора́м с рук сходит, за то воришек бьют! Вот оно в чем дело. Тут вся суть.

– Счищали вы плесень с камней?

– Какую, батюшка, плесень? Что-то не слышали...

– Да и чем ее счищать, – рассмеялся дядя Федор. – Чудно што-то.

– Мы и камня-то не видим, – загалдели многие голоса. – Давно бы надо его навозить.

Спокойно выслушал Малюта мужиков, вида не показывая, что его трогают слова дяди Федора. Затем распрощался со всеми и быстро, не глядя ни на кого, пошел к возку.

После того как Малюта уехал, к новгородским работным людям подошел Семен Головня и стал с усмешечкой спрашивать их, о чем беседовал с ними слуга царев Малюта Скуратович.

Ему ответил дядя Федор. Он сказал:

– Слушай:

В одном болоте жила-была лягушка,
По имени по отчеству – квакушка;
Вздумала лягушка вспрыгнуть раз на мост,
Присела да и завязила в тину хвост.
Дергала, дергала, дергала, дергала,
Выдернула хвост, да завязила нос.
Дергала, дергала, дергала, дергала,
Выдернула нос, да завязила хвост.
Дергала, дергала, дергала, дергала,
Выдернула хвост, да завязила нос.
Дергала, дергала...

Земляки дяди Федора дружно расхохотались. Головня не на шутку обозлился, сжал кулаки, чтобы ударить насмешника. А дядя Федор с улыбкой сказал:

– Полно, родимый!.. Это, чай, я про нас, а не про вас!

Головня замахнулся. В это время между дядей Федором и Головней стал великан-расстрига.

– Стой! – грозно надвинулся он на Головню. – Худшее будет, коли осерчаю! (Ругнулся крепко.)

Головня струхнул, отступил.

– Ишь ты!.. Водяной... Лешай... – бессмысленно проворчал он. – Обождите! Боярину на вас докажу. Мятежники...

Боярин Челяднин Иван Петрович, он же и Федоров, немалая сила в русском царстве. Он горд, и не столько знатностью и древностью своего рода, сколько своей начитанностью и умом. Сам Иван Васильевич не раз ставил его по уму выше всех бояр. И доверие царь, невзирая на многие несогласия с ним, оказывал ему большее, чем другим боярам.

И вот однажды, в воскресный вечер, сидя у себя в хоромах со своим другом и помощником, боярином Никитой Фуниковым-Курцовым, и предаваясь без усталости потреблению хмельного заморского, Иван Петрович говорил медленно, с передышкой:

– Что есть власть?! Нетрудно с помощью происков и коварства достигнуть наивысшей силы, ибо нет сильнее страсти, нежели честолюбие. Самые великие мужи встарь доби-

вались могущества в своем отечестве не внушением добра и совести, но наиболее – честолюбием.

Фуников, сонный, с отеками от пьянства щеками и усталыми, бесцветными глазами, приложив ладонь к своей впалой груди, украшенной золотым крестом на цепочке, проговорил со вздохом:

– Истинно, батюшка Иван Петрович, истинно. Мудрый ты! Опять «царь приговорил с бояры». Ну, как я то услышал, так меня ровно огнем охватило! Ровно паром обдало. «Царь приговорил с бояры...» Хе-хе-хе! Дескать, бояре захотели, штоб вотчины князей Ярославских – десять родов, да князей Суздальских – четыре на десять родов, да Стародубских – шесть родов, да Ростовских – два на десять родов, Тверских, Оболенских – четыре на десять родов, и иных служилых князей, штоб не мочны были их хозяева ни продать, ни заложить, ни променять, ни отдать за дочерьми и сестрами в приданое своих вотчин... Умрешь – и государю все!.. Вот уж истинно: ждала сова галку, а выждала палку!.. Шестидесять родов! И все оное «царь приговорил с бояры». Хитро.

Челядник и Фуников, прикрыв рот ладонью, с горечью захихикали.

– Ну и царек! Поутру резвился – к вечеру взбесился!.. Э-эх, кабы вина еще не было – и жить бы тогда не для чего, – промолвил Фуников. – Говорил я... дождемся, што всех нас истребят... Не послушали!

– Да это как будто и не ты говорил, а Миша Репнин.

– Помнится, быдто я... Надо бы тогда его успокоить. Случай был. А теперича жди, когда он на войну поедет.

Опорожнили свои кубки, запихнули в рот руками большие куски вареного мяса, пожевали, покраснев, вытаращив от напряжения глаза.

– Как ни верти, а придется нам наказать строптивного владыку. Кто не желал бы добра сыну покойного великого князя Василия Ивановича? Но сам он отвращает от себя. Сомнителен, жесток – вот в чем наша беда! Мудрый человек всякое дело ведет к своему благополучию. Иван Васильевич всякое дело свое ведет себе в ущерб, к своей гибели.

– Каждый день про то говорим, а все ни с места! – махнул рукой боярин Никита. – Нет уже тех из нас, кои дерзали... Один остался смельчак – Андрей Михайлович – и тот укрылся в Юрьеве подале от двора.

– Обожди, потерпи. Не теряй надежды! Бояре и князья свое возьмут... Князь Курбский притих не от страха... Нет! Он свое дело крепко знает. Не торопись. Мы свое возьмем. Владимира на престол посадим. Увидишь!

Иван Петрович побледнел, помотал головою, как будто что-то застряло у него в горле, и снова налил кубки себе и Фуникову.

Горница, в которой Челяднин принимал своего гостя, была под глубоким куполом, украшенным византийскими с позолотой узорами; стол, за которым сидели они, – круглый, граненый и тоже узорчатый. Все яркое, богатое, сделанное

руками лучших суздальских мастеров.

В последнее время бояре избегали больших пиршеств. Прежде пиры были людные, тянулись с полудня до утра следующего дня. Множество яств и кувшинов с напитками не умещалось на столах. Хозяин величался тем, что у него всего много на пиру. Гостьба почиталась лишь та, что была «толстотрапезна». Хозяину полагалось охаживать гостей, напоивая их «до положения риз». Кто мало ел и пил, тот считался обидчиком хозяев дома. Кто пил с охотою, значит, по-настоящему любит хозяина. Женщины обычно пировали с хозяйкой и угощались до того, что их без сознания увозили домой. На другой день, если хозяйка посылала к своей гостье узнать об ее здоровье, она отвечала: «Мне вчера было так весело, что я не знаю, как и домой добрела!»

Теперь война, богомолье, посты, приемы в государевом дворце чужеземцев и невеселые для бояр пиры у царя, равносильные пытке. Легко ли сидеть за одним столом с хуdorодными дьяками, купцами, казаками? Прости Господи, даже морские разбойники, душегубы, появились среди гостей Ивана Васильевича!

Нет, уж лучше вот так, в уединении, подальше от глаз, вдвоем с близким другом покалякать по душам. Легче как-то после того. Уж очень трудно стало молчать. Никак не приучишься к молчанию.

– Вспомни покойного боярина Колычева... Никиту!.. Чем не вельможа был? Ухлопали! Кто? Курбский говорил, будто

по воле царя сие грешное дело. И будто оно рук Грязного... разбойника... сыроядца!.. – гневно сверкнул глазами Челяднин. – Я бы его самого вот этим ножом зарезал. – Челяднин с ожесточением схватил со стола нож и потряс им в воздухе. – И Малюту бы заколол! Прикидывается, Змей-Горыныч, ласковым, уважительным, а я не верю ему... Иуда.

Фуников никогда не слышал таких злобных слов от спокойного обычно Челяднина. Он даже на месте привскочил от удовольствия.

– Любезный брат, Иван Петрович. Друг! Правильно! Донесли мои холопы. Побывал он вчера на Сивцевом Вражке, мужиков моих опрашивал. Извета ищет... Извета! О хлебах даже спрашивал.

Челяднин нахмурился.

– Берегись, боярин! Худое знамение. Не делай явно того, что должно быть тайно... Понял меня, Никита? Всего лучше тебе побывать самому на стройке.

Пошли разговоры совсем тихие.

– Слышал? Неспроста царь задумал особый дворец строить. Из Кремля хочет уйти. Посуди, боярин, зачем задуманный дворец?

– И другие бояре против того... Великому князю место в Кремнике²⁴, а не на посаде с мирскими заобычными людьми... И душа у меня, Иван Петрович, батюшка, не лежит к тому устройению... И пошто государь, Бог ему судья,

²⁴ Кремль.

возложил на меня то устройство?! Господи, Господи!..

Слезы выступили у Фуникова.

– Коли душа не лежит, не усердствуй, царь бо не ведает, что творит... Срамота! Чтоб государь до посадских опустился не токмо сам, но и с чертогом своим... Делай вид усердия, и только. Гибнет Русь, гибнут дедовские устои. Вот бы посмотрел теперь на него дед его, Иван Васильевич Третий, – что бы он сказал теперь? Поехал ли бы он с племянницей византийского императора, своею супругой, за Неглинку-реку, к торжищам и свалочным ямам? Ведь этим царь и нас унижает.

Фуников стукнул кулаком по столу:

– Не будет по-ихнему!.. Не боюсь Малюты!

– Не горячись, друг. Не теряй разума, Никита, – строго произнес Челяднин. – Знай меру и час... Где скоком, где боком, а где и ползком... Государь так-то любит. Напрямик нонче не ходи. Все ныне изолгались, все ныне под страхом, а уж коли так, гляди и сам, как бы безопасну быти. Наивысшая мудрость нонче – из воды сухим вылезти.

Челяднин встал, помолился.

Поднялся и Фуников.

– Пойдем, Никита, в девичью. Одно утешение на старости лет. Боярыня моя к Троице уехала. Что-то скушно!.. Погрешить захотелось... Ливонскую немку одну купил я тут... Пойдем покажу.

Фуников оживился.

– Погрешить и мне охота. И понимаешь, Иван Петрович, делаюсь и я чем старше, тем к бабам прилипчивее. Бес смущает. Никуда от него, от окаянного, не денешься... Щекотаньем досаждает... Уж я и Богу молюсь, и святой водой окрапливаюсь... Седина в бороду, бес в ребро! Беда!

– В естестве греховны, Никита, не мы одни с тобой. Вон царь-батюшка... Прости Господи. Жену себе азиатку взял, ради ее красоты телесной... Говорить не умела по-нашему. Целые дни ее учат говорить. К телесам Иван Васильевич весьма охоч. А мы нешто хуже его?!

– Про Ваську Грязного слыхал?

– Не. Ничего не слыхал.

– Развода с женой добивается... В блюде якобы застал ее с немцем. Да врет, чай! Не такая она, как говорят. Царь на его стороне. Митрополит покойный будто бы согласие перед смертью на то дал...

– Митрополит Даниил, разведя великого князя Василия Ивановича с его супругой Соломонией, пример тому показал. И грех за многие разводы на Руси падет на покойных митрополитов иосифлян... Я никогда не допустил бы того. Согрешить заглазно не ижденув жены – куда меньший грех!

Беседуя о земных слабостях человечества, осуждая царя за похотливость, побрякивая, бояре взяли свои посохи и, тяжело покачиваясь из стороны в сторону, стали спускаться по скрипучей лестнице в девичью.

В темноте проходной горницы на шею боярина бросилась

какая-то женщина...

– Эк ты? Эк тебя разбирает! – самодовольно проворчал Иван Петрович. – Фуников, трогай! Она... Немка... Бешеная... Страсть! Соблазнительница моя! Ну как? Хороша? Осязай!

Началась возня.

Немного понадобилось времени, чтобы бес опутал по ногам и рукам обоих бояр.

– Иконы, твари, не забыли ли завесить? – с трудом прошептал набожный Челяднин своей невидимой любовнице.

– С утра завешаны, – раздался женский голосок со стороны.

Иван Васильевич велел привести из Судного приказа боярского сына Антона Ситникова для допроса. В рабочей палате царя, кроме Малюты Скуратова, никого не было.

Ситников стал на колени, дрожа от страха. Рыжие волосы на голове всклокочены. Глаза, слезливо молящие о пощаде. Однако толстое с красным носом лицо и тучный живот явно говорили о том, что этот человек и попил, и погрешил против казны на своем веку немало.

– Ты ли Антошка Ситников из Судной избы?

– Яз – самый оный Антошка.

Опершись на посох, Иван Васильевич некоторое время пристально вглядывался в лицо боярского сына.

– Не тот ли, что усердствовал своему государю воров-

ским обычаем, обирая невинных людей, безвинно бросая их в тюрьму и не наказывая виновных?

Ситников не в силах был ничего сказать. Его челюсти стучали, язык не ворочался.

– И не ты ли, собака, поперек государева приказа посулы требовал у новгородских каменщиков и жалобу их на приказчиков не принимал?..

– Я яз! Помилуй, батюшка государь! Век буду о тебе Господу Богу молиться, – взревел Ситников.

– Так-то ты крестное целование соблюдал, собака!

И, обратившись к Малюте, царь сказал:

– Срубите неверную голову.

Ситников кинулся лобызать царю ноги, моля о пощаде, но Иван Васильевич, оттолкнув его ногой, несколько раз ударил по спине посохом.

Вошли два стрельца и увели Ситникова из палаты.

– Бояре смеются над нами, – сказал Иван Васильевич Малюте. – Набрал-де новых себе слуг из боярских детей да из дворян, а они вор на воре. Не обидно ли слушать такое? Ино так и есть. Гляди.

– Новые слуги, батюшка великий государь, не повинны в воровстве явных злодеев, мздоимцев, клятвопреступников, обманувших твое царское доверие, – произнес с глубоким поклоном Малюта. – Но и Фуников боярин не без греха... брал из казны деньги попусту. Обманывал тебя.

– Веди другую собаку! – хмуро указал на дверь Иван Ва-

сильевич, как бы не слыша слов Малюты.

– Слушаю, батюшка государь.

Малюта втолкнул в палату дворянина, приказчика Семена Головню.

Иван Васильевич, слегка наклонив голову, впился гневным взглядом в лицо вошедшего:

– Не тот ли ты дворянин, коего мне нахваливал Васька Грязной?

– Точно, батюшка государь Иван Васильевич, точно: яз самый оный и есть. Для присмотру к боярину Фуникову яз приставлен... доноительства для.

Лицо царя побагровело, плечи передернулись.

– Смерд ты поганый, а не дворянин!

– Богу за тебя, батюшка государь, молился денно и ночью.

– Не причетники мне надобны, не славословы и не воры, а верные рабы. Пошто хапаешь хлеб и казну на государевом деле?.. Каменщиков, работную чернь объедаешь? Признавайся!

Ударив себя в грудь кулаком, Головня воскликнул:

– Государеву честь защищал! Доношения на врагов царя Василию Григорьевичу подавал.

Иван Васильевич стал бить Головню посохом.

– На себя, собака, зачем не донес? Хапал? Отвечай – хапал? Хапал? Вероломный! Вот тебе! Вот тебе!

– Винюсь, государь!.. – с рыданиями простонал Головня. – Хапал!

– Руби его голову и руки! Затем я вас набрал? Чтоб воровали?! – грозно крикнул царь.

Оставшись наедине с Малютой, Иван Васильевич сказал:

– Лихоимство распространилось и усилилось повсюду до высшей меры бесстрашия. Что же станет с царем, коли его именем будут прикрывать воровство? Известно ли тебе, Григорий Лукьяныч, что и в Поместном приказе хапают? Нечисто дело ведут. Путила Михайлов сам в петлю лезет... Давно я слежу за ним. А в Разряде? Жалуются воинские люди и на Ивана Григорьева, жалуются! Любит мзду. Приказные сторожа, и те вымогают... Кто дает деньги, того пускают в приказ, кто не дает – гонят от ворот прочь. А Ваську Грязного побей!.. Наломай ему бока.

– На примете у меня и Фуников, батюшка Иван Васильевич. Кое-кого из бояр и князей еще занес я в смотренные списки...

– Повремени трогать. Терплю. Покуда упреди. Поглядим. Стыдоба! Никоего дела доверить нельзя. Воровство! Расправы несправедливые. Насильство и над крестьянством пососанным, якобы государь так приказывает. Судебник наизнанку вывернули. Всякий закон писан с добрым намерением, но воры, крючкотворы изъясняют смысл одного по-своему, как то им на пользу, а государю во вред. Повинуясь жажде обогащения, воры забыли Бога и честь. И разбогатеv, они все воруют, словно бы по бедности... Уж и не видят, что их окружает избыток. Слепнут, скареды! Им недосуг оглянуться на

себя... Горе царству от таких людей. Губить их будем без пощады!

В тишине слышалось тяжелое, прерывистое дыхание царя да тихий благовест за окном, у Спаса на Бору.

– Под золотом кудрей и у моих юных слуг появилась порча, разум кое у кого помрачился, боярские повадки замечаю. Здрав нос, гордец незаметно для себя подходит к краю бездны и падает в нее. И никто не пожалеет такого. Сатана с ним! Следи за моими молодцами, Малюта. Шатание вижу, ой, вижу! О себе думают более того, что положено. Утром побил я Вешнякова... Пускай не думают: чем ближе к царю, тем дальше от закона! Не бывать сему.

Малюта улыбнулся:

– К немцу в кабак повадился Вешняков хаживать... Девок портят там молодцы.

Глаза царя застыли в злой неподвижности... Большие, страшные глаза.

– К немцу? А потом в мой дворец, в мои покои?! После поганого немца! Гони его в баню... собаку!

Иван Васильевич с отвращением плюнул.

– К немцу ходит! К поганому супостату. Не по нраву мне рожа сего нехристя. Червяк!

Успокоившись, царь спросил Малюту, разведал ли он о неправдах, творимых недельщиками²⁵.

²⁵ Служители при Судной избе. За доставку на суд обвиняемых получали вознаграждение по таксе.

– Подучивают иных лихих людей, якобы подсудный купец не хотел на суд идти, оговаривают напрасно в угоду другому купцу и за то деньги берут... Ходят к тому, коему и в суд идти не надобно, стращают его и тянут с него мзду. Брось в тюрьму одного-двух на выбор. Бичуй на площади! Что сказано в судебнике? «Суд царя и великого князя судить боярам, и окольничьим, и дворецким, и казначеям, и дьякам, а судом не дружить и не мстить никому, посулов в суде не брать. Точно так же и всякий судья на суде не должен брать посулов». А теперь оставь меня, Григорий Лукьяныч, пойду Богу молиться. А за немцем присматривай, не по душе он мне. Глаза у него зеленые, змеиные, и лъстец он великий...

Малюта низко поклонился, вышел. Прямо из дворца направился в Пыточную избу, под гору, у Тайницкой башни. Хлопот сегодня немало. Двух дьяков да троих дворян надобно попытать, да и казнить пострашнее, чтоб другим неповадно было, а как казнить, надобно о том подумать, да и с государем обсудить.

Деловито, озабоченно шагал он по кремлевским улочкам. Перед соборами останавливался и усердно молился.

Казнь сама по себе мало его интересовала. Дело это казалось ему простым, не требующим ума. пытки ему были более по душе. Сыск заставлял раскидывать умом, копаться в догадках, читать в стоне, плаче, причитании, в обезумевших глазах пытаемого недосказанное им, скрытое, но самое нужное. Правда, Малюта зачастую приходил домой усталый,

раздраженный, ворчал на жену и дочь, не добившись толка от пытаемого или оттого, что тот во время пытки «умре». Не любил Малюта твердости пытаемого, никаких мучений не страшившегося и умиравшего с проклятиями на устах. Это вселяло не только досаду в душу Малюты, но и страх. Эти упрямы даже во сне его донимали, не отступая от него, уже будучи мертвыми. Смеются стеклянными глазами... Издеваются. Только молитва и спасает.

Придя домой, Малюта усердно полоскался в воде, смывал копоть, кровь с лица, с рук, молился Богу, потом садился за стол. Ел молча, хмурый, задумчивый, теребил со злом куски вареного мяса своими крепкими зубами. Еще бы, нелегко возвращаться к царю, не добившись признания у преступника и выдачи сообщников. Царь не любит, когда пытаемый «зря умирает».

Другое дело, если тот, кого жгут огнем или за ребра цепляют, чистосердечно раскаивается во всем и открывает сообщников, – тогда он, Малюта, спокоен. Такой преступник заслуживает христианского погребения, и царю будет о чем доложить, не зря его «отделал». Совесть его, Малюты, спокойна. Служишь царю – угождаешь Богу!

Иван Васильевич после ухода Малюты сказал царице с грустью:

– Ищу я мира, дум святых, грудь моя открыта добру, но... э-эх, царица! – тяжело вздохнул он. – Не для покоя, не для

дум святых, не для добра дана нам власть!.. Грешнее царей никого нет.

И он рассказал про Антошку Ситникова и Семена Головню.

– Можно ли их простить? Отвечай, царица!

Глаза Марии Темрюковны еще более потемнели.

– Я бы сама убила их! – сказала она сердито. – Зачем холопу обманывать тебя, государь? Кинжалом колоть их надобно.

– Приключились распри и тревоги в моем народе, и в какие дни? Война! Коли так будет, можно ли победить королей-нападателей? Забыли войну! А я помню. Долгая она, злая, и крови много, и глады лютые будут, и мор... Ко всему готовиться надо.

– Уедем из Москвы... Мне страшно! – тихо проговорила царица, взяв его большую холодную руку, прижав к губам.

– Неужто не смогу я справиться с заразою измены и воровства? Бог велит мне произвести бурные перемены в моем царстве. Думается, сил немало во мне. Смертный меч крепко держу в руке. Бог поможет нам одолеть неправду холопов. Москва крепнет и растет... Никто не должен тому мешать.

– Ты сильный... знаю, – прошептала Мария, прижавшись плечом к Ивану Васильевичу.

– Мои корабли в море плывут. Стрельцы и пушкари московские стрелять учнут в Западном море из наших пушек. Русские пушки на море! Мои люди будут корабли воровские зацеплять. Мария! Семь наших кораблей... И наши морехо-

ды есть. Свои! То-то шум поднимется в чужих странах. Завоюют, ровно волки, а наши будут русские песни петь на море... – И вдруг Иван Васильевич опустился на колени перед иконой, прошептал: – Охрани их, Господи, от племен нападающих, от бурь и гроз, от ветров студеных, от всякого зла!.. Не погуби, Господи, людей моих, веру Христову исповедующих! Царица, молись и ты.

Мария Темрюковна стала рядом с царем на колени, скрыв пышными ресницами улыбку удивления, мелькнувшую в ее глазах.

Малюта Скуратов был очень доволен пыткой, учиненной над Ситниковым и Семеном Головной: и тот и другой раскрыли своих сообщников по мздоимству и хищениям. Нить воровства восходила снизу до самого верха.

– Пошто нас одних мучают и на казнь обрекли? – при первом же прикосновении каленого железа к его телу вскричал Головня и назвал кладовщиков, старших приказчиков, подъячих и дьяков и самого боярина Фуникова.

– Все воруют и один другого покрывают.

Ситников выдал многих дьяков Судного приказа и назвал с дрожью во всем теле, с глазами, выразившими крайний испуг и отчаянье, имя боярина Челяднина.

После этого Малюта приказал кату прекратить пытку. Его самого охватила дрожь: «Может ли то быть? Боярин Челяднин – один из богатейших вельмож, конюший, из древне-

го боярского рода. И царь его уважает больше всех бояр. Страшно даже довести этот донос до государя. Не верит многому Иван Васильевич и гневается зело, когда на высоких вельмож слово несешь! Да и не солгал ли со страху Ситников?»

Малюта никогда не забудет того, как однажды разгневался на него государь за донос на Курбского.

На днях царь сказал Малюте и Басманову:

– Ложных обвинений страшитесь. Не соблазняйтесь. Пресекуте разлитие худой молвы о боярах – не бояр казню я, а изменников. Были и вы тому свидетелями, когда подлинные враги наши, чтоб жизнь себе сберечь, клеветали на воевод достойнейших!..

Малюта с недоумением вслушивался в слова Ивана Васильевича, в которых звучали презрение и недоверие к доносчикам.

«Богдан Бельский! Нет, уж помолчать надо до поры до времени, и без того много наговорили эти воры. Бог с ним! Пускай успокоится».

Страшно стало докладывать о хищениях и измене. Ничто так не сердит царя, как раскрытие боярского самовольства. Он уже многое и сам знает, но... видимо, сделать ничего не может либо не хочет. Царь сам рассказывал Малюте, что англичане открыли ему тайну, почему голландцы овладели в Новгороде торговлей и пользуются всякими послаблениями там. В этом повинны Бельский и даже Андрей Щелкалов.

Прочие вельможи тоже не без греха. Голландцы задарили Бельского и Щелкалова, дают им обоим большие деньги в долг, зачастую и без отдачи.

Он, Малюта, приказал бы колесовать таких, а царь Иван Васильевич знает их воровство и не казнит их, терпеливо сносит злое надругательство над его царскою совестью.

«До поры до времени надо и о Бельском помолчать. Ладно. Малюта свое возьмет».

Скрытое торжество овладело Малютою: в недрах пыточных подвалов – он хозяин, он – царь и Бог, он – суд Божий, и никто не в силах помешать ему, даже сам государь.

Ш

– Так мир, друзья мои, устроен, – рассуждал, ковыряя в носу, дьяк Посольского приказа Колымет. – Кто опасен, того уважаем, шапки скидаем, тому угождаем. Кто беден и учинить беды нам не силен, на того и смотреть лень. А чего на него смотреть, коли на дворе у него петух да курица, а в доме грош да пуговица? И силы никакой в чину его нет.

– Видать, уж самим Богом так установлено, – оживился толмач Алехин, низенького роста человек, у которого было несоразмерно с туловищем большое лицо и притом почти безбородое. – Обычай таков: сила закон преступает. Возьми Василия Грязного... шток ему!

– Бывало, Макар гряды копал, а ныне в воеводы попал...

Знается, бес! Што делать! Я бы в конюхи его не взял. А ныне шапку перед ним ломай.

– А я и на двор бы его к себе не пустил. Уйду я с племяшем к Курбскому. Висковатый не препятствует. Не хочу в Москве быть!

– А Кусков, а Малюта?..

– Григорий Лукьяныч хоша думный человек, да башковит и хозяин благочестивый, при своей невиданной лютости, а те ведь – сушая тля!.. Григорий Лукьяныч – неча греха на душу брать – домовит, рассудителен...

– Сволочь! Душегуб! Чего уж тут хвалить?! Кровопивец.

– А Басманов Федька?

– Сукин сын! Содомлянин.

– А его родитель, Алексей?

– Лицемер. Продажная душа.

– А Щелкалов Андрей?

– Бес! Настоящий бес. Всех обманывает: и нашего царя, и чужих королей... Совести нет ни на грош.

– А его брат, Василий?

– Гад ползучий... Прихвостень!

– А князь Афанасий Вяземский?

– Дурак дураком, а важничает. Молодец среди овец.

– А Годунов Борис?

– Не пойму его. Будто лучше их. Молод, зелен – не разберешь. Опосля увидим. Не похож он на них.

Подьячий Васильев, сидевший до того молча, сказал:

– Полно вам, голуби. Кого осуждаете? Из таких же они, как и мы. Подними нас в звании, и мы нос задерем. На бояр зол я, на вотчинников – вот что! Погорелец я. Скитаюсь, бедный, с женишкою и детишками, по чужим дворам мыкаюсь. Сам-шест, а есть нечего, пить нечего, и платьишком ободрались, и ребятишки мои от скудости бродят по миру и кормятся именем Христовым, а князя да бояре великим яством объедаются, в богатстве отолстевают, и денег у них множество, и землю у иного не обойти, не объездить... Роптать на новых царевых слуг непристойно нам, таковым же...

Разговорились дьяки по душам, без опаски; в этой горнице Посольской избы сидело только трое дьяков, подьячий и старый татарин сторож, дремавший в углу, около печки, с секирою в руках. Молодежь на войне – старики в ходу стали. Татарин! И по-русски-то говорить не умеет, чего он поймет. Колымет и за человека-то его не считает, как вообще не считает за людей тех, кто ниже его по службе. Больше того, самый русский народ Колымет поднимает на смех и любит исподтишка посудачить о неустройствах в Московском государстве с приезжими иноземцами, благо знает чужеземные языки.

В этом не сходился он с Алехиным, наоборот, презиравшим иностранцев, говорившим о них, что-де они своекорыстны, особенно те, что лезут на службу к царю. Алехин ненавидел немца Штадена, избегал его. Колымет свел самую тесную дружбу со Штаденом и его друзьями. Одно только

его смущало – подозрительная близость Штадена к братьям Грязным. «Впрочем, леший с ним! Все одно скоро уеду в Юрьев, к Курбскому».

С большой осторожностью, полушепотом, заговорили дьяки о подготовке кораблей для Керстена Роде. Иван Васильевич ссылается на английскую королеву – она-де не чуждается принимать на службу корсаров. Френсиса Дрейка, закоренелого пирата, она жалует, держит в почете... Принимают из рук пиратов награбленное ими у испанцев и эфиопов добро... «Разве гишпанские, голанские, польские, немецкие и иные пираты не пользуются поддержкою своих правительств?» Морской разбой стал политическим делом в Европе. Корсары не только грабят встречные суда чужестранцев, но и захватывают чужие земли в теплых странах и приносят их в дар своим государям. Именитый лорд Томас Кобган со всеми своими сыновьями занимается разбоем, даже королеву не слушает...

Иван Васильевич на днях обратился к посольским дьякам с речью:

– Знает ли кто-нибудь в христианском мире, чтобы русские люди ходили по морям, хватали бы и грабили торговых людей иных стран? И теперь не ради поживы чужим добром принял я атамана Керстена Роде на свою службу, а ради защиты от морской тати своих, русских, торговых людей и гостей иноземных...

Дьяки очень хорошо понимают, в чем тут дело, но поймут

ли его, государя, иноземные владыки?

Колымет насмешливо махнул рукой:

– Чего уж оправдываться? Как говорится: «Всякий поп по-своему поет». Поделом нашего государя Змеем-Горынычем на весь мир огласили... Как-никак с разбойником дружбу свел, у всех на глазах.

Алехин покачал головой, сокрушенно вздохнул:

– Дожили! Видел я его... Василий Грязной его словил... Смотреть страшно. И вот наши посудины в море поведет. И без того немецкие князи на весь мир галдят о «московской опасности», а тут и вовсе на стену полезут. А главное – свои у нас есть мореходы пригожие. Обошлись бы!

– Герцог Георг Иоганн Фельденский из Элькоса уже бил челом своему императору, чтоб пойти войною на царя...

– Того еще не хватало... Мало у нас ворогов!

– Господь ведает, што будет. Уберусь-ка я с племяшем по-добру-поздорову в Юрьев на службу к Курбскому, – вздохнул Колымет.

– А меня в Нарву отсылают, – сказал Алехин. – И то слава Богу.

– Братцы! Чего уж тут. Вишневецкий, и тот сбежал к королю.

– Тише, тише! – зашикал Алехин. – Кто-то идет.

В Посольскую избу вошел друкарь-печатник Иван Федоров. Низко поклонился дьякам. Они не ответили. Колымет подумал: «Тоже царский прихлебатель». Дьяк Алехин недо-

вольно засопел носом: «Ах ты, сермяжная посконщина». И все втайне пожалели, что выгнать посохом его из избы нельзя – до царя может дойти. А царь только на днях его расхваливал за «Апостола». Бояре его после того на дух не пускают. Что он за человек? За что царь-государь жалует? Книжки? «Апостол»? А что в том толку, какая корысть? Не нужны они. Обходились и без них. Дьяки и без федоровских книг довольно грамотны. Доход отбивать у переписчиков? Ах пес!

Колымет не сдержался и крикнул:

– Эй, Змаил, чего спишь?.. Не видишь, чужие лезут. Татарин встрепенулся, вскочил, ухватился за секиру.

– Ладно... Сиди!.. – махнул рукой Колымет.

Цель была достигнута: печатник смущенно произнес:

– Прощенья прошу... коли не вовремя.

И низко, до пояса, поклонился.

– К Борису Федоровичу Годунову шел яз... будто их милость изволили в Посольскую избу жаловать?

Колымет, презрительно посмотрев на Ивана Федорова, усмехнулся:

– Чего тебе надобно от Бориса Федоровича?

– Бить челом осмелился его милости... Заступничества ищущу...

Дьяки переглянулись.

– Челобитье? Годунову? Заступничества? – повторил Гусев насмешливо.

– Обижают нас земские приказчики. Хлеба не дают дру-

карям... да олова... да овса коню...

Дьяки расхохотались.

Иван Федоров тяжело вздохнул. Спросил удивленно:

– Смешон, видать, яз, коли изволите смеяться?

Колымет нахмурился:

– Не туда попал, дяденька! Годуновым тут не место. Шествуй в Земский приказ.

– Был яз и там. Боярин не принял. Дескать, не ко времени, да и худороден яз. К дьяку был послан, а дьяк наказал слуге: недосуг, мол!..

– Больше того говорить нам не о чем. Бог спасет. Иди с миром в свою палату.

Иван Федоров поклонился и при общем молчании вышел вон из Посольской избы.

Дьяки самодовольно переглянулись. Им было приятно видеть унижение человека, обласканного царем.

После его ухода Колымет сказал надменно:

– Возомнил друкарь о себе не по чину... Подумаешь – «Апостол»! Все полезли к царю. Неразборчив стал Иван Васильевич. Охрабрил холопьев.

– Да ладно. Бог с ними! Стало быть, надоели царю старые слуги.

– Малюта тут еще двух каких-то бродяг царю казал. Один будто соловецкий монах-расстрига, Беспрозванным его величают. Другой якобы холмогорский мужик Ерофей Окунь. С Северного моря забрели к нам, корабленники. Святые от-

цы с Соловков послали будто в Москву-то по корабельному делу.

– А я так думаю, Господь Бог всякую тварь двигает нам на пользу. Развалят они царство.

– Истинно: плесень – и та нам в пользу... Царь задумал новый дворец строить, камень понадобился. Городовой приказчик Семен Головня да боярин Фуников знатно поживились на том деле. Плесень будто с камня сводят... А никакой плесени и не было.

– Дворец? – разинул от удивления рот Алехин. – Какой дворец?!

– Тише! Тише! Молчи. Никому ни слова, – всполошился Гусев. – Государева тайна.

– От кого же то узнал?

– От дьяка Григория Локурова, што у боярина Фуникова сидит на Каменном дворе.

В Посольскую избу с шумом и хохотом ввалились Василий Грязной, Алексей Басманов и князь Афанасий Вяземский. В собольих шубах, нарядные, краснощекие с мороза, сытые и хмельные... Смеясь, важно развалились на скамьях.

Дьяки поспешно вскочили и низко, едва не до пола ответили им поклоны.

– Добро жаловать, батюшка Алексей Данилыч, да батюшка князь Афанасий Иванович, да батюшка Василий Григорьевич! Не обессудьте нас, холопов государевых малых...

– Ладно. Буде! – махнул рукой сильно хмельной князь Вя-

земский. В это время у него выпал посох из рук. Оба дьяка бросились поднимать и нечаянно стукнулись лбами, да так сильно, что всем стало слышно.

Басманов, Вяземский и Грязной громко расхохотались. Упал посох и у Басманова. Оба дьяка бросились поднимать и его и снова стукнулись лбами.

Надрываясь от смеха, Басманов крикнул:

– Ах вы, лукавые! Помните: дьяк у места, што кот у теста; а дьяк на площади, так прости Господи.

– Истинно говорит Малюта: дьяка создал бес...

– Пришли мы проверить усердие ваше, – сказал Грязной. – Где народ? Где Висковатый? Где дьяки и подьячие?

– Занедужили...

Басманов поднялся и погрозил кулаком:

– Обождите. Скоро вам лекарь будет.

Князь Вяземский сказал, насупившись:

– Поедем в прочие приказы... Срамота! Государя не слушают.

– Видать, во всех приказах дьяки занедужили... Куда ни придем – везде пусто... – засмеялся Василий Грязной. – Будто сговорились.

– Знать, чуяло сердце государя, коли послал нас по приказам... Говорил он уж дьяку Васильеву... И впустую.

Вдруг Басманов хлопнул по столу ладонью:

– Дьяки! А знаете ли вы, что дацкий человек Керстен Роде в Нарву завтра отъезжает?

Дьяки замялись.

– Ну! – грозно крикнул Басманов.

– Не ведаем! – пролепетал Алехин.

– Плетей захотели? Нешто вы не посольские дьяки?

– Посольские, батюшка Алексей Данилович, посольские, – совсем растерявшись, в один голос залепетали дьяки.

– А коли посольские, почему не ведаете? Разгневать пресветлого батюшку Ивана Васильевича восхотели?

Оба дьяка упали на колени:

– Не пытайте нас, не приказано нам о том говорить. Государева тайна.

– То-то! – грозно сверкнул глазами Басманов. – Помалкивайте.

После этого все они так же, как вошли, шумно, с хохотом, вывалились из Посольской избы.

Дьяки дрожали, не смея подняться с пола. Опомнившись, плюнули с досадой, обругались, встали. В Посольской избе должно бы сидеть более двадцати дьяков и подьячих, но кто уехал на охоту, кто от похмелья еще не пришел в себя, иные просто поленились идти на работу. В последнее время вовсе не стало боярского надзора в приказах.

– Пресвятая Троица, помилуй нас!.. Выдержим ли мы, – осеняя себя крестом, проговорили дьяки. – Теперича жди царского гнева!

IV

Война идет.

Ни на одну минуту царь Иван Васильевич не забывает о том.

На литовских рубежах его полки ведут борьбу с Сигизмундовым войском.

На приморской древней русской земле, изгоняемые с нее царскими воеводами, обезумевшие от неудач немцы продолжают противиться.

На севере, в Эстонии, русские воины вступили в единоборство с войсками Эрика Свейского.

Кровавые схватки не утихают, хотя грамоты о перемирии на многих языках усердно развозятся разноплеменными гонцами из одной страны в другую.

Керстен Роде зашил в свой камзол, около сердца, охранную грамоту, врученную ему собственноручно царем Иваном Васильевичем.

Наказ: стать ему атаманом над кораблями, снаряженными в гавани под Нарвой; сопровождать караваны московских торговых судов в западные царства; бить беспощадно шведских, польско-литовских и иных пиратов, осмеливающихся нападать на московские суда, топить каперские корабли либо захватывать их в полон и приводить в русские порты; каждый третий из захваченных кораблей сдавать в казну, также

лучшую пушку передавать Пушкарскому приказу; самим ни на кого не нападать и убытка никому не чинить.

И вот здесь, на берегу, омываемом балтийскими водами, глядя на небо, Керстен снял свой шлем и прочитал молитву. Закончил ее словами:

– Бог есть святой источник всего существующего, и мир создан его мудростью и любовью. Да будет благословенна воля его!

Керстен был набожным человеком и несколько раз собирал команды со всех судов, предупреждая, что того, кто позволит себе богохульствовать или гнусно ругаться, играть в кости и иные дьявольские игры, он будет без сожаления сбрасывать в море, чтобы не навлечь на государевы корабли гнева Божьего.

Близок день и час отвала.

Керстен Роде, окруженный датчанами, стоит на берегу, посматривая, как на корабли по длинным дощатым сходням русские и татары носят на спине мешки, катят бочата со смолою, салом, медом, везут на тачках тюки со льном и паклей.

Сегодня атаман настроен празднично. Он теперь не жалкий беглец, преступник, которого жаждут видеть палачи нескольких стран. Он честный, благородный мореплаватель, принявший из рук московского царя власть над кораблями, чтобы самому бороться с морскими разбойниками... Керстен Роде теперь рыцарь, защитник слабых, он подлинный христианин, на долю которого отныне выпадает честь сражаться

за правду.

«Забудьте, люди, о прежнем Керстене Роде!»

Нарвский порт в движении. Датчане с любопытством рассматривают пеструю одежду татар, которые подвозят к берегу на арбах тюки с мехами, канаты, ящики с воском, мешки с кожей. Им все интересно: и говор татар, и песни их, и одежда, и лошади.

Керстен думает о себе.

Чем он хуже англичан, либо ганзейских купцов, либо моряков иных стран, имеющих дело с Московией? Он повыше, пожалуй, Ченслера, Дженкинсона и других английских гостей, сблизившихся с царем. Впрочем, к английским морякам Керстен всегда питал особое уважение.

Вон там, около вновь сооруженной громадной пристани, покачивается недавно приставший к нарвским берегам трехмачтовый английский корабль. Датчанин с удовольствием любуется морским великаном-красавцем. Под порывами ветра на фок-мачте трепещет вымпел английской королевы и флаги из красной тафты. До слуха доносятся сигналы литавр, труб.

Керстен Роде сказал своим помощникам, что это судно вполне годно для осады и разгрома сильнейших морских городов. Об этом свидетельствует и большое количество крупных орудий на корабле.

При этом он пояснил окружающим его матросам, что корабли эти зовутся «рамбергами»; в скорости они не уступают

галерам, притом же они очень легкие и поворотливые. Эти корабли лучше стоящих рядом с ними французских галер.

С усмешкой на губах Керстен говорил о неудобном устройстве мест для пушек у французских галер. Их пушки стреляют с носа корабля, а у англичан – с бортов.

– Вот почему двадцать лет назад английский флот и побил у острова Вайта французского адмирала Аннебо. Зато глядите, как французы разукрасили свои галеры – тут и живопись, и лепные боги и богини, а на палубе шатры, убранные дорогими тканями. Концы покрывал с золотыми кистями волочатся по воде.

Холмогорские мореходы внимательно прислушивались к словам Керстена Роде, кое-что понимая из его речи. При взгляде на эти золоченые кисти, плававшие по воде, они громко рассмеялись.

– А сидят мелко! – покачал головою, хитро подмигнув своему приятелю Окуню, Беспрозванный.

– Да и веслами их матросы работают плоховато. Сам я видел, когда они приставали, – отозвался Окунь.

– Зато у всех у них кафтаны из кармазинного бархата. У аглицких мореходов того нет.

– Им и не надо. Они и без того сильнее всех на море. Кому то неведомо?

На рейде еще стоял английский корабль с парусами из пурпурной материи, расшитой золотом. На некоторых кораблях, приходивших в нарвскую гавань, красовались паруса

с изображениями тритонов, наяд, сирен, а на купеческих судах паруса были украшены изображениями Богоматери, ликов святых...

Шум корабельных передвижек, сопровождавшихся криками, лязганьем цепей, грохотом выгружаемых ящиков, бочек, и необычайная, красочная пестрота корабельных украшений – все это наполняло Керстена Роде и толпу окружавших его мореходов радостным ожиданием торжественной минуты собственного отплытия в море.

Наконец-то! Наконец-то опять в море. Чайки. Пускай хмурится небо – пустяки! Керстен знает цену этим облакам. Смелые морские предприятия – его мечта.

Ему известны похождения и Христовилия Колоны²⁶, и Кортеца, и Васко де Гамы. Он до сих пор завидует французу Жану де Лари, проникнувшему через океан в сказочную страну, именуемую Бразилией, Жаку Кортье – открывшему Канаду. Керстен Роде от всей своей морской души преклоняется перед гением Фердинанда Магеллана, совершившего чудесное путешествие вокруг света. Однажды ему самому представился случай плыть с первыми колонистами-протестантами во Флориду, но... его не пустило датское правительство, проще сказать: в это время он попал в тюрьму за ограбление одного ганзейского корабля.

Он теперь может считать себя в ряду бывших пиратов, находящихся ныне на службе у Англии, Испании и других пра-

²⁶ Христофор Колумб.

вительств. К именам Кабота, Ролейя, Дрейка, Дэвиса, Фробишера можно добавить и его имя – Роде!

Будущее покажет, что и он, Керстен Роде, способен на добрые дела. С русскими людьми можно ладить. Два корабля поведут холмогорские люди. Смельчаки! В Ледовом океане не плошали, водили суда. Он, Керстен Роде, полюбил московских людей.

С гордостью обвел Керстен Роде взглядом вверенные его командованию московские суда. Под его присмотром закончилась постройка новых и починка купленных у иноземных купцов кораблей. Он сам следил, чтобы корпуса были хорошо проконопачены, просмолены, чтобы были устроены удобные каюты и плотно сложен палубный настил. На кораблях теперь новые из русского леса мачты. Ванты, соединяющие мачты с бортами судов, натянуты тоже новые, лучшего качества, привезенные из Холмогор.

Русскому такелажу, пожалуй, позавидуют самые прославленные мореходы Запада. Этого мнения твердо придерживался Керстен Роде и гордился тем, что он в полной мере снабжен такой драгоценною для моряка оснасткою кораблей.

А холмогорские кормчие и матросы не хуже датчан; пушкарей же с их легкими, убоистыми пушками Керстен считал выше европейских.

Любуясь своими кораблями и раздумывая обо всем этом, он не замечал, что за ним с любопытством следят московские и новгородские купцы, приготовившиеся плыть со сво-

ими товарами за море...

Коробейников Трифон по молодости лет глядел на этого длинного чужеземца с некоторым страхом. Нечего греха таить – не особенно-то он доверял его человеческому естеству. Мучили сомненья: уже не переодетая ли то нечистая сила? На всякий случай Трифон норовил быть поближе к старикам. Это не мешало, однако, ему размышлять о том, как бы сбыть по сходной цене там, за морем, беличьи меха: дело тут, понятно, не в том, кто поведет корабли, а в прибыли. Товар звания не спрашивает, а купецкая мошна и подавно. Черт с ним, кто бы он ни был! Впрочем, держаться от него поодаль нелишне.

– Ты чего задумался? – хлопнул по плечу вздрогнувшего от неожиданности Коробейникова седовласый, высокого роста гость Иван Тимофеев.

– О батюшке и матушке тоскую... На кого их покинул!

– Вот уж подлинно: сова о сове, а всяк о себе, – насмешливо фыркнул Тимофеев. – А я так думаю: есть товар, есть хлеб – остальное Господь Бог продаст... Он к торговым людям милостив... Вот Степа Твердииков плавал в Антропъ, разжился в дацкой земле и брюшко отпустил... Чай, не от «нету» люди толстеют!

– Любо слушать твои мудрые речи, Иван Иванович, – смиренно произнес Трифон, нагнувшись и смахнув ладонью пыль со своих новых сапог. Сам про себя подумал: «Знать бы, почем он-то свои меха беличьи ценить будет?»

Иван Тимофеев вздохнул, почесал, закусив губы, под бородою и спросил как бы невзначай:

– Триша, соколик... ты того... как его?... Што за меха-то беличьи спросишь?

Коробейников с удивлением посмотрел на старика.

– Новое, как сказать, дело-то... непривычное... Батюшка и матушка и завовси не хотели пушать меня. В окяине-де змей такой водится, што все корабли проглатывает. У него семь голов. Семь кораблей может слопать. Прозывают его «гидра чудовищная». Батюшка и матушка Богу молились всю ночь, штоб с гидрою я не повстречался. Батюшка и матушка... А, промежду прочим, што там за человек стоит, чуден больно и ростом с колокольню?

– Будто не знаешь? – хитро улыбнулся Тимофеев, подумав: «Не говорит цену, лукавит».

– Истинный Христос, не ведаю!..

– Атаман наш... Голова. Куда поведет корабли, туда мы и поплывем. Все в его власти...

– Полно, други! Не куда он погонит, а куда царь приказал ему идти. Все в царевой воле, – вмешался в разговор купец Твердииков. – И все мы его приказ исполняем.

– Вона што, – разинул рот, сделав удивленное лицо, Коробейников.

Будто и на самом деле не знает, что всему делу царь – голова. Так отцом приучен был – всему удивляться и обо всем всех спрашивать, показывая вид незнающего.

– А мне один немец – торговый человек – сказывал, будто в окиянах водятся морские монахи... Тело в чепце, а на голове камилавка, – продолжал он, обратившись к Тимофееву.

– Стало быть, там у них, на морском дне, монастыри, што ли?

– Стало быть, так!.. Об этом немец мне ничего не сказывал.

– Чай, и там бабий монастырь в отдельности?

– Ты судишь, как у нас... Мол, царь Иван Васильевич отделил чернецов от черничек в монастырях, значит, и там так же... У морского царя, чай, свои порядки... Чудак!

– Плачут у нас инокини... Бог с ними. Скушно будто стало от разделения.

Иван Тимофеев с бедовой усмешкой посмотрел на парня.

– Ты не утешать ли их туда ходил?

– Не! – покраснел Коробейников. – По меховому делу.

– Ну, ну!... Молодой квас во всякой твари играет! – добродушно похлопал парня по плечу Тимофеев. – А ты все же хитер, любого седовласого купца за пояс заткнешь.

– Бог с вами, Иван Иванович. Батюшка с матушкой...

– Буде. Наладил не к делу: «батюшка с матушкой»... Всуе родителей не поминай – грешно.

Тимофеев, убедившись, что от Коробейникова толку не добыешься, пошел к толпе торговых людей, сидевших на бревне близ кабака.

Коробейников облегченно вздохнул.

«Торг дружбы не любит», – вспомнил он слова своего отца...

– Не променяю я Студеное море на сию немецкую лужу. Простору мало... – размахивая рукой, горячился старец Федор Погорелов, ходивший на своем суденышке вдоль всего Кольского побережья. Он уже побывал и в Норвегии, и в Швеции, а в Холмогорах совершил несколько крупных сделок с англичанами. – Ни снежные бури, ни льды не мешают нам великую торговлю учинять по вся места. Коли не верите, спросите вон Кирилку Беспрозванного либо Ерофейку Окуня... Они наши корабли водили.

Сидевшие рядом с ним купцы угрюмо молчали.

– Кабы не воля на то батюшки-государя, никуда бы я со своих местов и не тронулся. От добра добра не ищут.

– То-то и оно!.. Государь наш батюшка ласков к нам, щедр и милостив... Хочешь не хочешь, а надо плыть, дабы не разгневался.

– Вот и я говорю. Торговый царь, справедливый... Не себя для, так-то... О нас печется... Не ропща я говорю, а так. Уж больно к Студеному морю привык. Нельзя и Западное море забывать... Теперь у нас вона какая защита... Пушкар... стрельцы.

– Знамо этак! Худая та птица, што свое гнездо марает.

Тимофеев вмешался в разговор, желая вызывать собратьев по торговле на откровенную беседу.

– Все это ладно, так, люди добрые... Одначе ближняя-то

соломка лучше дальнего сенца. Студеный торг мы знаем, а вот как там-то, куда плывем? Почему там ты спросишь, Федор Игнатьевич, за беличий мех-то?

Погорелов поморщился, ответил не сразу, да и то будто бы у него слова клещами из горла тащили:

– Не о мехах моя душа... болит. Оставил я бабушку свою дома, как есть в слезах, в тревоге горестной... Ах, Иван Иванович, вот времечко-то прикатило!

Курносый, веселый Степан Твердилов вскочил со своего места, сказал громко:

– Полноте, други! Чего тут горевать? Князя в платье, и бояре в платье – будет платье и на нашей братье. Вон, гляди, куды Строгановы стрельнули. В свои люди к царю залезли. Превыше леса стоячего. А цену спросим, какую нужно. Што о том прежде времени языки чесать. Свое возьмем. Не на том, так на другом.

На набережную из Таможенной избы вышел дьяк Посольского приказа Федор Писемский, а с ним его друг дьяк Петр Совин. Попросили торговых людей стать по старшинству в ряд. Засуетились купцы. С самого правого края, опираясь на посох, стоял Федор Погорелов, рядом с ним – Иван Тимофеев, за ним Софрон Пospelов, новгородский гость, рядом Тимофей Смывалов, затем Степан Твердилов, черноглазый детина Юрий Грек, Василий Поздняков и многие другие. Последним – Коробейников.

Писемский внимательно осмотрел купцов: так ли одеты

– не приключилось бы какого сраму Московскому государству. Явившемуся в черной чуйке Смывалову он велел переодеться у него, а чуйку брать не велел, «шток не соромить московских людей». Валенки тоже велел оставить в Нарве. «Ни к чему они. Там тепло». Писемский бывал в Англии, хорошо знал тамошнюю жизнь.

Купцы волновались. Шептали молитвы. Стало быть, это не сон, а явь – придется, однако, плыть неведомо куда, неведомо – к благополучию ли? Вздыхали, косились на покачивавшиеся невдалеке на волнах русские корабли под царскими вымпелами. «Да! Скоро, скоро! Чего не чаешь, так оно сбывается. Всегда этак. Прости ты, Господи, за что испытуешь?»

Думал тяжелую думу дедушка Погорелов: «Царя потешишь – себя надсадишь. Недаром говорится: „Старица Софья о всем мире сохнет, а об ней никто не вздохнет“. На кой мы нужны заморским нехристям? И на кой нам они?!»

Федор Писемский, строгий, неторопливый, ходил около купцов, расспрашивал их о том, что взяли с собой в дорогу, какие кто товары везет в чужие земли. Затем прочитал им наставление:

– Зря своих товаров кому попало не кажите. Чужих товаров, чужих порядков, а особливо чужой веры не хулите. Не напивайтесь допьяна и матерно не ругайтесь. Государево имя произносите с благоговением, всуе не поминайте. А коли речь о батюшке государе зайдет, скажите: «Лучше наше-

го царя никого не знаем». На товары иноземные не набрасывайтесь, не кажите себя скупыми и завистниками. Держите себя, как надлежит слугам государевым, а не нищим.

В это время в иноземной, «немецкой», торговой избе разливались песни: бушевали за винным столом шведские и датские купцы и моряки. Тут же находились и Беспрозванный с Окунем. Они были одеты в богатые кафтаны, обуты в нарядные сапоги.

– Наши короли воюют! – кричал один из датчан, размахивая пустою чаркою. – А мы не хотим. Торговля войну не любит. Мешают короли... Не по силам Эрик войну затеял, братья. Польшу захотел он вытеснить из Ливонии, а у Дании отнять Норвегию. Один хочет царствовать над Балтийским морем! А на кой это нам надобно? Пьем за дружбу датских, шведских, польских, русских и ганзейских купцов!

Тост датчанина подхватил хор голосов на немецком, шведском и датском языках. Не отстали и холмогорские мореходы, знавшие шведский язык.

Все дружно ругали Ревель и ревельских каперов, посылали им проклятья за то, что мешают иноземцам вести торговлю с Нарвой.

– А кто же покровительствует Ревелю, как не шведы? – стукнул кулаком по столу затянутый в кожу голландский шкипер.

Шведы расхохотались.

– Наш брат, поморский русский человек, плохо знает это!

Не шведы, и уж понятно, не купцы, а безумный свейский король всему делу помеха, – сказал, сверкнув глазами, Беспрозванный.

Голландский шкипер протянул руку Беспрозванному.

– Честному человеку приятно пожать руку.

Его примеру последовали и другие иноземцы.

– Московита обвиняют в вандализме, а что сделали наши шведские командиры с Гапсалем? Выжгли его; женщин поголовно изнасиловали. Собор разорили. Расхитили в нем все, и даже образа, дароносицы и чаши. Колокола свезли в Ревель и там отлили из них пушки. У крестьян уведены все кони и скот. Несчастные сами впрягаются теперь в сохи. Перебили множество людей. Я – швед, купец, но стыжусь за поступки наших командиров, – сказал один из моряков.

– Кто же тот подлец, который позволил это? – спросил голландец.

– Любимец короля, командующий Оке Бенгтсон Ферла. К сожалению, он – швед.

– Король Эрик расплатится за это. Он волю дал ревельцам и своим каперам... Они грабят и топят шведов же! Во имя чего? Во имя того, чтобы не дать нам торговать с русскими! Не глупо ли?

Это говорил капитан одного торгового шведского судна, стоявшего на якоре в Нарвском порту. Лицо молодое, загорелое, большой выпуклый лоб, глубоко сидящие глаза, черные усики. На нем был синий с серебряным позументом кафтан,

и вообще он отличался от других гуляк своим нарядным костюмом и изяществом манер. Он назвал себя Клаусом Тоде.

– Я тоже нанялся на службу к московскому царю. Мой друг датчанин Роде позвал меня к себе. Мы будем топить королевских и ревельских каперов и всех, кто будет мешать торговле с русскими.

Один хмельной датский купец насмешливо крикнул:

– Выгодное дело!

Его оттолкнули вскочившие с места ганзейские и датские люди, бросились к капитану с объятьями.

– Да здравствует Нарва! – закричал один из них, оглушив всех своим зычным, неистовым басом. – Виват, Москва!

После этого все по очереди обняли Беспрозванного и Окуня.

Стоявшие на бугре в ожидании посадки, недалеко от «немецкой» торговой избы, московские купцы прислушались к крикам, доносившимся из нее, и набожно перекрестились:

– Спаси нас, Боже, от искушения бесовского!

Не столько боязнь греха их пугала при этом, сколько боязнь соблазна. Винца бы и они не прочь чарочку-другую вкушать, да пить царем строго-настрога запрещено. Писемский и теперь искося следил за ними – это нетрудно было заметить. Разрешено было разделять попойку с иностранцами только мореходам, прибывшим по приказу царя со Студеного моря, и то только на берегу...

Керстен Роде привлек на службу царю опытного моряка, датчанина Ганса Дитмерсена. Теперь они вдвоем, сидя на скамье, беседовали о предстоящем переходе через Балтийское море и через проливы Зунд и Бельт. Переход нелегкий. Море кишит морскими разбойниками, наймитами Сигизмунда, герцога Августа Саксонского, Эрика XIV и немецких курфюрстов.

Ганс Дитмерсен подлинный «морской волк». Стоило взглянуть на его потемневшее от загара и ветров, покрытое шрамами лицо, чтобы убедиться в этом. Смелый, дерзкий взгляд его черных, с крупными белками, неприветливых глаз приводил в смущение даже его друзей каперов.

Он служил и немецкому герцогу, и шведскому королю как капитан каперских кораблей, несколько раз был ранен в морских схватках, но ни на одну минуту не разочаровался в полной опасностей жизни корсара. Обиженный и немецкими, и шведскими властями, он поклялся мстить своим бывшим хозяевам.

В глазах его светилась неукротимая, затаенная злость.

На немцев, на шведов и ревельцев у Керстена Роде были одинаковые взгляды с Гансом Дитмерсеном. Оба поклялись мстить им за былые обиды.

Когда Керстен с жаром рассказывал Гансу о том, что царь Иван Васильевич послал на корабли лучших своих пушкарей и копейщиков, подошел из «немецкой» избы Клаус Тодде. Он поздоровался с обоими датчанами и скромно уселся

рядом с ними, слушая их беседу.

– Нас называют разбойниками, злодеями неблагодарные наши родичи, но где, на каком море плавают ангелы? В пламенных просторах морей и океанов живет только страсть. Через все мытарства прошли мы с вами, друзья. Видели красноречивых владык, европейских Пилатов, творящих убийства и омывающих руки, видели костры, на которых жгли людей во имя Бога, видели венценосцев, которые убивали своих же родных отцов, матерей и братьев в борьбе за престол. Видели также алчных корсаров, погибавших в погоне за золотом в водах океана... Видели, как стадами гоняли по Лондону закованных в цепи индусов, захваченных в жарких краях... Много мы видели «святого» лицемерия, друзья! Но нигде не видали, чтобы простой народ не ложился спать со слезами. Уж не столь позорно, пожалуй, держать корсару в руках острый меч мщения.

Керстен Роде произнес это спокойно, деловито, с твердой убежденностью в правоте своих слов.

Ганс Дитмерсен грозно потряс в воздухе кулаком, глаза его стали страшными...

– Горе врагам Московского князя! Он может положиться на эту руку. Она не дрогнет, даже если сами ангелы будут проливать слезы. Немцы и король Эрик со своими револьверами дорого заплатят мне за обиды.

Клаус Тоде присоединился к его словам, с усмешкой добавив:

– По правде сказать, повиноваться сброду, который носит название всегерманского союза князей, стыдно даже котенку. Германский император задумал посадить своего адмирала на побережье проливов, чтоб разбирал, кого пропустить, кого не пропустить через Зунд и Бельт. Кишки выпустим тому адмиралу-шпиону! И дня ему там не усидеть.

– Ну что ж! – деловито сказал Роде. – Мысли благие, будем ждать случая.

Ганс со злобой плюнул в воду.

– Любские купцы и другие торгующие с Нарвой гости одавят нас не менее Московита, коль станем дорогу очищать в Нарву, – произнес Роде. – Не худо принять и это в расчет.

...По всему берегу началась суeta. Из шатров стали выходить московские люди, которых царь приказал посадить на корабли. Среди них и пушкарские десяти под началом Андрея Чохова.

Холмогорские мореходы, Беспрозванный и Окунь, также вывели своих людей на берег. Им были даны два корабля: «Стрела» и «Голубка».

Чохов добился своего. Ему так хотелось побывать на море, а Василий Грязной пытался отослать его в Устюжну провозжать каких-то всадников. Пришлось сходить к Григорию Лукьяновичу Малюте. Он с Басмановым набирал народ на корабли. Малюта обрадовал Андрея, поставил его на корабль Керстена Роде.

Он велел Андрею смотреть, какие мечи, копья, какие пи-

щали, какие пушки в иноземных войсках. Смотреть зорко и запоминать.

Десятни чоховских пушкарей на подбор боевые. Все побывали в боях с немцами, все сражались и с прославленными польско-королевскими конниками. Громили из своих пушек Нарву, Дерпт, Нейгаузен и многие другие немецкие крепости; громили Полоцк под начальством самого царя Ивана Васильевича, и теперь пушкарей охватывало нетерпенье: скорее бы добраться до морских разбойников.

Пушки завезены еще зимою в Нарву, новые пушки, выкованные для кораблей, – их можно быстро перебрасывать с одного места корабля на другое. Сам государь наказал не брать тяжелых пушек. Отнятые же у врага пушки чтоб Чохову, пушкарю, осматривать с особым прилежанием и отбирать в пользу государя с каждого корабля самое лучшее, невиданное еще на Руси орудие. Но делать все это в добром согласии и дружном совете с атаманом Керстеном Роде.

Любопытство и страх охватывали пушкарей по мере приближения посадки на корабли.

В шатре шел спор: кому и на каком корабле быть.

Мелентий, друг и земляк Андрея Чохова, никак не хотел с ним расставаться.

– Всю войну, брат, мы с тобой бок о бок, гоже ли нам теперь разлучаться? Подумай-ка, Андрюшко! Нижегородцы мы ведь с тобой, – говорил он обиженно.

Андрей Чохов настаивал, чтобы Мелентий был у пушек на

корабле «Ястреб», капитаном которого Роде назначил Ганса Дитмерсена. Нужен там «свой глаз».

Сам Андрей, как приказал ему Малюта, поставил свои пушки на недавно приобретенном у датчан и перестроенном Шастуновым корабле, названном «Иваном Воином», на котором должен был плыть Керстен Роде.

Третий корабль – «Держава» – сдан был Клаусу Тоде. Сюда старшим пушкарем Андрей хотел послать Алешку, своего ученика и друга, но и Алешка не хотел расставаться с Андреем.

«Стрелу» и «Голубку», на которых начальствовали Беспрозрачный и Окунь, заполнили команды из поморцев, и лишь немного среди них было матросов-иноземцев.

Пушкари, которых Андрей посылал на эти корабли, тоже заартачились.

– Что мне с вами делать? – смеялся Андрей. – Все хотят со мной.

После горячих споров дело уладилось: Андрей добился своего. На всех судах разместились пушкари, с тем чтобы на каждом судне находился боевой, бывалый пушкарь.

Стрелецкий сотник Митрофан Саблин, красный от непрерывного крика, разделил стрелецкую сотню на отряды; гуськом, с копьями и пищалями пошли они по мосткам на готовые к отплытию корабли; им же было вменено в обязанность помогать в пути и судовой команде.

Дьяк Федор Писемский давал прощальное наставление

дьяку Совину, дьякам и подьячим, сопровождавшим Совина в Данию и Англию, разъясняя им, как и что говорить «с их министры», купцами и прочими дацкими и аглицкими людьми...

Небо прояснилось, солнце блеснуло на поднятых парусах, на белых гребнях пенящихся волн. Ветер еще держался. Матросы-датчане, нанятые Керстеном Роде здесь же, в Нарве, окружили его, показывая руками то на небо, то на корабли. Датчан собралось человек двадцать. Все это моряки, перешедшие с двух купленных у датских купцов кораблей на московскую службу.

Около них толпились толмачи, назначенные Посольским приказом плыть вместе с московскими людьми.

На каждый корабль царем Иваном Васильевичем «для присмотру» было послано по одному смышленому дворянину.

Ветер ослабевал.

Окрестности Нарвы огласились протяжным, властным боем воеводских литавр.

Около мостков, по которым двигались на корабли пушкарри, стрельцы, купцы, матросы и разные работные люди, стояли в облачении священники с крестами и чашами для кропления. Русские люди обнажили головы, слушая напутственные молитвы, усердно молились. У многих навертывались слезы: Бог знает, что там, впереди, в страшном, загадочном море, ради которого пролито и проливается столько крови,

к которому тянутся руки многих королей и которое так дорого, так любо батюшке государю Ивану Васильевичу!

Лица стрельцов из-под нахлобученных круглых железных шапок смотрят сурово, деловито. Стрелец – вернейший воин государя, он дал клятву Богу служить ревностно московскому царю Ивану Васильевичу. Он должен бесстрашно и безоговорочно идти туда, куда посылает его царь. И в одежде, и в походке, и в том, как стрелец носит оружие, – во всем видна хорошая выучка.

Один за другим подходили они к священнику под благословение, держа в левой руке шлем, в правой копье. За спиной легкие пищали, на боках сумки и баклажки.

Пушкари, в перетянутых кушаками зеленых кафтанах, заботливо везут за собою на тележках малые пушки и ящики со снарядами, то и дело крича: «Посторонись!»

После окропления орудий святой водой и принятия благословения они дружно двинулись по мосткам на корабль.

Чинно, неторопливо проследовали парами дьяки и подьячие на указанные им корабли. За ними нестройною толпою, пугливо озираясь по сторонам, с растерянными улыбками тронулись купцы. Среди них своим самоуверенным, гордым, благообразным видом выделялся Степан Твердиков. Его и выбрали купцы старостой.

Керстен Роде осмотрел с берега свои корабли, затем велел еще добавить бочонков с водой, а также и ведер для выкачивания. Послал людей осмотреть и другие суда: благопо-

лучно ли там обстоит дело с продовольствием? Провизию, воду, вино и все другие судовые запасы разместили в трюме, разделенном для этого перегородками. Между нижними и верхними палубами устроены были жилища для матросов.

На каждый корабль плотники снесли по четыре десятка пар весел.

Воеводы приказали поднять на Таможенной избе флаг с изображением двуглавого орла. Таможенные пристава торопились осматривать последние тюки, мешки, корзины и бочки с товаром, грузившиеся на корабли. Таможенный дьяк, с лицом, распухшим от пьянства, усердно, с видом знатока обнюхивал бочки и корзины – не пахнет ли вином?

– Полно тебе, Евсей Андреич, носом-то шмыгать!.. Пиши, – покрикивал на него нарвский стрелецкий сотник. – Плыть надо. Поспешай, воевода торопит!

– Поспеют! Душа всего дороже, – перекрестившись, говорил дьяк и принимался усердно записывать осмотренный товар в платежницу. – Душа беспокойна... Обмана боюсь!

– Твоя душа меры не знает, – усмехнулся сотник, – а без меры и лаптя не сплетешь, и гроба не сколотишь.

– Буде смеяться! Всякая христианская душа празднику рада, а ноне у нас праздник: гляди, что кораблей... И все в море идут. Одна беда – праздник есть, а вина нет!

Сказал и снова принялся старательно принюхиваться к одному из коробов: «Неужто и тут нет?»

Запретил царь в Нарве «пьянственному веселью среди

московских и новгородских людей быти» – это одно. Запретил и отплывающим в дальние страны с собою вино брать, а тем паче вином торговать, кроме иноземцев, которым также внушено было в плавании вина не продавать.

Купцы смотрели на таможенного дьяка с недоумением:

«И чего ему надобно? Как жук в навозе, копается».

На таможенных приставов купцы косились тоже неодобрительно. Особенно когда они в меха запускали свои руки, будто чего-то там ловят, – всю душу измотают с расспросами; шкуру, какую получше, дашь, тогда только и отстают. «Тоже! Слуги государевы».

Около Таможенной избы, на траве, складывались товары, выгружаемые с вновь прибывших английских и голландских кораблей. Тут были: олово, свинец, железо, медная проволока, сера, чугун, расписные раздувательные мехи, медные шпоры и колокольчики для соколов.

В этот раз недавно назначенные в Нарву пристава были озадачены разнообразием неведомых сластей: какие-то пряные коренья, шафран, чернослив, изюм, имбирь. Пришлось разыграть вид знающих людей и обложить голландцев низкой пошлиной. (В уме было: «Не пойдет этот товар у нас».)

Старший из приставов, понюхав шафран, плюнул, перекрестил нос, чернослив понравился, но одно смущало: грешно его есть или нет? (Пошли спрашивать священника. Тот ответил: «Не ведаю!») Толмач по приказу пристава спросил потихоньку стоявшего поодаль англичанина: в Англии едят

ли эти ягоды?

Худощавый, с усмешливыми живыми глазами, парадно одетый английский купец весело ответил:

– Лучшее лакомство!.. Особенно любят дети.

Пристав самодовольно покачал головою. Дал по горсти чернослива своим дьякам. Те, распробовав, попросили еще. Голландский купец дружелюбно встретил и эту просьбу и насыпал им целый короб чернослива. В ответ пристава подарили голландцу несколько жирных стерлядей.

Между тем погрузка товаров на русские корабли закончилась.

На палубах все было готово к отплытию.

Пушкари расставили свои пушки, как указывали им капитаны кораблей.

Купцы крестились, вздыхали: «Что-то будет?»

Из нарвского замка на берег верхом на вороном коне, обряженном в богатую серебряную с золотом сбрую, прибыл сам нарвский воевода Михаил Матвеевич Лыков. Его сопровождал стрелецкий голова со стремянными стрельцами.

Он поздоровался на немецком языке с иностранцами. Подозвал к себе капитанов кораблей, спросил их о здоровье и все ли, что положено им по чину и государеву указу, соблюдено. Отпустив их, подозвал стрелецких сотников, дал им наказ употреблять оружие тогда, когда нет иного исхода. Лыков сам бывал за рубежом, объездил многие страны и теперь был поставлен царем воеводою в Нарву, чтобы принимать

чужеземцев приветливо и «небездельно», дабы и впредь они приезжали в Нарву с торгом и дружелюбием.

Воевода осмотрел все корабли и, найдя все в порядке, велел дать сигнал к отплытию.

Когда вооружение, оснастка и нагрузка кораблей были закончены, тогда трубачи оповестили о шествии с берега по мосткам атамана Керстена Роде. Он шел на корабль «Иван Воин», окруженный своими помощниками и начальниками стрелецкого отряда.

Все стихло.

Керстен Роде поднялся на свое возвышенное место, на котором стояло большое кресло, дал команду произвести пробную греблю, а затем был отдан приказ распустить паруса.

Якоря уже втянуты канатами на палубу.

Флотилия тихо тронулась в путь.

Английские корабли салютовали уходящим в море русским судам барабанным боем и игрою на трубах.

Красавцы корабли с развернутыми парусами медленно пошли к морю.

V

– Умаялся я! Душа моя страхом изранена, – говорил Курбский жене. – Не неволь меня... Не нахожу в себе сил далее обманывать царя. Лучше бы мне жизнь свою потерять, нежели посрамить свое старейшинство... Благодарности не жди

от него! Все забыл. Новым молодцам, безродным выскочкам, разбойникам велит уступать места. Князь я был Ярославский – им и останусь. Не преклоню головы перед бродягами. Не покорюсь...

Жена Курбского, худая, бледная женщина, дрожала от страха, слушая гневные, полные отчаяния слова мужа.

– Писари наши русские верховодят всем, – продолжал Курбский. – Им же князь великий зело верит. Избирает их не от шляхетского рода, не из благородного, но от поповичей или простого всенародства... Творит новых вельмож своих, желая один веселиться на земле...

Испив воду, он продолжал:

– Коли ты хочешь меня видеть мертвым перед собою, то я не отъеду и погибну от руки кровопивца. А коли хочешь, чтобы жив я остался...

Скрипнула дверь: вошел сын Курбского, румяный, русоголовый подросток.

– Батюшко! – весело крикнул он. – Смотри, какую щуку я поймал.

Князь рассмеялся, взял из рук сына рыбу, с напускным любопытством осматривая ее.

– Глянь, какие зубы! Ух, укусит!

Сын отскочил от щуки, испугавшись зубастой головы.

Мальчик не понимал того, что происходило в доме. Его удивляло лишь, почему матушка не убирает уже второй день горницы, как всегда, вместе со своими сенными девушками

и не покрикивает на них. Напротив, она стала какой-то доброй и кроткой с ними в последние дни. Непонятно и то, что отец перестал объезжать верхом ночные караулы на улицах Юрьева, небрежно одевается в старый кафтан и редко выходит на улицу. Раньше отец каждый день менял новые шелковые рубахи, а теперь ходит в одной и той же темно-серого цвета, которую раньше и не носил. Отец подолгу молится у себя в божнице, много дольше, чем это было прежде, а уединившись, говорит все время о чем-то с матушкой.

– Пойди покажи рыбину бабушке, – сказал князь, погладив по голове мальчика.

Тот испытующими глазами посмотрел в лицо князя. Отец теперь часто отсылал его куда-нибудь, когда хотел поговорить с матерью...

– Иди, иди... Вот я тебе!

Мальчик нехотя удалился. Мучило любопытство.

Наступила тяжелая минута раздумья.

– Ты молчишь? – спросил князь, остановившись в темном углу с заложенными за спину руками. – Неужто хотела бы ты видеть меня в руках Ирода? Прелютый зверь не учинил бы такой расправы, какую учинит царь Иван надо мною со своим Малютой!.. Польские друзья мои, побывавшие в Москве, рассказывают: кровь рекою льется там. Вот и помысли: скуют твоего мужа по рукам и ногам и по чреслам претягчайшими веригами и в узкую, мрачную темницу измученного пыткой бросят. Потом, не успеет солнышко взойти, и голову ему

усекут, и на копье насадят... Ну, чего же ты молчишь?

Княгиня тяжело вздохнула.

– Пускай будет по-твоему, – тихо, печальным голосом отозвалась она на слова мужа.

– Не по-моему, а по-Божьему!.. На моей стороне Бог, его правда и все его великие угодники... Над его головой окаянные демоны.

– Твоя воля, батюшка государь мой, Андрей Михайлович! Как знаешь, так и поступай, – смиренно произнесла княгиня, сердце которой сжималось и от жалости к мужу и от страха остаться одной.

После напряженного молчания она вдруг разрыдалась.

– Батюшка, на кого же ты нас-то оставляешь? Лихим людям на посмеяние, и што ждет нас всех? Господи, за што же это? Господи?

Курбский принялся ходить по горнице, что-то обдумывая. Зевнул, перекрестив рот.

– Полно горевать! – сказал он. – Будем молить Вседержителя, чтобы не допустил злодея до вас. Верь мне – подниму я короля на Ирода и приду освободить Русь. Будем мы снова с тобой как истинные князь и княгиня. Праотцы наши смотрят на меня из могил. Они жаждут отмщения! Господь Бог Иисус Христос поможет мне, час расплаты недалек. Уйми слезы, грешно! Святое дело вершу я, всенародное. Король милостив ко мне, поможет нам.

Княгиня, бледная, растерянная, слушала его, смиренно

склонив голову. Чувство давно уже подсказывает ей, что муж ее, Андрей Михайлович, холоден к ней, коли так спокойно говорит слова, от которых леденеет ее сердце. У него в голове свои мысли, далекие от семьи... Даже родную мать, и ту он хочет оставить на поругание, а может быть... и смерть! Целые дни перешептывается он с перебежчиками, подосланными литовским королем, чтобы переманить в Литву и его, князя Андрея Михайловича.

Курбский, стоя у окна и не обращая внимания на жену, говорил так, как будто за окном его слушает толпа народа:

– Он мнит себя цезарем, господином Вселенной... Посылает в чужие, заморские земли своих соглядатаев, постоянно принимает к себе и сажает с собою за трапезу иноземцев, словно бы он и не русский царь, а басурманский либо аглицкий... Кичится морскою ходьбою, но недолго гулять ему по морям. Бояре уж уведомили короля о царевых кораблях. Обождите!

Близок час расплаты!

Княгине хотелось крикнуть со всею страстностью обиженной, забытой мужем женщины: «Опомнись! Подумай о жене, матери, о сыне!»

Увы, она не смела этого сделать! Не он ли учил ее, что «жена во всем должна мужу покоряться» и «что муж накажет, то с любовью принимать, внимать ему со страхом» и поступать, как он велит. Андрей Михайлович бывает груб и своенравен, а в последние дни и вовсе слова против не ска-

жи: сердится, кричит. На людях кроток, обходителен с женой – наедине строг и неразговорчив. Княгине часто кажется, что ради княжеской короны он не пощадит ни матери, ни жены, ни сына. Честолюбив и горд. Грешно так думать о Боге данном супруге, но на это глаз не закроешь. Уж его ли не ублажает царь Иван Васильевич? Сам он, Андрей Михайлович, говорит: «Честит, возвеличивает меня великий князь, да все одно к нему душа у меня не лежит... Не слуга я ему!»

Княгиня знает, что король Сигизмунд давно переманивает князя на польскую службу, сулит ему золотые горы...

Осенью прошлого года князь Андрей потерпел большое поражение. Имея сорок тысяч воинов, он не смог противостоять четырем тысячам поляков. Тогда же, узнав о гневе царя, он собирался тайно ускакать к королю, да только не твердо верил в обещания его. Ныне перешедшие на службу к королю бояре и князья тайно передали через своих послов в Москве дьяку Колымету деньги и письмо для князя, будто король богато жалует всех отъехавших из России вельмож, что им живется там много свободнее, нежели в Московском государстве.

Еще суше и холоднее стал князь к своей семье, перебравшись в Юрьев, куда государь назначил его воеводою. Чем ближе к рубежу, тем становился он невыносимее и для своих подчиненных, и для семьи.

– Мужество делает незначительным и потери, – как бы про себя говорит князь Курбский, глядя в раскрытое окно своей

богато убранной палаты.

Там, во дворе замка, пруд, и по его глади стая лебедей плавно движется, горделиво изогнув свои тонкие шеи.

– Ждать? Чего? – продолжает князь Андрей. – Враг не токмо тот, кто наносит обиду, но и тот, кто хочет нанести ее. Москва смотрит на меня змеиными глазами. Она замышляет против меня злое, так уж пусть она его сама получит прежде того! Можно ли мне, моя государыня, ждать добра от царя? Я не хочу радоваться милостям тирана, легко раскрывающего объятия для людей, ему угодивших... Ненадежно это.

«Хоть бы молчал, не терзал бы меня», – думала княгиня, снедаемая смертельною тоской. Ей хотелось, чтобы он взял и семью с собою, но князь всячески заминает разговор об этом.

Андрей Михайлович вдруг вспомнил свою ярославскую вотчину, усадьбу, где родился, рос и мужал, лес вблизи княжеских хором; громадные кедры и сосны на гребешке над рекой Курбицей; маленькую бревенчатую церковь, мельницу на реке; старик мельник рассказывал ему в детстве сказки о Бове-королевиче, о побитых пахарем-богатырем змеях-драконах и о многих других чудесах.

Небо там ясное, синее; покровы лугов вытканы желтыми, голубыми, белыми цветами, и река Курбица прозрачная – все камешки на дне пересчитаешь, – и есть места, где листва ив и орешника, сплетаясь, нависает зеленым потолком над водою, – здесь скользят по поверхности тощие водяные пау-

ки, ныряют черные жуки-водолюбы и лягушки скачут в воду, заслышав шаги... Пахнет древностью, ходят стаями в воде большие серебристые окуни...

Древность! Ради тебя все. Грязью забросали тебя. Принизили. Отрекаются от тебя, древность, клянут тебя!

Курбский подошел к жене и сказал строго:

– Коли тебе любо видеть меня во узах и мучениях и смертном усекновении, останусь я...

Княгиня поднялась со скамьи и тихо молвила:

– Христос с тобой!.. Неволить не буду! Добрый путь. Живи!

Андрей Михайлович обнял и крепко поцеловал ее:

– Прощай, голубица. Храни тебя Господь.

Ни жива ни мертва опустилась княгиня на скамью.

– Прощай! – едва шевеля губами, прошептала она.

Ночь темная, непроглядная окутала Юрьев.

Туча разрослась, затянула весь небосклон.

Из-под черных косм ее вырываются острые молнии, словно бы туча всею своей исполинскою силою сдерживает поток небесного огня, готового пасть на землю и спалить грешное, не знающее пределов злобы и жестокости человечество.

На крепостной стене, между двух башен, неподвижно стоит князь Курбский, большой воевода, которому царь некогда говорил: «Кроме себя, одному тебе могу я доверить тот древний, отнятый у немцев наш город, зовомый немцами Дерпт».

Спят обыватели, спят привратники, и даже псы сторожевые, и те спят; не заметили они, как два десятка коней были выведены из крепостных ворот.

Курбский снял шлем и помолился. Повеяло холодом, сыростью и гнилью из соседней башни. Совсем недавно сажали туда закованных в кандалы преступников, нарушавших царские законы, немецких буянов, в хмельном виде порицавших Ивана Васильевича, прятали туда и морили голодом изменников родины. А теперь там сидит один дьяк за поношение его, воеводы Курбского.

И сейчас в его ушах звучат слова, брошенные ему в лицо разъяренным дьяком:

– Сердце твое пепел! И жизнь твоя презреннее грязи!

Под огнем клялся несчастный в преданности государю, а это дурной признак. Не подослан ли он Малютою? пыткой ничего не добились. Жаль! Но, видимо, его конец близок, кат свое дело сделал.

– Исполни́й долг свой, – раздался тихий, певучий голос позади Курбского, – а последующее предоставь возложившему его на тебя.

Курбский вздрогнул.

В темноте выросла худая, черная фигура католического монаха. Это в его келье происходили тайные переговоры князя с Сигизмундовыми людьми.

Молния скользнула по худому, бритому, со впалыми глазами, лицу иезуита. Костлявая рука коснулась плеча князя

Андрея.

Курбский не шелохнулся. Этот монах теперь был сильнее его, воеводы. За тридцать сребреников он может продать, погубить его, наследственного князя.

– Если человек не приступает к исполнению своего долга, он не может быть достойным человеком.

Впалые острые глаза иезуита засветились огнем, как у волка. Курбский старался припомнить: каким образом он, этот живой мертвец, возымел такую власть над ним, «покорителем царств»? Ужас леденил сердце –дохлый иезуит приказывает ему, воеводе, как будто своему слуге; читает ему наставления...

– Я молюсь! Оставь меня! – резко, негодующим голосом произнес Курбский.

Иезуит приглушенно захихикал, прикрыв рот ладонью.

Курбский продолжал стоять к нему спиною.

– Его величество давно молится о твоём здоровье, и я молюсь. И все польские и литовские князи молятся о тебе, чтобы тебя не погубил Московит. В Польше и Литве ждут тебя как родного брата, там ты найдешь мир и покой и королевскую милость!

– Для чего ты ходишь за мной по пятам? – сурово произнес князь.

– Я полюбил тебя, подобно отцу, любящему своего сына... Мой сан и мой закон запрещают мне оставлять без сострадания больную душу.

– Уйди, праведник, прошу тебя, – теперь умоляющим голосом проговорил Курбский.

– Уйду, но помни: двадцать оседланных коней ждут тебя с твоими людьми.

Монах исчез.

Князь в сильном волнении подошел к краю крепостной стены и заглянул вниз. В темноте трудно было что-либо разглядеть, но фыркание коней и сдержанный говор находившихся около них людей ясно донеслись до слуха князя.

«Кончено. Прощай, Русь!»

Курбский, сутулясь, затаив дыхание, бесшумно сошел со стены и заторопился в замок, к себе в палаты. Все время он подозрительно оглядывался: ему казалось, что кто-то за ним следит, кто-то не спускает с него глаз... И вот-вот схватит его!

Полоснула небо яркая, размашистая молния... Курбский съежился, перекрестился, прижался к стене. Мелькнули на мгновение башни, церкви, дома с черными, загадочно настроженными глазницами, и... что это? Как будто там, невдалеке... царь!.. Грозно застыли устремленные на него, хорошо знакомые глаза. Князь в ужасе отвернулся, но... опять непроглядная тьма! Она шепчет ему что-то страшное, липнет к нему; в ушах продолжают звучать гнусные речи иезуита.

Трудно дышать... Москва! Боже мой, опять Москва! Никуда от нее не денешься. Может быть, не надо? Может быть, покаяться, попросить прощенья у Ивана Васильевича? А

этого проклятого иезуита бросить в тюрьму, истребить? Нет!
Поздно.

Курбский притаился, крепко сжал рукоять сабли. Показалось – кто-то крадется, хочет прыгнуть на него. Всмотрелся: песья тень! Да, да, это собака, бездомная, бродячая собака... Уж второй день она бродит тут.

«Бездомный пес! – с грустной улыбкой мысленно повторил Курбский. – Может быть, когда-нибудь назовут так и меня?»

Покаяться? Попросить прощенья у царя? Вернуться к прежнему?

Внезапно Курбский со всей ужасающей ясностью понял мрачную, неотвратимую правду: «Поздно! Возврата нет».

Опасаясь разбудить сторожей, прошел он через глухие каменные ворота к себе в замок. Поднимался, едва переводя дыхание от волнения, по каменным ступеням лестницы в свои покои.

Вот они. Опочивальня сына... В темноте слышно спокойное, ровное дыхание мальчика. Склонился над постелью. Тяжело вздохнул, прошептал молитву, перекрестил мальчика.

На носках пробрался в опочивальню княгини.

Очнулась. Испуганно приподнялась на ложе.

– Кто тут? Господи!

– Я!..

Княгиня притянула его к себе, дрожа от испуга:

– Страшно!.. Я боюсь, государь мой. Зачем пришел?

– Хожу я, караулы проверяю!.. Успокойся. Ложись!

– Спаси Бог, не притомись, ляг, отдохни!

– Полно, милая княгинюшка!..

– Не покинешь, стало быть, нас? Да?

– С чего ты взяла? Говорю... раздумал я!

Андрей Михайлович поцеловал жену.

– Бог храни тебя! Так я и думала и во сне видела, будто ты наш... ты с нами, но не с ворогами...

Курбский через силу весело спросил:

– Ты все о том же? Глупая! Ну, Христос с тобой!

И опять так же осторожно, на носках, вышел из опочивальни.

Едва миновал ворота замка, как снова послышался вкрадчивый голос иезуита:

– Пора!.. Пора, князь. Жаждались там тебя! – В голосе монаха строгая настойчивость: – Иль ты раздумал? Нужно ли повторять: заговор ваш стал известен царю!

Курбский молча заторопился к крепостным воротам. Дремавшие воротники встрепенулись:

– Кто идет?

– Воевода! – властно крикнул Курбский.

Воротники притихли.

Иезуит вновь исчез.

Курбский спешно зашагал вдоль рва, близ крепостной стены, торопясь к тому месту, где должны были находиться кони и слуги князя и его ближайшие друзья.

– Заждались мы тебя, князь. Сомневаться стали... – сказал кто-то недовольно.

– Не торопитесь, други, успеем.

– То-то! Успеем ли?

– Поберечься бы не грех, пан воевода!

– Поскачем в Венден. Ближний путь. Все ли тут?

– Все. Иван Иванович и Михаил Яковлевич Колыметы, Ваня Мошнинский...

– Честный мой слуга и друг Ваня! Не покидаешь меня?

– Умру вместе с тобою, князь!

– А Вася Шибанов?

– Я здесь, князь!

– Все здесь, Андрей Михайлович. Валуев, Симон Маркович Вешняков тут, Гаврило Кайсаров, Меркурий Невклюдов, Иван Посник Вижавский...

Курбский, вслушиваясь в имена своих сообщников, испытывал такое ощущение, как будто вколачивали гвозди в гроб, в котором его друзья хоронят его славу, его отчизну, семью и все самое дорогое ему. Кто они? Понимают ли они, что случилось? Их имена ничтожны. Они уцепились за него, за князя Курбского, чтобы связать свою судьбу с его прославленным именем, чтобы перед королевскими очами красоваться рядом с ним, воеводой Курбским. И кто знает: может быть, иные из них и мзду получили за эту дружбу с беглецом – вельможею московским? Им нечего терять – они ничего не имеют. Их гонят корысть, нажива.

Вот почему они суетятся, бросаются, толкая друг друга, чтобы подать коня ему.

– Спасибо! – отрывисто сказал Курбский, усевшись в седло и взяв поводья в руки.

Молния осветила толпу суетливых бородачей, одетых разношерстно, вооруженных кто чем попало, размахивавших руками, вскакивавших на коней. Все это напоминало скорее разбойничью шайку, собирающуюся скакать с атаманом на татьбу, нежели княжескую дружину.

Впервые князь почувствовал с горькою отчетливостью весь позор его дружбы с этими людьми, с которыми он решил гнаться за вельможною славою. Их дружбу он предпочел дружбе с царем Иваном Васильевичем! Как страшно! В погоне за возвеличиванием княжеского достоинства приходится унижаться. Единственная надежда на польского короля. Он должен помочь ему, Курбскому, занять первенствующее место при его королевском дворе. Тогда всю эту алчную до наживы, бессовестную челядь он отбросит от себя, как ненужный хлам, как грязь, прилипшую к его сапогам. Они осуждают новины и думают, будто и он их единомышленник и тоже против царевых новшеств. Жалкие. Он, князь, сам за новины, но только не для низкого черного люда, а для князей. И он за дружбу с Западом, но только чтобы она была на пользу князьям же, а не царю.

«Колыметам суждено родиться и умереть навозными жуками».

Молнии стали сверкать чаще и чаще.

В последний раз Курбский повернул своего коня в сторону Юрьева. При свете молнии он увидел стоящего на краю крепостной стены с распятием в руке черного, длинного иезуита...

Курбский сердито плюнул, повернув коня на запад.

– Будь ты проклят, сатана!

Издали донесся глухой рокот неба, а затем стали падать редкие капли дождя. Вновь и вновь молнии. Поднялся ветер, пыль застилала глаза.

– С Богом! – крикнул кто-то, не дожидаясь приказа воеводы, и десятки лошадиных копыт нарушили тишину ночи.

Прогремел оглушительный удар грома.

Гроза началась.

VI

Полночь. В караульном каземате Тайницкой башни Малюта Скуратов и Алексей Басманов. Сошлись после объезда сторожевых постов.

Тревожно в Москве. Получена страшная весть о неслышанном поражении московского войска под Оршей. В этом бою пал сам воевода князь Петр Шуйский и братья – князь Семен и Федор Палецкие. В плен уведены воеводы Захарий Плещеев-Овчина, князь Иван Охлябинин и десятки

детей боярских. Богатые обозы и пушки брошены в добычу врагам. Польские паны торжествуют. Затрубили на весь мир о своей победе над московским войском. Позор!

Взметнулись слухи об измене, о предательстве каких-то бояр... Каких? Имена не назывались. Осторожно, под величайшей тайной шептуны намекали кое на кого из царских вельмож, по догадке, без явной улики.

Царь сильно разгневался на любимого своего воеводу, покойного Петра Шуйского, и его помощников, повелел о них служить панихиды. Во все концы Москвы Малютою были разсланы люди подслушивать разговоры на базарах, в кабаках, около церквей и в других людных местах. Везде одно: ропот и уныние.

Малюта не в духе. Он угрюмо говорил сидевшему против него за столом Басманову:

– Батюшко Иван Васильевич неровен, вот што! Иной час доверчив и никого не слушает, иной час безвинно гневается, и хоть сам видит – попусту, но стоит на своем... Негоже то. А после безвинно наказанного возвеличивает, жалуется, а себя винит, кается. Сослал Михаила Воротынского на Белозеро, опалу великую положил, а ныне велит отвозить ему фряжских вин и свежей рыбы, изюму, лимонов, меду... Двенадцать слуг оставил князю. Вот и пойми.

– Подлинно так, Григорий Лукьяныч. Боязно стало его доверия. Вельми непостоянен батюшка государь, – вздохнул Басманов. – Не стали радоваться люди, коль он возвышает

их. Не ведают они: што надо царю, как ему угодить... Князь Бельский Иван Дмитриевич пытался бежать в Литву, и его словили, отпустил царь его на поруки, и все же он опять бежал, но и вновь был пойман... Иван Васильевич опять простил его, а ныне он в почете у царя... Как вот тут? Не поймешь!

Малюта в недоумении развел руками:

– Не пойму и я государя. Знать, правда говорится: хоть и ходим около, да не видим сокола!

Посидели, помолчали, вышли на площадку башни. Ночь лунная. Тепло. Сквозь просветы между зубцами видно Москву-реку и заречную слободу: церкви, избы, огороды, посеребренные луной.

– Царь в тревоге – на посадах страх!

– По вся места – страх... Ходит он по пятам за нами.

Малюта и Басманов в панцирях, с палашами на поясах, сняли шеломы, перекрестились.

Вчера ночью неизвестные люди прокрадывались во дворец, зарезали двух караульных стрельцов. Стража погналась за ними, а они – мигом на поджидавших коней и ускакали.

Повелением Ивана Васильевича у всех решеток, на углах и перекрестках расставлена усиленная конная и пешая стража.

Малюта, не надевая шелома, провел ладонью по вспотевшему лбу и волосам.

– Государь молвил вчера: «Спасибо моим злосчастливым со-

ветникам Сильвестру и Адашеву! Своевольством своим они толкнули меня к познанию моей силы. Познал я в тишине своей, что есть власть. Лукавцы! Ужели царь достоин токмо председания, а власть должна принадлежать другим? Как же мне быть самодержцем, коли сам не буду править?»

Басманов засмеялся:

– И Адашева и Сильвестра уже нет, а Иван Васильевич все еще их поминает. Дивлюсь я. Не поймешь: хулит он их или хвалит. Зачем он их так часто вспоминает?

– Однако подумай и о том: тринадцать лет они владели душою государя, а он остался самим собою и не токмо не покорился им, но уничтожил их. Не дальнорозки они были – тринадцать лет не примечали, што он думает о другом... не по-ихнему. Где же их разум?

– Истинно говорил Вассиан: «Близ царя – близ смерти!»

Малюта насупился.

– Не по душе мне его слова, Алексей Данилович. Вассиан – опальный боярин, недруг царский... Вассианово слово ложно и злобно. Царь и милует, царь и наказывает – все в его воле. А черные люди говорят: «Царь-то добр, да слуги его злы!» Подумай над этим.

Басманов промолчал.

В лунном свете мягко струилась Москва-река; кое-где у берегов тихо плыли плоты. Прокричала цапля, испуганная конной стражей. Лениво взмахивая крыльями, пролетела над самой башней. Тишина лунной ночи, теплой, весен-

ней, наводила на грустные мысли. Вспоминалась прежняя жизнь Басманову, его поход с царем на Казань, битвы, увенчанные победами, награды и подарки, которыми государь осыпал его. Разве стал бы он раньше вести беседу с этим захудалым дворянчиком? «Что такое Малюта? Ему бы прасолом быть, мясом либо рыбою на базаре торговать – мелкий человек, и вот – в царедворцы влез: царь души в нем не чает. Страшный человек Малюта! И когда и как это случилось – никто того даже и не заметил. Смирненным богомольцем прикидывался... Ловок, дьявол!»

И казалось Басманову, будто бы потому царь Малюту и приблизил к себе, что Малюта – тупой, простой, незнатный человек. Царь избегает мудрых людей, боится опять «Сильвестровых чар» над собою, боится посягательства на его, цареву, власть. А может быть, он и прав?

Малюта думал: «Хотя ты и боярин, и царский любимец, и воевода прославленный, однако не тверд ты. Мнишь о себе много. Большой власти жаждешь. Запомни-ка: кто не желает власти, на того не приходят и напасти. Знай же: Малюта плюет на почет. Он верный слуга царю и царству! И только! В этом находит он отраду душе своей».

– Благодарение Богу, Алексей Данилович. Угодили мы с тобою батюшке Ивану Васильевичу, набрали людей на корабли дюжих, зело усердных. Керстен Роде похваливал их. В грязь лицом перед чужеземцами те люди не ударят.

– Где-то теперь наши корабли? Благополучны ли? Спра-

вятся ли с чужеземными каперами?

– Государь наказал о них молебны служить. Молился и он, батюшка, с царицею и детьми у Спаса на Бору.

– Дивное дело! Подумай – московские корабли плывут в окиян! – сказал Басманов с умилением в голосе.

– Что же того! Смотрю я на то дело просто. Свет не баня – для всех место найдется... Все меняется! Ранее вон почитался род, а ноне род под службою ходит. И служба государем дается ноне не по роду... Што делать! Время иное.

– Подлинно, Григорий Лукьяныч, – через силу, угодливо ответил Басманов. – Так оно и должно быть.

Боярину Басманову противна грубоватость Малюты в его суждениях о боярах. Но, чтобы не отстать от «новых порядков» при дворе, от новых людей, старается он во всем подражать Малюте. Он не намерен, как другие бояре, отказываться служить с неродовитыми дворянами и сторониться их. При всяком добром случае он лицемерно проклинает отъехавших в Литву вельмож. Постоянно восхваляет царя за то, что тот отстранил от управления приказами бояр, а вместо них насаждает грамотных дьяков. Он приветствует и появление в боярской думе хундордных дворян, названных «думными дворянами».

Вывел из задумчивости Малюту и Басманова послышавшийся внизу, под кремлевскими стенами, бешеный конский топот.

Оба склонились над стеной. По берегу Москвы-реки ска-

кал всадник.

Он остановился у подошвы Тайницкой башни; поднялась ругань, кто-то неистово барабанил в железные ворота.

– Постой-ка, Алексей Данилыч, спустимся... поглядим, кто там.

Оба с фонарем сошли вниз.

Воротник шумел, не пуская неведомого ему всадника, лонившегося в Кремль. По приказанию Малюты ворота были открыты.

Таща под уздцы тяжело дышавшего коня, ратник вошел в Кремль. Низко поклонился, облегченно вздохнул, подал бумагу.

– На-ко, Алексей Данилыч, глянь. Чего тут? У тебя глаза хорошие, да и грамотен зело.

Басманов стал читать.

– Помилуй Бог... – прошептал он в ужасе, держа в дрожащей руке бумагу. – Может ли то быть?

– Што такое? – всполошился Малюта.

– Афанасий Нагой... пишет... – пробормотал, задыхаясь от волненья, Басманов.

– Ну, ну! Да говори же!

– Курбский изменил!.. Бежал в Литву!

– Нет.

Малюта ударил в железную доску.

Из темноты выскочило несколько стрельцов.

– Возьмите его! Держите под присмотром до утра.

Стрельцы поволокли гонца в глубь кремлевского двора.

Малюта и Басманов снова скрылись в башне. Оба молчали, ошеломленные этим известием.

Курбский! Андрей Михайлович! Да может ли то быть? Не подвох ли какой! Ныне враги пускаются на всякие хитрости, лишь бы насолить царю. Нет! Поверить невозможно, чтобы первейший друг царя и славный воевода мог изменить государю!

– Ладно... – как бы отвечая на свои мысли, тихо произнес наконец Малюта. – Ты побудь здесь, Алексей Данилыч, а я пойду попытаю гонца: кто, чей и нет ли какого обмана.

– Бог спасет!.. Сходи. Выведай все, а я подожду.

Малюта быстро побежал по лестнице вниз. В его беге было что-то бычье. Он нагибал голову, словно собираясь бодать.

Басманов сел на скамью за стол, опустил голову на руки, задумался.

Что же это такое?

Курбский!.. Кому на Руси неизвестно имя храброго князя? Самые славные, радостные события связаны с именем Курбского... Тула!.. Казань!.. Дерпт!.. Полоцк!.. Вильна!.. Да мало ли ратных праздников можно насчитать при имени Курбского? И с ним ли не был ласков и добр Иван Васильевич? Не с ним ли государь просиживал целые дни за книжным учением и беседами о писаниях греческих мудрецов?

«Муж битвы и света», смелый, отважный, презиравший

смерть в боях, покрытый ранами полководец изменил, опозорил на веки вечные свой род, стал предателем, иудею!

Малюта вернулся в башню мрачный, молчаливый.

– Ну, как там, Григорий Лукьяныч, сказывай!..

Тяжелым испытующим взглядом уставился Малюта на Басманова.

Неловкая, напряженная минута. Басманову вдруг почудилось, будто Малюта и ему не доверяет.

– Ну!

Тихим, но злобным, желчным голосом Малюта сказал:

– Вот вы какие, бояре! Вот тут и думай.

– Да говори же, Григорий Лукьянович.

– Не говорить бы надо, а казнить... Упреждал я царя, и не раз... Э-эх!

Малюта снял шелом и, перекрестившись, сказал:

– Помоги нам, Господи, Вседержитель, изловить всех пособников Курбского и друзей его, их же имена Господи веши!

Иван Васильевич прислушался. Будто в палате находится кто-то, кроме него. Вот опять вздох и даже шум, словно чья-то нога наступила на половицу, скрипнуло. И вдруг сразу стихло: кто-то притаился. Стало страшно. Не бесы ли? Царь в испуге заглянул сначала за один шкаф, за другой... Господи! Что такое? Царевич? Вот он, у ног царя. Волосы его всклокочены, лицо в слезах. Царь с досадой отстранил царевича.

Мальчик всхлипнул, взглянул на отца большими, спрашивающими глазами.

Мрачное лицо царя просветлело.

– Встань! Полно тебе, – сказал он, смягчившись; помог мальчику подняться с пола. – Не убивайся! Грешно.

Сел в кресло, прижал к себе сына, ласково поглаживая его голову.

Опять тяжелые, мучительные мысли о семье! Дети заброшены. Истые сироты. Растут одиноко с мамками, которые только их балуют, льстят им.

Царевич крепко прижался к Ивану Васильевичу. Он не решался вновь жаловаться отцу на царицу-мачеху. Не первый раз. Мальчик хорошо знал: ничто так не расстраивает отца, как жалобы на царицу. Царь видел, что царевич сдерживается, страшится жаловаться, молчит, но детские глаза его, наполненные слезами, говорят ему больше слов.

Иван Васильевич не решился идти к царице, он боялся за самого себя, делая усилия подавить гнев, опасаясь, что новая распря с женой из-за царевича Ивана кончится плохо.

– Где мамка?.. Пошел бы к Федору... Молись Богу! – взволнованно говорил царь, стараясь найти какое-либо утешительное слово и произнося то, что наворачивалось на язык.

Что скажешь в утешение? Между царицею-мачехой и его старшим сыном жестокая, полная непримиримой злобы вражда. Царица досаждала постоянными жалобами на царевича. Царевич клянется перед иконами, что он ни в чем не

виноват перед царицей. Мамка держит его сторону. Тайно, наедине, она нашептывает царю, что мачеха немилосердна к царевичам-сиротам. Обижает их. Смеется над ними.

Что делать?

Иван Васильевич и сам знает, что царица не любит детей покойной Анастасии Романовны, особенно после смерти ее собственного сына царевича Василия. Царь знает, что она бывает несправедлива к ним. Знает он и то, что дети его тоже не любят Марию Темрюковну, ревнуют отца к ней. А ему, отцу, жаль детей и жену, и любит он и жену, и детей.

Примешь на веру слова царицы – в слезах дети и их мамка: станешь на сторону детей – в слезах царица Мария.

– Покличь, мое чадо, шута Кирилку!..

Мальчик быстро побежал по коридору на половину царских шутов и скоморохов.

Иван Васильевич сидел в кресле мрачный, в глубоком раздумье: что делать? Отправить детей в Коломенское? Боязно! Однажды Ивана-царевича едва не сгубили. Спасибо колдуну. Отвел несчастье. Раскрыл злодеев. Четыре головы пришлось срубить на глазах у царевичей. Пускай знают царские дети, как надо поступать со своими врагами.

Царевич Иван вернулся, ведя за руку маленького, головастого, с вывернутыми ногами, чумазого шута Кирилку. На нем барашковый жупан, на голове остроконечный колпак с колокольчиком.

– Что же ты, дуралей Кирилка, не веселишь царевичей?

Вот я тебя! – Царь со всей силою ударил посохом шута по спине.

Кирилка смешно подпрыгнул, колпак с него слетел, покатился по плечу. Из колпака выскочил котенок, сгорбился, взъерошился, зашипел.

Царь преувеличенно громко рассмеялся, рассмеялся и царевич.

Шут громко расхохотался. Царь опять ударил его своим посохом. Из кармана жупана выскочило еще два котенка.

Царевич хохотал до слез. Иван Васильевич смеялся, продолжая притворно казаться веселым.

– Веди его, Ваня, к мамке. Пускай потешит старуху! Да еще шута Картуньку прихватите...

Кирилка захолопал руками, будто крыльями, и запел петухом: «Ку-ка-реку!»

Царевич и шут побежали, обгоняя друг друга; Иван Васильевич захолопал в ладоши им вслед, громко смеясь.

Оставшись один, царь поднялся с кресла, раздумывая: идти ему к царице или нет? Пойти с укоризной, с попреком значит рассердить ее, слушать ее причитания и плачи... Нет! Он не в силах сегодня опять ссориться с ней.

На столе гусли и ноты новой стихиры... Царевич помешал! И царица, и царевич постоянно омрачают жалобами и слезами немногие минуты досуга. Ах, как бы хотелось где-то в тиши, вдали от семьи, от дворца, от бояр, уйти в книжное чтение и совершенствоваться в пении стихир!

Ноты принесли царю поп Федор, по прозванию Христианин, и певчий Иван Нос из школы новгородца Саввы Рогова. Оба они «были славны и пети горазды знаменному пению».

Царь с грустью глядел на эти листы, испещренные «пометами» и «фитами», показывавшими повышение или понижение звуков. Тут указано «пети борзо», тут «ровным гласом», а там – «тихо». Так бы хотелось разобраться в нотах, но... вот вдруг... сын!..

С тяжелым вздохом Иван Васильевич убрал гусли, бережно свернул ноты и положил их на полку.

В дверь тихо постучали.

Царь разрешил войти.

Малюта. Земно поклонился царю, боязливо глядя на него исподлобья.

– Прошу прощенья, батюшка государь. С недоброю вестью пришел я, милостивый отец наш и покровитель.

Иван Васильевич строго спросил:

– Опять «недобрые вести»? Доколе же?!

– Твое, государь, горе – наше горе!.. Твоя, батюшка царь, беда – наша беда... Мы, верные слуги, тебе неотделимо преданы.

– Ну что же. Благо, – довольный словами Малюты, улыбнулся царь. – Говори! Слушаю тебя, Лукьяныч.

Малюта опустил голову, смущенно переминаясь с ноги на ногу и теребя пальцами бороду.

– Не хотелось бы, великий государь, того и знать, что узна-

ли мы, да и еще хуже – не хотелось бы докладывать тебе о том.

Голос его стал тусклым, сдавленным, будто у него застряло что в горле.

Царь насторожился. Плечо его передернулось. Глаза сощурились.

Чтобы скрыть свое беспокойство, он прошелся взад и вперед по горнице, заложив руки за спину.

– Ты, как вижу я, – медленно произнес он с натянутой усмешкой, – думаешь, будто я немощная женщина... пуглив... слезлив... Увы, Гриша... – качая головой, остановился он против Малюты, – приучили меня с детства ожидать одно худое... Хорошего мало видел я, тому свидетель сам Господь, – приучили, приучили... изверги. Однако говори. Не страшись напугать меня...

Иван Васильевич явно волновался, и слова его никак не согласовались с выражением лица. Малюта уже начал рассказывать – зачем пришел; подождать бы еще, да и не лучше ли было бы царице о том доложить царю? Но она не хочет. Боится. Все боятся. Никто не решается...

– Ну, что там? Эй, голова, чего же ты?! – нетерпеливо крикнул царь, тяжело опустившись в кресло.

Малюта вздохнул всею грудью:

– Государь! Бог да сохранит тебя, да покарает изменников.

– Кто еще? – вскочив с кресла, дрожащими губами про-

шептал царь, страшно тараща глаза.

– Курбский...

– Что-о-о?! – крикнул Иван Васильевич чужим, тонким голосом.

– Князь Андрей Курбский с товарищами... Ускакали в Литву.

Царь сел, откинулся на спинку кресла: «Душно!»

С силою разодрал он ворот у кафтана и рубахи. На губах выступила пена. Лицо стало безобразным, посинело.

– Прочь! – прохрипел он. – Уйди. Сатана. Убью!

Малюта испуганно бросился к дверям.

– Стой! – раздалось позади него. – Не говори никому... Молчи. Казню... Прочь!.. Го..спо..ди!.. Что же это?! Дьяволы!!!

Плывут корабли.

Загадочное, бескрайное море.

На носу головного корабля «Иван Воин», в своем кресле на капитанском помосте, сидит Керстен Роде в кожаном пышном жупане. Бархатная шапка. Сабля. Глаза устремлены в ясное небо. Он шепчет молитву: «Хвала и благодарение Творцу Всемогущему, что вдохнул он в человека любовь, сообщил ему дар познания и умение во всем окружающем видеть жизнь, красоту и свободу». С недавних пор у Керстена появилась мирная склонность к созерцанию, к философскому размышлению.

И в самом деле, кругом все необычайно прекрасно: синее небо, украшенные зеленью скалистые берега, серебристое мерцание волн...

Андрей уже освоился на корабле и от всей души желал только одного: поскорее бы взяться за пушки. На земле его пушкари поработали на славу – поглядеть бы, как на море.

Погода плаванию благоприятствует, но некоторым купцам московским все равно не по себе. Они то и дело вынимают из-за пазухи взятые ими на дорогу маленькие иконки и усердно, торопливо молятся, растерянно, робким взглядом окидывая морские просторы. Путешествие это иным из них казалось божеским наказанием, которое в угоду царю следует нести со всем смирением и безропотно. Кое у кого из них пропала охота к еде: что ни съешь – мутит и рвет.

Роде и его товарищи посматривали на новичков в морском плавании с едва заметной усмешкой.

– Уж если Господь Бог рассудит мне живу остаться, часовню воздвигну на Лисьих Ямах... – оглядывая с унылым видом морские просторы, проговорил почтенный гость Иван Тимофеев.

– Полно, Иван Иваныч! Плавал я на оных ковчегах... Жив остался... Не всем же тонуть, кому ни то и торговлю вести надо... – усмехнулся Степан Твердилов. – Да и с незапамятных времен наш брат, русский гость, плавал по морям... Ничего. Бог милостив. Не страшись. А мне так по душе это море.

– А вдруг – хватъ – и утонешь! – сострил Юрий Грек, иг-

рая лукавыми черными глазами. «Греком» его прозвали за «черномазость», а был он самым коренным ярославцем.

– Как сказать? Зарекаться бы не след. Верно. Но и моря бояться грешно... Без риска и торговли не бывает. Коли Господу Богу угодно будет и государю, так погибнем с честью, все вместе, и опасаться того не след... – глубокомысленно проговорил Твердиков, поднявшись с груди каната, и набожно перекрестился.

– Правильно, дядя Степан! Что тут?! Вон погляди на пушкарей да на стрельцов – веселые, бедовые и будто не в чужие края, а к себе в деревню плывут, – сказал один из купцов, дремавший дотоле у основания бизань-мачты²⁷.

– Зазноба будто вон у того, у старшего пушкаря, у Андрея, на Печатном дворе осталась, – улыбнулся Юрий Грек. – Вчe-рась он мне сам сказывал.

– Што же из того! У него зазноба – у меня старуха... Бабы – они и есть бабы, – с досадой в голосе проговорил Федор Погорелов. – А все ж я Студеное море николи не променяю на Западное. Крепости, могущества здесь того нетути. Простор не тот. Воздуху мало...

– Какого ж тебе воздуха? – удивленно спросил Тимофеев. – Токмо воздух и есть: вода и воздух, и боле ничего... Глядеть-то не на што... Пусто! То ли дело на земле – всего насмотришься, всего наслушаешься. Да и прибыльнее.

Андрей Чохов, подойдя к купцам, громко рассмеялся.

²⁷ Задняя мачта.

– Глянь-ка, Иван Иванович, – сказал он. – Полюбуйся.

Все оглянулись, куда показывал рукой пушкарь.

– Гляди... паруса-то... гляди...

Позади «Ивана Воина», один от другого поодаль, на расстоянии трех-четырёх ширин судна, величественно шли остальные московские корабли с распущенными в три яруса парусами. Впереди, по боевому обычаю, были самые сильные, хорошо вооруженные суда.

Долго любовались купцы красавцами кораблями. Но вот ветер стал крепчать. Керстен Роде приказал убрать паруса с грот-мачты. Оставил паруса только на передней фок-мачте. Легли на бейдевинд²⁸.

Особенно выделялась своею ярко-голубою окраскою, с золотыми узорами на бортах, «Держава».

Купцы поднялись, с любопытством следя за тем, как матросы, лазая по мачтам, свертывают паруса.

– Вот на том корабле теперича сидит Мишка Бобер... Меду, стервец, што везет. Страх! И где тока набрал? Не люблю я его – завистлив, злобен, – проговорил ни с того ни с сего Трифон Коробейников.

– Нешто меду на Руси мало? – вставил свое слово подошедший к купцам Андрей Чохов. – Чего завидовать?

– Всего на Руси много... Токмо сиднем сидим мы у себя на дому и оттого прибытка не имеем. Пожалуй, седи на печи

²⁸ Курс корабля, составляющий с направлением ветра угол менее 90 градусов. Здесь – на юго-запад

да гложи кирпичи. Товар лицом надо казать, – сказал кто-то из купцов.

– Ну, брат, не говори. Мы вот Ледовый окиян у себя объехали. Наш товар везде известен. Нас не укоряй! – покраснев от обиды, воскликнул Погорелов. – Живем не бедно. Дай Бог вам так жить. Погляди на Строгановых... Блаженствуют... Иноземцы с поклоном к ним ездят... будто к князьям. Наши холодные края могут согреть своим богатством всю Русь. Мы не сидим на месте. Што нам окиян – не боимся мы его.

– Полно тебе, милоч, похваляться. Обожди. Купец русский во всех местах побывает, не гляди, что вертлявости в нем той нет, што у немца, – произнес, задумчиво разглаживая бороду, Тимофеев. – Русь-матушка всех нас и накормит, и напоит, и соседям кое-что достанется. Русский купец с легкой государевой руки не токмо в холодных краях – повсюду закопошился. Вон даже в Эфиопию-страну один заехал... Стало быть, к тому причина есть... Хохлатые куры двором ведутся... Господь Бог не обидел Русь. И без ваших краев есть места.

Из посольской каюты вышел на палубу дьяк Петр Григорьевич Совин, нарядно одетый, чистенький, приглаженный, с подстриженной бородкой. Огляделся кругом, помолился на все четыре стороны. Он плыл с гостями по поручению царя. Разговорчивый. Веселый.

– Чего вы тут гуторите?.. – спросил он, подойдя к купцам.

– На корабли дивуемся, ваша милость... Уж больно го- жи! – низко поклонившись, сказал Тимофеев.

– Так-то и приличествует русскому государю, дабы порухи чести его не было. Чин блюсти – великое дело. Не срамите его. – Совин указал на царский вымпел с двуглавым орлом, трепетавший на фок-мачте. – То – наша хоругвь государская.

Усевшись на скамью, Совин стал рассказывать, как два года тому назад ему привелось совершить плавание по это- му же морю с великими государевыми послами, с дворец- ким Нижнего Новгорода князем Антоном Ромодановским и «печатником» Висковатым. А ездило посольство на коро- левский двор во град Копенгаген. Было с ними еще шесть дворян и около полутора ста душ слуг и два толмача.

– А скоро ль изволили, батюшко, доплыть вы до того бу- сурманского города? – боязливо оглядывая всех, перебил Совина Тимофеев.

– Да нет. Неладно вышло. Четыре недели, почитай, носило нас по морю. Одному мне посчастливилось десятью днями раньше прибыть в тот город Копенгаген... Ветром нас при- гнало... Так вот, слушайте: продолжу я вам свой сказ...

Царь Иван Васильевич при отправке тех послов наказы- вал: «Пуще глаза своего беречь честь его имени и честь го- сударствия Русского». То же надлежит во всех странах со- блюдать и гостям, и всем людям их.

Послам было велено: чтобы при крестном целовании «грамота королуса дацкого была внизу, а государева навер-

ху». Если же королевская грамота будет положена иначе, то «говорить накрепко, чтобы переложили». А «если этого не сделают, сказать дацкому королусу: снял бы он с блюда царскую грамоту и целовал бы крест на одной своей, а заупрямится, то никакого дела не делать и ехать назад».

Государь заботится о том, чтобы его люди в чужих краях радели о доброй славе Московского царства. А все происходящее в Москве истолковывали бы во благо государю и родной земле, своего достоинства бы не теряли, ни перед кем не унижались бы.

Совин от себя прибавил, чтобы торговые люди, которые в Англии высадутся, узнавали бы для царя: «Чем обильна та земля и какие в нее товары приходят из заморских стран: золотое, которое в деле, и серебряное, и камки, и тафты, и свинец, и олово, и доспехи, или что иное привозят ли в ту землю – о всем выпросив, написать в особый список».

Смеясь, Совин рассказал, как русские послы заставили датского наместника в Копенгагене Франца Броккенгуса встретить их с должным почетом.

О короле датском Фредерике Совин отозвался с большой похвалой. При входе послов в приемную палату дворца король встал, а когда князь Ромодановский начал ему править поклон от царя, то король и шапку снял, спросил о государевом здоровье и позвал послов к своей руке...

Московские люди с довольной улыбкой выслушали рассказ Совина о ласковом и достойном приеме русского по-

сольства в Дании.

– Государь батюшка Иван Васильевич склонен со всеми в мире и добре жить, да не тут-то было!.. Много завистников у него в западных странах. И свои людишки нашлись неверные – всяко пытаются они поссорить нашего государя с королями.

Едва Совин закончил свою речь, как на корабле поднялась тревога. Выстрелила пушка. На грот-мачте «Ивана Воина» быстро вздернули черный флаг. После этого на середине галерной кормы корабля взвился белый остроконечный флаг, что обозначало, чтобы все корабли приблизились к атаману для переговоров.

Торговые люди поднялись со своих мест – понять не могут, в чем дело. Как будто никакой и беды не угрожает, а на палубе суматоха, крик, шум. И только хотели они по-деловому, обстоятельно осмотреться кругом, как матросы-датчане, пушкарки и стрельцы погнажи их с палубы в трюм. На купцов напал страх: столпились, полезли, толкая друг друга, в раскрытые люки...

– Господи, что же это такое?!

– Молчи, Иван Иванович, тут, видать, и напляшешься, и наплачешься.

– Буде вам. Лезьте ходчее! После поговорим.

– Весь сок, братцы, из меня выжали, полегше... Кто это? Креста на вас нет. Батюшки-светики!

Когда палуба от торговых и иных вольных людей очисти-

лась, толмач перевел слова Керстена Роде, стоявшего на своем капитанском мостике. Он приказал убрать остальные паруса и взяться за весла. Матросы на всех кораблях один за другим по веревочным лестницам полезли на мачты. Рулевые застыли у руля, ожидая распоряжения Керстена Роде, который дал сигнал в рожок пушкарям, стрельцам-пищальникам и копейщикам готовиться к бою.

Вдали, куда пристально вглядывался Керстен Роде, можно было различить идущие прямо навстречу московским кораблям три судна.

Толмач переводил слова Керстена, продолжавшего неотрывно следить за этими судами:

– Готовьтесь, братья... Вижу их... Пираты... Стерегли купцов. Милости просим. Встрече рады. Примет их с почестями добряк Керстен. Соскучился морской рыцарь без дела.

Корабли московского каравана быстро сблизились с «Иваном Воином», вытянувшись вровень с ним в одну линию.

Заунывно перекликались капитанские рожки.

А внизу, в каютах, купцы опять расставили по лавкам свои иконки и на коленях принялись молиться.

Тимофеев лежал животом на полу, дрожащим голосом причитывая:

– Господь Бог есть святой источник всего существующего, и мир создан его мудростью, его любовью, и милосердие его к человеку неизреченно... аллилуйя... аллилуйя...

Когда же священник спустился в каюту и дико крикнул

в страхе: «Разбойники!», купцы потеряли способность и молиться, прижались друг к другу в отчаянье, покорившись судьбе: что будет! Только немногие из них держались мужественно, спокойно. Они успокаивали: «У нас свой разбойник есть, из разбойников то разбойник. Чай, сумеет потягаться со своими друзьями!»

Наступила удивительная тишина. Не стало слышно ни беготни по палубе, ни заунывного воя рожков, ни голосов людей. Словно морская волна смыла всех с палубы.

Так прошло некоторое время. Казалось, вот-вот что-то обрушится на их ни в чем не повинные головы.

Мучительная, напряженная тишина...

И вдруг торговые люди покатались со своих мест от удара, потрясшего весь корпус корабля.

– Пушки! – прошептал кто-то.

Второй удар, еще более сильный, окончательно привел в небытие сидевших и лежавших в беспорядке московских гостей.

Юрий Грек, попытавшийся казаться веселым, нелепо осклабился, глядя на Тимофеева. Хотел сказать что-то смешное, да не сумел – застряло в горле... Махнул рукой, почесал затылок.

Прыгнувший в трюм юнга, новгородский сирота, взятый стрельцами на корабль, Курбатка Бездомный, пробормотал с дрожью в голосе:

– Теперича совсем близко... Большушие. Черные... А на-

родищу что у них!

Старик Тимофеев собрался с силами и, изловчившись, стукнул со всего размаха ладонью Курбатку: «Молчи, не пужай, бесенок!»

Юнга хлопнулся носом в сидевшего неподвижно, с зажатыми ушами Юрия Грека, заревел, утирая разбитый нос.

– Ничего, малец. Пройдет. Меня батька вот этак же один раз чебурахнул... Потом ничего, – сказал ему в утешенье на ухо Трифон Коробейников, – легче станет.

Пушечные выстрелы один за другим начали потрясать «Ивана Воина».

Три разбойничьих корабля – по словам Керстена Роде, Сигизмундовы пираты, – действительно подошли на близкое расстояние к московскому каравану судов.

Андрей Чохов первый выстрелил из своих пушек по одному вражескому судну. Огненные ядра врезались в борт корабля, повалил дым, корабль накренился. В ответ на этот залп посыпались железные ядра с вражеской стороны.

Начался жестокий морской бой.

Холмогорцы Беспрозванный и Окунь ловко обходили корабли пиратов, загоняя их в ловушку, где легко было расправиться с ними «Ивану Воину» и другим стоявшим около него кораблям.

На «Иване Воине» пала бизань-мачта, зато корабль, в который стрелял Андрей, метался по воде, объятый пламенем.

Керстен Роде заметил, как другие неприятельские суда,

не подозревавшие до этого, что с московских купеческих кораблей на них обрушится артиллерийская пальба, и подошедшие под натиском холмогорцев близко к «Ивану Воину», вдруг попытались бежать. Роде дал сигнал другим своим судам пересечь им путь отступления, сам же смело, на веслах, повел корабль прямо на них.

Андрею предстояло на ходу попадать без промаха в искусно увертывавшиеся на веслах разбойничьи суда. Керстен Роде, без шапки, без куртки, с растрепанными волосами, размахивал длинными руками, делая знаки Андрею, чтобы чаще палил в корабли. Московский пушкарь дорожил «государевым ядром» – зря, попусту, не хотел тратить снаряды. В чем другом, а в этом особенно упрям бы парень. Прижавшись к стволу своей пушки, Андрей продолжал зорко следить за движением двух неприятельских кораблей, внимательно наблюдал за не долетавшими до «Ивана Воина» разбойничьими ядрами. Молчание пушек ввело пиратов в заблуждение – они повернули один корабль бортом, совсем приблизившись к «Ивану Воину», в надежде на молниеносный абордаж, не рассчитывая снова попасть под огонь этого судна.

Андрей приготовил своих пушкарей к дружному залпу всех пушек. Пираты торопились взять корабль на абордаж, думая, как и в прежних грабежах, легко овладеть добром московских купцов.

И вот... поднятая в воздухе рука Андрея опустилась. За-

грохотали выстрелы десятка орудий. Сам он выстрелил в носовую часть неприятельского корабля, пробив ее железным ядром. Мачты у пиратов падали одна за другой.

Третий корабль оказался загороженным своим же кораблем. Он был не в состоянии стрелять в московское судно. На него напали Беспрозванный и Окунь со своими пушкарями.

Керстен Роде приблизился к поврежденному кораблю. Началась перестрелка из пищалей, закончившаяся абордажем.

Стрельцы баграми притянули судно вплотную к «Ивану Воину» и по доскам хлынули на него. В рукопашной схватке они наголову разбили бешено оборонявшихся пиратов, заставив их сложить оружие...

Близился закат. Ветер утих. Небо, темно-синее на востоке, на западе покраснело. Легкая рябь воды также покрылась отблесками вечерней зари. Стало тихо и мирно на море. Только то, что происходило на кораблях, никак не вязалось с тишиною и миром теплой вечерней зари.

Пиратов повалили, обезоружили, связали. Убитых побросали за борт. Раненых перенесли на свой корабль; пленников также перевели к себе. Два судна пиратов к плаванию были уже непригодны, их подожгли. Третий корабль повели с собою, поставив на нем свою команду и подняв московский вымпел.

Всех захваченных пиратов Керстен объявил во всеуслышание пленниками «его величества великого князя и царя

всёя Руси Ивана Васильевича». Когда он произносил это, то приказал пленникам стать на колени. Позже, с бичом в руке, он свирепо допрашивал их.

Выпытал: пираты состояли на службе у короля Сигизмунда. Стараясь оправдаться, они клялись, что они не пираты, а «морские сыщики», королевские слуги. Так их назвал сам король. Они обязались захватывать в открытом море корабли, идущие в русскую Нарву, что и должны выполнять неукоснительно, иначе им самим грозит казнь... Керстен Роде надел на ноги двадцати человекам цепи, посадил их на весла, а девятнадцать велел ночью в темноте сбросить в море «по знакомству». Он знал их и раньше как природных корсаров. Закованные в цепи сменили русских гребцов. Им было объявлено, что они будут отвезены в Москву для допроса к царю.

Пленные пираты ругали своего атамана. Они говорили, что, когда выходили в море, все реи на мачтах покрылись ласточками – это плохой признак для моряка, и корабли при посадке кренило на левую сторону, что тоже дурной признак. К тому же корабли вышли в море тринадцатого числа. Все это предвещало несчастье. Атаман не послушал матросов.

Купцы и другие сидевшие в каютах люди с облегчением вздохнули, появившись снова на палубе. Словно гора с плеч свалилась. Начали толкаться вокруг пленников, около пушек. Андрей строго покрикивал на пушкарей, приказывая им привести в порядок орудия и снаряды. Всех зевак он ото-

гнал от орудий.

– Полно вам, хорошие люди. Эка невидаль. Поостерегайтесь. Подале от зелья... Не до вас нам!..

Купцы послушно отступили, самодовольно поглаживая бороды.

– Экую задали порку, небу стало жарко, – оправившись после пережитых страхов, весело сказал Тимофеев, потирая от удовольствия руки.

– Ну и бедовые у нас пушкари! А наши-то, поморские атаманы... Недаром их поблагодарил Керстен... В грязь лицом не ударили, – сказал с гордостью старик Твердилов. – Как ловко они овладели третьим-то кораблем.

– Да-а. Притянули Варвару на расправу. Молодцы! – похаживая вокруг охлаждавшего пушку Андрея, приговаривал Юрий Грек. – Мы уж думали – конец света.

Матросы поднимали и укрепляли сбитую пиратами бизань-мачту.

Совин, окруженный группой датчан, беседовал с Керстеном Роде на немецком языке. После беседы с датчанами он подошел к Андрею и ласково сказал:

– Ну, Чохов, диву дивуются на тебя дацкие люди. Керстен обещает расхвалить тебя самому батюшке царю, таких-то пушкарей он не видывал во всю свою жизнь ни в одном царстве.

Оторвавшись от пушки, Андрей смущенно ответил:

– Полно вам... Найдутся и у нас получше меня...

Сумрак сгушался. Едва заметно в небесной выси проступили бледные звезды. Вспомнились Андрею Москва, Печатный двор, Охима... Взгрустнулось. Особенно когда взглянул на звездное небо.

Подошел Мелентий, переплывший в ладье на «Ивана Воина». Обнял Андрея: «Молодец, и на море не дал маху».

– Сердит дядя Микит... – сказал он, кивнув в сторону Керстена Роде, снова поднявшегося на капитанский мостик. – Я бы посадил разбойников на ладью, и плавай, как хочешь... Спасешься – твое счастье, утопнешь – туда тебе и дорога, а он... приказал своим людям утопить. Почитай, два десятка в море сгубил.

– Кабы мы с тобой попали бы к ним в лапы, пощадили бы они нас?... Поделом душегубам. В честном бою пожалел бы и я их, а они, разбойники, стерегли нас.

Близилась ночь. Ветра совсем не было. Плыли на веслах. Бизань-мачту снова поставили на место. Толпа датчан вышла на палубу и по приказанию Керстена Роде стала дружно насвистывать в сторону востока, вызывая тем самым ветер...

Один матрос объяснил удивленному Андрею, что таково поверье моряков.

Купцы опустили перед сном на колени, вознося благодарственную молитву за благополучный исход боя с разбойниками, за спасение от грабежа их товаров, за сохранение им жизни и за усердных московских пушкарей.

Море, огромное, пустынное, посеребрили бледные поло-

сы лунного света. Андрей, прислонившись к своей пушке, сел на опустевшей палубе. Глядя на тонкий изогнутый лик луны, впал в грустное раздумье, навеянное этою морской ночью... Что думать об Охиме? Была, есть и будет его Охима... О себе брало раздумье: что он есть сам, Андрей? Все хвалят его, говорят, будто и за рубежом такого не видывали пушкаря, а дома, в Москве, опять могут быть и плети, и дыба, опять он – холоп, челядин Андрейка... И когда же он станет человеком, который не боится ни батогов, ни пыток...

– Эй, пушкарь, ты чего же не спишь?

Андрей вздрогнул, оглянулся. Около него стоял Совин. Андрей поднялся.

– Садись. Ладно. Не в Москве.

– То-то вот и я думаю, Петр Григорьевич... Здесь, на корабле, да и на море посвободнее.

Совин присел на пушку.

– Правду говоришь, парень. Морские бури, тать морская ничто, когда подумаешь о море житейском... То и мы, польские дьяки, чуем, как уплываем из дома... Государь сказал мне: «Завидую вам – земли и моря видите вы, и тяжесть с плеч ваших роняете за рубежом, воздухом Господним дышите по вся места, как птицы вольные в пространстве, а я, ваш владыка, как узник, сижу в Кремле, и тяжесть всю держу на плечах своих, и вижу лишь ближних холопов своих, попов, чернецов и стены кремлевские. А править должен так, чтобы мне весь мир был виден и чтоб меня со всех концов

земли видели». Выходит, пушкарь, мы счастливее царя.

И почему-то Андрею после этих слов Совина стало как-то сразу легче. Он вспомнил суровое, какое-то усталое лицо Ивана Васильевича и тяжело вздохнул. Кто же счастлив?

Совин словно угадал его мысли. Он тихо сказал:

– Всякому свое счастье, а, между прочим, ты хороший пушкарь. Проживешь не зря на земле. Родине сослужишь службу. А теперь ложись-ка спать. Утро вечера мудренее.

Он отошел.

Андрей поднялся. Стоявший на вахте датчанин подошел к нему, что-то сказал по-своему, улыбнулся. Андрей тоже ответил ему приветливой улыбкой.

Мачты, реи, канаты снастей, облитые лунным светом, казались причудливой воздушной постройкой, сотканной из хрустальных палочек и нитей. Повеяло от них сказкой на Андрея. Вот-вот прилетит из-за моря жар-птица и сядет на одну из серебряных жердочек, колеблющихся в вышине, и осветит его, Андрейкину, жизнь ярким золотистым светом. Счастье будет!

Ложился на свою постель Андрей, овеванный покоем и верой...

VII

Василий Грязной поскакал из Кремля домой, чтобы «уличить в грехе» Феокисту Иванову. Уже подослан в дом один

из штаденовских молодчиков с послухами²⁹. «Задумано хитро – попалась Феоктиста как кур во щи, – раздумывал Грязной. – Конец ее замужней жизни. Не избежать ей теперь иноческой власяницы! Жаль ее, понятно. По совести сказать, честная баба, незлобивая и телесами удобрена, а святости хоть отбавляй. Но...» Василию думалось, что не ему жить с ней. Кроме горя, ей ничего не видать от той жизни. В монастыре такой святоше самое место. Прости ты, Господи! Грешно роптать, да только зачем такие непорочные жены рождаются? Лучше бы уж им в раю быть, с ангелами, Бога славить. А этот «прелюбодей», которого Штаден для нее состряпал, – ловкий, сукин сын! В приказе служит писарем; лиса и волк – все тут. За перо возьмется – у мужика мошна и борода трясутся. Прелюбодей, мздоимец, пьяница и казнокрад. Давно бы ему на виселице быть. Но, если перевешать всех таких, кто же тогда над честными людьми подлости совершать будет? Коли не будет зла, так не будет и добра.

Спасибо поганому немцу. Второго негодяя в дело пустил для пользы его, Василия Грязного.

Несчастливая Феоктиста! Пропала! Что поделаешь? Не судьба ей, стало быть, жить с ближним к царю вельможею. Не по себе, матушка, дерево срубил!

Теперь самое время освободиться от нее.

Так думал Грязной.

В Кремле, во всей Москве переполох: изменил первый во-

²⁹ В данном случае – свидетелями.

евода государев – Курбский! Иван Васильевич объявил себя «в осаде» – никого к себе не допускает, даже царицу и детей. Сам тоже никуда не выходит. Со звездочетами, ведуньями и знахарками совещается. Духовника, и того к себе не допускает.

Под шумок ему, Грязному, удобнее разделаться с Феоктистой.

Веселый, возбужденный, приблизился он к своему дому.

Позвав конюха Ерему, отдал ему коня.

На пороге перекрестился, засучил рукава, приготовился прыгнуть на «любовника», разыграть ревность.

Вошел в сени, не выпуская кнута из рук. Тишина. Прошел на носках внутрь дома. Прислушался. Что такое? Сел на скамью: вот-вот выскочит этот дьявол, проклятый писарь, чтоб ему... Удивительная тишина; никогда такой и не бывало.

Посидев немного, Грязной не на шутку всполошился; лицо его покрылось краской; кольнула мысль: «Уж и впрямь не грешат ли?» Затрясся весь, вскочил, рванулся в опочивальню жены с криком:

– Феоктиста! Жена!..

Комната пуста. Гаркнул что было мочи на весь дом:

– Феоктиста, где ты?!

Но не только Феоктиста – никто из дворовых не отозвался, словно все умерли.

«Свят, свят!»

Обошел дом – пустота. Крикнул конюха Ерему. Дрожа от

страха, вошел Ерема в дом, пробормотал что-то невнятное.

– Говори, свиная харя, где хозяйка?.. Где все люди?

– Не ведаю, батюшка Василь Григорьич!..

Бац на колени.

– Как же это ты не ведаешь?

– Коней водил на реку... Вернулся – никого нет.

– Приходил ли кто тут?

– Приходили какие-то мужики... Посидели, ушли.

– Кто приходил?

– Не ведаю.

Грязной с размаху хлестнул Ерему кнутом.

– Вот тебе, дурень! Вот тебе!

На весь дом заревел Ерема, почесывая спину.

– Молчи, боров! Убирайся!..

Ерема исчез.

Грязной стал обшаривать все уголки в доме, полез и на чердак. Там нашел притаившуюся в темноте старушку ключницу Авдотью.

– Ты чего, старая ведьма, от хозяина прячешься? Иль с домовым грешить потянуло? Где хозяйка?

– Не ведаю, батюшка Василь Григорьевич!.. Уволь, миленький, добренький! Батюшке твоему служила верно, матушке твоей служила праведно... тебе батюшка, и Феоктисте Ивановне, матушке...

– Служила верно... Служила праведно! – передразнил ее Грязной. – Лукавая причетница... Говори: где хозяйка? Го-

вори, иль убью! – закричал он, толкнув старуху ногой.

– Батюшка, родной мой!.. Как перед Господом Богом, покаюсь тебе: приходили тут двое каких-то и увели твою супругу, нашу матушку Феоктисту Ивановну...

– Охотою пошла? – прошипел Грязной.

– С охотою, батюшка, с охотою... Слепая я, запорошило мне глазыньки, не видела кто, а слышала, будто согласилась Феоктистушка, а ее ласкали, лобызали... Слышала... не скрою.

– Лобызалась... она? Сама она? – закричал не своим голосом Грязной.

– Лобызалась, батюшка, лобызалась!.. Грех скрывать... Стара я, не разглядела... Очи мои, говорю, запорошило, батюшка.

Василий Грязной сломя голову бросился по лестнице вниз в дом. Никогда в жизни не испытывал он такой жгучей обиды и тоски. Не хотелось и глядеть на пустые комнаты. Вот так Феоктиста! Ужели она решилась?

Сам того не замечая, он начал с ревностью вспоминать, какие мужчины ходили к нему в дом и на кого она посматривала. Всех перебрал, всех вспомнил... а потом стал себя успокаивать: «Ушла, и слава Богу! Сама ушла – чего же лучше?»

Обтер выступивший на лице пот, вздохнул.

Но... трудно примириться с такою обидою. Ведь дорога не Феоктиста, дорога – честь, честь добродетельного дома,

честь важного государева слуги.

Но что же не идет этот образина Штаден? Непонятно.

– Ерема! Дуралей! – исступленно, во все горло крикнул Грязной. – Коня!

Растрепанный, заплаканный, робко выглянул из-за двери конюх.

– Чего поводишь бельмами? Коня!

Ерема скрылся.

Опрометью выбежал из дома Василий Грязной, вскочил на коня и помчался к Штадену.

В голове одно, жгучее, мучительное, вытеснившее все мысли: «Куда делась жена?»

Мелькали церкви, дома, деревья, люди, собаки... Ничего не замечал и не хотел замечать Грязной. Он горел весь как в огне.

Штаден только что закрыл корчму, мечтая о свидании с Гертрудой. Втихомолку он продолжал ухаживать за ней. Гертруда от скуки не прочь была разыграть влюбленную.

Выйдя за изгородь, он вдруг увидел в клубах пыли скачущего прямо на него верхового. Ба! Сам Василий Григорьевич. Милости просим.

Грязной спрыгнул с коня, выхватил из ножен кинжал и направил его прямо в грудь немцу.

– Отвечай, немецкая образина. Отвечай!.. – задыхаясь от злобы, прошипел Грязной. – Где моя жена?!

Штаден в страхе отскочил от него.

– Ума лишился!.. Ума... лишился!.. Уйди!..

– Говори, супостат! Где жена? Убью как собаку!

– Почему немец должен знать, где чужие жены?

– Где твой «любовник»? Где этот вор проклятый? Я его зарежу!.. Убью!..

– Уймись, Василий Григорьич... Толком хочу знать...

– Обманщики, вору, сволочи! – продолжал, размахивая кинжалом, кричать Грязной.

– Тише! Не подобает царскому вельможе...

– Молчать!.. – толкнул немца в грудь Грязной. – Были в моем доме вы или нет?

– Не были... Будем завтра... как ты приказал, – залепетал испуганный Штаден, – ты перепутал.

Из рук Грязного выпал кинжал. Штаден услужливо нагнулся, поднял, обтер пыль с клинка, подал Грязному. С удивлением и опаскою отошел подальше. На Василии лица нет: побелел, глаза растерянно-неподвижные... «Где же она? Куда девалась? И кто те люди?»

Он быстро вскочил на коня, поскакал обратно в Китай-город, оставив в крайнем недоумении Генриха Штадена.

Сильвестра нет.

Адашева нет.

Анастасия умерла.

Брат Юрий тоже.

Митрополит Макарий преставился.

Курбский изменил.

Казанский поход, слава юных дней – все отошло в вечность.

Прощай, молодость. Прощайте, добро и мир. Прощай, вера в людей. Нет возврата былым чувствам радости и любви. Все рухнуло, обмануло! Завело в тупик! Вместо тихой, мирной заводи – бушующий поток, низвергающий то, что казалось незыблемым.

Дни и ночи бродит по своей опочивальне полуодетый, непричесанный, убитый горем царь Иван.

Кому верить?

«Андрей! Князь Курбский. Чего ради ты изменил царю?»

«Зачем? Чего тебе не хватало? Разве царь не ставил тебя выше всех своих воевод?! Никому тех тайн не открывал он, царь, какие были открыты тебе. Ужель тебе, князю, король литовский ближе родного государя? Ужель чужеземцы дороже твоему русскому сердцу, нежели свой народ? Не бесовское ли наваждение одурманило князя Андрея?»

Целые дни в хмуром раздумье бродит по дворцу Иван Васильевич и все думает... думает... И никак не может ответа найти на свои вопросы.

Ему теперь известно, что с Курбским бежали и его сообщники, и в их числе коварные дьяки Колыметы – змеиное отродье, отогревшееся под боком у царя, и другие.

Что за люди? Кто они?!

Враг. Курбский – враг. Иуда!

Иван Васильевич вслух произнес: «Иуда!», и на лице его застыла растерянная улыбка: «Неужто?»

И снова подступили к горлу слезы, и снова стало душно, трудно дышать. Кружка холодного пива не помогла. Никак не заглушить мысли об обидах. Снова жаль самого себя, как последнему нищему, бедняку, как одинокому, беспомощному изгнаннику, не имеющему ни приюта, ни друзей.

Воспоминания не дают покоя...

Обиды, оскорбления и всякое бесчиние бояр Шуйских, Пронских, Курлятева, Шемяки, Турунтая, Кубенского, Палецкого снова воскресли в памяти.

Как будто не в детстве то было, а теперь...

Вот лежит в гробу отравленная боярами мать...

Умирает в чулане от голода и неисходного сидения в железных оковах ближний друг и любимец его, малютки царя, Оболенский-Телепнев.

Берут опекуна князя Бельского... и убивают, убивают его на глазах ребенка, будущего царя.

Дьяку и верному слуге царевича Федору Мишурину отрубают голову...

За что? За то, что все эти люди заботились о сироте, об одиноком ребенке... О нем – будущем царе Иване!..

Мудрого митрополита Даниила, наставника великого князя, Шуйские лишают сана, изгоняют из дворца...

Не они ли подняли мятеж в Москве? Схватили на глазах самого Ивана Васильевича князя Петра Щенятева и высла-

ли его из Москвы?! Бесчинствуя, не они ли метали камни в келью митрополита Иоасафа?

Сколько раз в присутствии его, отрока, нападали они на приближенных к нему сановников, насильственно врываясь во дворец с мятежной оравой новгородских боярских детей. И не они ли сеяли ненависть и измену в Новгороде, восстанавливая новгородцев против Москвы и великого князя?

И все же Курбский хуже их, гнуснее всех изменников!.. Да будет навеки проклято имя его! Собака!

Анастасия не любила Курбского. Чувяла благочестивая душа недоброе. Много раз приходилось обелять, всячески защищать перед ней изменника Курбского. Ей не по сердцу было упрямство князя, его усмешливость, его гордыня и витиеватость.

Никто так много не говорил о себе, как Курбский. Он тщеславен, честолюбив и вместе с тем скрытен. Анастасия не любила даже его походки, мягкой, неторопливой, какой-то осторожной, крадущейся, зловещей.

Анастасия так и говорила: «Опасайся Курбского». Но ничего этого тогда не замечал он, царь. Давно ли Малюта предупредал? И ему не поверил! Словно сатана помогал изменнику затуманить глаза царя. Курбский!

Перед отъездом в Юрьев стоял он на площади, у собора Успенья, и, обнажив голову, целовал крест государю в присутствии митрополита.

Лицо его было правдивым; смирение, набожность и пре-

данность звучали в словах его. Царь не взял с него письменной крестоцеловальной грамоты, как с других воевод.

«Увы мне! – опустившись в кресло и закрыв руками лицо, тихо, про себя, произнес Иван Васильевич. – Сбылось. Прости меня, Анастасия. Покарал меня Господь!»

Не любила покойная царица разглагольствований Курбского. «Не от чистого сердца те речи», – говорила она. Ей казалось, что ученостью и книжностью своею князь норовит ослабить прямые дела царя, заботы его о государстве. Царица уверяла, будто Курбский морочит ему голову. Знает, как государь любит книжность, и ради того, чтоб помешать ему, увести его в сторону, поднимает споры о древних пророчествах.

Царицыным словам не было веры тогда. А теперь – все это правда и правда. Если бы собрать красивые и мудрые речи, которыми Курбский щеголял перед царем, то можно было бы сложить целую гору из словес верности и чести – гору выше, прекраснее Арарат-горы!

И все это было обманом.

Курбский храбр. Сам царь видел его отвагу в боях.

Но что стоит его бывшая бранная храбрость, когда в последнем бою у Невеля четыре тысячи поляков побили предводимые им сорок тысяч? Что теперь, после измены, стоит вся его прежняя служба?

Был храбр некогда и Богдан Колычев-Хлызнев, да в прошлом январе бежал в Литву, бросив войско, которое вел к

Полоцку сам царь. И не он ли донес королю о путях движения русского войска!

Курбский назвал его «предателем», проклинал, а теперь и сам...

С такими воеводами-предателями погибнет Русь!

Иван Васильевич побледнел, вскочил с кресла, вытянулся, сжал кулаки. Лицо его исказилось страшною злобою: «Нет, Русь останется!»

– Не завладеть вам короной! – крикнул он.

Снова появилась мысль: если Курбский – его лучший друг и самый надежный воевода – изменил, то чего же ждать от других бояр и князей?

Непрочен царский трон. В опасности Русь.

– Не допусти, Господи! – шепчут губы царя.

Холодно стало, пусто, и куда-то вдаль поплыли иконы, лампы, дрогнули и распались стены царской опочивальни...

VIII

В Посольском приказе суды и пересуды о войне Швеции с Данией: как то истолковать? На руку ли это государю?

Наезжали с приморских земель чужеземцы. Заигрывали с царем. Новостями засыпали. По их словам, война та на пользу Москве. Царь осторожен. Слушает со вниманием, а в глазах – недоверие. Из головы не выходит Курбский.

Одного заезжего купца-датчанина, осуждавшего своего короля, царь спросил: «Как так может быть, чтобы честный человек перед другими людьми своего владыку порицал? Не обижен ли он?» Датчанин ответил: «О своих королях все люди говорят правду лишь за пределами государства».

Царь хмуро выслушал это признание, а потом спросил: «Но всегда ли изменниками говорится за рубежом правда о своих владыках?» Датчанин ответил: «Изменники охаивают своих королей по злобе».

«А что же говорят о чужом владыке побывавшие в его стране чужеземцы?»

Датчанин покраснел, ответил смущенно: «Небылицы!»

Государь остался доволен таким ответом. «Поведай же как правду, добрый человек, что знаешь ты про войну твоего короля со свейским?»

Датский купец, молодой, расторопный, охотно рассказал царю о войне. Немцы повалили толпой на службу к шведскому королю Эрику ради наживы. В датской Норвегии они грабят мирный народ. Эрик казнил многих немецких кнехтов. Он презирает их. Август Саксонский взбесился, науськивает на Эрика немецких князей. Фредерик датский рад этому, но все же он слаб. Вот причина поражения датчан у крепости Кальмар. Немцы себе на уме. Они хотят, чтобы Дания и Швеция ослабли в этой войне, а германская империя от того усилилась бы. Случись то, немцы пойдут на помощь Ливонии, чтобы поднять большую войну против Москвы. У них

в голове, под рыжими их волосами, мысль – быть полными хозяевами на Балтийском море. Глаза у немцев завидующие.

Датчанин поклялся, вытянув руку над головою, что говорит он только правду.

– Я люблю своего государя, – закончил он. – Но не осмелюсь я сказать у себя дома то, что говорю здесь. Меня почтут изменником, бросят в темницу, а я – верный слуга его величества. Не изменник.

– Может ли государь твой несправедно осудить честного слугу, посчитав его изменником?

– Нет такой страны в мире, ваше величество, где бы всех судили по государевой правде. Нет и государя такого на свете, чтоб некие судьи не обманывали его и были бы чужды своекорыстия, пристрастия, злонравных дел и недоумия. И нет царств, где все довольны своею судьбой.

Царь велел толмачу спросить датчанина, не слышал ли он что-либо о датчанине Керстене Роде?!

Датчанин ответил:

– Это имя у нас произносится шепотом... Он – преступник.

– Я взял его на службу, – холодно сказал царь.

– На вашей службе, государь, и разбойник способен стать человеком.

Иван Васильевич отпустил датчанина, одарив его щедрыми подарками...

– Слышал ли ты, Григорий, что молвил немчин о судьях? –

обратился царь к присутствовавшему при этом Малюте Скуратову. – Лстец он, а сказал правду.

– Слыхал, государь...

– Ну, Григорий! Так ли это? Таковы ли наши судьи?

– Государевы судьи – не ангелы... Могут ошибаться и творить неправду... О невинно погубленных помолится церковь... А коли изменника как худую траву из поля изымут, то станет на благо всем христианам.

Иван Васильевич в удивлении вскинул брови:

– Так ли, Лукьяныч? Не ляжет ли грехом на царя кровь невинно осужденных? И не примет ли царь царей сторону оных? Неправда родит неправду! Царь за все ответчик. Тяжело, ох тяжело судить людей! Мои бояре и слуги славят меня, угодничают... Курбский! Он был прямее. Я почитал его за строгую правду вернейшим из слуг... А он!.. Путаюсь я, перебираю людишек своих и не могу понять: кто же у нас затаенный изменник? И лстецы, и прямые – все изменяют... Где же судьям рассудить праведно? А что же за судьи, коли правды не отличают от неправды?!

– Пускай, великий государь, твои холопы думают то, что думают, лишь бы прямил службою... Кто в мыслях тебя обожает, а на деле не горазд, ленив, неусерден – лучше ли он лукавого раба? Делами измеряется правда.

– Курбский немало совершил славных дел... Но где же его правда?

Такие разговоры теперь сплошь и рядом возникали меж-

ду царем и Малютою, и постоянно Иван Васильевич поминал Курбского. Он все еще никак не мог примириться с мыслью об измене князя. Быть может, его напугала неудача под Невелем? Чего же он испугался? Разве не знает он, что царь не казнил ни одного воеводы, которому изменяло счастье? Курбский имеет много славных боевых подвигов за собою. Мог ли государь одно поражение поставить ему в вину?

Нет! Не это понудило его к бегству.

Но что же тогда?

Над этим с тоскою много думал днями и ночами царь Иван и никак не мог объяснить себе причины бегства Курбского.

Сотник Иван Истома Крупнин возвращался из Кремля, где держал со своею сотнею караул. Усталый, расстроенный начавшимся преследованием вельмож, заподозренных в крамольной связи с Курбским, он мечтал отдохнуть дома от всего слышанного и виденного. День ото дня тяжелее становилась служба, а время свое берет – седьмой десяток! Старые раны, полученные под Казанью да под Нарвой, дают себя знать: нет уже прежней расторопности, да и память уж не та. Старость. Не страшно стало думать и о смерти. Раньше боялся, теперь – все равно. В Москве – уныние, великий пост, хотя и не время ему. На всех папертях бьются в плачах кликуши и юродивые. В притонах прячутся воры и темные неведомые люди, подсылаемые Литвой. Ловят их, секут им без

толку головы, но их не убывает. Да и что это за люди? Откуда они? Князья и бояре тише воды, ниже травы, и это не к добру. Ходят слухи о раскрытии заговора. Каждую ночь кого-нибудь тащат под Тайницкую башню на допрос. Крамола живуча. Грязновские молодцы бешено носятся по московским улицам, а после них осиротелые семьи плачут. Нет уж, видать – пора на покой, отслужил свое старый стрелецкий сотник, отслужил трем государям честно, безответно. Пора и честь знать. Эх, и жизнь! Худого – пудами, а хорошего – золотниками.

А тут еще и с дочерью Феоктистою беда. Пришлось тайно увезти ее из грязновского дома. Пало великое горе на отцовские седины. Не слюбились. Дочь ведь родная, не чужая. Кабы чужая – Бог с ней! А то свое любимое, родное дите. Срамота! Стыдно будет в глаза людям смотреть. Да и грех великий! Слыханное ли дело! Высек розгами, пожурил, в моленной трое суток на коленях продержал, а позор все ж остается. Никакое худо до добра не доводит.

У ворот своего дома сотник помолился на все четыре стороны, осмотрел сваленную ветром изгородь, что избоченилась по берегу крохотной Синички, полюбовался закатом, безоблачным, нежно-розовым, напоминавшим о далеких днях мирной московской жизни, когда молитва и отдых были овеяны покоем и беспечностью, и вошел в дом.

Но только что закрыв за собою дверь, шагнул в переднюю горницу, как к ногам его упала дочь Феоктиста.

– Батюшка, родной мой, прости меня, супротивную, – всхлипнула она, уткнув лицо в сиреневый сарафан. – Не жите мне уже на свете, пожалей меня, несчастную, горемышную... Руки на себя осталось наложить.

Ласково поднял ее, погладил по голове:

– Полно, доченька, не убивайся, моя болезная!.. Худо, слов нет, худо сделала ты, ну да, Бог даст, уладится! Сойдетесь опять с Василь Григорычем.

Усадил ее на скамью рядом с собой:

– А где же матушка? Что же не видать ее?

– В опочивальне она, батюшка... – Рыданья помешали дальше говорить.

– Буде, буде тебе! – строго сказал отец. – Бог милостив, все переменится, все станет по-христиански... Не кручинься, родная...

Ласковый, тихий голос отца несколько успокоил Феоктисту. Она перестала плакать.

– Схожу я к нему да по-христиански побеседую...

Феоктиста, волнуясь, но без слез, перебила отца:

– Не ходи, батюшка; три года я терпела и николи вам не говорила о моей злосчастной судьбине. Не лежало сердце вас беспокоить... Таила в себе, а ныне конец пришел, хочу руки на себя наложить! Пускай Бог его за меня накажет.

Истома в страхе вскочил со скамьи:

– Что ты, что ты, доченька! Не греши. Не говори этого! Где же это видано, чтобы христианская душа над собою та-

кое беззаконие учиняла!.. Господь с тобою, не порча ли какая прилипла к тебе? Не сглазил ли тебя кто, доченька?

– Убейте меня, живой в землю положите, а не вернусь я к нему!.. – вскрикнула Феоктиста, выпрямившись. – Нет! Нет!

– Уймись. Что ты, матушка, Христос с тобой! Поведу я тебя утресь к знахарке, приворотным зельем околдуем его – тужить учнет о тебе, высохнет, места себе не найдет без тебя...

– Батюшка, добренький мой, ходила я, и не единожды и не дважды, – много раз хаживала, осквернила себя колдовским гаданием, – а все то же, что и было, не изменился он... Такой же лютой, бессердечный он, что и был... Не любит он меня, и никакое зелье не помогает... Да и я уж охладела к нему. Бог с ним!

– Поможет... Поможет!.. Не всякая ведунья то слово знает. Пойдем со мною утресь к Варваре... Она хорошая, добрая, увидишь сама. Пойдем, доченька. Не упрямясь. Глупая ты, не знаешь. Единое мое дитя ты – не позволю я никому обиды тебе чинить. На всех управу сыщу. До самого батюшки государя дойду!..

Феоктиста крепко прижалась к отцу.

– Боюсь я, родимый мой!.. – тихо, дрожа всем телом, молвила она. – Озорной он. Прости, Господи! С разбойниками дружбу свел... Никого он не слушает, никого не опасается... Сам царь Иван Васильевич балует его... Чую беду!

– Голову сложу на плахе, а измываться над дочерью не

позволю никому, хучь бы и самому царю! – гневно воскликнул отец, порывисто вскочив со скамьи. – Не таков Иван Истома Крупнин, чтобы перед безбожниками и питухами голову склонять. Моя сабля, коли к тому нужда явится, свое слово скажет!

Глаза его сверкнули гневом.

Он указал на икону:

– Бог нас рассудит! Ужо увидим.

Феоктиста испуганно замахала на него руками:

– Страшно, батюшка!.. Не человек он, а бес. Злодей он отроду, остерегись его, батюшка. Не трогай его...

Кат Федька – Черный Клюв – даже спал со смеющимся лицом. Чему он смеялся во сне, никто из его товарищей, катов, понять того не мог. Днем – на пытке либо казни – понятно. Ведь они сами часто смеялись над тем, как барахтаются, пробуют сопротивляться те, кого пытаются; как они просят пощады, поминая «дочек», «сынков», «матушек», «батюшек»... Зло разбирает на их непокорство и слезливость, а Черный Клюв словно образину шутовскую напялил на себя... «Отделает» за день прихвостней Курбского князя десятка с два, и все шутя, спокойно, словно бы с детками своими на дому играет: ласково приговаривает, пальцами прищелкивает. Сам Малюта Скуратов диву дается: «Смехотвор ты, сукин сын, Федька. С чего бы?» А он ему в ответ: «Праведников райских рожаю!»

Сегодня ему досталась пытка над боярином Овчиною-Телепневым Дмитрием Федоровичем.

Высокий, курчавый, с насмешливыми глазами, боярин Овчина шел бесстрашно на пытку, а в палача даже плюнул.

Малюта допрашивал его:

– Пошто ты, Митрий Федорыч, позорил государя?

– Позор не от нас, а от вас... нечистая сила!

– Но не ты ли болтал по вся места о порочной жизни государя? Не ты ли болтал о том, что царь грешник великий, и питуха, и содомлянин?..

– Не говорил я никогда подобного... А што плохо, про то весь народ знает, и говорить о том не по што.

Малюта захлопал в ладоши.

Вошел сын Алексея Басманова, красивый курчавый юноша.

– Скажи-ка, Федя, не упрекал ли тебя в чем оный боярин, Митрий Федорыч?

– Упрекал... Будто батюшка государь погряз в «содомском грехе» со мною, – бойко ответил Басманов.

Малюта уставился исподлобья тяжелым, свинцовым взглядом на Овчину. Некоторое время молчал, раздувая ноздри.

В каземате все притихли.

Думал Малюта.

Палачи стояли кто с клещами, кто с бичами в руках.

Заговорил Овчина:

– Это ли выслужил я на старости лет? Ах вы – лиходеи!

– А князю Курбскому не ты ли на государя жалобился?

– Нет. Не я.

В подземелье раздался шум многих шагов.

Освещаемый факелами, в каземат быстро вошел царь, плотно окруженный дворянами и дьяками.

– Здорово, князь!.. – приветливо кивнул он Телепневу-Овчине.

– Бог спасет тебя, великий государь! – низко поклонился боярин.

– Пошто попал ты в гости к Малюте Скуратову?

– Не ведаю, государь.

– Попусту обеспокоили боярина. Бедный! Не стыдно ли вам, глупые, безвинно над человеком глумиться? Отпустите его! Полно, боярин, тебе тут прохладиться... Пойдем-ка ко мне в гости... А на них плюнь... Ну их!.. Это бесы, бесхвостые бесы!..

Иван Васильевич сердито плюнул в сторону палачей и, взяв под руку боярина Овчину, вышел с ним из каземата.

Дорогою ласково сказал Овчине:

– Не стыдно ли и вам, друзья, обижать царя? Царь вас жалует, царь вас холит, а вы втайне проклинаете его и того хуже...

Овчина сказал:

– Ложно то. За царя Богу молятся... Вот что.

Вечером Иван Васильевич устроил у себя веселую пируш-

ку. Приказал явиться во дворец и князю Телепневу-Овчине. На столе круглые караваи из муки крупчатой, рыбные и мясные соленья, телеса свиные, сотовые меды, сахара красные и многие иные яства, а между ними – кувшины и чарки серебряные. Вина: романея, фряжские, ренское и пиво мартовское – не перечислить всех напитков.

Иван Васильевич хотя и смеялся и шутил за столом, но глаза его не смеялись... Он беспокойно посматривал по сторонам, приказывал слугам усердно угощать Овчину.

Когда боярин захмелел, царь сказал ему:

– Мои князья того не удостоились, чего ты. Уж ты ли, Дмитрий Федорович, мною не обласкан? Ну-ка, слуги верные, покажите моему верному боярину новые заморские вина... Сведите его на погребец. Дайте ему отведать за мое здоровье лучших фряжских вин.

Князь Телепнев-Овчина поднялся из-за стола.

Отвесил низкий поклон царю:

– Спасибо, великий государь, батюшка Иван Васильевич, за хлеб, за соль!

– Бог спасет! – побледнев, каким-то чужим голосом произнес царь.

Мимо столов, за которыми сидели бояре, князь Телепнев-Овчина прошел с гордо поднятой головой. На своих спутников – дворян – смотрел с нескрываемым презрением:

– И один бы я дошел до погребца... Чего ради вам провожать меня?

– Батюшка государь приказал, твоего же почета ради, провожать тебя, добрый боярин... – сказал один из них.

Когда Овчина спустился в погреб, он уже не увидел вокруг себя дворян. Они исчезли. Зато из темноты выросла перед ним орава царских псарей... Дюжие ребята, с пьяными, злыми глазами, полезли на него со всех сторон.

Князю Телепневу-Овчине после этого не суждено было увидеть белый свет.

В Бежецкой вотчине боярина Телепнева-Овчины всеобщее смятение. Нежданно-негаданно прибыла из Москвы боярыня, ревмя ревет: избидел-де царь-государь нашего батюшку Дмитрия Федоровича; к допросу его водил, бедняжку, неволею, будто простого холопа, и кто знает, быть ли ему живу? Лютой ныне царь Иван, никого не щадит, окружил себя не людьми знатного рода, а чистыми что ни на есть разбойниками. На каждом шагу бедный Дмитрий Федорович терпит обиды, и некому там за него заступиться. Все в страхе. Каждый трясется за свою жизнь. Беда настанет теперь и всем его посошным людям. Коли хозяин в таком поругании – чего ждать его крепостным людям? Хорошего не будет! Война всех разорит, всех мужиков истребит. А чего ради? Кому нужна война? Бояре против, и за то царь иных казнит, иных в монастырь усылает, на монашество. Объярмит государь вскоре весь народ новыми налогами... Голодом заморит. Все одно моря не добудет, а народ в море слез и крови уто-

пит.

Залилась боярыня горячими слезами и все причитает и причитает... Волосы растрепала. Грудь раскрыла. Одежду рвет на себе.

Бабы в рев! Мужики понурили головы. А боярыня что ни слово – проклятие. Такую тоску нагнала – деваться некуда. И в самом деле постарела она, исхудала. Жалко смотреть. Большие черные глаза ввалились, нос заострился, морщины легли, заикается... Узнать нельзя прежнюю гордую, строгую красавицу хозяйку.

Видно, войне и конца не будет. Налоги, и верстание в войско, и всякая иная тягота еще крепче лягут мужику на хребет. Нечего, стало быть, ждать от жизни. Так выходит из слов боярыни.

Тесно обступили хозяйское крыльцо мужики и бабы, вслушиваясь в горестные восклицания боярыни.

– Что же, государыня? Нам теперича помирать, што ли? – с досадой в голосе спросил ее высокий седобородый староста, дядя Иван Еж. – Как же нам быть, красавица боярыня?

– Што ты, дядя Иван! Уж лучше век терпеть, чем вдруг умереть! – громко вздохнул румяный, дюжий парень Спиридон. – В лес уйду, а жить буду. Провались они все пропадом.

– Братчики родные, как боярыня, наша матушка, скажет, то ведь не жизнь... Жди горя каждый день, как вол обуха...

Загалдели: «От смерти не спрячешься», «Верти не верти, а на плаху идти», «Доберутся, дьяволы, и до нас».

Боярыня крикнула угрожающе: «Доберутся, голубчики мои, доберутся!»

Темнее тучи мужики: выходит, и впрямь лютует царь, когда боярыня своих «подлых» людей «голубчиками» называет. Ого-го-го! Стало быть, плохо дело.

– Бог его знает! И чего зазнается наш великий князь? Чай, и царь, и народ – все в землю пойдет, – вклинил свое слово приблизившийся к крыльцу боярский приживальщик монах Исидор – голова маленькая, а туловище худое, словно доска.

– Нам, батя, не легче от того. Скажи-ка лучше, што теперича делать нам, никак в толк мы не возьмем! – опершись бородой на длинный березовый посох, горестно простонал дядя Еж.

Боярыня будто только того и ждала. Перестала плакать.

– Обижал ли вас когда супруг мой, Дмитрий Федорович? Говорите. Не скрывайте!

– Полно, боярыня!.. Што ты? Николи!

– Будто отца родного, любим мы его!..

– Таких хозяев, как наш батюшка Митрий Федорович, на всем свете белом не сыщешь.

– А коли так, Богу должны за него молиться, – снова вступил в разговор Исидор. – То-то и оно.

– Молимся, батюшка, ей-ей, молимся!

– Плохо, знать, молитесь, коли царь... – Исидор, опомнившись, закашлялся, притих.

– По крайнему разумению, батюшка, молимся, без хитро-

сти! Народ мы темный, простой.

Боярыня недовольно покосилась на Исидора: «Не мешай-де, помолчи».

– Правота – что лихота, – сказала она, – всегда наружу выйдет. Ну если спросили вы меня, свою боярыню, что вам делать, так скажу я вам прямо: постоять должны вы за себя и за Дмитрия Федоровича, буде ему худо приключится... Вон у боярина Филатова мужики пристава убили... Он хотел на них по приказу царя порчу напустить, колдовство всякое, они его, демона, вилами и закололи.

– Колдовство?.. Порчу?.. Да што же это такое?

Мужики и бабы рты разинули, перекрестились.

А боярыня сухим, злым голосом, без слез, так и режет, так и режет:

– На кой бес вам, христиане, война? Что вы не видали на бусурманском Западном море? Нужно оно царю – пущай он и воует, а людей не губит. Поглядите на своих деток малых: на кого спокинете их в угождение царю? Плохо ли жилось вам в нашей вотчине? Господин ваш как отец родной был к вам... Не так ли?

– Этак, матушка боярыня, этак! – загалдели со всех сторон крестьяне.

– Царь пошел против вотчин, отбирает их и мелкоте на растерзание отдает, а народу от того одна лютая теснота... Те дворяне по кусочкам раздерут и нашу вотчину, великое огорчение учинят крестьянам... то, чего в жизни вы от вот-

чинника своего не терпели.

– Истинно, боярыня! Сами видим то в бывшей покойного боярина Повалы-Сотника вотчине... Будто волки, прискакали туда московские молодчики... Ревут мужики, ревут бабы, ревут девки – великий позор чинят пришельцы девической чести... Срамота одна!

Еще страшнее закричал Исидор, испугав стоявшую рядом с ним боярыню:

– Ничего не пощадит царь-государь! Иконы наши чудотворные, и те в Москву увезли. Ограбили! Одна Москва на Руси святою стала.

Слабосердые бабы и девки подняли визг; старики замахали на них посохами: «Уймись, паскуды!» Спиридон, разорвав на своей груди рубаху, взревел, словно бык, выбежал из толпы и давай сзывать ребят зычным, оглушительным голосом: «Кто со мной! Айда в лес!»

Подскочили к нему Федяйка Оботур, Богданка, татарин Янтуган и многие другие мужики и парни, шлепнули свои шапки к ногам его.

– Айда, коли так! Соколятам лес не в диво!

Окружили Спиридона. Глаза горят. Замелькали в воздухе кулаки. Захотелось воли, простора, правды!..

– Ну што ж, уйдем, когда так!.. Попытаем счастья. Снаряжайся, братцы! Не погибать же! – крикнул угрюмый бобыль Вавила, взбив пятерней копну рыжих волос на голове и приотпнув изо всех сил лаптем.

– Прощайте, детушки. Господь с вами. Ратуйте, сердешные! Господь путь нам укажет, – размахивая посохом, словно благословляя парней, проговорил дядя Еж. – Не вмени то в грех нам, Господи.

Боярыня продолжала вопить:

– Горе всем!... Горе! Погубит народ злодей царь!

Иван Еж сердито замахал на нее посохом:

– Буде тебе, боярыня... И так напужали народ, хуть в землю зарывайся... А промежду тем кто вас знает? Кому из вас верить?.. Вы на царя, а государь-батюшка на вас... Прежде меж собой дрались, христьянскую кровь проливали, а ныне, вишь, на царя всем скопом пошли... Будто бусурмане... А пошто? Мужик того никак в толк не возьмет...

Боярыня зло поглядела на Ивана Ежа.

– Стар ты, дед, иди-ка на печку... Не мешай святому делу.

– То-то, стар я. Навидался я всего, матушка боярыня, да и натерпелся всего в досталь, а теперича, при государе, будто народ помене плачет. Благодарение Господу, хуть промежду собой-то князья уж не воюют и кровушки нашей не лют... И за то день и ночь Богу молимся... Но упрекать старостью будто и грешно.

Боярыня махнула рукой, плюнула и ушла в дом.

Опершись на посох, тяжело вздохнул Иван Еж. Он был не на стороне боярыни. Что-то неладное мыслилось ему в ее причитаниях.

IX

В корчме мрак. Она закрыта.

Но не ушел из нее Генрих Штаден.

Не всегда он рад многолюдству. Бывают минуты, когда он торжествует в одиночестве. Тогда он полон мечтами о будущем. Приехать в Германию только с золотом и мехами, нажитыми в варварской Московии, – это слишком мало для такого домовитого немца, как он, Генрих Штаден. Столько всего видеть, столько всего претерпеть, внедриться в самую гущу дворцовой жизни – и не донести ничего полезного своему императору! Это недостойно немца. Генрих Штаден никогда не забывает, что он прежде всего немец, политик, дипломат. Он хорошо знает, в каком жалком положении империя... Римская империя! Во всех странах Европы смеются над этой «империей». Никто ее не слушает, никто ее не боится. Немецкие земли императора в огне междоусобных распрей. Разгорается борьба между немцами-протестантами и немцами-католиками... Не от хорошей жизни пришлось покинуть родную семью и скитаться на чужой стороне.

Заставить Европу бояться немцев, примирить всех, особенно баварцев, с императором, объединить немцев, поднять их дух – это значит втянуть Германию в давно задуманное им, Генрихом Штаденом, дело. Бедность и недовольство как рукой снимет, если немцы послушают его, Штадена.

Около слабого огонька плошки трясущимися от волнения руками разложил он лист бумаги. Сверху надпись:

«План обращения Московии в имперскую провинцию».

Далее рукою Штадена писано: «Как предупредить желание крымского царя с помощью и поддержкой султана, нагаев и князя Михаила из Черкасской земли завоевать Русскую землю, великого князя вместе с двумя его сыновьями-пленниками увезти в Крым, захватив великую казну».

Штаден в крайнем возбуждении продолжал свое писание. Свалившаяся откуда-то сверху крыса испугала; задрожал – показалось, будто за ним следят. Встал, осмотрелся, прислушался... Никого.

«..турецкий султан уже отдал приказание пятигорским татарам, которые обычно воевали Литву и Польшу, чтобы они держали с Польшей перемирие и чтобы польскому королю тем легче было напасть на воинских людей великого князя. Все это весьма на руку крымскому царю. Великий князь не может теперь устоять в открытом поле ни перед кем из государей...»

Освещенные огнем полчища тараканов на стене остановили внимание немца.

Он улыбнулся.

Вот таким же полчищем двинутся на Москву и германцы, втянув в союз Литву, Польшу и других соседей царя...

Лицо его просияло: вспомнил!

«..Шведский король вместе с лифляндцами воюет с вели-

ким князем...»

Тараканы! В вас есть что-то глубокомысленное. Вот он, Генрих Штаден, смотрит на вас – ему нравится, как вы шевелите усами, о чем-то раздумываете; он тоже любит похвастаться своими усами... усами ландскнехта, немецкого рыцаря... Но дело, конечно, не в усах, а в том, что вы вот, опасаясь света, собрались все в кучу, сидите, думаете и ждете... Чего? Вы ждете, когда наступит темнота. Тогда вы всю орду двинетесь в те места, где спрятан хлеб, где вам есть пожива... Вы хитры... нет, вы – умны. Зачем лезть на верную погибель с дурацкой честностью, прямоотой, достойной нелепого осла? Не лучше ли посидеть, обождать, пошевелить в раздумье усами, а когда уйдет этот несносный Генрих Штаден, заняться «делом»... Хитрость спасает ничтожных – вы правы.

Увы, сегодня Генрих не уйдет скоро. Повремените, не торопитесь... Смотрите на его перо. Оно может поднять весь мир на Московита. Вы еще не знаете, на что способен немец.

Итак...

«...Чтобы захватить, занять и удержать Московию, достаточно иметь двести кораблей, хорошо снабженных провиантом; двести штук полевых орудий или железных мортир и сто тысяч человек войска. Так много надо не для борьбы с врагом, а для того, чтобы занять и удержать всю страну».

Щеки Генриха покрылись густым румянцем.

Он поднялся из-за стола, потирая руки. Ему так ясно

представляется победоносный поход императора Германии на Москву. Начать его надо обязательно с Поморья.

Гордитесь же вы, презренные твари, кабацкие тараканы. Вы являетесь единственными свидетелями того, как создается гениальный план порабощения москвитов.

«..воинские люди императора должны быть такие, которые ничего не оставляли бы в христианском мире: ни кола ни двора» («Weder Haus, noch Hof!»).

Волнение охватило Генриха с такою силою, что рука его стала дрожать, пришлось отложить перо в сторону. Хотелось еще написать о пушках. Они должны будут разбивать ворота деревянных городов, а мортиры должны все сжигать в деревянных городах и монастырях...

Но об этом после... Надо поглубже убрать написанное... На сегодня довольно.

Генрих мягко, на носках, подошел к подполью, рассмеявшись своим скрытым мыслям, открыл его и спустился вниз.

Боярин Никита Фуников, выпятив озабоченно губы, сопя, прикрыл окна изнутри плотными, непроницаемыми ширинками; приказал слугам закрыть ставни со двора накрепко и прибрать до времени псов в сарай, чтоб не шумели.

Ожидались: боярин Иван Петрович Челяднин, а с ним князя – Александр Борисович Горбатый и Иван Иванович Пронский-Турунтай.

Боярин Никита даже слезу пролил: вот времечко-то! Бо-

ярину, знатному князю, славному воеводе, стало опасно с другими такими же вельможами не только дружбу вести, а даже и слово молвить на людях. Во дворце ли, в приказах ли, даже в храме, на улицах и площадях от друзей отворачивайся, прикидывайся невидящим, неслышащим, чужим, незнакомым. Черная, тяжелая туча мрачных ожиданий повисла над Москвою. Ах, князюшко Андрей Михайлович, горячая ты голова. Поторопился. Надо бы тебе через людей, через бродяг каких-нибудь, уведомить своего друга, Никиту Фуникова: «Собираюсь, мол, утекать в Литву». Бессердечный ты человек. Лишь бы самому было хорошо, а как другие – Бог спасет. До них тебе и дела нет. Грешно так-то! Жену, и ту бросил, не пощадил, да еще с малым сыном. По-Божьему ли это? И всех друзей своих под царскую опалу подвел. Боярина Телепнева-Овчину не иначе как через тебя задушили царские псары. «Содомский грех» – одна придирка. Басманов Федька подучен был врать. Телепнев-Овчина – ближний друг Курбского – всем то известно. Эх, эх, князь! Видать, все друзья только до черного дня. И клятвы твои только на устах, ради успокоения были, а не в сердце. Предал ты, того не зная, лучших, самых близких своих приятелей.

Что делать? У царя глаза открылись. Страшно. Многое теперь ему известно. Малюта со своими пронырами-дьяками и палачами уже выпытал целые вороха боярских тайн. Теперь по ниточке начнут клубок распутывать, и Бог знает, кого завтра-послезавтра?

Теперь вот попробуй, докажи Ивану Васильевичу, что любой князь, боярин может, как в старину, по своей воле невозбранно отъезжать, куда захочет, рассердившись на великого князя. И в мыслях-то – Боже упаси. Было времечко – пожилые люди. Куда хочешь, туда и утекай: в Литву так в Литву, в Польшу так в Польшу, в Ерманию так в Ерманию, а ныне... изменниками тех людей величают, ловят их и головы им секут. А за что? Некрепостные же люди: боярин, князь, дворянин? А царь всех ныне к своей земле прикрепил. По-Божьему ли древние обычаи менять?

Фуников прислушивался к каждому шороху, охваченный желанием поскорее сойтись с друзьями, да погоревать с ними наедине, да поразмыслить сообща: как быть дальше? Где искать спасения? Опасность велика. Государь уже не тот, что был. Срубить неповинную голову ему стало нипочем.

Но вот слышались шаги за окнами. Фуников встрепенулся, побежал к входной двери.

Челяднин, Горбатый и Пронский-Турунтай, одетые просто, в темное, только сапоги зеленые, сафьяновые. Помолвились на иконы, облобызались и расселись по скамьям. Молча переглянулись. Тяжело вздохнули.

– Горько! Горько, Никита свет Афанасьевич, – голосом, похожим на стон, проговорил Челяднин.

– Так оно и есть, друг Иван Петрович, горько, горько, но что же теперь нам делать?

Задумались. Старик Пронский-Турунтай скорбно поник

головой, положив ногу на ногу.

– Стал я на службу великим князьям еще при Василье, три десятка с годом назад... – сказал он. – На рубеже в Нижнем Новеграде служил... Плакать хочется – хорошо в те поры жилось!.. На Волге-матушке воеводой был, в сторожевом полку служил и ни от кого худого слова не слыхивал... опричь похвал... в бояре пожалован был... Нет такого похода, где бы не всадничал Турунтай, и вот теперь на седую голову мою гнев государев обрушился... За что? И сам того не ведаю... Поручную запись требовал от меня царь в неотъезде... Срамота.

– С меня тоже, батюшка Иван Иванович, требовали!.. – хмуро проговорил Челяднин. – Дьяки да подьячие, словно бесы скачущие, обволокли меня, жмут, с ножом к горлу лезут – государь-де приказал взять с тебя поруку многоденежную и со многими подписями!.. Что тут будешь делать? Дал. Леший с ними! Тьфу.

– И у меня тоже. И не токмо у меня – у сына малого взял подпись. Господи, што же это? Да и письменностью-то нас Всевышний не умудрил, – пиши, говорят, што не отъедешь в Литву либо иное чуждое царство! Как вот теперича ускакать к князю Андрею Михайловичу в Литву?

Фуников, зашуршав кафтаном на шелку, наклонился, тихо спросил:

– Аль зовут?

Князь Горбатый, худой, с жиденькой бородкой, вздохнув,

шепотом ответил:

– Зовут. – Узенькие раскосые глазки оживились, вокруг рта улыбочато разбежались морщинки.

– А кто?

– Чернец один...

Фуников посмотрел на Челяднина:

– Не Малютин ли какой? Подсылает и он... Поймал так-то Гаврилу Подперихина один пес... Тоже чернец. Можно ли верить? А?

– Не! – хитро подмигнув, затряс головою Горбатый. – Подлинный, самый литовский... Клейменный. На ягодице знак... Показывал.

– Берегись бродяг... Они и туды и сюды. Сумы переметные, – строго погрозил на него пальцем в перстне Челяднин.

– Что же нам, дорогие, иначе, делать? Подумаем-ка о том, куда нам-то приткнуться. Как вот теперь в Литву отъехать?

– Опасно, братья, опасно. Сидеть спокойно надо, – покачал головою Челяднин. – Отъедешь – десяток-другой своих же друзей за собой на плаху втянешь. Сам того не хотя, в яму спихнешь поручителей... Да и баб их и ребятишек сгубишь. Кругом кабала.

– Будто паук, опутал всех нас царь-государь хитрою паутиною... Никак не вырвешься. Цепкая, – скорбно вздохнул Турунтай.

– В одной паутине запутаемся все мы, чует мое сердце.

Пошлет и о нас обо всех государев дьяк синодики в монастыри... Хитрый царь. Спервоначала истребляет, опосля заставляя монахов Богу молиться о душах, им же загубленных. Заботливый.

– Коли утекать в Литву, так сообща, всем вместе, с поручителями...

– Не выйдет так-то... За меня поручился Мстиславский – побегу ли я? Нет. А я поручился за него... Побежит ли он? А вместе всем бежать не удастся... Зол я на Ивана Васильевича, иначе вижу – перехитрил он всех нас. Так сделал, что и шевельнуться страшно. Мудрец великий, а мы, ротозеи, проспали свое время.

– А за меня поручился Бельский...

– Бельский никогда не побежит...

– То-то и оно! Говорю: тонко царем придумано.

– Вот тут и беги... – развел руками Фуников. – А ну-ка, Иван Петрович, расскажи-ка нам, как тебя допрашивали?

Иван Петрович, высокого роста сановитый старик, приободрился:

– Царь Иван Васильевич милостиво сказал мне: не дружи с изменниками, будь подале от князюшки, моего брата Владимира, и я сделаю тебя первым боярином и судьей на Москве... Он сказал мне: ты – честный воин и праведник, не мздоимец, как иные, не лиходей, человеколюбив и мудр... Будь наибольшим судьей у нас...

Челяднин с самодовольной улыбкой осмотрел своих дру-

зей, разинувших рты от удивления.

– Так-то, братцы мои... А супруга наша, боярыня, в вотчину уехать поторопилась, почла меня уже погибшим, голову сложившим за правду.

– Выходит, ты обласкан царем?

– Будто этак... – рассмеялся Челяднин. – Однако кривое веретено не надежа... Не лежит у меня сердце к службе Ивану Васильевичу...

– Отказался?

– Нет. Для вашего же блага принял я от царя сию честь. Можно ли отказаться.

– Честь великая, неча нам тут притворяться... Кто бы из нас от того отказался? – произнес Фуников. – Польза всем – свой человек.

– Буде уж, Никита Афанасьевич. У тебя ли не честь? Вся казна под твоею рукою. Кому завидовать, только не тебе. То же близок к великому князюшке.

– Не время вам, бояре, спорить. Честь у нас у всех одинакова, – укоризненно произнес князь Горбатый. – Всем, видать, придется у Малюты побывать.

Словно холодной водой окатило бояр при упоминании имени Малюты. Вздогнули, побледнели, плюнули с досады: «Штоб тебе. Типун тебе на язык!»

– Буде вам. Поживем еще, поторжествуем на Руси... Тем лужа не погана, что псы из нее пили, – сказал Челяднин.

Горбатый рассмеялся жалко, принужденно, ибо и сам он

испугался своих слов. Да, Малюта шутить не любит. Иван Васильевич умеет подбирать злодеев. Ишь, какого дракона откопал. Васька Грязной, Гришка, его брат, Басмановы, князь Вяземский... Разве это люди? Лучше не думать о них. Разбойники – один к одному. На боярские вотчины глаза у них разгорелись, завистливы, алчны. Взалкали о землишке...

– На чем же порешим мы, друзья мои, дорогие гостыюшки? – спросил Фуников.

– Обождем, – сурово промышчал Челяднин. – Обождем малость. Не велика доблесть уподобиться Курбскому. Не пощадил и жены своей со чадой. Господи, вот народ! Не след торопиться. Обождем. Бог милостив. Осторожность. Мудрое слово, святое... Иди тишком, где склизко.

Согласились, чтобы никому с отъездом в Литву наперед не лезть. Обождать еще месяц-другой до удобного случая, а там видно будет.

Воскресный день.

После утреннего бдения в белесоватом рассвете утихли мирные, молитвенные благовесты. На московских улицах по бревенчатому, омытому утреннею росой мостовому, окаймленным высокою травою и репьем, тихо, степенно расходятся по домам богомольцы, одетые в праздничные кафтаны, зипуны и однорядки – строгие, задумчивые. Женщины в длинных ферязях, сарафанах бредут молчаливыми вереницами, опустив глаза долу. Каждый представляется сам себе

лучше, чем в будни: чище, совестливее, добрее, смиреннее и, не скупясь, оделяет грошиками сидящих в репье у канавнищих, полунагих, юродивых, убогих... «Рука дающего не оскудевает». Каждый твердо верит в то, что его лепта после подаянья вернется приумноженной.

Все то сделано. Душа торжествует.

А днем как весело совершить прогулку по зеленым улочкам и полянкам, показывая свое благочиние и наряды, цветущую молодость, красоту, мужское дородство и степенную, умудренную годами тихую старость.

В один из таких праздничных дней в послеобеденное время на Печатный двор въехал нарядный, знатный всадник. Охима, стоявшая в это время на склоне холма в саду, под стенами Печатной палаты, еще издали заметила его. Она побежала в палату и доложила о всаднике Ивану Федорову.

Въехав во двор, всадник соскочил с коня, поманил к себе воротника-татарина, отдал ему повод.

Иван Федоров узнал в высоком, чернокудром, красивом госте ближнего к царю человека, Бориса Федоровича Годунова. Поклонился ему низко-низко.

– Добро жаловать, милостивый батюшка Борис Федорович. Рады видеть тебя у нас, в нашей Печатной палате...

Годунов приветливо поклонился выбежавшим из палаты друкарям-печатникам.

– Давненько собирался я к вам, да все недосуг, винюсь, добрые люди, винюсь... – мягким, приятным голосом отве-

тил он на их приветствие.

– Пошто пожаловал к нам, гость дорогой, Борис Федорович? – еще и еще раз поклонившись, спросил Иван Федоров.

– Государь-батюшка, наш отец родной, Иван Васильевич, присоветовал мне побывать у вас да посмотреть, что и как и в чем нужду имеете. Не обижают ли, спаси Бог, вас? Обо всем поведайте мне без утайки и без страха... Страшитесь одного: нерадения к делу, лености да супротивности государевой воле... А того уж, как ведомо мне, у вас и в помине нет, чтоб грешили вы против Господа Бога и премудрого государя...

– Што ты, милостивец, што ты... Творим волю государеву в полную меру сил своих, нелицеприятно, ибо несть иной власти на земле, коя была бы от Бога, опричь царской, великокняжеской...

– Добро, братья, светло от ваших слов на душе, покажите же мне плоды усердия вашего, да как того добиваетесь вы и на что благословил вас Господь Бог.

После обмена приветствиями Борис Федорович, сопровождаемый печатниками, вошел внутрь Печатной палаты.

Охима, спрятавшись в кустарник, следила за беседою Годунова и печатников. У нее была своя мысль. Ей хотелось что-нибудь узнать о кораблях, на которых поплыл ее дружок пушкарь Андрей. Вот ведь так под молодую грудь сердечко и полыхает... Так уж не терпится. Непривычно одной...

Решила подождать, когда Годунов выйдет из палаты, и спросить его: не знает ли он чего о тех кораблях?

Иван Федоров, знакомя Годунова с хитростями книгопечатания, сообщил ему, что буквицы русские, полууставные, придуманы самими русскими, не кем иным, как русскими. Латинский и немецкий шрифты не служили им образцом. Говорил он об этом с явной гордостью.

– Плачут ныне книжные писцы. Отбиваете у них деньгу, – весело рассмеялся Годунов, рассматривая грудку отпечатанных книг «Апостола». – Много хлопот нам с книжными писцами. Воровское искажение перевода одного списка на другой трудно улавливать и добиваться единого чтения, трудно.

Иван Федоров сказал Годунову, что книжные писцы не только плачут, но и злодействуют против друкарей, и многих на улице побивали, и грозят хоромину Печатного двора сжечь, а друкарей всех истребить. Многие бояре и приказные идут против печатания же, тайно натравливая чернь на Печатный двор.

– Живешь постоянно под страхом... И сам того не чуешь, отколь беда нагрянет, – вздыхал Иван Федоров.

Годунов внимательно слушал его.

– Христа распяли за новины, за противоборство старине – к лицу ли нам, грешным, пенять на свирепое невежество неразумных? Новины во все времена рождались в грозе, в крови и слезах. Однако я буду бить челом государю, чтобы прислали тебе стрелецкую сторожу... Боже сохрани от поджога.

Затем, помолившись на иконы, Годунов вышел на крыль-

цо.

Тут-то Охима и подошла к нему.

– Добрый боярин... – тихо сказала она, низко поклонившись. – Ведомо ли тебе, где ныне корабли, что отправил батюшка государь в заморские края?

Борис Годунов удивленно вскинул бровями:

– Зачем тебе знать, где ныне те корабли?

– Мой дружок там, пушкарь Андрей Чохов, – смущенно произнесла Охима. («Какой красавчик!» – мелькнуло у нее в голове, когда она смотрела на Годунова.)

Годунов приветливо улыбнулся Охиме:

– Знаю я пушкаря твоего... Добрый пушкарь, изрядный...

Скоро вернется он к тебе... скоро... Не тужи! А глаза у тебя бедовые... Смотри. Не согреши против дружка.

И, обернувшись к Ивану Федорову, сказал:

– Из дацкого царства весточку прислал нам с мореходами посольский дьяк Совин. С Божьей помощью счастливо добрались наши люди в ту страну. Бог милостив, привезут они и тебе, что ты наказывал. Ныне плывут в аглицкую землю.

Охима покраснела, смутилась, когда, обернувшись к ней, Годунов сказал:

– Времена переходчивы, а девичья грусть, что роса, – от тепла высыхает.

Что было ей ответить на это?

– Не высохнет, – отвернувшись, смущенно ответила она.

Годунов рассмеялся.

Друкари окружили его. Татарин-воротник подвел коня. Ловко вскочил на него Годунов, стройный, ласковый, простой.

Попрощавшись со всеми, он тихо поехал по двору.

Охима проводила его восхищенными глазами до калитки. Несколько раз тяжело вздохнула: «С таким бы красавчиком на край света пошла...»

Долго глядела ему вслед, пока он не скрылся из глаз; тогда она подумала: «Андрея тоже взяла бы на край света...» И рассмеялась.

Х

Разношерстная ватага бродяг, собранная Василием Кречетом, приближалась к монастырю, близ Устюжны-Железнопольской. Дорогою бродяги ограбили торговый караван, пробиравшийся с севера в Москву. Василий Кречет, развалясь на подушках, лежал в повозке, запряженной двумя краденными конями. У него была охранная грамота, которую дал ему Василий Грязной. Он чувствовал себя боярином. Когда ему повозка надоедала, вылезал наружу, строгим взглядом осматривал своих товарищей и то ругал их, то шутил с ними.

– Терпите, братцы, народ бессовестный ноне. Нет правды. Один раз украл – и уж навек вором стал, – што это такое? А того не понимают: воровать – не торговать, больше накладу, чем барыша... Не горюйте, братцы, – вором пуста земля не

будет, хотя его и повесят. Воровской род все роды переживет.

– Правду сказываешь, атаман: вора повесят, на то место новых десять, – отозвался бойкий молодчик, одетый в кольчугу, Семка Карась.

Кречет погрозил ему кулаком:

– Не мудри! Будь смирен. Говори всем: лучше по миру собирать, чем чужое брать.

Бродяги сипло расхохотались.

– Чего ржете?

– Уж больно смешно... «чужого не брать». Да как же это так? Чудно!

Хохотали до слез.

Семка Карась развеселился хоть куда.

– Во Святом писанье сказано: «Кто украл – один грех, а у кого украли, тому десять». Стало быть, вор праведнее...

Снова хохот на весь лес.

Василий Кречет важно осмотрел свою дружину и плюнул:

– С вами тока душу опоганишь...

И снова влез в повозку. Толкнул в бок возницу, совсем юного бродягу, одетого в женскую ферязь, прозванного Зябликом.

– Чего, гнида, дремлешь?

– Я, батюшко атамане, думаю...

– О чем те думать, коли атаман позади тебя сидит?

– Об отце думаю...

– Чего о нем думать?.. Ноне – я твой отец и твоя голова.

– Жив ли он? Телепневские мы, Овчины, боярские...

Ушел мой отец в лес... Казнил царь хозяина нашего...

– Стало быть, отец теперь жив будет и счастлив...

– Со Спиридоном, нашенским мужиком, ушел... Царя испужались... Боярыня напужала... Ревела на сходе. Да вот у нас дядя Еж есть... Зовет он их обратно. «Дураки, – говорит, – не на нас гневается государь, а на князей...»

– Живи и ты с умом, паря. Боярским слезам не верь. Притворчество. Поживились вы иль нет на усадьбе-то, после боярыня?

– Не! Боярыню пожалели...

– Вот уж за это не люблю мужиков. Гнилой народ!

– В лес, говорю, убегли мужики...

– Што ж из того? Давался дуракам клад, да не умели его взять. Э-эх вы, лапти! А ты што ж с ними не утек?

– Отец не взял. Мне стало неохота, сироте, с теткой в избе сидеть. Ушел и я, со страху, с тоски убежал...

Немного помолчав, Кречет сказал:

– Вижу. Не горюй. Со мной человеком станешь. Погляди кругом, какая благодать. Какой лес! Самый наш приют... В лесу вольный человек – выше царя. Счастливее. Нет у него ни вельмож, кои могут его отравить, зарезать, удавить... Нет грабителей-дьяков. Вольный лесной человек сам кого хочешь ограбит. Одни звери и птицы. Словно в раю. Особливо если кистень да сабля есть. Слушай, дурень, и учись.

Помру – у кого будешь учиться?

По сторонам узкого просека, в гуще пышных папоротников, перемешанных с синими колокольчиками, высокие, прямехонькие сосны, и хотя день жаркий, солнечный, в просеке приятный сумрак и прохлада. Где-то поблизости кукует кукушка.

– Што есть бояри? – глубокомысленно произнес Василий Кречет. – Возьми вот Судный приказ... Работал я и там... Посылали меня дьяки боярские к купцам, вино штоб подбросить... Иду я к купцу, несу ему винишко, а за мной дьяк с целовальниками... Накрывают нас. Купца за горло: «Ах ты, сукин сын. Как смеешь вином торговать?!» Тот божится, клянется, што и в уме-то у него той торговли не было... Ему не верят, спрашивают меня; я тыкаю пальцем в купца: «Продавал, продавал, мне продавал сей купчишко вино». Обоих нас грозят на съезжую стащить... Купец раскошелливается, откупается... Деньги – в боярскую мошну, да приказным – малая толика, и мне кое-што... Вот те и Судный приказ... А в Разрядном, либо Разбойном, приказе? Всяк разбойник, самый убивец, боярину доход дает... Казанский и Астраханский приказы так ограбили улусы луговой и нагорной черемисы, што я едва с голоду там не сдох... Запугали, до бунта довели, да на царя все и свалили, будто то по его приказу... Вот те и бояре. На многих я работал... Да, по совести сказать, опротивело мне, стыдно стало: в лес вроде потянуло, на чистую работу, без предательства... Так-то, дружок. А ты

вздыхаешь о своем боярине... Да черт с ним! Их еще немало осталось.

Позади повозки бродяги затянули песню.

Василий Кречет впал в раздумье. Ежели не похищать эту самую грязновскую инокиню («леший ее подери») и, не доехав до монастыря, сбежать, уйти в лес по своему обыкновенному делу, то в Москву тогда лучше и не показывайся, распрощайся тогда с Москвою навсегда, не придется уж тебе промышлять около приказов, не удастся морочить добрых людей и навеки суждено будет остаться лесным бродягой. А это, пожалуй, теперь и не к лицу ему, Василию Кречету. В стольном граде, около приказных людей, все-таки прибыльнее, нежели в медвежьих трущобах у леших да ведьм. Не такой он стал, Кречет. А разбойникам, бродягам, что идут с ним в Устюжну, надо говорить иное... Пускай надеются, что Кречет будет с ними разбойничать по лесам. А на деле: удостой только, Господи, игуменью, оную блудницу, увезти к Василь Григорьичу, а там всех бродяг по шеям... Правда, конечно, и то, что в лесных налетах, в битвах с купеческими караванами куда больше удали, куда веселее и честнее, нежели на гнусной предательской работе по указке боярских дьяков, но нельзя же разорваться. Надо выбрать что-нибудь одно.

«Ба! Каково заботушки-то! – почесал себе затылок Кречет. – И так хорошо, и этак не худо».

Зяблик тоже думал. Он тоже по-своему разбирался в том,

что с ним происходило. Василия Кречета он слушал будто бы и со вниманием, а на самом деле его мысли были далеко. Он думал о своем отце и с горечью осуждал его: зачем отец не взял его тогда с собою в лес? Теперь вот скитайся с чужими людьми, да еще с разбойниками. Убежать? А как и куда? При случае все же надо освободиться от воровской кабалы. Грешно с такими людьми скитаться, еще грешнее из одного горшка с ними пищу принимать... Бог накажет. Отец учил сторониться лихих людей.

– Ты, курносый! Опять задумался? Мотри у меня! – угрозил ему пальцем Кречет. – Вот уж истинно: дурака учить, что мертвого лечить. Ты ему свое, а он тебе свое...

Долго ли, скоро ли, – с разговорами, перебранками, прибаутками да песнями добрались-таки до того долгожданного монастыря, показали воротнику из-под полы кистень и хлынули в обитель.

– Где игуменья? – вылезая из повозки, грозно спросил Кречет первую попавшуюся ему на глаза черничку.

– Милые вы мои, нешто вы не знаете? – пролепетала она, дрожа от страха.

– Да ты не бойся. Чего трясешься? Мы люди простые, баб без нужды не трогаем. У нас ножички ростовские, молодчики мы московские, мыльцо грецкое, вода москворецкая! Так пропускай народ – отходи от ворот. Вот какие мы!

Кречета забавлял испуг чернички.

– Ладно, Дунька, не бойся... Указывай, где игуменья. Худа

ей никакого не будет, постничаем. Мы народ жалостливый. Веди к ней.

Черничка проводила Кречета до самой кельи игуменьи.

– Пришли мы по ягоду, по клюкву, с царским указом, – и, обратившись к своим товарищам, Кречет крикнул: – Живей! Штоб у меня вихры завить, ус поправить да и на своем поставить. Место, видать, ягодное. Поостерегитесь, однако, не завиствуйте. Кистенем облобызаю. Запрещенный плод сладок, а человек падок – вот и терплю и вас остерегаю. Думаете, легко мне? Сам неустойчив.

Грузно шагая по ступенькам в сопровождении двух бродяг, поднялся Василий Кречет в келью.

Вошли. Помолились. Кречет как взглянул на стоявшую перед ним инокиню, так сразу догадался, что... «она». «Эге! Василий Григорьевич понимает!»

– Кто вы? Что за люди? – удивленно спросила инокиня.

– Охрана к тебе пожаловала, матушка игуменья... Агриппина ли ты? Постой, дай на тебя посмотреть... Ничего!

– В пострижении Олимпиада... По миру была Агриппиной.

– Тебя, ангельская душа, нам и нужно... В Москву приказано тебя, матушка, везти. Хочешь не хочешь, а поезжай. Не то силой скрутим. Глянь, сколько нас.

– В Москву? – испуганно переспросила инокиня.

– Государево дело. Сбирайся в путь-дорогу... Не мешкай! Пора уж черничке счастью не верить, беды не пугаться.

– Коли государево дело, могу ли я послушаться. Да будет на то воля Господня. Везите меня в Москву, – смиренно про-
изнесла инокиня.

Бледная, дрожащая от страха, молча она стала на колени перед иконами.

Кречет и его товарищи сняли шапки, перекрестились.

– Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом, красавица боярыня, – миролюбиво улыбнувшись, сказал Кречет, когда инокиня поднялась с пола. – Поешь на дорожку и нас накорми... Да нет ли у тебя винца-леденца? Не худо бы чарочку-другую за твою красоту испить.

– Вина у нас нет и не бывало. Ступайте в трапезную, там накормят, – тихо сказала она.

Выйдя во двор, Кречет внимательно осмотрел все кругом: и кельи, и сараи, и другие постройки.

– Бог спасет! Гляди, сколько у них тут всего понастрое-
но. Што у них там, в сараях-то? Любопытный я человек. Со-
весть замучает, коли не погляжу. Люди тут, видать, добрые
и безбедные. Вишь, в трапезную зовут. Недосуг, а надобно
бы посмотреть. Пойдем всей оравой. Гляди, ребята, не ба-
луй... Воровства и блуда не позволю. Где сладко, там мухе
падко... Остерегитесь!.. Убью на месте, кто к черничкам по-
лезет. Я бы и сам не того... Полакомился бы, да боюсь Гряз-
ного... Вдруг узнает!

«Что делать? Надо подчиняться, – вздохнули разбойни-
ки. – Истинно воровской глаз корыстен. Так и хочется согре-

шить. А черничек много молоденьких и красивых... Главное, смотрят смиренно, просто... Никакого испуга. Вот тебе и лес, и глушь. Это смирение пуще лукавства задорит молодецкое сердце. Грехи тяжки!»

В трапезную избу изобильно втиснулись кречетовские ребята, так что повернуться негде и дышать нечем. Старая монахиня, кашеварка, с трудом добралась до стола.

– Плачь не плачь, а есть надо, – приговаривал Кречет, то-ропливо черпая ложкой постную похлебку.

– Такое дело, братцы, – разжевывая хлеб, отозвался на слова Кречета самый пожилой в ватаге, седобородый дядя Анисим, – брюхо – злодей, старого добра не помнит.

– А много ли нам надо: шей горшок, да самый большой. Вот и все.

Разговорились по душам: деревни свои вспомнили, словно бы и не разбойники, а честные посошные мужики после покоса собрались.

Наевшись, встали, дружно помолились, монахиню поблагодарили и пошли веселой толпой во двор к своим коням.

Ночевали в сарае. Монахини сена им воз привезли.

Ночь прошла почти без сна: «лукавый не давал покоя». Кречет других учил быть праведниками, а сам всю ночь где-то пропадал.

– Ну и атаман, – перешептывались меж собою разбойники.

Утром собрались в дорогу. Кречет был какой-то необычно

добрый и ленив на слова; вздыхал с улыбкой, будто что-то вспоминая. А то и песню про себя начинал мурлыкать.

Накидали сена в повозку, взяли ковер из кельи игуменьи, постелили. Дождались, когда она попрощается со своими черничками. С любопытством поглазели на слезы инокинь, а потом, усадив в повозку плачущую Агриппину, с песнями выехали за монастырские ворота.

Опять лес, дремучий, едва проходимый.

Опять двухнедельное странствование по лесным дорогам.

Кречет, сонный, молчаливый, верхом на коне ехал впереди. Глядя на него, с коварными усмешками, таинственно перешептывались ватажники.

За ним со скрипом тянулась повозка. Зяблик, сидевший верхом на кореннике, старался изо всех сил угодить боярыне. Хлестал коней без устали.

Ватага двигалась позади повозки.

В монастыре запаслись хлебом, медом, сушеной рыбой. Хотелось набрать всего побольше, да Кречет не велел. Как бы, мол, царю не донесли. Василий Грязной строго-настрого приказал шума не поднимать. Если бы не то – что бы не попользоваться? Бабы – и есть бабы. Много ли им надо. Ладно. Мир – что огород: много в нем всего растет. Теперь уж что Бог даст в других местах.

«Э-эх, простота наша! – подавляя в себе позднее раскаянье, что уехал „так“, вздохнул Кречет. – Ну что же! Зато в простых сердцах Бог живет».

Дядя Анисим, трясясь на тощей лошаденке, то и дело цеплявшейся копытами за корни деревьев, с горечью думал: зачем он сбежал из вотчины боярина Бельского? Счастья искать на старости лет? «Вот уж истинно, чем дольше живешь, тем больше дуреешь». Немного и осталось тянуть лямку... Седьмой уж десяток. Пора бы старому грибу перестать думать о счастье. Счастье – вольная пташка, где захотела, там и села. Видно, уже не судьба. Может быть, потом когда-нибудь, после его смерти, вздохнут свободно мужики, но не теперь... Противно, не по душе ему разбойничать. Да и грешно. Совесть хотя и без зубов, а грызет. «Ну, што это за народ? – думал Анисим, оглядывая товарищей. – Душа будто у них и христианская, а совесть бусурманская. Гляди, што нужда из мужика сотворила. Господи, Господи!»

Недолго пришлось Анисиму размышлять о своей горькой доле; в то время когда ватага, выбравшись из леса, вступила на громадное пустынное поле, вдали показалась длинная вереница верховых. Ехали они стройно, попарно, все с длинными копиями.

– Стой! – зычно крикнул, вытаращив глаза от натуги, Кречет. Угрюмо, исподлобья он недружелюбно стал рассматривать толпу неведомых всадников.

Разбойничья ватага остановилась. А всадники прямо ей навстречу. Кречет всполошился. Хотел повернуть опять в лес, да не успел. Передние всадники с гиканьем понеслись к ватаге. Делать нечего, пришлось выждать.

Разбойников быстро окружило человек пятьдесят верховых; молодец к молодцу, дородные, плечистые бородачи.

– Чьи будете? – спросил один из них Кречета.

– Царевы слуги, – нагло ответил Кречет.

– Кажи опасную грамоту, – проговорил нарядно одетый всадник. Сам черный, глаза синие, дерзкие. Одет в тонкую чешуйчатую кольчугу, на голове татарская шапка с орлиным пером. У пояса – широкий меч в серебряных ножнах. Конь такой, каких Кречет не видывал даже у воевод: на месте не стоит, перебирает тонкими ногами, словно пляшет, а шея дугой – красота. Масть – белый в яблоках.

Кречет вынул грамоту, которую дал ему Грязной, подал ее всаднику, тот передал ее другому, своему соседу. Прочитали, тихо поговорили о чем-то между собою.

– А в повозке кто сидит?

– Баба... боярыня...

– Куда вы ее везете?

– В Москву, по цареву указу...

Один из всадников соскочил с коня, подошел к повозке, заглянул внутрь.

– Ба! Монахиня! Кто она?

Агриппина рассказала о себе.

Синеглазый всадник подозрительно оглядел ватагу бродяг.

– Кажи цареву и митрополита грамоту об отъезде игуменьи из обители.

Кречет этого не ожидал.

– Нет у меня такой грамоты, – сказал он растерянно. –

Есть наказ – увезти ее в Москву.

– Кто эти бродяги? Чьи они?

– Мои.

– А ты кто?

– Знают про то государевы слуги, дворяне Грязные.

– Что мне твои дворяне – хочу я знать!

– А ты, милый человек, что за смельчак будешь, коли с такой оравой на нас, простых людей, напал?

– Мы Строгановых гостей воины... А звать меня Ермак Тимофеевич...

– Ну, а я Василий Кречет, царев слуга.

– Эх ты! – рассмеялся Ермак. – Молодец с виду, что орел, а ума, что у тетерева. Меня ль тебе обмануть? Вор и разбойник ты самый заправский... Набрал себе где-то не людей, а горе-гореванное, чтоб вольготнее атаманствовать... Молодец среди овец! Побойся Бога, постыдись народа. Бесстыжие глаза!

И, немного отъехав от Кречета, он крикнул ватажникам:

– Эй, други! Кто нашим казаком хочет быть, выходи-ка вон туда. – Он указал кнутовищем на край поляны. – Одет будешь, сыт будешь... и государю слугой станешь. На войну идем, к морю, немцев бить ливонских... Нежели воров бездомным, бесчестным скитаться по миру, прибыльнее стать воином... государеву волю править.

Больше половины людей скорехонько перебежали от Кречета на край поляны. Тут же оказались и дядя Анисим, и Зяблик.

– Ого! – рассмеялся Ермак, а с ним и его казаки. – Не больно-то уважают они своего атамана.

– Креста мне не целовали... Ихняя воля, – проворчал смущенный всем случившимся Василий Кречет. – Пушай идут. Не жалко.

– От горя ты, брат, бежал, да на беду и попал... Мы тебя тоже с собой захватим... Не спесивься. Как ни плохо и ни обидно, а покориться надо.

– Неохота идти никуда, oprичь Москвы. Через опасную грамоту обиды государеву человеку не чини.

– Много воров государевыми грамотами прикрываются, да я им верить перестал... Не пойдешь – вон на той сосне тебя повесим. Государю убытка от того не будет.

– Кто себе добра не желает, – рассмеялся Кречет. – Што ж, иду. Берите меня с собой. Ладно. Одна беда – не беда, только б другая не пришла.

А сам подумал: «Авось сбегу дорогою; не от таких утекал».

– Куда же теперь вы денете игуменью? Уж не на войну ли и ее повезете?.. – насмешливо спросил Кречет.

– В монастырь отпустим... Оставим ей повозку и коня. Одна доедет, без твоей охраны.

Оставшиеся десять человек разбойников, увидев, что и

Кречет, их атаман, уходит с Ермаком, тоже перешли на сторону казаков.

Ермак соскочил с коня, подошел к повозке и сказал, приветливо улыбаясь монахине:

– Ишь, какая красавица! У разбойника губа не дура! Ну, матушка игуменья, возвращайся восвояси, к себе в обитель... Не к лицу тебе с ворами знаться. Замаливай наши грехи.

– И-их, сколько у тебя народа! – удивился Кречет.

– Тысяча всадников. Строгановы слово дали государю помогать отвоевывать море. Вот мы и посланы ими и пошли воевать. Вам надлежит то же. Иначе голову с плеч долой. Ермак не любит шутить. Ну, айда в дорогу!

Горнист-трубач протрубил «поход».

Всадники, вбрав в свои ряды ватажников, двинулись в путь.

Когда Кречет обернулся, чтобы взглянуть в последний раз на свою повозку, ее уже на поляне не было.

XI

Царь вызвал Никиту Васильевича Годунова, дядюшку государева любимца Бориса Федоровича.

На столе бумага, покрытая линиями и кружочками.

После обмена приветствиями Иван Васильевич сказал:

– Вот дороги нашей земли. А то – ямские избы. Надобно тебе, Никита, объехать их для присмотра. Вот, гляди, – тот

путь идет прямо из Москвы к Западному морю через псковские земли и выше – к Нарве – Ругодиву... А те – на Ярославль, Вологду и Холмогоры, к Студеному морю. Списывай повсюду: что и где выдавал и где ямы негожи и где ямы примерные. На каждом яме чтоб были книги, а в них бы писано: сколь подвод по которой дороге отпускали и сколь взято прогонов. Да смотри накрепко: мосты чтоб были везде на малых речках и болотах, а те, что порушились, вы бы те мосты подельвали ближними сохами³⁰ – пускай воинской силе и торговым караванам ходить удобно будет к морям. Послы к нам иноземные и гости ездят – так чтобы срама какого не учинилось. Студеное море не забывайте, аглицкий народ ездит той дорогой в Москву.

Царь велел собрать охочих людей ямы держать, ямщиков дородных и совестливых велел нарядить на постоянную службу при ямах да глядеть за тем, чтоб государевых ямских денег утечки не случалось. Годунову строго-настрого было наказано: «Мужиковых подвод отныне попусту не гонять».

Никита Годунов, курчавый, с постоянно смеющимися серыми добрыми глазами, склонил голову, слушая государя.

– Конных стрельцов, смотри, возьми поболее да дьяков не лежебоков и не бражников.

Царь Иван изменил былой порядок ямской гоньбы. Ямская повинность поселян заменялась службою «ямских охотников», которые должны стать хозяевами ямов. Населению

³⁰ Подлежащие государственному обложению крестьянские поселки.

надлежало выплачивать часть жалованья «охотнику», другую часть доплачивали казна, и это царь называл «подмоною».

– Предвижу, – усмехнувшись, сказал Иван Васильевич, – и то будет не по нраву нашим упрямым старцам, но, видать, так самим Господом Богом устроено, чтобы всякое новое дело царево не по душе было старикам!.. Станем, Никита, смиренно сносить хулу мнимых мудрецов... Так ли, добрый молодец?

– Точно, великий государь, – царевым слугам самим Богом указано в смирении творить государеву волю. Бог взыщет с тех, кто злобствует...

На другой же день Никита Годунов быстро собрался в путь.

С ним вышли из Москвы: сотня конных стрельцов, несколько дьяков, подводы с хлебом и разной дорожной утварью.

Добравшись только до Ржева, Никита Годунов уже устал. Раньше ему и в голову не приходило, что его работа на ямах будет такою тяжелою, что встретит он всюду столько препятствий во многих деревнях от вотчинников, которые внушали разные страхи своим крепостным людям. Всякое появление на своей земле царских слуг, да еще вооруженных, со стрельцами и дьяками, вотчинники объявляли посягательством царя на их исконные права, вторжением в их жизнь, насилием и произволом. В одном селе Никите Годунову вот-

чинный поп так и сказал: «Пошто поруху старине чините, пошто губите древность и оружием с яростию бряцаете? И без того объярмили народ тяжкими окладами и войною».

Где Никита Годунов ни появлялся, везде народ прятался, даже убегал в леса, а когда удавалось кого-либо поймать, беглец падал в ноги и просил прощенья... За что?! Никита Васильевич и деньги раздавал, и словами приветливыми уговаривал напуганных крестьян, и все же в глазах их видел страх и недоверие. Часто мужики и бабы спрашивали его: «Скоро ль кончится война?» Нередко ссылались крестьяне на своего господина-баярина или на боярыню, что-де от них они слышали о горькой судьбине, которая ожидает мужиков в ближайшем времени, о лютости новых царевых слуг...

Но как бы трудно ни было приводить в порядок дороги и ямскую гоньбу, Никита Годунов, помолившись в монастыре во Ржеве, двинулся дальше, к Пскову, лелея мысль добраться через месяц до Нарвы.

Погода стояла, к счастью, сухая, теплая, и дороги устраивать и мосты поправлять удалось быстро, без особых трудностей. Сошникам-мужикам помогали и стрельцы. Общими силами соорудили десятка три новых ямов. Поставили расторопных, деловых охотников, приведя их к крестному целованию.

Мягкий, добрый нравом и богобоязненный Никита Годунов попутно служил в селах молебны о здоровье великого государя Ивана Васильевича и о том, чтобы ему самому бла-

гополучно справить государево дело. А крестьян он после молебной уговаривал, чтобы не верили они тем, кто хулит царя и его слуг. «Ни солнышку всех не угреть, ни царю на всех не угодить», – ласково улыбаясь, приговаривал он.

Стрельцам было строго-настрого наказано не обижать крестьян, не обирать их, девок и баб деревенских не обольщать и не портить. Увы, труднее всего было запретить самим девицам соблазнять стрельцов. Мужики нороят никуда не показываться, а девки смеются, выглядывают отовсюду, играют очами, станом красуются – как тут удержаться, особенно юнцам-молодчикам, недавно облекшимся в стрелецкий кафтан? Старики ворчат: «Беда с вами, молокососы, – держись дальше от Фени, и греха будет мене». – «Легко сказать, дедушка. Сами, чай, знаете: козы во дворе – козел уже через тын глядит. Бог уж так сотворил».

Никита Годунов и сам посматривал на деревенских красавиц беспокойно. Кругом тепло, синий душистый воздух из сосновых лесов, мир и тишина, и девичья песня... Да еще соловьи ей вторят. Какие царские приказы ни будь, а кровь волнуется, двадцать пять лет от роду дают себя знать.

Повздыхает, переглянется молодежь, тем дело и кончается... Благодарение Господу и за это. И на том спасибо. Лучше все же, чем в Москве, спокойнее, тише, и забот и тревог меньше.

Так проходили дни работы и вечера отдыха.

Но вот однажды случилось неожиданное происшествие...

Пришлось вспомнить и Москву, и царя, и многое другое – удивительное происшествие.

В одном селе Никита Годунов никого не нашел, а в избах полный беспорядок. Стрельцы обшарили все уголки – ни одной живой души. Словно вымерли.

И только поздно вечером в лесу, недалеко от села, нашли одного больного старика. Он рассказал, что вчера на село напали царевы слуги и разграбили все село.

«Царевы слуги?» – изумился Никита Годунов.

– Куда же они потом ушли? – спросил он старика.

– В село Овражное...

Стрелецкий сотник по приказу Никиты Годунова отрядил три десятка всадников в Овражное. Они должны были захватить этих «царевых слуг» и привести их в стан к Годунову.

Вечером следующего дня всадники вернулись. Они привели с собою пятнадцать обезоруженных бродяг. Главаря их, который яростно отбивался от стрельцов, доставили связанным на коне.

Никита Годунов допросил пленников.

Главарь их назвался Василием Кречетом. Он подал Годунову опасную грамоту, выданную ему Василием Грязным. Рассказал о том, что ему было велено увезти из Устюженского монастыря бывшую боярыню Колычеву, ныне инокиню Олимпиаду, сосланную государем в монастырь.

При этих словах Кречета стрелецкий сотник Иван Истома подошел к Годунову и взволнованным голосом молвил:

– Никита Васильевич, светик, послушай меня...

Он отвел Годунова в сторону и рассказал ему о горькой судьбине своей дочери Феоктисты, которую выжил из своего дома Василий Грязной. Теперь ему, отцу, понятно, почему Василий Григорьевич в последнее время так обижал свою законную жену, Феоктисту.

Годунов, выслушав Истома, сильно разгневался:

– Отдаю вам сего разбойника на расправу. Казните его. Он чинит поруху государевой правде. Мужики и впрямь думают, будто сам государь велел разорять их. Да и слуг царевых порочат.

Стрельцы схватили Василия Кречета и поволокли в лес.

Сам сотник Иван Истома застрелил его из пищали. Остальных бродяг заставили смотреть на казнь своего атамана. Дрожа от страха, они пали на колени. Годунов приказал допросить их.

Они рассказали о том, как их забрал в свой казачий отряд Ермак Тимофеевич, чтобы идти с ним в Ливонию воевать немецкие крепости, и как Василий Кречет подговорил их бежать от казаков ночью на одном привале у Пскова.

Годунов велел собрать крестьян, скрывавшихся в лесу. На глазах у них он наказал батогами воров-бродяг.

Курбский приближался к городу Бельску, где находилась в ту пору Сигизмундова ставка. Погода стояла знойная, засушливая. Город окутало густое желтое марево от торфяных

и лесных пожаров.

Навстречу беглецам вышел отряд драгунов. Тут были и хмурые черные мадьяры, и польские белокурые всадники. Вооруженные широкими громадными саблями, одетые в зеленые доломаны, с накинутыми на плечи ментиками, хмурые, надутые, они окружили Курбского и его спутников тесным кольцом. Колыметы испуганно перешепнулись: «Не в полон ли нас берут?» Противными показались Курбскому прикрепленные к ментикам драгунов крылья коршунов, испугавшие московских коней.

Жирный, усатый королевский вельможа, в сопровождении двух пахоликов³¹, приблизился к Курбскому и вручил князю охранную грамоту для него и его спутников.

К Бельску московские беглецы после этого ехали в глубоком молчании под конвоем польских всадников.

На окраине этого маленького пыльного городка уже собралась толпа зевак: и поляки, и литовцы, и белорусы, и евреи. Слух о Курбском разнесся еще в то время, когда князь прибыл только в Ринген. Весть эта взволновала всю Польшу и Литву. Лучший воевода изменил Московиту – это знак! Плохи дела у Москвы, если знаменитые военачальники бросают свои крепости и полки и бегут в чужую землю. Разваливается Московское государство!

Ну разве не любопытно поглядеть на изменников? Что за люди? Как они смотрят, какие у них глаза, как одеты, какие у

³¹ Слуга, оруженосец.

них кони? Все интересно – ведь это не простые королевские гости и не пленники, это особые люди... «Изменники!»

Даже ребятишки, и те гурьбою облепили заставу.

Курбский ехал, опустив голову, не глядя ни на кого. Колыметы и прочие его спутники улыбались жалко, заискивающе поглядывая на литовских людей. Своим взглядом они явно говорили: «Не глазейте на нас, мы такие же, как и все... Мы ваши друзья. Вскоре мы постараемся доказать это».

Король принял беглецов в своем походном шатре.

Он сидел под широким, пышным балдахином, обитым горностаем. У его трона стояли ксендзы, маршалы, секретари. Красивые мальчишки-пажи вытянулись по обеим сторонам лестницы к трону. Закованные в медные кирасы, немецкие кирасиры и драбанты, с алебардами, окружали королевский трон и свиту.

Курбский опустился на одно колено, держа шлем в правой руке. Примеру князя последовали и его спутники.

– Бьем челом, ваше королевское величество! Примите нас, изгнанников из своей родной земли, как верноподданных, как слуг ближних, готовых сложить за вас голову на ратном поле и послужить честию в королевских замках и крепостях.

Слова эти были произнесены Курбским хриплым, дрожащим голосом, будто каждое слово у него вытягивали из горла насильно, против его желания. Его бросало то в холод, то в жар. Он казался сам себе безмерно жалким, приниженным,

он испытывал то, что всегда ему было чуждо, чего он никогда не испытывал ранее, за что он, гордый князь, презирал других людей.

Король поднялся с кресла и, глядя куда-то в пространство, как будто стараясь умышленно не глядеть на изменников, невнятно, томным, небрежным голосом произнес:

– Господь поможет вам стать моими верными слугами.

И сел снова в кресло, пухлый, выхоленный.

К Курбскому подошел длинный рыжеусый королевский секретарь, громко прокричал королевскую грамоту, по которой князю Андрею Михайловичу Курбскому король в награду за переход на его, литовскую, службу жаловал во владение на вечные времена ковельское имение.

Стоявшие около короля вельможи хмуро, презрительно, исподлобья смотрели на толпу изменников-москвитян.

Они думали о том, что для «вечного владения» ковельским замком и землями мало королевской грамоты. А что скажет генеральный сейм? Не волен король выдавать без согласия сейма такие грамоты. Что же? Значит, король так обрадовался московским проходимцам, что и с конституцией считаться не желает. «Ну, еще об этом мы поговорим после! Чужеземцам дарить в собственность поместья король может только с согласия панов-сенаторов, всех сословий и земских послов».

Секретарь провозгласил еще одно пожалование князю Курбскому. Король отдавал ему в управление земли старо-

ства Кревского в Виленском воеводстве.

«И это пожалование противозаконно», – думали паны.

Вельможи краснели от обиды, с трудом сдерживая свой гнев. «Не имеет права король раздавать иностранцам никаких должностей в великом княжестве Литовском. Чего уж он так обрадовался?! Заковал бы их всех в кандалы. Иуды! Они так же предадут и польско-литовскую корону, как предали Москву».

Курбский на коленях униженно благодарил короля.

От него не скрылись злые усмешки и перешептывания королевских вельмож. Сердце похолодело от обиды. Курбский хорошо знал нравы шляхты, знал и то, что королевская воля – это не все. На одну доброту короля положиться нельзя. Его власть ограничена. Необходимо угодить и шляхте, оказать услуги к явной пользе нового отечества и нового государя. Надо доказать верность Польше. Надо... надо... Не только изменить, но и нанести ущерб царю Ивану... Заслужить доверие панов. А может быть, и этого им будет мало?

Когда кончился королевский прием, Курбского с его друзьями повели в особый дом, окруженный высокою оградой, прикрытый кущей листвы столетних лип. словно его нарочно скрывают от сторонних глаз. Около ворот расставили караул пегих венгров якобы для «бережения новых королевских слуг».

Несмотря на милостивую встречу короля, Курбский и его друзья, очутившись в мрачных, пустых комнатах этого дома,

почувствовали себя как бы королевскими пленниками. «Зачем стража у ворот?» – спрашивали они друг у друга. Воздух, пропитанный гнилью и сыростью, застревал в горле, вызывая неприятную дрожь. Видимо, в этом доме никто не жил – чей-то брошенный дом.

Колыметы, а с ними и другие беглецы поздравили Курбского с королевскими милостями. А один из них – Кирилл Иванович Зубцовский – даже облобызал князя и, вытирая слезы, сказал:

– Господь Бог милостив! Наш единокровный ты князь, не забудешь нас...

Курбскому было больно слушать поздравления; охватывал мучительный стыд при каждом слове его товарищей.

«Товарищей!»

Давно ли этот приказный сброд стал его «товарищами»? Они чему-то радуются. Глупцы. «Единокровный князь». Сам сатана не подобрал бы более ядовитых слов.

Немного времени спустя в дом пришел посланный короля с описью, в которой сказано было, какие владения входят в состав ковельского поместья. Он расхваливал замок, будущее жилище Курбского. Говорил о плодородности ковельских земель.

Королевский слуга имел тоненький, женский голос, был мал ростом, безволосый и вместе с тем юркий, болтливый.

– Тебе, князь, выпало большое счастье! – воскликнул он по-русски. – Ты будешь обладать и замком в местечке Виж-

ву, а в местечке Миляновичи ты найдешь подобный сказке дворец... Ты отныне хозяин двадцати восьми сел. Ты – большой вельможа!

Спутники Курбского, тесно обступив королевского посланника, с жадностью слушали его. Их глаза разгорелись, лица разрумянились.

– Сколько же будет на той земле христианских душ? – хмуро спросил Курбский.

– Три тысячи душ...

– Когда же король дозволит мне войти во владение той землей?

– Скоро. Немножко терпения, князь.

Утомленные долгим путешествием по лесам и долинам, да еще в жаркую пору, московские беглецы рано улеглись спать.

Курбский вышел в сад и сел в одиночестве на скамью около пруда, от которого пахло гнилой водой, прелыми травами.

Ночью было не так душно.

Курбский долго смотрел на небо. Звезды напоминали о родине, о матери, о жене и сыне.

«Родина! Нет уж теперь ее у тебя, у Курбского! Ты человек без родины. Ты муж и отец без жены и сына. Ты – наследник великих князей ярославских – навсегда лишен возможности помолиться в усыпальнице своих прародителей. Все пропало теперь для тебя. Все!»

Курбский встал со скамьи и обошел кругом пруда; поднял

камень, с силой бросил его. Булькнуло. Долго бессмысленно смотрел на темную поверхность воды, где скрылся камень.

«Ну, что же. Прощай, Русь! Не проклинай своего неверного сына!»

«Все ли кончено? – задал себе вопрос Курбский и ответил сам себе: – Нет. Осталось... Что осталось?»

Осталось мщение. Кто скажет, что Курбский слаб, что он сложил оружие, отказался от борьбы? Глупец тот, ребенок! Курбский – князь и воин. Запомните это!

Если Сигизмунд не пожалеет золота, он заключит выгодный союз с крымским ханом. Горе московскому деспоту! На взятые из казны деньги он, князь Курбский, за свой счет... нет, за счет Москвы... посадит на коня две сотни наемных воинов, да и сам, со своими друзьями, пойдет громить московскую землю. Враг?! Да. Курбский – лютей враг великого князя.

«Теперь я свободен. Никакая сила не может помешать мне мстить царю Ивану. И как бы грозен ты ни был, Иван Васильевич, все равно тебе ничего не сделать с отъехавшими в Литву русскими людьми – руки коротки. Кончилась твоя власть, деспот!»

Начинается новая служба новому государю.

Курбский снял шапку и помолился, окинув небо растерянным, невидящим взглядом...

ХII

Посреди Кремля стояла круглая, сложенная из красного кирпича высоченная башня. У ее основания ютилась церковь Петрока Малого. На башне висели большие колокола, вывезенные из Лифляндии. Между башнею и церковью к особой установке был привешен тысячепудовый колокол, в который звонили только по большим праздникам.

Около этой громадины жизнь была ключом. Подьячие писали челобитные, кабалы и росписи. На столах красовались расставленные около подьячих глиняные горшки, куда челобитчики бросали деньги.

Перед Съезжей избой таскали на правеж должников из простонародья. Выколачивали из них долги. Толпы любопытных густо окружали это место. Родственники страдальцев, попавших на правеж, проливали слезы, глядя на то, как стегают батожем близких им людей. Бабы выли в голос. Любопытные толпились просто так, для времяпрепровождения.

Стрельцы, монахи, служилый люд смешивались в толпе зевак с кремлевскими обывателями, торговцами, нищими и кликушами.

Здесь-то один нищий и остановил объезжавшего площадь Василия Грязного. Назвал по имени, прижался щекой к стремени. Глаза слезливые, лицо в синяках.

– Чего те? – недовольно спросил Грязной. Хлестнул кну-

том по спине.

– Дай кусочек хлеба либо грошик, я тебе што поведаю.

Василий Грязной бросил монету. Бродяги временами полезное болтают, не лишне послушать.

– Говори, пес!

– Ваську Кречета пристукнули... Го-го-го! Спокинул нас, сердешный.

Бродяга дико загоготал, оскалив зубы.

Грязной соскочил с коня.

– Повторь! Чего ты?

– Наша доля такая: живи, да не заживайся! Убили Ваську.

– Кто убил? Бродяги, воры?

– Сотник ваш государский... стрелец Истома Крупнин!

– Идем со мной! – в страшном гневе, покраснев до ушей, сказал Василий Грязной.

Он повел лошадь под уздцы, в раздумье поникнув головой. Сколько было надежд на то, чтобы снова увидеть Агриппину! Как бы хорошо было хотя тайно, хотя немного пожить с ней. Но... видно, не судьба. Как же смел этот пес, Истома, казнить человека через опасную грамоту? Государева грамота, што ли, ему не указ? И Феоктисту он увел к себе. Теперь это всем известно. Гордец, самоволец, хам! Надобно за него взяться! Посмотрим, что тогда скажет Феоктиста, куда она в те поры денется?

В Сторожевой избе Грязной допросил бродягу, дал ему еще деньгу. Узнал он теперь всю правду о смерти Василия

Кречета.

– Счастья ищи, а в могилу ложись. Добивался Васька подарков от тебя, да вот Бог не привел, – закончил свой рассказ бродяга, слюняво хихикая.

Василий Грязной послал стрельца за братом Григорием, который сидел в Судной избе и считал на вишневых косточках собранную с торговых мужиков на Пожаре³² мзду. Глаза его горели, щеки разругались. Сидел он один, в отдалении от дьяков, и все время подозрительно оглядывался кругом.

Не любил Григорий ни с кем делиться поживой, даже с братом. И жена его была такая же. И скупостью своею он прославился на всю Москву.

В это время подошел к нему посланный братом Василием стрелец.

Григорий вздрогнул, смешал кости, сунул за пазуху деньги, лежавшие у него на коленях в мешочке.

– Эк тебя принесло! – недовольно сказал он, лениво повернув голову. – Ну, чего те надобно? Шляетесь тут...

– Братец послал... Василь Григорьич... Зовет, штоб не мешкал-де, скорее шел в сторожку.

Нехотя поднялся Григорий, хмурый, раздосадованный.

Василий встретил брата восклицанием:

– Дожили мы с тобою, Гришка. Срамота!

Бродяга хотел скрыться вслед за стрельцом, но Василий

³² Красная площадь.

схватил его за ворот: «Стой, лесная тварь, разбойничья харя! Стой!»

Грязной заставил бродягу все снова рассказать по порядку: как Василий Кречет ехал в монастырь, как инокиню повез он и с Ермаком встретились, как бежали от него по дороге. О смерти Василия Кречета Грязной велел рассказать подробно, ничего не утаивая.

– Чего мне утаивать? Вывели Ваську на полянку. Сам сотник Истома и бахнул в него из пищали. Был Васька, и не стало Васьки. А нас всех батожьем исполосовали, у меня и до сей поры спина горит, будто в огне... Подайте грошик!..

– Пошел прочь, свиная ноздря!

После того как бродяга в страхе выскочил из сторожки, Василий стал жаловаться Григорию на самовольство своей жены, дерзостно убежавшей из-под крова семейного очага, нарушившей Божию заповедь и уставы церковные, покрывшей вечным позором его доброе имя царского слуги. Отец ей помог в том беззаконии и спрятал ее в своем доме, как будто она и не венчанная жена, а простая гнусная женка, что на площади продает себя...

– Но и того мало! – гневно ударив кулаком по столу и напряженно вытянув шею, закричал он. – Мало! Этот своевольник Истома убил нашего слугу, нашего верного раба, сотворил убийство через царскую опасную грамоту.

Григорий сидел в раздумье, спокойно выслушав Василия, а потом с усмешкой сказал:

– Царем надобно теперь его постращать. И ежели он не хочет сложить свою седую голову на плахе, пушай жену тебе вернет и откупится щедрою деньгою, сколь мы с него спросим... Прибыли мало нам в его голове, а деньга во вся дни пригожа. Бога боюсь я, и сердце мое слабое, не люблю я кровопролития. И без нас с тобой люди крови добудут, а мы, нука, подале от греха. Денежки. Денежки нам подай!

Василий с негодованием покачал головою:

– Нет, брат! Бескровная корысть – не по мне. Утихла бы моя тоска, коли я заколол бы своею рукою старого барсука. Да и на плахе бы на голову его посмотрел я с душевным веселием... Деньги можно и у других взять. Честь дорога!

– Э-э, брат! Тут чую большую деньгу. Он порядливый хозяин, домосед, служит с давних пор, из древности... Жалован был великими князьями не однажды. Да и в походах поднажился... Нет, нет, Василий, не упрямясь... Не упускай такого случая.

– Норов, братец, не клетка, не переставишь; уж такой я зародился. Правды ищу без корысти, но с честью. Денег всех не забереешь и сердце ими не успокоишь. Кабы батюшка государь откупы брал да не казнил, пропали бы все мы в те поры. Кровь недруга что родниковая вода... Жажду утоляет.

Григорий настаивал на своем.

Василий не уступал ему.

– Стало быть, и не зови меня никогда на совет свой, коли так! – с сердцем хлопнув дверью, удалился из сторожки

Григорий Грязной.

Иван Васильевич был смущен и озадачен необычайным подарком, привезенным ему в Москву через нарвскую гавань из-за моря английскими купцами.

Много хлопот доставил этот груз и англичанам и русским, пока его удалось привезти в Кремль, на царев двор.

Подарок этот – громадная железная клетка со львами.

Перед тем как пойти взглянуть на невиданных зверей, Иван Васильевич много думал о том, хорошо ли, что он согласился принять этот дар от заморских людей, к добру ли это? Не грешно ли? Советовался он и с духовником своим, и с царицей, и с Малютой...

Толмач Алехин передал Ивану Васильевичу, что англичане зовут льва «царем зверей», потому что он самый сильный из всех зверей.

Иван Васильевич не раз читал в Библии и греческих книгах о «владыке пустынь, льве рыкающем».

Любопытство взяло верх.

Однажды поздно вечером царь, в сопровождении Малюты, отправился в большой темный сарай, куда временно была поставлена клетка со львами. Четыре рослых факельщика и несколько стрельцов шествовали впереди царя.

Сарай был заперт и находился под охраной вооруженной татарской стражи.

По приказу царя татары открыли двери.

Сыростью и острым, едким, тяжелым духом повеяло на царя и его спутников.

Факельщики быстро приблизились к клетке.

Нерешительными шагами робко последовал царь за ними. Малюта расставил стрельцов кругом клетки.

Вот они!

Царь Иван, не подходя близко, стал рассматривать сквозь решетку освещаемых колеблющимся пламенем, невиданных доселе страшных заморских зверей.

Увидав людей и щурясь от яркого пламени факелов, львы поднялись с земли. Один из них, самый большой, с пышной седеющей гривой, мирно зевнул – открылась громадная клыкастая огненно-красная пасть.

Царь в страхе перекрестился.

Малюта тоже.

Другой лев, поменьше, подошел вплотную к решетке и замер, остановив неподвижные, чересчур спокойные, слегка презрительные глаза на Иване Васильевиче.

Царь, смущенно улыбнувшись, покосился на Малюту.

– Этак на меня еще никто не смотрел... – проговорил он едва слышно.

К решетке, мягко ступая, высоко подняв громадную голову, подошел вплотную же и другой зверь. Облизываясь, равнодушно оглядел он царя, срыгнул, покачал головою, обмахнулся хвостом. Львы поразили царя Ивана Васильевича своим гордым, величественным видом.

Стрельцы увидели, как государь подошел ближе к клетке. Лицо его вытянулось, глаза сверкнули каким-то странным торжеством, губы его что-то шепчут. В отвесах факельных огней блеснули большие, сильные зубы Ивана Васильевича... Он смеется... он сделал еще шаг, подошел совсем близко...

– Твой царский род самый древний, – тихо, как бы в бреду, говорил Иван Васильевич. – Твой львиный род пережил Иудейское, Израильское, Вавилонское, Ассирийское, Египетское царства и всякое разрушение и падение в горячих пустынях эфиопской земли... за это ты – царь – достоин уважения.

Лев стоял неподвижно с полуоткрытой пастью. Казалось, он действительно внимает словам царя. Слышно было его медленное, тяжелое дыхание. Темно-бурая грива на груди и брюхе зверя то и дело подергивалась.

– Малюта, подай мясо...

Иван Васильевич выхватил у близстоящего стрельца копье, ткнул наконечником в кусок поданного мяса и просунул его за решетку.

– На, царь! Прими угощение из рук московского государя.

Оба льва, пискнув тоненьким голоском, вцепились в мясо, затем сарай потрясся от страшного рыка громадного льва, оскалившего зубы на своего соперника.

Стрельцы видели, как весело расхохотался Иван Васильевич, обернувшись лицом к Малюте, тоже рассмеявшемуся.

– Малюта! И эти цари готовы сожрать друг друга, – сказал

Иван Васильевич громко. – Ты, царь? Слышишь? Зверь и царь! – воскликнул Иван Васильевич, подойдя еще ближе к клетке. – Не уступай. Ты владыка. Тобою хвалятся пророки, поминая твое имя в своих посланиях.

Лев, как бы прислушиваясь к беспокойному, прерывистому голосу царя, напряженно вытянулся на своих передних лапах. Будто неживой... не спускает глаз с царя...

Вдруг царь обернулся к Малюте и грозно сказал, указав на стрельцов:

– Чего они на меня смотрят? Гони их отсюда прочь!.. Свети сам.

Малюта выхватил у одного из факельщиков факел и крикнул стрельцам, чтобы удалились.

Сразу стало темнее.

В сарае только царь и Малюта, освещающий факелом морду льва за решеткой. Зверь перестал терзать кусок мяса, жмурится, обнюхивает воздух.

– Малюта... – тихо сказал Иван Васильевич. – Кабы мы бросили ему Курбского, вот была бы потеха! – И тихо, как бы про себя, произнес: – А надо бы, иуду.

Малюта пошевелил бровями, подумал и глухим, мрачным голосом сказал:

– Оную погань не станет и зверь жрать... В ядовитой змее больше яду и всякой нечисти, нежели едомого.

Царь внимательно посмотрел на Малюту.

– Да и не заманишь теперь его, государь... Писали уже ему

друзья, што и жену-то его с сыном в темницу бросили и што, коли покается, выпустят их, и прочее писали по моему совету, штобы с миром приезжал... Ничего не помогло... Молчит. Не верит нам.

Царь снова обернулся к клетке.

– Дивуйтесь! Вас силою отторгнули от родины, а русские князья доброю волею изменяют родной земле... Прав ты, Малюта, негоже поганить пасть льва оною падалью.

И снова Иван Васильевич вонзил копьё в кусок мяса и просунул его в клетку... И снова львы огласили тишину визгом и рыком, вызвав мрачную улыбку на лице Ивана Васильевича.

– Спасибо аглицким гостям! Знатную мне забаву пригнали из-за моря...

Море!

Чего ни коснись – невольню вспоминаешь его.

Иван Васильевич опять заговорил о своих кораблях, что посланы им из Нарвы с атаманом Керстеном Роде.

– Что-то привезут они нам с тобой, Малюта... какие чудеса? Какие вести? Хорошо ли их приняли там? Не уронят ли они честь нашего царства? Справился ли разбойник с разбойниками?

– Бог милостив, государь. Народ мы с Басмановым отобрали надежный. Да и Совин – парень не дурак, ловкий, бывалый...

Царь задумался. С опаскою оглянулся по сторонам:

– Никого нет? Не подслушают?

– Мы одни, государь...

– Подойди ближе...

Малюта приблизился к царю.

– Слушаю, государь.

Иван Васильевич тихо сказал:

– Уеду я из Москвы... Посмотрим... Не образумятся ли?

– Воля твоя, государь...

– Пускай отрекутся от самовольства и крамолы. А не отрекутся, будут стоять на своем – зверями затравим, палачами изведем, но не быть по-ихнему... Гляди, как на нас смотрит «царь». Львиный род много видел, как читали мы в Библии, смен царств и царей, много побед и поражений... Их мне не удивить своим величием... Они видели владык сильнее меня. Но где же владыки?! Нет уже их! Что же мне величаться?!

Малюта, опустив голову, молча выслушал это страстное, похожее на исповедь, излияние царя.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

В быстротекущей веренице белоснежных облаков, казалось, плывет и самый шатер Фроловской башни. Ноябрь. Студено. Выпал снег, и, хотя солнце поминутно проглядывает, снег прочно держится на кремлевской стене между зубцов, в уютных, тенистых прогалинах между главами красавца храма Покрова Богородицы, на тесовых кровлях обывательских домов и в тени высоких кремлевских стен.

На Красной площади пустынно. По ее обочинам, словно окаменелые, – конные стрельцы. Они со всех сторон закрыли путь на площадь московским обывателям, торговцам, обозам приезжих сельских жителей и нищим.

Сегодня пушечный двор вывез на Красную площадь еще две сотни заново выкованных и отлитых пушек, отправляемых по приказу царя на бранные поля Ливонии, куда Иван Васильевич думал и сам вскоре отправиться во главе большого войска.

Соскочив с коня и бросив поводья конюху, царь стал осматривать в сопровождении воевод долгожданный наряд. Он горд тем, что новые, небывалые ранее в Москве пушки –

плод самостоятельного труда московских пушкарей. Он горит желанием лично видеть действие их в бою. Он внимательно следит за тем, как заряжается орудие. Из его уст пушкари слышат похвалу новшеству – заряджению орудия не с дула, а с казенной, затылочной, части. Не спят московские литцы, не стоят на одном месте – шагают дальше.

Царь ласково гладит плоскости железного четырехгранника, обковывающего казенную часть, вынимает клин, заглядывает в клиновое отверстие: канал сквозной, сверкающий металлом, длиною около двух сажений.

Царь любопытствовал, прочно ли сидит пушка в своем станке, одобрил приваренные к нижней части орудия стержневые подпорки для утверждения орудия в станке, но приказал оковать деревянные станки для прочности железом.

Горделивым взглядом окинул он громадную площадь, на которой в одинаковом расстоянии одна от другой ровнехонькими рядами стояли пушки. Словно живые, присев к влажной, оттаявшей под утро земле, они грозно вытянули свои длинные стволы в пространство. Да, да, он должен сам повести свое войско для конечного разгрома врагов.

Но вот лицо его омрачилось.

Он подозвал Малюту:

– Поди сюда.

Когда Малюта приблизился, указал рукою на орудия:

– С иноземными врагами нам легче бороться... Гляди. То наши верные мстители... Они будут истреблять врагов без

обмана. А как мы сможем с тобой праведно положить священную кару на изменников, чтоб нам бить точно по врагу... без промаха и порухи?

– Господь Бог поможет нам...

– Все ли из этих пушек будут честною рукою направлены по врагам? Сомненья грызут мою душу... Свой глаз понадобится на поле брани. Курбский под Невелем с великою силою не мог одолеть малую часть врага и побросал наш наряд... думал я, будто он невиновен в том, будто заведомо он не предавал нас, а вышло, что... День со днем чернее и чернее становятся мои мысли... Взгляни на площадь. Что труда здесь, что слез и казны, и вот одна из собак, со злобы и ненависти к царю, вдруг опоганит московские стяги, побросает пушки и побежит, жалко поджав хвост... И после того: «Прости, Государь, не моя вина!»

Голос Ивана Васильевича дрогнул. Малюта взглянул на его лицо и с испугом отшатнулся. Оно побледнело, покрылось глубокими морщинами, глаза сверкнули страшным гневом.

– Подай коня, – прошептал царь.

Малюта поманил стремянного, державшего под уздцы царского аргамака.

Иван Васильевич ловко вскочил на лошадь и, не ответив на поклоны бояр и воевод, быстро поскакал в Кремль, сопровождаемый братьями царицы, Темрюками, князем Вяземским и Алексеем Басмановым.

Ветер усиливался – холодный, предзимний, гоня облака, поднимая пыль на площади, леденя душу бояр, напуганных внезапной переменой в настроении царя.

Малюта помолился на храм Покрова, почтительно поклонился боярам и воеводам и неторопливой походкой направился в Кремль.

Во дворце Ивана Васильевича ожидали московские оружейники. Они принесли в дар государю новую легкую пищаль, стрелявшую уже не при помощи фитиля, а посредством особого замка, воспламенявшего заряд трением стали о кремень. Брызги искр зажигали порох. Царь был сильно обрадован. Выйдя на дворцовый дворик, выстрелил в сарай из новой пищали.

– Слава Всевышнему! – перекрестился он, разглядывая ружье. На лице его снова появилось выражение спокойствия и удовлетворенности. – Давно бы так.

Оружейники, которых ввел во дворец дворянин Кусков, расхваливая особенности устройства новой пищали, доказывали, что все прежние фитильные ружья надо упразднить. В них-де много неудобств: фитили во время боя от сырости часто гаснут, получают осечки. Загораясь, они выдают неприятелю местонахождение стрелков, и очень опасны те ружья для воина. Случаются разрывы дула.

Царь внимательно выслушал оружейников, приказав Кускову передать свое царское повеление боярину Челяднину, чтоб он одарил оружейников да поднес им по чарке водки.

Малюта, появившийся в палате государя, был обрадован его веселым видом. Он опасался нового припадка гнева, которые в последнее время часто посещали Ивана Васильевича. Лекарь Бомелий просил Малюту всячески оберегать царя от неприятностей. Сама царица каждый день умоляла Малюту помалкивать о раскрытии крамольных дел.

Иван Васильевич, увидев Малюту, пошел ему навстречу с пищалью в руках. Он радостно воскликнул:

– Гляди, Лукьяныч. Приношение моих оружейников.

И он стал пояснять, в чем кроются достоинства новой пищали.

Царь неодобрительно отозвался только о том, что крышку на полке с огнивом приходилось перед выстрелом отодвигать рукой, а это замедляло стрельбу. Оружейники обещали придумать другое.

– Не ерманские, не дацкие, не свейские... не Курбские... не Тетерины... Это сделали мои люди... мои, – сказал с самодовольной улыбкой царь.

– Их много, государь...

– Так ли?

– Дерзаю думать, что так, – поклонился царю Малюта.

По лесным глухим дорогам скакал к Москве с литовского рубежа всадник. Молод, строен и хорошо вооружен. Чтобы ни с кем не встретиться, он умышленно объезжал города и села, делая большие крюки, с трудом преодолеывая болота и

овраги, лежавшие на его пути.

Всадник этот – слуга князя Курбского Василий Шибанов. Никто не решился отвезти московскому царю послание князя. Как особенную драгоценность Василий зашил его в свой зипун у самого сердца.

Нередко молодой гонец останавливал коня и, вдыхая в себя запах родного русского соснового бора, крестился с чувством, с благоговейным торжеством и юношески-беспечно улыбался, оглядываясь по сторонам.

Родина! О, как истосковался он по родной земле! Хоть перед смертью, хоть ненадолго Господь Бог привел-таки посмотреть на дорогие сердцу, заброшенные среди полей и лесов русские села и деревушки, на милые, такие простые, бедненькие бревенчатые церквушки, на затянутые голубым октябрьским ледком озера и речки... В них отражается благословенное небо отчизны, погруженной в глубокое размышление. Она – как мать, задумавшаяся о судьбе своих детей. Нет, нет. Он, Василий Шибанов, не изменник, он только слуга Курбского... Будь милостивой, родная Русь! Он знает – в Москве его ждет страшная смерть, но он – не изменник... Князь Курбский в его лице имеет раба, а родина – преданного сына. Курбский посылает его на верную смерть. Курбскому нужен он, Шибанов, пока жив. Князь смотрит на него как на своего раба. Никто не поехал бы в Москву из его приверженцев, да не мог бы он никого из них и послать; их не тянет на родину, а его, Шибанова, она постоянно зовет к себе и во

сне и наяву. Гнев родины священен, и, что бы ни случилось, Василий Шибанов был, есть и умрет покорным, любящим свою землю россиянином. И над его могилой, в его стране, будут расти серебристые березки, и вольные пичужки будут встречать весну и воспевать солнце так же, как и над могилами героев-предков, как над могилами честных его земляков-сородичей...

У князя свои счета с царем Иваном Васильевичем.

Он, Шибанов, никогда не был врагом царю и может смело предстать перед его грозными очами и с честью, мужественно, как надлежит правдивому сыну своей родины, встретить царскую немилость, ибо – да! – он, Василий Шибанов, провинился...

«Родина! Ты одна поймешь и простишь меня, злосчастного странника, малоумного Василия Шибанова».

У заставы, в Дорогомилове, не удалось проскочить через рогатку в город незамеченным. Василия Шибанова остановили. Стали расспрашивать: чей, откуда? Шибанов сказал, что одному царю ответит – кто, чей и откуда он.

Окружили его всполошившиеся стремянные стрельцы и по приказу Григория Грязного проводили к Малюте Скуратову для допроса.

Спускались сумерки.

Малюта встретил при входе в каземат неизвестного ему всадника со свечою в руке. Пристально из-под густых бровей оглядел его с ног до головы, вздохнул.

– Ладно, пойдём... Эй, молодцы! Возьмите у него коня.

Василий Шибанов отдал поводья стрельцу и смело пошел следом за Малютою.

Оставшись наедине с Шибановым, Малюта сел на скамью и тихо, ласково спросил:

– Откуда ты, добрый молодец? Чей?

– Одному царю мочен я то сказать...

– Ничего. Говори мне. Государь без моего опроса не допустит лицезреть его царскую милость.

– Из Литвы я, когда так, а сам роду московского, веры христианской, православной.. Гонец я князя Курбского.

Малюта вскочил со скамьи, крепко вцепился в плечи Шибанову, несколько минут молча смотрел выпученными глазами на парня.

– Курбского? – спросил он сдавленным, едва слышным голосом. – Ты ума лишился... рехнулся?

– Нет. В доброй памяти. Повторяю: я посол князя Андрея Михайловича Курбского к моему государю.

Смелый вид и сухой деловитый голос парня совсем озадачили Малюту.

– Повторяешь?! – вскинув брови, воскликнул Малюта.

– Клянусь, што никогда не кривил душою перед государем и до смерти не отрекусь от него. Я лишь исполняю волю князя. А прискакал к царю с посланием от него. Оно зашито у меня вот тут, в зипуне.

Малюта выхватил из-за голенища длинный нож, разрезал

полу зипуна у смиренхонько стоявшего Василия Шибанова и стал с любопытством рассматривать письмо Курбского. Затем хлопнул в ладоши. Появились стрельцы.

– Возьмите его, накормите посытнее и посадите в подклеть, заковать в железа его. Да строго-настрого сторожите. Отвечаете головою.

Малюта отправился к царю. Дорогою, перед царевой моленной, остановился; на коленях попросил у Бога прощенья, что опоганил себя, взяв в руки письмо крамольника. А затем помолился о том, чтобы царь спокойно принял послание изменника Курбского.

Иван Васильевич только что вышел из покоев царицы задумчивый, взволнованный: опять царевич Иван поссорился с царицей Марией. Царь хотел его наказать, а он спрятался где-то во дворце. Царевич Иван становится дерзким, непослушным, упрямым... Даже отца перестал бояться. Федор совсем другой мальчик. Тихий, богомольный, смиренный...

«Не в час», – подумал Малюта, но уже дороги к отступлению не было.

– Батюшка государь, знатную весть принес я тебе.

– Говори.

– Гонец Курбского прискакал в Москву. С посланием до твоей светлой царской милости.

Иван Васильевич побледнел, улыбнулся, закрыл глаза, тяжело дыша, словно не находил в себе сил что-нибудь выговорить.

– Смелый он... Упрямый... Дюже молод...

– Пускай. Таких я люблю... Хочу взглянуть на такого... – отрывисто, через силу проговорил царь, приняв из рук Малюты бумагу.

Быстро развернул послание. Малюта видел, как дрожат руки царя, как помутился его взгляд. Приготовился к взрыву царского гнева.

Царь стал читать послание, задыхаясь, в волнение то и дело прерывая чтение:

«Царю, от Бога препрославленному, пресветлому прежде в православии, а теперь за наши грехи ставшему противником этому. Да разумеет разумеющий – да разумеет тот, у кого совесть прокаженная, какой даже не найти и среди безбожных народов! – писал Курбский. – За что, о царь, – спрашивал он далее, – сильных во Израили ты побил и воевод, данных тебе Богом, разным казням предал и победоносную и святую кровь их пролил, мученическую их кровью церковные пороги обагрил?»

За что на доброхотов твоих, душу свою за тебя полагающих, умыслил ты неслыханные мучения и гонения, ложно обвиняя их в изменах и чародействах?.. Чем провинились они пред тобою, о царь? Чем прогневили тебя? Не они ли, прегордые, царства разорили и своим мужеством и храбростью покорили тебе тех, у которых прежде наши предки были в рабстве? Не их ли разумом достались тебе претвердые города германские (ливонские)? Это ли нам, бедным, возда-

ание твое, что ты губишь нас целыми родами? Уж не бессмертным ли себя, царь, считаешь? Уж не прельщен ли ты небывалой ересью, не думаешь ли, что тебе не придется и предстать пред неподкупным Судиею Иисусом Христом?.. Он, Христос мой, сидящий на престоле херувимском, будет Судиею между тобою и мною!

Какого только зла я не потерпел? За благие дела мои ты воздал мне злом, за любовь мою – ненавистью! Кровь моя, как вода, пролитая за тебя, вопиет на тебя к Господу моему! Бог свидетель, прилежно я размышлял, искал в уме своем и не нашел своей вины и не знаю, чем согрешил я пред тобою. Ходил я пред войском твоим и не причинил тебе никакого бесчестия, только славные победы, с помощью ангела Господня, одерживал во славу тебе... И так не один год и не два, но много лет трудился я в поте лица, с терпением трудился вдали от отечества, мало видел и моих родителей, и жену мою. В далеких городах против врагов моих боролся, многие нужды терпел и болезни... Много раз был ранен в битвах, и тело мое уже все сокрушено язвами. Но для тебя, царь, все это ничего не значит, и ты нестерпимую ярость и горчайшую ненависть, паче разженные печи, являешь к нам.

Хотел было я рассказать по порядку все мои ратные дела, которые совершал на славу твою с помощью Христа, но не рассказал потому, что Бог лучше знает, нежели человек. Бог за все мздовоздатель... Да будет ведомо тебе, царю, – уже не увидишь ты в этом мире лица моего. Но не думай, что я буду

молчать! До смерти моей буду непрестанно вопиять со слезами на тебя безначальной Троице... Не думай, царь, что избиенные тобой неповинно, заточенные и изгнанные без правды уже погибли окончательно, не хвались этим, как победой. Избиенные тобой у престола Господня стоят, отмщения на тебя просят; заключенные же и изгнанные тобой без правды на земле вопиют на тебя к Богу и день и ночь!...»

«Письмо это, – писал в заключение Курбский, – слезами измоченное, умирая, идя к Богу моему Иисусу Христу на суд с тобою, велю положить в собою в гроб».

Дочитав длинное послание Курбского до конца, царь, обессиленный, опустился в кресло.

– Они... они... Их много. Ох, Малюта! Курбский Христу будет на меня жаловаться... – прошептал царь. – Христианин. И после смерти зло будет иметь... И пред престолом Всевышнего мстить мне будет!... Доносить Богу на царя Ивана.

Царю вдруг почудились налитые кровью, сверкающие злорадством сотни глаз... Вот они смотрят на него со всех сторон.

– Гляди... Малюта... смеются надо мной... – заскрежетав зубами, проговорил царь. – Душно! Расстегни ворот. Господи, спаси нас! Вон. Вон они!

Малюта быстро расстегнул ворот царского атласного охабня.

– Собаки! – вдруг вскрикнул царь, посинев от гнева. – Не

загрызть вам меня... Малюта, приведи ко мне того холопа... Допрошу его сам. Убью! Заколю! Дай мне мой костыль, Малюта...

Малюта старался успокоить Ивана Васильевича, уверяя его, что народ на стороне царя.

Народ сам готов бороться с изменой, и ему, Малюте, приходится смотреть за тем, как бы чернь не разгромила боярские хоромы, как то было в юные годы Ивана Васильевича.

Народ – загадка, и ту загадку не дано ему, Малюте, разгадать. Одно ясно, что народ за царя, а не на стороне бояр. Посады и деревни не жалеют Курбского, который хотел прикинуться перед людьми невольным страдальцем... народ пожалел царя, узнав об измене князя. Об этом он, Малюта, давно собирался доложить царю. Пускай Иван Васильевич в своей воле будет смелее. Пускай не шадит вельмож, кто бы они ни были. Мужики за них не заступятся. Мужик не изменяет. Ему непонятны отъезды в чужую землю. Убегая из вотчин и поместий, он дальше рубежа никуда не идет. Одни князья требуют себе права на отъезд! Ну что ж!

Иван Васильевич с удивлением прислушивался словам Малюты. А потом тихо, слабо улыбаясь, сказал:

– Хорошо ты говоришь о мужике... Так ли это?!

Малюта вздохнул облегченнее и, осенив себя широким крестом, громко произнес:

– Да будет благодать Господня над Московскою державою царя-батюшки Ивана Васильевича! Говорю я то, что вижу и

что знаю.

II

Недаром же поется песенка о русской женщине:

Белое лицо, как бы белый снег,
Щеки, как бы маков цвет,
Черные брови, как соболи,
Будто колесом, брови проведены,
Ясны очи, как бы у сокола...
Она ростом-то высокая,
У нее кровь-то в лице, словно белого зайца,
А и ручки беленьки, пальчики тоненьки...
Ходит она, словно лебедушка,
Глазом глянет, словно светлый день...

Неспроста и Никита Васильевич Годунов повадился изо дня в день ходить в гости к стрелецкому сотнику Ивану Демидовичу Истомае Крупнину.

Придет, Богу помолится, вздохнет, отвесит большой поклон хозяевам дома с их дочерью Феоктистой Ивановной и, стыдливо покраснев, сядет в указанное ему место под образами; опять вздохнет, робко покосится в сторону красавицы дочки, и на лице пуще прежнего румянец, словно у красной девицы. И не похоже, что это – начальный человек над самим Истомаею-сотником и один из приближенных к царю новых

людей. Светла Никиту Годунова с сотником Истомой царева служба по бережению дорог к морям Западному и Студеному и по устройству ямов с ямскою гоньбою на тех путях. А сблизила беззаветная, преданная любовь к родной земле.

Но все ли это? Нет, не все. Завелось и другое. Может быть, поэтому-то Феоктиста Ивановна в присутствии Никиты и сидит, затаив дыхание, не смея взглянуть на молодого, знатного гостя, и полная грудь ее тяжело вздымается от подавленных вздохов.

В этот день Никита Годунов явился к сотнику с саблей у пояса, в походной одежде; озабоченно оглядев хозяев дома, сказал негромко:

– Батюшка Иван Демидович, видно, Господь Бог уж судил нам с тобою до гроба заедино ратничать, заедино царевы наказы блюсти!

Истома низко поклонился, коснувшись пальцами правой руки ковра на полу.

– Рады мы твоему слову доброму, сокол ты наш ясный, милостивец Никита Васильевич... Немалая честь мне с тобою ратничать, того больше – государевы наказы блюсти. На то и мать родила нас, чтобы меча из рук не выпускали мы, защищали бы им свою святую родину.

– Собирайся же, родной Иван Демидович, помолясь Господу Богу, в путь-дороженьку. Государь наш батюшка Иван Васильевич из Москвы задумал отбыть заутро со всею своею семьей в Александрову слободу. Людское ехидство нев-

терпеж его царской милости. Жадность и честолюбие людей обуяли... Жадность к обогащению, к власти, к славе и почету сверх заслуг, сверх меры... Корыстолюбие разлилось по всей Руси у наследственной знати...

– Ну што ж, голубчик Никита Васильевич. Воля государева – воля Божья.

– Накажи стрельцам, воинское дородство б соблюдали. Однорядки почистили бы, оружие осмотри. В походе чтоб молодец к молодцу казали. Охранять государев караван удостоены. Честь великая. Сам Григорий Лукьяныч осматривать нас будет и опрашивать.

– Будто не гневались на мою сотню ни ваша милость, ни прочие государевы слуги. Служим по-Божьему, согласно чести и глаголу пророков. Жалованы были царскими милостями...

– Добро, Иван Демидович, добро... Ведомо про то всем. Что делать? Тучи над Русью нависли темные; новые лютые времена наступили: на дворе зима, а в Москве жарко, пот катится со всех; палачи, губя изменников, умаялись, и война не утихает, вороги осмелели, лезут на Русь, ровно волки бешеные. Изменные дела их охрабрили. По-новому и нам с тобой ратоборствовать суждено... Жало измен нелегко вытаскивать; и того труднее – вырывать жало из пасти скрытых предателей.

Истома молчал, погруженный в сборы. Его жена и дочь Феоктиста помогали ему собираться, наполняя походный

мешок хлебом, лепешками, кусками вареного мяса, сушеной рыбой. Они уже привыкли к подобной спешке – походный мешок и баклажки Истома всегда наготове в углу под божницей. Вся жизнь прошла в походах. Уж дома как-то и сидеть-то неловко. Не по себе.

Годунов нет-нет да и кинет взгляд в сторону стрелецкой дочери, а сердце поет: «Ах ты, жемчужина моя ненаглядная, сокровище мое драгоценное! Чуешь ли, сколь радостно мне видеть твои очи, твой стан, твои косы, всю тебя? Знаешь ли ты, что Никита Годунов голову свою сложит за тебя, коли к тому нужда явится? И как и что будет со мною, Никитою, коли ты не станешь моей? Бог то ведает!»

– Ну, готов я, Никита Васильевич, с Богом! – сказал Истома.

Годунов вздрогнул, покраснел.

Истома стал на колени перед божницей. С ним рядом опустились на пол его жена и дочь, а с нею рядом, как бы невзначай, стал и Никита. Принесли горячую молитву Богу о благополучном исходе государева пути в Александрову слободу.

Феоктиста ясно слышала прерывистое, взволнованное дыхание своего соседа, видела, ощущала, казалось, его горячий румянец. Ей стало так радостно, но вдруг... словно жерновом придавило ее воспоминание о Василии Грязном... Ведь она принадлежит другому! Он может в любую минуту потребовать ее обратно к себе... Он жестокий, мстительный... Недаром в доме челядь звала его «живоглотом». Как же тут

радоваться и чему радоваться? Никита найдет себе девушку непорочную, не познавшую греха, свободную от супружеской кабалы. Не по пути ему с ней, Феоктистой, и надо ей быть дальше от него, не кружить ему попусту головы, да и самой не вводить себя в обман... долой грешную радость, долой грешные мысли.

– Господь с вами!.. – перекрестил жену и дочь Истома, облобызал их по очереди и пошел к выходу.

Годунов простился с обеими женщинами, последовал за сотником.

После их ухода стало в доме сразу пусто и скучно. Феоктиста вышла в соседнюю горницу и, уткнувшись в подушку, горько заплакала.

Подобно своему отцу, великому князю Василию Ивановичу, царь Иван Васильевич любил странствовать по богомольям. От отца и дела унаследовал он и любознательность к тому, как живут и как трудятся в мимолежащих селах и деревнях посошные люди. Великие князья попутно выслушивали жалобы крестьян. Во многих селах Иваном Третьим устроены были «государевы дворы».

Выезды великих князей в монастыри приурочивались к престольным, двенадесатым, богородичным праздникам. Великие князья ездили на богомолье в Переяславль, Ростов, Ярославль, в Вологду, в Кириллов на Белоозере монастырь и во многие другие места.

Когда по Москве пошли слухи, что государь со всем своим семейством собирается на богомолье, никто этому не удивился.

Вскоре население Москвы узнало, что сильный отряд стрельцов, предводимый Никитою Годуновым, вышел для охраны царева пути в село Коломенское. Всякий понимал, что и дороги надо было подправить, и от нападения разбойников бережение иметь, а потому ничего в этом нового не было.

Стрелецкий передовой отряд по пути привлекал черные князьки деревни, подклетные – дворцовые, боярских и монастырских крестьян «для княжьего похода мосты делать и мостить и, где худы, починивать, гати гатить и вехи ставить».

Все это в обычае старины. И нечему было тут удивляться.

С годуновским отрядом ушла погруженная в сани казна, столовая и шатерная. Двинулись в путь: ясельничий, шатерный, постельничий, становщики, обязанные ставить по деревням и селам ставки и готовить всякие обиходы к приезду великого князя.

И это у москвичей не вызывало никаких сомнений.

Но вот когда третьего декабря, в воскресенье, на площадь перед дворцом съехалось невиданное в прежние времена множество саней и сотни рабочих, тревожные слухи поползли по Москве.

Немного прошло времени, как для всех стало ясно, что царь задумал другое... не богомолье. Дюжие парни поволок-

ли на своих спинах из дворца мешки с золотом и серебром, ящики с драгоценною обиходною утварью, тяжелую, окованную серебром и золотом мебель, одежды, сосуды, кресты, иконы и многое другое. Какое же это богомолье?

Кремлевские площади быстро наполнились народом.

Напрасно Григорий Грязной со своими сорвиголовами старался разогнать любопытных. Толпа росла. Глаза Григория налились злобою, но ни окрики, ни плети – ничто не помогало. Ужас напал на людей.

Иван Федоров, Мстиславец, а с ними прочие друкари и Охима также, спешно прибежали в Кремль. Они протискались близко к Красному крыльцу, и именно в то время, когда из дворца медленно, опустив в унынии обнаженные головы, двинулись к церкви Успения все кремлевское духовенство и бояре.

Толпа притихла. Лишь воронье раздирало тишину нудным, зловещим карканьем. Мрачное настроение московских жителей, подавленных всем происходившим, казалось, передавалось и самой природе. День выдался сумрачный, сырой.

Медленно тянулись минуты напряженного ожидания.

Иван Федоров, находившийся в толпе, прошептал на ухо Мстиславцу:

– Недоброе чую!.. Беда настанет.

Мстиславец вздохнул и, оглянувшись из предосторожности по сторонам, шепнул в ответ:

– Кругом беда! Помоги, Господи, Ивану Васильевичу одо-

леть беду. Со всех сторон она идет. Хушь бы война заглохла!

Охима печально вздохнула: Бог весть, что с Андреем стало! Ни слуху ни духу... Те, кто был в дацкой земле, давно уже вернулись, а он как уплыл в аглицкую страну, так будто его и на свете нет. Было и жаль Андрейку, и досадно на него. променял ее, Охиму, на море! Сам напросился...

Загудели колокола. На Красном крыльце появился царь Иван с царицею и царевичами в сопровождении своих ближних бояр. Опираясь на посох, одетый в шубу, обшитую сободем, шел он, высокий, гордый, медленно, торжественно, к храму Успения.

У Ивана Федорова, стоявшего совсем близко, около дорожки, по которой проходил государь, невольно вырвался вздох: «Как исхудал батюшка Иван Васильевич!» Охима тоже заметила большую перемену в лице царя – оно показалось ей сильно постаревшим. У нее выступили слезы, да и у других посадских людей на лицах написана была скорбь. На посадах привыкли в царе видеть силу, крепость, бодрость – тогда и простой люд чувствовал себя спокойно, уверенно, смотря на будущее, не боялся ни смут, ни татар, ни польского короля, а теперь... Страшно, больно видеть царя слабеющим, стареющим... Страшно за собственную судьбу, за Русь!..

Приняв благословение митрополита Афанасия и подведя к благословению царицу и детей, царь приказал служить обедню. Во время службы он усердно молился, обратившись лицом к иконе великого князя Александра Невского. Губы

его что-то шептали горячо и страстно: о чем-то просил царь своего святого предка, перед памятью которого преклонялся. Александр! Не он ли положил начало борьбе с немецким нашествием, не он ли отразил нападение ливонских рыцарей на святую Русь? О чем теперь просил царь святого князя? Тайна! Она так же крепка и величественна, как непоколебимые столбы и своды древнего собора Успения.

После обедни Иван Васильевич, царица и царевичи снова подошли под благословение митрополита.

Государь допустил к своей руке бояр, служилых и торговых людей, без которых теперь не проходило ни одного торжества. Недаром же они называли его «торговый царь».

Выйдя из храма, царь обвел озабоченным взглядом несметную толпу москвичей, стоявших с обнаженными головами; почтительно, со смирением, поклонился на все стороны; милостиво распрощался с боярами, быстро подошел к саням, в которых уже дожидались царица и двое сыновей, и, сопровождаемый Алексеем Басмановым, Михаилом Салтыковым, князем Афанасием Вяземским, Иваном Чоботовым и другими своими любимцами, двинулся в путь.

Царский караван окружили целый полк вооруженных копьями всадников и громадное число придворных слуг.

Медленно, в глубокой тишине царев поезд двинулся к заставе.

Царь покинул Москву.

Об этом с унылыми лицами тихо и скорбно перешептыва-

лись люди, когда последний возок каравана скрылся из глаз. Все понимали, что творится что-то неладное. Многие в толпах народа плакали, не понимая, в чем дело.

В Москве стало сразу тоскливо, пусто. И хотя многие из московских жителей никогда и не видели царя, но одна мысль, что царь покинул Москву, Кремль, и притом неизвестно ради чего и надолго ли, приводила в ужас посадских людей.

Осиротела Москва! Это сразу почувствовалось во всем: и в растерянных взглядах бояр и воевод, и в унылом блуждании по Кремлю монахов и нищих, отказывавшихся даже от милостыни, и в отсутствии прежней строгости и подтянутости у кремлевской стражи. Даже колокола звучали по-иному, их удары растекались в тишине жалобно, будто плакали они о покойнике... Торговля на площадях сразу упала – куда делась обычная бойкость хожалых и сидячих купцов, даже сбитенщики и блинники притихли. Смеха не услышишь, а если кто и засмеется, на него тотчас же шикают, с кулаками лезут...

Малюта не поехал с царем – такова была воля самого Ивана Васильевича: он разослал во все концы столицы своих соглядатаев, чтобы ловили неосторожные и всякие «супротивные речи» об отъезде царя из Москвы и доносили прямо ему, Малюте.

Соглядатаи перестарались: в первые же сутки пять десятков приволокли на съезжую для допроса.

Одного соглядатая Малюта самолично бичевал за ложное, придуманное им доносительство. «Врагов и без вранья немало. Надо берегчи огонь и плети для явных злодеев. Пожалеть надо и палачей. Того еще не хватало, чтоб мнимых крамольников им отделявать. Будто они сложа руки сидят. Дурень! Не велика корысть государю от безвинно пытаных. Противно и грешно то».

Малюта много знал, многое угадывал с первого вопля пытаемого, а иногда не надо было и пытки. Подозреваемый в измене под тяжелым, оловянным взглядом Малюты сам, без принуждения, во всем признавался и выдавал всех своих сообщников. Были и такие, что со страха наговаривали сами на себя всякие небылицы. Таких Малюта приказывал окатить холодной водой, отхлестать плетью и выгнать вон из съезжей избы, называя их бездельниками.

В день отъезда царя из Москвы и в последующие дни соглядатаи, по словам Малюты, «в жмурки играли», ловили людей с завязанными глазами, кто попадетсЯ. Это значило, что им делать было нечего.

Всюду слышались вздохи и плачи об отъезде государя. Никогда Малюта и не думал, что в народе есть такая крепкая привязанность к царю. Куда ни глянешь, везде скорбь и молитвы о здравии Ивана Васильевича. И чем ниже званием человек, тем более тосковал он.

Выходит – у страха глаза велики. Стало быть, он, Малюта, и сам запугал себя изменою и царя запугал, согрешил перед

Богом, царем и людьми?

Несколько ночей подряд раздумывал об этом Малюта. Не спалось. При воспоминании о многих своих доносах и опрометчивых поступках ему делалось совестно.

Вот он стоит на кремлевской стене один, в суровой неподвижности. Луна щедрою рукой разбросала свое лучистое сияние в тихой, безветренной и безоблачной московской ночи, посеребрив оснеженные верхушки кремлевских башен, крыши бревенчатых домиков, кривые, узкие улочки, Москву-реку... Малюта ошибся. Он приготовил везы с кандалами, чтобы ковать крамольников, он уже мечтал о том, как он доложит царю об истреблении внезапно обнаруженного сонма преступников, и вдруг...

Изменники не столь многочисленны, как ему думалось. Он готовился во всеоружии встретить восстание в Москве после отъезда царя. Для того и остался здесь. А вышло, что дела не только не прибавилось, но и поубавилось.

«Изменники в „верхах“! Вот когда это стало ясно. И они притихли, боятся слово молвить, боятся толпы, черни больше, чем застенка. Вчера один купец боярскому сыну, приживальщику боярина Фуникова, нос расквасил за то, что тот осмелился осудить царя за его уход из Москвы. Купец дюжий, глазастый, злой... Насилу оторвали его от боярского сына.

Холодно. Пронизывающие ветры мечутся среди деревян-

ных, как-то съезжившихся от стужи домиков. Побелели к вечеру московские улочки и переулки. В сумерках уныло перекликались одинокие благовесты, развеваемые шквалами внезапных ветров. В садах гудели столетние сосны. Обезлюдели площади, только сгорбившиеся на низкорослых косматых конях грузные сонные стражники слонялись в мутной сумрачной пустоте, стуча в трещотки.

Феоктиста пошла со своей сенной девушкой Маринкой за водой к речке Синичке. Скучно было целые дни сидеть дома. Ходить боязно даже в храм Божий. Везде мерещился Василий Грязной со своими озорными конниками. Лихие люди кишмя кишели около братьев Грязных. Отец наказывал, когда уезжал, сидеть дома, не подвергать себя опасности.

За водой надо было сойти вниз, к проруби, недалеко от дома. Безлюдье с непогодой охрабрили – Феоктиста чувствовала себя в безопасности, спускаясь к реке.

И вдруг где-то сбоку, в кустарниках, раздался голос – жалобный, молящий. Феоктиста, держась за Маринку, в страхе приблизилась к кустарникам.

– Чернец!

– Замерз я, красавица боярышня, застудился!.. Приюти меня, праведница, помоги старцу бездомному, горлица непорочная... На ногах не стою от немощи...

Феоктиста и Маринка подхватили старца под руки и повели в дом.

Анисья Семеновна, мать Феоктисты, добрая, набожная,

похвалила дочь за ее милосердие к нищей, бесприютной братии. Мать и дочь принялись ухаживать за старцем, который на вид был совсем больной. Ему дали чарку вина, уложили его в постель.

Старец назвался Зосимою, иноком-богомольцем, странствующим по селам и деревням «во имя просветления разума человека праведным словом Божиим». Он жаловался на то, что еретики «задушили правду Христову». «Расползлись люди в сторону от Христова учения, как слепые щенята от матери». В подслеповатых, усталых глазах старца при огоньке свечи можно было разглядеть вспышки гнева и упрямой ненависти к еретикам.

А кто эти еретики – ни Феоктиста, ни Анисья Семеновна понять не могли.

– Ныне беса от священнослужителя не отличишь... Все в рясу облачились... Иной человек ныне по две обедни слушает да по две души кушает. Властью прельщаются. И у самого митрополита Афоньки борода апостольская, а усок дьявольский...

Говоря это, Зосима через силу поднялся с ложа, потряс в воздухе костлявыми кулаками:

– Горе супостатам, проклятым еретикам! Призываю кару Господню на их окаянные головы. Грозы и сжигающие молнии на гнездо дьявольское! Проклятие!..

Обессилев от возбуждения и через силу произнесенных проклятий, старец упал навзничь, тяжело вздохнул и притих.

Женщины испугались, думая, что он умер, но, прислушавшись, поняли, что старец просто утомился и засыпает.

Анисья Семеновна и Феоктиста помолились и вышли в соседнюю горницу, довольные тем, что по-христиански приютили несчастного путника, облегчили ему горькие страдания.

III

Сон не сон, а что-то неладное. Чудеса какие-то. Так чувствовал себя Андрей, попав наконец после долгих странствований по морям в Лондон. Побывал он и в «Дацкой» земле и в «Голанской», видел и «Отланское море»³³. Вместе с купцами московскими во время плавания диву давался на «погоды великие», пережил и морские «волнения безмерные». Корабли Керстена Роде отчаянно боролись с ними. Товары купецкие, запасы всякие и рухлядь торговая – все это нередко подмачивалось водою. Не миновала московских путешественников и морская болезнь. Пришлось видеть и то, как валы пробивали у иных чужеземных кораблей «скулу» и корабли те на дно уходили, «как деревья парусные»³⁴ от бурь ломало и к воде склоняло». Плачи и вопли утопающих пришлось слышать в пути. Все было. Всего насмотрелись. Всего наслушались. Всего натерпелись. Случалась скудость в прес-

³³ Атлантический океан.

³⁴ Мачты.

ной воде. Ставили ведра под дождь и спасались.

Купец Тимофеев ворчал:

– Каково с нами было, того и рассказать дома не сумею. Чтоб тебя боле и не видать, Отланское злющее море!

– Полно, дядя, не зарекайся! Барыш будет, так и бури не испугаешься... Знаем мы тебя... Так говоришь. Ради красного словца.

Тимофеев продолжал ворчать:

– Да еще к тому же турецкие каперы вздумали помогать литовским, ерманским и свейским пиратам. И они приплыли. На Отланском море гуляют, как у себя дома. Их только, азиятов, не хватало.

– Эх, Господи! – вздыхал Поспелов. – Какая уж тут торговля. Прямо хушь ложись и умирай!.. Глаза не глядели бы на чужие земли. Спасибо нашим верховодам – морским атаманам. Спасли жизнь московским купцам.

– А наши-то как ловки! Ерофейка Окунь даже мачты все сберег, никакой порухи у него на корабле... У немчина по-сбивало, а у него нет.

– Не! Чернец Беспрозванный способнее... Далеко Окуню до Кирилки Беспрозванного. На Студеном море его больше почитают, нежели Окуня... – с видом знатока сказал Погорелов. – Много у нас в ледовых водах мореходов, а такого нет... и у нас.

За пределами отечества язычок у некоторых развязался. Стали втихомолку ворчать на царя. Забьются в отведенную

им комнату в каменном двухъярусном темно-бурого цвета доме, близ Темзы, и начинают. И ничего-то путного из тех царевых выдумок не выйдет, и народ-то аглицкий не может стать дружественным Москве, и бабы-то аглицкие носят какие-то щиты из полотна на шее «округ рыла», и бесстыдницы-то они – все в свою безбожную королеву, – и едят-то аглицкие люди поганую пищу, и даже черепах, – девки и бабы их «мел жрут, золу и сало», чтобы бледными быть, без кровинки в лице, подобно своей королеве... Гордыня непомерная здесь, а гордиться-то и нечем. А туман?

Серым покрывалом протянулся он над рекой Темзой, клубами ползет между стенами и кровлями домов, обвивается вокруг каменных башен... Мутная, густая туча тумана упорно мешает пробиваться солнечным лучам.

И оттого Лондон показался купцам и иным людям, прибывшим из Москвы, мрачным, неприветливым.

И дома-то выглядели на первый взгляд какими-то грязновато-темными, зеленоватыми, покрытыми черною копотью снизу.

Единственно, что порадовало москвичей, это лондонские сады и парки, убранные цветниками, заросшие широкими, развесистыми деревьями.

Но... сырость!

Все мокрое на тебе, словно бы водой облили... Вот бы посадить сюда батюшку царя, пускай бы... А то ишь он, хитрый, там в тепле да в холе на берегу матушки Москвы-реки сидит.

Тоже. Себе на уме. А людей загнал невесть куда, невесть за-чем, ворчали недовольные.

Глава посольских дьяков Петр Григорьевич Совин, впервые очутившийся в Лондоне, чувствовал себя как дома: ходит нарядный, веселый, все о чем-то с аглицкими чиновниками беседует.

Диву давались на него торговые люди.

Однажды непоседа Юрий Грек, вопреки наказу Совина, тайно отправился погулять на набережную, да зашел там в кабачок, познакомился с какой-то девицей, восторженно обнял ее, да за голову ее рукой ухватил, чтобы поцеловать, и вдруг... страсти Господни! С девичьей головы волосы в его руке так и остались... Парень смутился, обомлел. Ан, у девицы на голове другие волосы: много их, черные, а у него, у Юрия, в руке целая голова волос рыжих, золотистых... В ужасе перекрестился парень— уж не волшебство ли какое, а вокруг народ хохочет, глядя на него, хохочет до слез... Юрий Грек обомлел, дрожит, не знает, что теперь ему с этой головой делать. Прощенья давай просить: «Прости, девка, не чаял я, что у тебя две головы».

Он робко вернул те волосы девушке, и она снова надела их на себя. Лицо ее было обиженное. Грек, низко кланяясь, продолжал просить у нее прощения. Она улыбнулась. Простила.

Когда Юрий Грек вернулся домой и рассказал товарищам об этом случае, Совин объяснил торговым людям, что-де это

– парик; женщины в Англии так любят свою королеву, что во всем ей подражают и носят такие же волосы, как у ее величества королевы Елизаветы.

Совин на три дня запретил Юрию Греку выходить из дому. Купцы долго и вразумительно внушали Юрию, что-де не годится себя вести так в чужом государстве. Да и женщины тут не такие, как в новгородской деревне, к ним и не подступишься – юбки на проволоке оттопырились вокруг стана, будто полка какая, хоть чаши либо сосуды на них ставь. Слушавший разговор купцов толмач Алехин сказал им, что эти полки «фижмами» здесь прозываются. Вчера ему один англичанин объяснял.

– Да где же там телеса-то? – задумчиво произнес старик Поспелов. – Целый воз тряпок да кружев, до человека-то и не доберешься! То ли дело сарафаны, что носят наши бабы и девки. И цветисто, и любовно, и Богу угодно... А у этих... ни красы, ни радости!..

Заговорили и об одежде мужчин. Всех приводили в смущение эти короткие штаны, до колен, с раздутыми в пахах буфами, и чулки, плотно обтягивающие икры ног. То ли дело русские сафьяновые сапожки да бархатные шаровары! И удобно, и красиво!

Э-эх-ма! На что ни взглянешь, непременно свое вспомнишь. Свое родное, российское.

А шляпы?

– Будет вам судачить! – замахал руками на своих собра-

тьев-купцов Степан Твердигов. – Нам смешно смотреть на иноземцев, им на нас – такое уж это дело. Господь Бог не одинакими всех сотворил. У каждого народа свой ндрав, свой обычай. Давайте-ка лучше о торге покалякаем, чтоб нам себя не обидеть. Тут, видать, народ тонкий, пальца в рот не клади! Коли приплыли сюда, так уж чтобы не напрасно... Приехал к торгу, Роман, так увози денег карман. Не дадим себя в обиду. Вот што, братцы мои родные, надобно обсудить.

Купцы призадумались. Словно ото сна разбудил их своими словами Твердигов. Вчера только московских торговых людей посетил один из начальных людей лондонской «Московской компании». Купцы приветливо встретили его. Беседа была дружественная. Англичанин сказал, что «Московская компания», несмотря на козни немцев, поляков и иных недругов Москвы, посылает свои корабли в далекую Московию со многими товарами и военными припасами для московского государя и великого князя, посылает и будет посылать, так как московские люди пришлись по сердцу англичанам. Ее величество королева английская покровительствует добрым отношениям между компанией и московским торговым людом. Ее величество королева благосклонно приняла известие о прибытии в Лондон московских купцов, желает им успеха в делах. Сам Господь Бог помогает английским мореплавателям побеждать стихию во имя дружбы Англии с Россией. Но английский народ понес уже тяжелые потери во время плавания по Ледовитому морю.

«Мы потеряли такого благородного и благочестивого человека, как сэр Хью Уиллоуби. С ним погиб и весь его экипаж. Небесный владыка да вознаградит их на небе за подвиг своими неистощимыми щедротами. Англичане умеют мужественно встречать невзгоды, которые выпадают на их долю при исполнении благих предприятий. Сэр Уиллоуби и его спутники погибли как подлинные рыцари, не пощадившие своей жизни для Москвы. Думается, что русские оценят это и будут встречать наших командоров – советников компании – как своих лучших друзей, готовых на всякие жертвы ради дружбы, согласия и торговой взаимности».

Купцы, которым толмач перевел слова англичанина, земно поклонились представителю «Московской компании».

Присутствовавший при этой беседе Совин ответил от имени торговых московских людей, что его величество царь всея Руси великий князь Иван Васильевич, а с ним вместе и весь русский народ молят Господа Бога о здравии ее величества, сияющей в лучах доброты, мудрой королевы Елизаветы и о благоденствии ее могучей морской державы на вечные времена. Торговые люди Московского государства счастливы тем, что Господь Бог соблаговолил удостоить их прибытием в славную столицу великой и непобедимой Англии.

Когда окончилась церемония этой встречи с представителем английской «Московской компании», старейший из купцов, Поспелов, сказал:

– Будем торговать по-Божьему. Воск, мед, рыба, меха,

пенька искони привлекают иноземцев к нам. Так развернемся же со всею удалью купецкою на лондонском торжище!

– Вот и подумаешь теперь: как, с какого конца и в каком виде начинать торг со здешним народом, – тяжело вздохнул Твердигов. – А начинать надо. Сердце торговое чует, что прибыль будет, дело выйдет... только надо не вдруг, полегоньку: семь раз отмерь – один отрежь.

– Дело говоришь, Степан, – хлопнул Пospelов по плечу Твердикова. – Пора, Господи благослови, торг начинать!.. И к тому же с умом. Нужды нет, что мы в чужой земле, надобно посмелее, нечего нам топтаться на одном месте. Помолимся Всевышнему, да и за дело!

Андрею наскучило слушать длинные разговоры купцов об одном и том же. У него в голове было другое. Ему хотелось знать: как и чем воюют аглицкие люди? Какие у них пушки, ружья, холодное оружие? Какая у них конница? Чем вооружены корабли?

Он очень сожалел, что не знает здешнего языка.

Толмач Алехин, которого послал с Совиным из Нарвы дьяк Писемский, охотно рассказывал ему обо всем, что приходилось им слышать и видеть. Королевские власти не препятствовали русским бывать на рейде. Там царило такое оживление, такая суэта, столько было шума и грохота, что у пушкаря Андрея голова с непривычки закружилась.

Однажды Андрей увидел несколько готовых к отплытию кораблей, к которым с песнями, с веселыми криками отча-

лило от берега в лодках множество вооруженных копьями и мушкетами людей. Одеты они были пестро, не похоже на тех воинов, которых приходилось обычно видеть на улицах.

Алехин шепнул Андрею:

– Королевские корсары... Атаман их, Джон Гаукинс, запугал гишпанцев... Смельчак!

– Стало быть, гишпанцы худо бьются?

– Гишпанцы храбрые, да Гаукинс храбрее их. Многие гишпанские корабли он захватил и добычу богатую королеве привез... Как вихорь носится он по морям и океанам. В дикие страны плавает, земли новые захватывает... К королевству их присоединяет... Озорной!

Гаукинс стоял на берегу в темно-зеленом плаще, накинутом на черный бархатный камзол. Под плащом к поясу прицеплена была длинная тонкая шпага. У колен, под короткими клетчатыми желтыми шароварами, на правой ноге подвязка, окаймляющая чулок, украшенная большим бантом. На нарядных башмаках сверкали большие золоченые бляхи. У него было суровое, мужественное лицо человека решительного, отважного морехода.

Андрей сосчитал, сколько оружия свезли с берега на корабли: сорок луков, сто колчанов со стрелами, сто пятьдесят пик и сотню малых лат. При виде погружаемых на паромы пушек малых, чисто сделанных, Андрей едва не бросился к месту погрузки, чтобы осмотреть их, но Алехин испуганно вцепился в него:

– Стой!.. В кандалы захотел? Нельзя!

Алехин объяснил Чохову, что его могут посчитать соглядатаем, и тогда плохо ему будет.

На воде словно город: куда ни глянешь, везде корабли, баркасы, плоты... Целый лес мачт. На берегу суета сует. Матросы, плотовщики, бурлаки, носильщики шныряют между наваленными кучами мешков, высокими штабелями ящиков... крик, ругань, резкие пронзительные сигнальные рожки. А надо всем этим с визгом носятся чайки.

Подошедшие сюда же московские купцы с ужасом и содроганием вдруг увидели два больших корабля, приставших к берегу, сплошь заваленных связанными по рукам и ногам черными людьми. Многие из них были в цепях, издававших неприятный лязг при каждом движении несчастных пленников. Когда их стали выгружать на берег, московским людям бросились в глаза растертые цепями и веревками раны, покрывавшие черные тела этих людей. Одетые нарядно, с золотыми украшениями на одеждах, погонщики стегали хлыстами тех, которые не могли подняться с места.

– Да, Господи, что же это такое? – шептали дрожащими от волнения губами московские гости.

Находившийся около них толмач Алехин объяснил им, что это – невольники, захваченные английскими корсарами на островах в море и привезенные в Лондон на невольничий рынок для продажи. Многие корсары от этой торговли разбогатели и стали знатными людьми в Англии.

Слушая это, старик Погорелов тяжело вздохнул, перекрестившись:

– Страсти Господни! Куда мы попали!

А мимо все шли и шли толпы несчастных невольников. Только у матерей не были связаны руки, ибо они держали у себя на груди малых детей.

Один из лондонских зевак сказал Алехину, указывая на женщин с детьми:

– Дети на рынке дорого ценятся...

Сквозь слезы испуганно озирались по сторонам пленники английской королевы.

Крики озверелых корсаров, свист бичей сливались со стонами невольников. На набережную сбежалось множество любопытных. Они с интересом заглядывали в лица пленников, забегая вперед. Некоторые шутили, подсмеивались над наготою и неуклюжестью опутанных цепями островитян. Видно было, что лондонский обыватель уже привык к зрелищам такого рода.

– У нас купцы не торгуют людьми, – с сердцем плюнул на землю Погорелов, – у нас церковь не позволит это.

Его товарищи, ворча и вздыхая, пошли вслед за ним прочь, чтобы быть подальше от «сего безбожного дела».

– Наша церковь, – сказал англичанин Алехину, – усердно возносит молитвы Всевышнему о том, чтоб Англия была владычицей морей и народов. Она молит о том, чтобы все острова, разбросанные по морям, были нашими, но попы у

нас, однако, недовольны своей судьбой... Они считают себя обиженными королевской властью... Они плачут, жалуясь на бедность. Они осуждают нравы при дворе ее величества...

Дальше он, немного помолчав, заговорил уже шепотом:

– Папские священники навязывают нам латынскую веру, кальвинисты – свою. А королева тем временем землю у церкви прибирает в свои руки. Свара у нас идет великая... Снаружи все спокойно, а...

Тут кто-то подошел к ним. Англичанин быстро исчез в толпе.

Шепотом Алехин сказал Андрею:

– Болтают матросы, будто в самом дворце королевы – пристанище безбожников... Будто сама королева ничему не верит.

Андрей испуганно взглянул на него:

– Как же это так?

– Папа латынский проклял ее...

Андрейка скрытно от взоров людских перекрестился.

– Дай, Господи, много лета государю нашему! Не такой он. Хорошо у нас в Москве...

Прогуливаясь по берегу Темзы, оба незаметно вошли в Чарингкросс, деревню между Лондоном и Вестминстером, расположенную на самом изгибе Темзы.

– Давай-ка присядем, парень, отдохнем да Москву вспомним.

Алехин, бывавший и раньше в Англии, указал рукою на

скамью около небольшого здания в стороне от дороги.

– Сядем вот здесь, у охотничьей избы, что королус Генрих построил на память о своей женитьбе на Анне Болейн, которую потом он же и казнил.

Алехин рассказал Андрею о лютой борьбе, какую вел Генрих VIII с римским папой и императором германским.

– Всех, не желавших признавать короля в достоинстве главы церкви англицкой, повелевал он вешать. Многие духовные претерпели сие несчастье, между которыми главнейший был Томас Морус, государственный канцлер. Он написал книгу... В ней он говорил о справедливых законах, о том, что все на земле должно быть общим, говорил о том, что всем надо трудиться... Лорды и богачи ненавидели Моруса... Его обвиняли в измене родине, в союзе с папой. Папу король объявил государственным неприятелем. Томас Морус, человек весьма ученый, умер гордо, с шуткою. Как приблизился он к лобному месту, то сам положил голову на плаху, и, приметя, что длинная борода его свесилась, он попросил палача прибрать бороду, чтобы она осталась невредимою. «Какая тому причина, – спросил его палач, – ты заботишься о бороде, тогда как тебе сейчас отрубят голову?» – «Мне нет в том нужды, – ответил ему Морус, – но ты должен так сделать, чтобы не обвинили тебя, как не разумеющего своего ремесла, ибо тебе велели отрубить мне голову, а не бороду».

Андрей ужаснулся, выслушав повествования Алехина.

– Может ли то быть, чтобы и здесь казнили людей? – ска-

зал он.

– Король Генрих и дочь его королева Мария много сгубили людей понапрасну... При королеве Марии токмо о кострах да виселицах и говорили и прозвали ее Кровавой.

– Чего же ради государя нашего, батюшку Ивана Васильевича, соромят в чужих землях, называя его сыроядцем, душегубом? – воскликнул удивленно Андрей. – И тут, стало быть, без пролития крови не живут...

– Нет такого государства, где бы не проливалась кровь либо за измену, либо за воровство, либо по изветам худых людей... – ответил Алехин.

После этого оба некоторое время сидели в молчаливой задумчивости.

– Эх-ма! – с великой тоской на лице вздохнул Андрей. – Далеко мы заехали. На Кремль теперь хоть бы разок глянуть... на Москву-реку... Отдохнуть бы душой! Не знал я, што тосковать буду.

– Што ж ты! Аль раскаиваешься?

Трудно было ответить на этот вопрос. И любопытство-то разбирало – хотелось побольше увидеть и узнать всего. Очень приятно сознавать, что ты побывал в чужих краях, много видел нового, о чем в Москве и понятия не имеют, но и мысли о Москве, об Охиме, о Пушечном дворе не покидают ни на минуту.

Оживился парень вновь, только когда подошли к знаменитому «Бесподобному дому» с удивительным подъемным

мостом. Андрей с любопытством стал рассматривать мост. Мудреное дело: площадка на середине моста поднимается для прохода кораблей в лондонскую гавань Квинхайт. И дом-то построен, как говорят, в голландской земле. В Лондон привезен будто бы частями и здесь собран; и крепили его деревянными гвоздями... Любопытно очень! Рассказать будет о чем в Москве, но тут же опять невольно приходят на память маленькие бревенчатые мосты близ Пушечного двора. Так бы, кажется, и улетел туда.

– Што же ты задумался? Отвечай.

Андрей посмотрел на Алехина с растерянной улыбкой.

– Не жалею я, што батюшки государя волю исполняю, токмо чудно мне... не знаю, как и ответить.

Алехин вздохнул.

– А я бы и не вернулся, пожалуй... Так бы здесь и остался... Опоганили Русь царские приспешники... Малюта, Басманов, Васька Грязный... штоб им пусто было. Бр-р-р. Тьфу!

Алехин сердито замотал головой и с сердцем сплюнул.

– А государя-батюшку Ивана Васильевича любишь ли? – спросил, едва дыша от волнения, Андрей.

– Люблю батюшку государя, как бы отца родного... Мудрый он. И родину люблю... А посему никогда и не покину ее. Пускай на плахе буду, а родине не изменю.

– Когда так – не хули и его слуг. Коли он мудрый, стало быть, они ему надобны, не всеу он их держит и холит, а для пользы. Василь Григорыч – плохой человек, и обиды многие

претерпел я от него, да токмо Бог с ним. Лишь бы царю верно служил.

– То-то и оно, што кривою он служит. Воры они с братом и лгуны.

– Бог правду видит, да не скоро скажет. Я так думаю: худо им будет, накажет их Бог. Как ни хитри, а правды не перехитришь. Мы свое дело должны без кривды делать.

Алехин промолчал. Угрюмо глядел он на реку, где белели парусники и сновали лодки перевозчиков.

Вдоль берегов сквозь мглу тумана выделяются домики – коттеджи в два житья, покрытые красною черепицею. На крышах маленькие чердачки. Около дверей – палисадники. В домиках большие многоцветные итальянские окна. Кое-где большие, с башенками, мрачные, похожие на крепость каменные дома. Слышны крики рабочих, нагружающих на баркасы корабельные снасти.

День пасмурный, серый, неприветливый. Холодок забирался под одежду, вызывая озноб. Туман сгущался, полз ниже и принял желтоватый цвет. По реке громадные, какими-то воздушными призраками, медленно прошли военные корабли.

– Пойдем-ка домой, – сказал Андрей.

Алехин продолжал сидеть, пока Андрей не дотронулся до него.

– Ну, идем!.. Ладно. Парень ты хороший. Любо мне с тобой беседовать. От наших дьяков слова живого не услы-

шишь. Изолгались, чувства человеческие потеряли... честолюбцы. Ладно. Идем... – поднялся со скамьи Алехин. – Смотрю я кругом на все – и чудно мне все как-то... Жизнь тут веселая... Суеты много... а не мог бы я тут жить... У нас смирнее, тише жизнь – есть много времени, чтоб помолиться, подумать о себе да о людях, попоститься, потосковать, а потом и повеселиться... пображничать. Э-эх-ма, люблю тебя, матушка Русь! – У Алехина на глазах навернулись слезы.

Обратный путь держали другой дорогой. Алехин сказал Андрею:

– Вчера меня один поляк, словно обухом по голове, своими словами ошарашил – князь Андрей Михайлович Курбский-де отъехал в Литву. Царь хотел казнить его, четвертовать за то, што он побит поляками под Невелем, а он бежал. Сказывал тот человек также, будто в Москве народ бунтует; на всех улицах виселицы... Царь и Малюта будто бежали куда-то из Москвы.

– Врет поляк, – сердито проговорил Андрей. – Не верю. В Антерпе тоже болтали, будто турецкий султан Москву сжег... будто и царь наш убит, а на деле вышло, что того и не было. Из Москвы в Антерпу приплыли купцы, сказывали: ничего того и нет... Изветы ворогов, Москва землю переживет, вот што!

– Да уж давно я слышу, будто Курбский передался на сторону Литвы... Поверить тому можно... С Колыметами дружбу он свел, а это плохой знак. Колымет ненадежен.

– Коли то правда, лучше бы князю тогда и на свет не родиться. Проклянет его народ на вековые времена...

– Проклянут, да не в том дело! – вспыхнув от волнения, возразил Алехин. – Андрей Михайлович – умный и честный воевода... Так народ о нем думает. Его почитает вся Русь. Вот в чем дело.

– И я его любил, да после того, как он изменил, знать я его больше не хочу. Не наш он. И народ его разлюбит.

Алехин ничего не сказал, нахмурился; только когда стали подходить к дому, проговорил, тяжело вздохнув:

– Теперь Малюта доберется до всех, кто дружил с князем. Он расторопен в заплечных делах. Как пес, поди, обнюхивает и облизывает всех. – И, немного подумав, добавил: – Да и то сказать: и без Малюты нельзя... Э-эх, Господи! Вся жизнь на крови строится... Как злодей Каин убил Авеля, так и пошло с той поры.

Андрей с любопытством наблюдал за рыбаками, сидевшими на берегу Темзы с удочками. Неподвижные, серьезные, они со стороны казались неживыми. Тут и старики, и молодежь, и дети.

– Любимое занятие у них сидеть целыми днями над водой, – усмехнулся Алехин. – То ли дело таскать рыбу бреднем, как мы у себя на реке.

Дорогою повстречался Алехину знакомый человек, служивший писарем в «Московской компании». К нему обратился Алехин с просьбой проводить их к Лондонской баш-

не³⁵, о которой приходилось Алехину много замечательного слышать от приезжавших в Москву моряков и купцов.

Договорились на следующее утро собраться всем вместе и совершить прогулку, чтобы осмотреть Внутренний и Внешний дворы этой прославленной в веках крепости.

Алехин с большою похвалой отзывался об этом англичанине, имя которого Генри Куртес.

– В той башне, – сказал Алехин, когда они снова остались одни, – сидело в заключении много людей королевского рода и вельмож, и даже сама нынешняя королева Елизавета... Много там казнили и уморили в казематах именитых бояр... А построена она четыре сотни лет назад...

Слушая рассказ Алехина, Андрей сказал:

– А ты Малюту порицаешь... Гляди, как тут! Королеву – и ту сажали в крепость... Не слыхал я што-то, чтобы у нас так-то... Да и башни-то у нас такой нет...

– Нет, так будет!.. Обожди, цари построят...

Алехин насмешливо посмотрел на Андрея.

Однажды Совин собрал купцов и объявил им, что по случаю происшедших между аглицкими и фламандскими купцами несогласий королева Елизавета повелела таможенным своим сборщикам наложить необычайную пошлину на ввозимые в Англию фламандские товары. Правительница фламандская отдала подобный же приказ у себя в государстве.

³⁵ Тауэр.

Совин потирал руки от удовольствия, поздравляя московских торговых людей.

– Пора, железо куй, поколе кипит! – сказал он.

– Оно так, ваше степенство, – с усмешкой отозвался Поспелов. – Торговля кого выручит, а кого и выучит.

– Секретарь «Московской компании» сегодня днем ожидает вас в своей Торговой палате.

Вздохнули купцы. Город аглицкий велик, а московскому гостю тесно, развернуться негде. Русский торг любит простор, а на кой ляд купцам Торговая палата? Были уж один раз в ней, когда высадились с кораблей. Были, послушали, что люди говорят на своем языке. Много кланялись. Алехин старался на русскую речь перекладывать аглицкие слова, а все равно ничего не поймешь. Одно ясно – московских людей здесь уважают, встречают с почетом.

Это пришлось по душе.

«Ну что ж! Сходим еще раз».

Когда купцы после обеда отправились в Сити³⁶, они увидели недалеко от дома Торговой палаты толпу народа.

Полюбопытствовали. Толкнули в спину Алехина, чтоб разузнал, в чем дело.

Оказалось, в Сити изволила жаловать сама королева Елизавета. С минуты на минуту она должна была прибыть к месту, где собрались для прощания с королевой аглицкие купцы, отплывавшие за океан в Новый Свет. Оттуда они должны

³⁶ Торговый центр Лондона.

привезти несметные богатства... С ними поплывет Гаукинс...
Ему поручено грабить испанцев...

Послышались торжественные звуки медных воинских труб и грохот литавр.

Алехин прошептал: «Вон, вон, глядите!»

Из-за угла громадного здания на улицу тихим шагом выехали десять всадников с алебардами.

За ними на высоком белом коне, покрытом бархатной пурпурной попоной, сидя боком в роскошном золоченом седле, появилась и сама королева, стройная, величественная. На ней было богатое, пышное платье, на голове украшенная бриллиантами корона.

Словно из-под земли выскочили десятка два закованных в латы воинов, вооруженных копьями.

Купцы, уплывавшие за океан, выстроились у стремени венценосной всадницы. Они были одеты в длинные, широкие, черного цвета одежды. Тут же находился и Гаукинс.

Там, где ступали копыта королевского коня, купеческие слуги расстилали ковры.

Толпа обнажила головы. Сняли свои шапки и московские торговые люди. Стали следить, затаив дыхание, за тем, что будет дальше.

День был солнечный – слепила глаза пестрота многоцветных одежд, блеск драгоценных камней, сверкание оружия окружившей королеву свиты.

В толпе московских купцов появился главный агент

«Московской компании» Вильям Барро, подошел к ним и сказал, что он постарается представить их своей королеве.

Струхнули было купцы, но Алехин их успокоил: королева доброжелательна к московским людям и царя Ивана Васильевича уважает. Когда так, оправили на себе одежду, расправили бороды, прошептали про себя молитву Господню. Приготовились.

– Куда же это они собрались? – спросил Алехина Поспелов. – В толк я не возьму.

– Земля новая объявилась позади окяна... туда и поплывут. Новая земля – так ее прозывают, Новый Свет!.. Там очень много золота, много богатств...

– Далече ли она отсюда? – спросил Юрий Грек.

– Бог знает!.. Говорят, вдоль земли всей плыть надо, – ответил Алехин наобум.

Большее удивление вызвала у купцов смелость аглицких людей: неведомо куда люди плывут – знать, доходное дело! Зря не поплывут.

– Гляди, как красавица королева с ними ласково беседу ведет...

– Она к торговым людям милостива, – заметил Алехин, – купцы хвалят ее... Да и польза ей от того, и немалая.

Наконец, когда проводы были закончены, к Алехину подошел Вильям Барро, красный, взволнованный, и сказал: «Ее величество соизволила пожелать видеть московских гостей».

Двинулись робко, со смирением, низко поклонились королеве на ее приветливый кивок головы.

Она спросила о здоровье государя Ивана Васильевича и пожелала успеха московскому торгу.

Поспелов, выйдя вперед, благодарил королеву за гостеприимство и доброе слово о батюшке государе.

Но вот опять забили литавры, загудели трубы. Королева повернула своего коня. За нею двинулась и вся ее свита.

Вечером в дом, где остановились московские люди, приехал Вильям Барро. Он сообщил, что королева благословила «Московскую компанию» на отправку в Нарву новой флотилии торговых судов, и затем поздравил московских гостей с милостивым обхождением с ними королевы.

По просьбе купцов Алехин задал Вильяму Барро вопрос: – Почему в Лондоне так шумно и весело, разве их вера не запрещает праздности, гусель гудения и лицедейства?

На это Вильям рассказал следующее.

Был такой суровый протестант, который осуждал лондонские нравы. Имя ему Кальвин. Жил он в Швейцарии. Когда доложили о том королеве, которая не любила Кальвина за суровость, она сказала:

«Кальвин сделал реформацию для самого себя, согласно с нравом своим, но не обязан весь свет согласиться с суровостью его. Он придумал столь печальный обряд богослужения, что собрания реформаторов походят более на темницу, наполненную преступниками, нежели на собрания бого-

мольцев. Пророки учили служить Богу с весельем. Они писали: „Хвалите его в тимпанех и гуслех, хвалите его в струнах и органе! Хвалите его в кимвалах dobroгласных...“ Как же можно следовать суровым порядкам, навязываемым Кальвином?...»

С этого дня купцы стали частыми гостями «Московской компании», которая помещалась в большом богатом каменном доме. Одно крыло этого дома высоко поднималось над остальной частью здания, образуя широкую четырехугольную башню, окаймленную тупыми зубцами на вершине. Внизу, у основания башни, был широкий с куполообразным вырезом над воротами вход, закрытый тяжелыми железными дверями. Одно за другим поднимались три больших окна в мелких квадратных стеклышках. Все здание вместе с башней было окрашено в темно-бордовый цвет. Столетние дубы пышной зеленью обволакивали этот дом.

«Компанию» возглавляло правление из одного губернатора, четырех консулов и двадцати четырех ассистентов.

Московские торговые люди были однажды приняты и самим губернатором Уильямсом Герардом. Он приветливо встретил русских гостей, рассказал им, ради какой цели возникла «Московская компания». Главное – желание королевы жить дружно, в добром союзе с московским государем.

Герард сказал, что королеву весьма огорчает, что кратчайшим путем, через Балтийское море, англичанам не удастся наладить торговое мореплавание в Нарву, как бы то ей,

королеве, хотелось. Этому мешает постоянная война за господство в Балтийском море между Швецией, Данией, Польшей, Ливонией и Москвой. Да и немцы данцигские и любекские с некоторых пор начали вредить английской торговле с Нарвою. Ее величество королева Елизавета имеет желание оказать посильную помощь Московскому государству в его борьбе с врагами, а потому купцы английские плывут далеким окружным путем в Холмогоры, везя оружие и иные товары московскому царю.

Купцы, которых сопровождали Совин и Алехин, много раз благодарили за ласковые слова Уильямса Герарда, прося передать свое приветствие и свою благодарность ее величеству королеве Елизавете.

В полумиле от Лондонского моста, на высоком бугре, над Темзой, раскинулась Лондонская башня, эта крепость, занимавшая обширное место от бухты Спасителя до пристани святого Олава.

Толпа москвичей, предводимая англичанином Генри Куртесом, рано утром приблизилась к башне. Андрею, находившемуся в толпе, она показалась каменным сборищем стен, башен, валов, ворот. Чем ближе подходили, тем яснее, величественнее вырисовывались башни, фасады, ворота, угрюмые, покрытые мхом зубцы. Несметные стаи воронья взметнулись и закружили над стенами крепости.

– Вы видите перед собой, – сказал Генри, – жилище му-

жественных королей, могилу благороднейших рыцарей, место веселых, шумных торгов и самых мрачных преступлений. Здесь и тюрьма, и судилище, и дворец. Все тут.

Когда подошли совсем близко, то увидели сильную конную и пешую стражу около ворот и стен крепости.

– Стойте! – сказал Генри Куртес. – Знайте, почва под вашими ногами насыщена кровью более всякого поля сражения. На этой земле текла из поколения в поколение благороднейшая кровь Англии. Вы слышите трубные звуки, бой барабанов? Это происходит учение воинов. Но подобный же шум вы можете услышать, когда совершается публичная казнь или торжественный королевский выезд. Рядом с Лондонской башней, с четырьмя веками ее народной славы, все другие дворцы мира кажутся вчерашними созданиями... Следуйте за мной. Поднимемся повыше – отсюда виднее.

Все покорно последовали за Куртесом.

Расположившись на удобном пригорке, среди кустарников, они приготовились слушать.

– Смотрите!.. Лондонская башня делится на две части: Внутренний двор и Внешний. Внутренний двор окружен стеною с двенадцатью башнями, а Внешний окружен рвом. Вон там сторожевая башня, королевские галереи и покои, монетный двор, сокровищница, но, друзья, чтобы описать вам этот громадный замок, рассказать про каждую башню, понадобится много дней. Я расскажу вам только о том, какое происшествие случилось здесь совсем недавно...

Генри тяжело вздохнул.

– Да. Более двухсот лет топор в Лондонской башне не оставался в бездействии. Вряд ли хотя один год проходил тут без политических убийств... только королева Елизавета до сих пор не пролила ни капли крови... Спят спокойно в Лондоне и в провинциях. Однако я расскажу вам, что хотел... Слушайте! Покойный король Генрих Восьмой женился на красавице Анне Болейн. Но она была не угодна католикам, она не любила папистов... И вот ее оклеветали, обвинив в прелюбодеяниях, в измене королю. В это время король увлекся другой девушкой и решил расстаться с королевой Анной, матерью нынешней королевы. Анну Болейн посадили в крепость, и королева взошла на эшафот, одетая великолепно, и объявила всенародно, что умирает безвинно, по наговору своих врагов. Она хвалила короля, называя его милосердным и благостным, говорила, что подданные его должны почитать себя счастливыми под управлением такого государя. Заметив, что некоторые из придворных дам злобно усмеваются, она обернулась к ним и сказала: «В досаду вам я умираю королевой!» И тут же, преклонив колена, помолилась и положила голову на плаху.

В народе есть слух, будто ее отрубленная голова скакала на эшафоте, делая движения губами и глазами... Так погибла добрая и прекрасная королева Анна. И еще другую жену из-за попов погубил король. На этом же эшафоте и ей отсекли голову.

В грустном молчании выслушали москвичи рассказ Генри.

– Выходит: у вас короли на поводу у попов? Зачем они слушали монахов и рубили головы женам?! У нас царь сильнее духовного чина, – степенно разгладив бороду, с гордостью сказал купец Пospelов.

– Приезжали и к нам латинские монахи, да никто их не слушает... Коли вмешиваться будут в государевы дела, их самих в темницу бросят, – вставил свое слово и Алехин, исполнявший обязанности переводчика в этой прогулке.

Пospelов рассмеялся:

– Э-эх, кабы побывали здесь наши земляки да послушали бы об этой башне!.. Пожалуй, не стали бы пенять на суровость батюшки государя.

Англичанин с интересом выслушал слова своих московских друзей о царе Иване Васильевиче и, хитро подмигнув, сказал:

– Наша королева Елизавета теперь тоже не склонна быть послушною овцою у клириков... Это знают и католики, и протестанты... Когда она взошла на престол, все епископы даже отказались короновать ее. Едва удалось уговорить одного, чтобы он совершил обряд венчания на государствование. Испанский король как ни старался навязать нам католичество вместе со своим папою, королева огнем и мечом отразила их посягательства. Нет у нас врагов навязчивее Филиппа испанского! Он бесится, видя, что в Англии начина-

ется новая жизнь... Он темный человек.

– Бесятся и наши соседи, – сказал Алехин, – видя, как Московское государство растет, делается сильным.

– Слышали мы об этом, – сказал Генри Куртес. – Вашего государя в Англии знают, удивляются, как смело он переделывает Русь. Он бесстрашный человек и большой мудрец военного дела. В Европе боятся его. Говорят о нем страшные вещи, пугают им малые и большие королевства. Против него заговор. Французы договариваются с Швецией отвоевать у Москвы Ливонию, чтобы бороться против Испании... Герцог Альба предупреждает своего хозяина, Филиппа... угроза будто нависает над вассальной Нидерландией... Бойтся он, как бы не вытеснили его французы со шведами из Нидерландии...

– Нашему послу Совину все то ведомо, – хитро улыбнувшись, произнес Алехин. – Королевины министры шепнули ему... Сказывали они, что государыня ваша в сих вопросах остается по-прежнему на стороне Москвы.

Поспелов, краснея, смущаясь, толкнул локтем Алехина.

– Спроси-ка его, пошто у них бабы государством правят? Хорошо ли это?

Алехин, улыбнувшись, перевел вопрос Поспелова. Генри Куртес сначала испугался, оглянулся кругом, потом с жаром ответил:

– Неправедное рассуждение мужчин о женщинах – вот истинный грех! Женщины способны к правлению! Я не знаю,

с каким намерением мужчины столь странно судят о женщинах. Кажется, что это происходит оттого, что святой Павел запретил женам служить в церкви, из чего и заключили, будто пол сей к государственному правлению не способен. Гишпанцы называют женщин «донна», что означает «госпожа». Римляне узаконили, чтобы мужчины уступали женщинам правую сторону. Греки заимствовали в сем поле имена муз своих и Минервы, богини наук и художеств. Три первые части света: Европа, Азия, Африка носят на себе имена женские. Царица Савская известна всему миру. Ушел ли кто когда в науке красноречия более Маркеллы? Превзошел ли кто в знании языков Евпаторию? Дабы доказать, что женщины способны к делам важнейшим, если бы мы и не имели другого примера, кроме королевы Елизаветы, довольно было бы и сего, – закончил Генри Куртес.

Когда Алехин перевел ответ англичанина, купцы переглянулись между собой с великим удивлением. В глубине души они никак не могли допустить, что женщины могут править царством, как и мужчины.

– Э-эх-ма, каких только людей нет на свете! – вздохнул Поспелов, сокрушенно покачав головой.

– Баба и есть баба... как уж ты ее ни верти. Вона я своей Аграфене сшил новую шубу с бобром, а она ферязь бархатну требует да летник, золотом шитый. Пришлось розгами поучить, – молвил, гневно сверкнув глазами, Юрий Грек.

– Спаси Бог бабе волю дать... – угрюмо проговорил купец

Тимофеев. – А все ж ты ей ферязь и летник купил! Я знаю. Не скрывай!

– Ничего не поделаешь... Слаб! – почесал затылок Юрий Грек...

Распрощались с Генри Куртесом дружелюбно.

– Хороший мужик, – сказал ему вслед Пospelов, – разговорчивый...

В доме, где стояли пушкари, в верхнем житье, поселился и Керстен Роде со своими друзьями. Там было постоянное веселье, шум, пляски.

У Керстена Роде нашлись в Лондоне старые знакомцы, мореходы. Он с ними часто уплывал в шлюпках на корабли, стоявшие на якоре в гавани. Почти ежедневно вместе с толпою датчан он уходил в таверну. Этот тайный кабачок приютился на самом берегу гавани среди гор бочонков, мешков и ящиков.

Однажды он вернулся из своих походов с большим синяком под глазом. Когда Алехин спросил его, откуда этот синяк, он ответил:

– Это доказательство того, что на суше честным людям нечего мечтать о счастье.

Из дальнейших его слов все поняли, что Керстен Роде пострадал из-за чужой жены и что ему пришлось сражаться с мужем, двумя братьями и двумя другими родственниками этой женщины. Бой был неравный.

– Все они олухи и невежды, так как не знают, на кого напали. Керстен Роде раньше, чем не выбьет зубы обидчикам, не сядет на корабль.

Обнаружилось и еще одно место, где часто пропадал Керстен, – биржа. Алехин водил туда и Андрея. У парня голова закружилась от великого, шумного сблища, в самую гущу которого втиснулись они. Здесь им попался Керстен Роде, весело беседовавший с такими же, как он, темными людьми, только что прибывшими с богатой поживой из заокеанской земли Гвинеи. Они были черны от загара. Белки их глаз сверкали весельем, живым блеском, лица сияли счастьем. У многих коричневые от загара руки были в перстнях, браслетах, а оружие украшено золотом. Они торговали награбленными у индейцев драгоценностями. С явной завистью рассматривал все это Керстен, спрашивая, где и что добыто.

В свою очередь, его друзья интересовались, какова служба у московского царя.

– Я не знаю другого такого государя, кто бы так уважал мореходов, как этот владыка. Если честно ему служить, в убытке не останешься, – ответил Роде.

– Самое трудное – служить честно. Если бы мы были честными людьми, то наши государи обнищали бы, – сказал один из его приятелей, корсар Спик, и добавил: – Подумай над этим. Что бы стали делать наши короли без корсаров?! Грабежи, убийства и поджоги не могут бросить тени на наше звание... Френсиса Дрейка королева возвела в достоинство

баронета... За что?! За то самое... Понял?!

Керстен Роде задумался, омрачился, но, смешавшись с толпой, снова стал весел и любознателен, как всегда.

Кого только тут не было! Солдаты, вернувшиеся из Фландрии и Ирландии, солидные граждане, адвокаты, священники, знатные люди со своею свитою, джентльмены, мастеровые, подмастерья в своих плоских шляпах, дамы и девушки из Сити, рыбаки, повара. Посещавший московское посольство мистер Ноэль рассказал Алехину, а тот перевел его слова Андрею, очень забавные истории про уличную жизнь Лондона.

– У нас весело, – сказал Ноэль. – Зачем уплывать? Нам хочется жить. Ее величество королева дает нам пример, как надо жить... Замок королевы Уайт-холл³⁷ – источник неумирающей радости.

Один англичанин рассказал Алехину о том, что сегодня опять ожидается много кораблей с невольниками из Африки.

– Торговля неграми, – сказал он с торжествующим видом, – обогатила много господ. Я сам хочу заняться этою выгодною торговлей.

Андрей покачал головою недоброжелательно, когда Алехин перевел ему слова англичанина.

– Они язычники... Черные... Они не такие люди, как мы... – брезгливо произнес англичанин.

³⁷ Белый дом.

Андрей долго не мог успокоиться. Ответ англичанина только еще более возмутил его.

На бирже Андрей и Алехин встретили Степана Твердикова и Юрия Грека. Их окружила толпа маклеров. Купцы держались степенно, слушая перебивавших друг друга биржевиков. Толпа любопытных тщательно осматривала наряды московских гостей. Зевак в веселое настроение приводили длинные теплые кафтаны купцов, их шляпы, сапоги. Московские люди не обращали на это внимания. Они сами были невысокого мнения о куцых одеждах англичан. Они углубились в дело.

Андрей предложил Алехину подойти к купцам, помочь объясниться с биржевиками.

Но когда они приблизились, Твердиков и Юрий Грек замахали на них руками.

– Идите с Богом! Обойдемся без вас, – крикнул Твердиков.

– Ну что же, отойдем, коли так. Не будем мешать. Гляди, как они горячатся, стало быть, без слов понимают, в чем дело.

Вечером Твердиков признался, что весьма выгодно продал свои беличьи меха.

– Не ошиблись, – подтвердил Юрий Грек.

– Торг тут богатый, – промычал Твердиков, ощупав деньги в кармане. – Вот кабы Никита Шульпин поехал, нажился бы...

В общей беседе, за кружкой пива, языки у московских гостей развязались. К великой досаде, купцы узнали, что больше всех остался в барыше молодой Коробейников. Где он пропадал и когда распродал свои товары и закупил себе шерсти аглицкой, никто не видел.

– Ну и рыжий бес, ловко, молокосос, нас объехал... – рассмеялся Тимофей Смывалов. – Изрядно слукавил. Весь в своего батьку.

Коробейников смиренно ответил:

– Батюшка моей матушки говорил батюшке: Бог милостив, не обидит тебя за твою совесть. Таких совестливых людей, как мой батюшка, не разыщешь во всем мире. Так говорит моя матушка.

– Мели, Емеля, опять батюшка» да «матушка». Знаем мы твоего батюшку!

– Ну и ладно!

– Господь с тобой! Спасибо, однако, и «Московской компании». Знатно помогли нам продать. Хорошие люди.

– Мой батюшка говорит: «Всякая птица своим носом съта».

– Как в гостях ни весело, а дома веселее, – сказал Иван Иванович Тимофеев. – Пора собираться домой...

– Золотые слова, дядя Иван, – произнес с сияющим лицом Коробейников.

IV

Охима проснулась от сильного шума и крика. Быстро одевшись, выбежала из избы. В страхе попятилась, невольно закрыв лицо руками: горела Печатная палата.

Жарко, дышать трудно! Изнутри, спасаясь от огня, выбегали друкари, вытаскивая на себе ящики с печатными книгами и типографским добром. Сам Иван Федоров, окруженный огнем, высокий, лохматый, выбрасывал из окна недавно отпечатанные книги «Апостола».

Снизу кричали его товарищи, чтобы он скорее выходил, не то сгорит, но он бесстрашно продолжал бросать книги во двор.

Вот уже пламя пробилось сквозь крышу, и в морозном воздухе, исторгнутые огнем, понеслись ввысь, в клубах дыма, горящие куски бумаги, тучи искр, застилая небо зловещим темно-красным заревом.

Друкари схватили багры и бады, которые им принесли прибежавшие на пожарище соседи. Охима вместе с татаринном-воротником принялась оттаскивать в сторону горящие доски и балки. Пламя осветило прискакавших к пожарищу стремянных стрельцов. Были пущены в ход копья. Стрельцы разламывали ими заборы и соседние сараи, чтобы огонь не пошел дальше.

Выбежавшего из палаты Ивана Федорова друкари обли-

ли водой, стали обтирать снегом. Лицо его почернело от копоти. Дрожащими губами шептал он молитву, в растерянности и отчаянье следя за тем, что происходило перед глазами, потом сел на один из ящиков и заплакал. К нему подошел Мстиславец, обнял его, стал утешать.

Вскоре прискакал с толпою стремянных стрельцов Малюта. Он скинул с себя шубу и принялся, как и все, тушить пожар.

Охима, глядя на Ивана Федорова и Мстиславца, забилась в кустарник, залившись горячими слезами.

Иван Федоров тихо повторял: «Господи, Господи, за что же это? Чем мы прогневали Всевышнего?»

Двое стрельцов приволокли к месту пожарища какого-то бродягу, у которого руки оказались опаленными, а весь он был пропитан маслом, что льют в светильник.

Малюта, усевшись на ящик, стал допрашивать бродягу: кто он, чей, зачем шляется в поздний час ночи, коли то строго-настрого заказано московским людям. Бродяга прикинулся слабоумным, а когда Малюта, накалив неторопливо в огне копье, хотел приложить его к спине бродяги, тот стал божиться, что он ничего не знает и вообще зря его задержали... У него нет ночлега, а пришел он с Ветлуги, чтобы работы искать в Москве.

– С Ветлуги? – переспросил Малюта, остановив на нем свой ледяной взгляд. – Стало быть, из-за Волги?

– Из-за Волги, батюшка боярин, из-за Волги.

– Уж не знаешь ли ты кого-либо из заволжских старцев? Нестяжателей?!

– Не ведаю, што за люди... Никоих старцев, убогий яз, не ведаю... Уволь, добрый человек, не допрашивай!.. Не ведаю яз ничего.

– Что ж! Мы покалякаем с тобою еще того дружнее, по душам... Возьмите его!

Стрельцы схватили бродягу и повели в Кремль.

Охима видела, как он упирался, пытаясь вырваться; сердце подсказало ей, что Печатная палата подожжена врагами царя. Не раз уже лиходеи пытались сжечь ее. А сколько сплетен и вранья ходило про Печатный двор как про «сатанинскую хоромину»!

Она искренне пожелала Малюте выпытать у бродяги, кто виновник того пожара. Она сама заколола бы того злодея копьем либо зарубила топором. Никакой жалости к тому врагу у нее нет.

На рассвете пожар утих. От Печатной палаты остались одни развалины. Пахло едкой гарью от смоченных водою тлеющих бревен.

Иван Федоров, как неживой, сидел на ящике, низко опустив голову. Около него высилась груда спасенных от огня книг «Апостола».

Порозовело небо на востоке. Колокола в Кремле звали богомольцев к утрени. Застучали колеса телег по обмерзшим бревнам Никольской улицы. Калики перехожие ныли на па-

перти, предрекая неурожай. Худобрюхие псы робко подбирались к пожарищу, обнюхивая воздух; нищие сошлись к месту пожарища, нороя чем-нибудь поживиться. Сторожа гнали их дубьем, и все-таки убогие лезли упорно, надоедливо. Охима бросала в них кирпичами, сердитая, пышущая гневом, стараясь хоть на них сорвать зло.

Мстиславец озабоченно, деловито осматривал спасенное от пожара типографское добро. Кое-какие станки удалось вынести из огня; буквицы были полностью спасены. Книги многие сгорели, многие обгорели, только малая часть их сохранилась в исправном виде.

Иван Федоров, сразу поблекший, осунувшийся, вздрогнул от ударов в колокол на ближней церкви святого Николая, поднялся, перекрестился на все четыре стороны.

День предвещал быть ясным, погожим.

Старый Ахмет снял шапку, погладил свою голую голову, взглянул слезливо на небо, прошептал что-то... Морщинистое лицо его выражало неутешную печаль.

Друкари стояли около обгорелых развалин типографии мрачные, молчаливые, словно люди, потерявшие близкого человека, над его могилой.

«Что теперь делать?» – у всех в голове один вопрос.

Иван Федоров осмотрел свою полусгоревшую одежду, отряхнулся, грустно покачал головой.

– Надобно идти к Борису Федоровичу, бить челом... Э-эх! Не уберегли!..

– Его нету в Москве... С государем уехал, – сказал кто-то. Еще мрачнее стало лицо первопечатника.

– Куда идти?.. Кто поможет, коли батюшка государь отъехал из Москвы? – произнес тихо, упавшим голосом Иван Федоров и сам ответил себе: – Никто! Не к кому идти. Кругом недруги!

Лютая пытка заставила бродягу признаться, что поджигали Печатную палату несколько человек и он с ними, а привел их на тот Печатный двор некий заволжский старец Зосима, и прячется тот Зосима тайно в доме стрелецкого сотника Истома Крупнина, а где прочие бродяги-поджигатели, ему, убогому, неведомо, чтобы их Господь покарал: ничего не заплатили ему, убогому, и скрылись!

Малюта послал стрельцов под началом Григория Грязного к Истому Крупнину, чтобы привести в Пыточную избу того старца, что скрывается в доме сотника.

Нежданно-негаданно дом стрелецкого сотника с гиканьем и руганью оцепили грязновские молодчики. Дело было под вечер. Анисья Семеновна собиралась идти к службе в соседний храм.

– Дочка, прячься скорее! – крикнула она.

Феоктиста в страхе убежала в сенцы, спряталась в чулане.

«Батюшки, светы вы мои, што же это такое? Што за беда на нас свалилась?» – прошептала Анисья Семеновна, когда в дверь посыпались удары множества кулаков.

Маринка открыла дверь.

В горницу ввалились, толкая один другого, вооруженные люди. Впереди всех Григорий Грязной.

– Где Истома? – крикнул он что было мочи.

– Полно шуметь тебе, Григорий, чай, я и так слышу, – вразумительно произнесла Анисья Семеновна. – Нешто тебе неведомо, што он с государем?

– Мы присланы к тебе Григорием Лукьянычем. Вы скрываете вора и разбойника, заволжского бродягу Зосиму. Подайте нам его сюда!..

– Странник он, недужный, мы и приютили его...

– Давай, говорю, нам его сюда! – грубо крикнул Григорий.

– Он почивает... Не буди его. Токмо утресь и пришел к нам с богомолья...

– Где он почивает? Указывай!

Анисья Семеновна повела Грязного с товарищами в маленькую горенку, где спал Зосима.

Грязной, подойдя к спящему старцу, сказал:

– Ну-ка, Господи благослови! – и со всей силой хлестнул его кнутом. – Вставай, Божий человек, дело есть!

Зосима в испуге вскочил, ничего не понимая спросонья; застонал, почесывая спину, плюнул в Грязного.

Грязной еще раз со всего размаха хлестнул его кнутом.

– Одевайся, пес смердящий, пойдем в гости к Малюте Скуратову... Убил бы я тебя своей рукою, да живьем приказано доставить! Жаль!

Зосима встал, оправил на себе одежду, помолился и, обернувшись к Грязному, еще раз плюнул в него.

Григорий сбил с ног старца и начал топтать его ногами.

– Пстой, Григорий Григорыч!.. Лукьяныч осерчает... Полно тебе! Опосля добьем! – стали оттаскивать Грязного его товарищи от лежавшего на полу старца. – Живьем доставим его Малюте.

Побледневший, трясясь от злобы, Грязной плюнул на Зосиму, проворчав:

– Свяжите сукиного сына да на коня!..

После ухода грязновской ватаги Феоктиста, напуганная, трепеща всем телом, бросилась матери на шею:

– Погубят они нас с тобой!.. Что же батюшка наш не едет? Пошто он покинул нас?! Несдобровать теперь нам! Кругом лихие люди! Господи!

– Полно кручиниться! Бог милостив, касатка моя. Приедет батюшка, не убивайся... заступится он за нас, за горемышных...

– А кто же теперь за нас заступится, коли его нет! Сгубят они нас, душегубы, сгубят! – не унималась Феоктиста, захлебываясь от слез...

Тем временем Зосиму уже доставили к Малюте на Пыточный двор.

– Вот он, всей беды заводчик!.. – торжествующим голосом крикнул Григорий, вталкивая в застенок полуживого старца. Малюта исподлобья, внимательно оглядел Зосиму.

- Чей ты? Не бычись, тут все свои люди... Ну!
- Христов слуга я.
- Пошто сжег Печатную палату? Помешала она тебе?
- Сатанинскую хоромину пожег огонь Божий...
- Посмотри на сего проходимца... Знаешь ли ты его?
- Знаю...
- Кто он? Чей?
- Бездомный нищий...
- Давал ты ему деньги?
- Давал.

Малюта с усмешкой взглянул на бродягу, покачал головой.

- И другим своим бездомовникам давал?
- Всем Христовым именем помогаю... всем беднякам! Всех праведников оделил... Не скупился на святое дело.
- А и где ж ты казну ту получаешь?
- Господь Бог слуг своих милостию не обходит. В Москве денег много... На всех хватит.
- Кто дал тебе деньги?
- И ни царь, и ни ты, а кто – не скажу. Убей – не скажу!
- Пытать буду!
- На кнуте далеко не уедешь. Пытай! Райский венец при-
му подобно награде.

Малюта велел всем покинуть Пыточную избу. Остались только он, Малюта и два ката.

Нечасто приходилось Малюте встречать таких упорных,

бесстрашных людей. Никакой огонь, никакие мученья не смогли вынудить у Зосимы выдачи сообщников, помогавших ему деньгами... Наладил: никого он не знает, никого у него нет друзей, круглый он сирота, одинокий, всеми покинутый. Об одном заявил дерзко и гордо – что он вассиановец и дал Богу клятву до смерти быть лютым врагом иосифлян.

После пытки стрельцы поволокли потерявшего сознание Зосиму в земляную тюрьму, куда сажали преступников перед казнью. Кинув вслед удаляющимся стрельцам, Малюта хмуро произнес:

– Скрывает он... Чую недоброе... Подлинные заводчики за его спиной... Он – глупец, невежда! Государь приказал беречь его для медвежьей потехи...

Вошел Григорий Грязной.

– Ладно ли, Лукьяныч?

– Молчи! – тяжело вздохнув, покачал головой Малюта. – Давай рассудим: как же он попал в дом к Истому?

– Ты ли меня спрашиваешь? – рассмеялся Григорий.

– Што я знаю, то и знаю, а ты отвечай мне. Начальник я тебе или нет? Не забывай, братец, кто ты! – Сердитый взгляд Малюты смутил Грязного. – Коли што, и все заслуги твои полетят к бесу!..

– К тому я говорю, што неверный человек Истома. Спроси брата Василя, он тебе скажет, каков тот Истома. Ненадежный он слуга царю.

Малюта удивленно посмотрел на Грязного.

– Так ли?

– Василий послал с царевой грамотой в Устюжну человека за рудознатцами, а он через цареву опасную грамоту убил того человека.

– Убил? – озадаченный словами Грязного, удивленно переспросил Малюта.

– Убил, своею рукою самовольно убил. Свидетель есть!

– За што?

– Спроси его сам. Не пойдем мы. Схвати Истому, пока не поздно. Ведь он телохранитель государя. Опасно!

– Слушай, Гришка! Ты дворянин, служилый человек, тож Истома дворянин, и негоже поедать друг друга... Нет ли кривды, пристрастия в тех твоих словах? Мы, дворяне, слуги государевы, отвечаем перед Богом и царем головою и наипаче за совестливые, правдивые доношения на товарищей.

Григорий поклялся, что он не кривит душой, а говорит сущую правду.

Малюта продолжал пытаться глазами окончательно растерявшегося Грязного.

– Поостерегитесь вы у меня с Васькой, горе вам, ежели Малюту обманете! Задушину своими лапами. Пощады не ждите!

– Помилуй Бог, Григорий Лукьяныч. Когда же мы тебя обманывали? Што ты, што ты! – пролепетал Григорий, побледнев.

– То-то! – успокоился Малюта. – Такая чертова паутина

кругом и без вас, што и сам-то себе я не всегда верю. Запутали нас и предатели, и доносители! Иной раз, случалось, в угоду литовскому королю порядливых воевод в измене винили... было и такое. Федьку Мерецкого держу в каземате за ложный извет. Себя не спас, а других погубил. Берегитесь! Вороги коварны, губят нужных государю людей нашими же руками. Грех подстерегает нашего брата на каждом шагу. Будь дворянином, а не сумой переметной, Гришка!

Грязной, слушая речь Малюты, покраснел, опустил голову. Никогда раньше не задумывался он над тем, кто нужен государю, кто не нужен. Он думал о том, кто полезен ему, Грязному, и кто бесполезен, с кем дружить, а кого сживать со света ради своей выгоды. «Жизнь человеческая коротка – для себя только и пожить. Только для себя. И царю служить верно тоже только ради себя, ради своей пользы, все ради своего благополучия», – так постоянно думал Григорий.

– Ну, чего же ты нахохлился? Не забодать ли меня собираешься?

– Бог с тобою, Григорий Лукьяныч. Задумался я – и чего людям надобно, что они ищут, кривя совестью, поганя свою душу?

– Не мудри, дядя, – пригрозил на него пальцем Малюта. – Знаю я вас всех! Все вы мудрите, любите красно говорить и вздыхать к делу и не к делу. Курбский больше всех мудрил, да и сбежал к королю. О чужих грехах думаете, а своих не замечаете. То-то, Григорий, запомни – государю служим...

Не польскому королю, а своему государю. Дворянский род не позорьте.

– Пущай сам Василий тебе расскажет про Истому. Ему то дело ближе, – обиженно произнес Григорий, пятясь к двери: «Какие глазищи у Малюты. Словно у дьявола. Отроду душегуб!»

– Посылай Ваську. Покалякаем с ним, што он знает про Истому.

Григорий Грязной поклонился и быстро выскочил за дверь.

Государев обоз подвигался медленно. Оттепель мешала.

Зима в этот год долго не могла установиться: навалило вдруг уйму снега, а затем хлынули дожди, обратили землю в мокрое месиво. Небывалое дело – реки вскрылись. Дороги стали окончательно непроезжими.

Пришлось две недели просидеть в Коломенском. Государь волновался, но внешне был сдержан, молчалив. Семнадцатого декабря царь приказал, невзирая на бездорожье, ехать дальше. Он выказывал крайнее нетерпение.

Еле-еле передвигая ногами, лошади через силу тянули по грязи и болотам возки и сани в направлении к Троице-Сергиеву монастырю. В селе Тайнинском, не доезжая до монастыря, однако, пришлось дать отдых себе, людям и коням.

Древний Троице-Сергиев монастырь встретил царя с подобающей торжественностью, но Иван Васильевич велел

прекратить праздничный колокольный звон и церемонию встречи, заменив все это строгими молитвенными буднями.

Только к Рождеству царев поезд прибыл в Александрову слободу, где его дожидались посланные ранее стрельцы и дворцовые слуги. Здесь же находился и Никита Годунов, и сотник Истома Крупнин со своими стрельцами.

В закрытом наглухо черными занавесями возке тихо проследовал царь Иван Васильевич по узким грязным улочкам слободы, сопровождаемый телохранителями. Они грозно окидывали своими взглядами робкие толпы выбежавших встречать царя слобожан.

У ворот царской усадьбы собралось одетое в полное облачение духовенство. Иван Васильевич миновал его, не выходя из возка, благословляемый слободскими пастырями.

Расположившись в дворцовых покоях, царь приказал своему духовнику отслужить молебен. После этого, наедине с царицею, сказал:

– Ну-ка, государыня, посмотрим, как управляются бояре без царя и велика ли у народа любовь к государю!

– Воля твоя, батюшка Иван Васильевич. Поступай, как то Бог тебе укажет, – ответила царица, недовольная переездом из Москвы в Александрову слободу, но боявшаяся возражать царю.

– Со стороны виднее станет, кто прав и кто виновен, – добавил царь Иван, втайне чувствуя, что царица не понимает его. – Малюта правду сыщет... Лгать не станет мне.

Царица молчала.

V

Москва содрогнулась от грозного гула набатов. Люди в страхе выбегали из домов, прислушивались. Соседи растерянно спрашивали друг друга, что такое, с чего бы такая страсть? Улицы наполнились народом, несмотря на ранний час. Изо всех уголков Москвы потянулись любопытные к Красной площади. Куда же больше? Там все новости. Скакали верховые, неистово бичуя коней. Купцы в санях; из меховых воротников виднелись их мясистые красные носы, в беспокойных глазах застыла тревога. Накануне выпавший снежок улучшил санный путь. Воздух свежий, мягкий; все бело кругом, глаза режет. Оживились у церковных оград взбужденные многочислом нищие, затаили полным голосом: «Богоотец пророк Давид...» Раскачиваясь всем телом и нетвердо стоя на ногах, протягивали они шапки прохожим. Бойко бежали монастырские лошаденки Петровской и иных обителей. Похлестывая их, привскакивали на их спинах верховые чернецы, а позади, угрюмо опустив головы, утонув в ворохах сена, тряслись в санях игумены.

Время такое – всего жди! Беда беду накликает. Страсти-напасти вереницей бегут. Что может быть хуже, когда сам царь Иван Васильевич Москву покинул? И ныне матушка-Москва будто туловище без головы. От неустанных мо-

литв о царе у богомольцев горло пересохло. И никто ничего не знает, что будет. Дивны дела твои, Господи! Дожили!

Иван Федоров, Мстиславец, а с ними и печатники побежали, как и все люди Никольской слободы, на Красную площадь. Не отстала и Охима.

Разнеслась молва, будто вернулся царь. Однако вместо радостного церковного благовеста с московских звонниц срывался назойливый дребезжащий набатный разнобой колоколов.

На Красной площади глашатаи оповещали народ: царь-де прислал гонца из Александровой слободы с грамотой.

Исступленно вопили о том бирючи.

Прокладывая в толпе конями дорогу, косматые, бородастые, глаза навывкате, без шапок, они кричали о желании батюшки государя Ивана Васильевича через своих гонцов сказать царское душевное слово народу. Сего ради батюшка государь прислал в Москву дьяка Константина Поливанова с милостивой грамотой.

Лобное место со всех сторон окружили толпы народа. Иван Федоров и его помощники протолкнулись вперед. Охима вместе с ними. В скором времени из Фроловских ворот выехал отряд стрельцов прибывшего из Александровой слободы сотника Истома. Стрельцы очистили путь к Лобному месту. Вслед за тем из Кремля с пением стихир вышло духовенство, сопровождавшее к Лобному месту митрополита Афанасия. Митрополит, высоко поднимая крест, на ходу

благословлял москвичей. Затем он поднялся на Лобное место. В необычайной тишине из Фроловских ворот в сопровождении нарядно одетых дворян, на коне, выехал царский гонец: стройный, молодой дьяк Поливанов. Одет он был в черный охабень, расшитый золотыми узорами. Став рядом с митрополитом и приняв от него благословение, Поливанов поклонился на все четыре стороны народу.

Раздался его громкий, строгий голос:

– Православные московские люди, верные дети и слуги государя и великого князя, Богом помазанного самодержца, отца нашего Ивана Васильевича!.. Слушайте государево слово со смирением и благоговением, согласно воле Всевышнего, столь доброго и милостивого к нам в самые тяжкие для отечества дни.

Поливанов низко поклонился митрополиту, вручив ему царскую грамоту.

Митрополит передал ее рослому, головастому чернецу, который, развернув грамоту, начал громогласно, на всю площадь, басисто читать ее, отчеканивая каждое слово.

В грамоте говорилось, что он-де, царь, долго терпел неправду, которой окружили его бояре, но больше он терпеть того не может. Государь перечислил в своей грамоте все мятежи, неустройства, беззакония, которые чинились в государстве после смерти его отца, Василия III, во время его малолетства. Он доказывал, что и вельможи, и приказные люди расхищали тогда казну, земли, поместья государевы, забо-

тились только о себе, чтобы накопить себе богатства, а о государстве, о его судьбе вовсе не имели попечения. Оные-де боярские и приказные обычаи живы и по сию пору. Злодеи не унимаются. Воеводы не желают быть защитниками христиан, удаляются от службы, позволяют невозбранно Литве, крымскому хану, немцам терзать Россию. Когда же государь изволит справедливо разобраться в неправдах, чинимых боярами, воеводами, приказными дьяками и прочими служилыми людьми, чтобы наказать виновных, за них бездельно вступаются митрополит и духовенство, и тогда государь видит в недостойных слугах своих холопскую грубость и буйное своеволие.

«Вследствие чего, – говорилось в царевом послании, – не хотя терпеть измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог нам укажет путь».

После оглашения с Лобного места этой грамоты стали держать речь дьяки Путило Михайлов и Андрей Васильев.

Путило, закинув голову, на всю площадь оглушительно прокричал, что-де милостивый государь-батюшка Иван Васильевич прислал особую грамоту к гостям, купцам и ко всем посадским людям: «Слушайте, люди!»

Андрей Васильев, широколицый, коренастый, рыжебородый, обнажив голову, мощным голосом, отделяя каждое слово короткими передышками, медленно, степенно прочитал другую цареву грамоту, а в ней было сказано, чтобы гости, купцы и весь посадский люд, выслушав обращенное к ним

царское слово, никакого сомнения в уме не держали бы. Царского гнева и «опалы некоторой» на них нет, они должны быть спокойны, ибо государь ничего плохого о них сказать не желает.

При последних словах этой грамоты на площади воцарилась такая тишина, будто все, замороженное какою-то страшною, таинственною силою, замерло, окаменело.

И вдруг, как гром, потрясли воздух взрывы ужасающих криков и воя. Толпа неистовствовала.

«Государь-батюшка оставил нас!» – вопили сотни голов.

«Мы гибнем!» – пронеслись по площади исступленные крики.

Какой-то сухопарый купец с пышными кудрями влез на Лобное место, замахал длинными руками:

– Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменными? Как могут овцы жить без пастыря? Горе беспастушному стаду! Родина сгибнет!

В толпе послышались рыдания.

Охима, заметив слезы в глазах Ивана Федорова, горько заплакала: припомнился сгоревший Печатный двор, Андрей... Когда вернется он, не увидит уже прежней нарядной Печатной палаты; Охима жалела и царя, и себя, и стоявшего около нее Ивана Федорова, и вообще отчего-то так больно изнывало сердце. Уж не чует ли оно еще новые беды?

На Лобное место, толкая друг друга и отдуваясь, вошли

бояре, торговые люди и простые посадские жители. Они шумно обступили первосвященника, умоляя его умиловать государя, поклониться ему за всех, упрямить его, батюшку, вернуться в Москву.

Неслись голоса:

– Пускай государь казнит лютой казнью своих врагов! Пускай!

– Нисколько не щадить лиходеев! Смерть им! – вопили купцы-краснорядцы.

– Молим государя: не оставлял бы он царства без главы! Не делал бы он нас злосчастливыми сиротами.

– Иван Васильевич – наш владыка, Богом данный покровитель и отец! – кричали что было мочи бояре в самое ухо митрополита.

– Мы все, батюшка митрополит, со своими головами едем за тобою бить челом государю и плакаться! – дружно наседали на Афанасия купцы, стараясь всех перекричать.

Красные, потные, засучивали рукава здоровенные бородачи внизу, бася:

– Пускай государь укажет нам изменников! Чего тут! В землю втопчем окающих!..

Злобные, угрожающие крики превратились в бурю.

Митрополит совсем растерялся, испуганно блуждая глазами по сторонам. Бояре, смущенные, подавленные общим волнением, сошли потихоньку с Лобного места, чтобы не быть на виду.

Собравшись с силами, митрополит обратился к толпе, сказав, что он отсюда, с Красной площади, немедленно поедет к царю в Александрову слободу.

На Лобное место быстро вошел сотник Истома и громко крикнул: «Негоже Москву оставлять без царя и без митрополита! Надобно выбрать послов, которые бы ехали в слободу и передали бы государю слезное челобитие богомольцев, его верных рабов, а митрополиту надлежит в стольном граде главенствовать до прибытия государя, чтоб не было смуты».

Послами назвали новгородского архиерея Пимена и чудовского архимандрита Левкия.

Одобрительными криками приветствовала толпа избранных иерархов.

К послам присоединились епископы: Никандр Ростовский, Клеферий Суздальский, Филофей Рязанский, Матфей Крутицкий, архимандриты Троицкий, Синовоский и многие другие. От московских вельмож главными послами были избраны князя Иван Дмитриевич Бельский и Иван Федорович Мстиславский. За ними последовали бояре, окольничьи, дворяне и приказные люди.

Двинулись в слободу и гости московские, купцы, посадские люди, чтобы от себя ударить челом государю и плакаться.

Нескончаемая вереница возков, саней, верховых, сопровождаемых бегущими по сторонам людьми, растянулась по всей широкой дороге к Сокольничьему бору.

Снежные поля и леса за заставой огласились новым взрывом воя и отчаянных воплей собравшейся для проводов толпы москвичей.

И долго еще позади себя послы слышали глухой шум и крики.

Духовные сановники остановились вблизи Александровой слободы, в Слотине. Старенькие, седобородые архипастыри, томясь ожиданием в сельских избах, с тревогою готовились к встрече с государем. Часы и дни тянулись мучительно медленно. Наконец в Слотино прибыли важные надутые пристава, высланные царем для сопровождения посольства в слободу. Они не отвечали на вопросы, взгляды их были неприветливы.

Но вот государь разрешил явиться посольству во дворец.

Смиренно принял Иван Васильевич переданное ему архипастырями благословение митрополита. Царь показался епископам постаревшим, исхудалым, но все тем же, прямым, большим, строгим, как и раньше.

Епископы приветствовали государя глубоким поясным поклоном и после того слезно молили его снять опалу с духовенства, с вельмож, дворян, приказных людей, не оставлять государства, но царствовать. Наказывать виновных так, как будет угодно его царской милости.

Царь стоя, в задумчивости, выслушал горестные речи духовных отцов. Внимательно осмотрел каждого.

– А бояре где? – тихо спросил он.

– Тут же они. Ожидают твоего слова, чтобы осчастливил ты их лицеизреть твою светлость. Слезно просим тебя, государь, допусти их во дворец!

С какою-то грустной, усталой улыбкой царь, вздохнув, кивнул приставам, чтобы ввели бояр.

Осторожно, на носках, вошли бояре, понурые, печальные, прячась друг за друга. Вперед выступили два дорожных старца: Бельский и Мстиславский. Осанисто, с достоинством, они поклонились царю. Позади них замелькали лысые и косматые седые головы приветствовавших царя остальных бояр. Холод горького недоумения не покидал их: «Чего для государь затеял оное скоморошное дело? Чего не сиделось ему в московском Кремле? Уж не ума ли он, бедняга, рехнулся?!»

Бельский и Мстиславский просто и безбоязненно смотрели в глаза царю, и голоса их были спокойные, твердые. В них слышалась, кроме печали, и укоризна:

– Пошто бросил ты, государь, свой стольный град? Народ почитает тебя как помазанника Божьего, как единодержавного владыку, Москва утопает в слезах. А чего для? Вернись, государь, коли ты подлинный отец своих подданных! Не ввергай попусту в скорбь и несчастье людей своих! Когда ты не уважаешь мирского величия и славы, то вспомни, что, оставляя Москву, ты оставляешь святыню храмов, где совершались чудеса Божественной к тебе милости, где лежат целебные мощи угодников Христовых и священный прах тво-

их, государевых, предков.

– Вспомни, что ты блюститель не только государства, но и церкви: первый единственный монарх православия! – хором молвили епископы. – Если удалишься, кто спасет истину и чистоту нашей веры? Кто спасет сонмы человеческих душ от гибели вечной?

Внимательно, строго сдвинув брови, выслушал эти речи царь Иван.

Слезы текли по щекам старых епископов, слышались тяжелые вздохи бояр.

Наступила тишина.

Иван Васильевич сказал неторопливо, посматривая куда-то в сторону, на окно:

– Да! Любо слушать добрые слова подданных царю-изгнаннику, хоша и разуверился он в прямоте и честности неких слуг, вельмож, ближних людей! Благое дело задумали вы: вернуть московскому престолу его царя. Но не кружится моя усталая голова от такого великого вашего смирения и дивной преданности вашей своему государю. Многие горести испытаны мною, и какой бы нежный ветерок ни обдувал ожоги моей души, не сократятся страдания мои, покуда не вылечу я их своими руками. Надежда на вас слаба. Молитвами и слезами утоляем мы печаль души своей, но врагов своих тем не изженем, покудова лютая жесточь не ляжет на головы изменников.

Иван Васильевич напомнил послам о том, сколько горя и

оскорблений было учинено ему в детстве некоторыми боярами, и о том, как недостойно вели себя многие из них во время его болезни. Они не хотели иметь наследником его сына, тянули на трон князя Владимира Андреевича. Царь доказывал, что своеволие, нерадение, строптивость вельмож во все времена причиняли большой убыток царствам, всегда были причиною многих кровопролитий, междоусобий и в России. Бояре, кичившиеся своим родом, издревле соперники державных наследников Мономаховых, враги единой власти.

Иван Васильевич, гневно сверкая глазами, обвинил бояр в том, что они хотят известить царя, супругу и сыновей его, чтобы захватить в свои руки власть.

Понурился, с унылым видом слушали послы-бояре царя. Не в первый раз они слышат из уст Ивана Васильевича гневные речи. Да и что греха таить – немалая толика правды кроется в горячих словах государя: поблаженствовали в годы его малолетства – было! И царем не хотели признавать его покойного сына Димитрия, и тащили со всем усердием на престол князя Владимира Андреевича, видя в нем своего человека. И это было. Вот о том, что бояре хотели будто бы известить его, царицу и царских детей, об этом... спаси Господи, думал ли кто? Кабы Господь Бог сам прибрал государя, умер бы Иван Васильевич своею смертью – от души помолились бы бояре о его вечном упокоении, тоже и о супруге его и о детях. Но чтобы известить... смертоубийство навлечь на царскую семью... Спаси Бог! Правда, бояр много и

за всех нельзя ручаться, но здесь присутствующие чисты перед Господом Богом и царем, далеки от подобных грешных злоумышлений...

– Увы! – продолжал царь. – Для духовного отца моего митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов, соглашаюсь паки взять свое государство, а на каких условиях – слушайте!

Иван Васильевич потребовал, чтобы ему дано было право невозбранно казнить изменников смертью, лишением достоинства, безо всяких препон с боярской стороны и безо всяких «претительных докук» со стороны духовенства.

Вельможи и духовенство единогласно дали слово с усердием выполнять волю государя, быть во всем ему послушными.

– Ты – царь наш, владыка, – сказал Бельский, – и твое дело мудро и справедливо судить своих людей без пристрастия, но согласно пресветлым законам Всевышнего. Жизнь нам недорого, дорог ты и царство наше...

Иван Васильевич оставил в слободе часть духовенства и бояр Бельского и Щенятьева, чтобы побеседовать еще вместе с ними.

Всем остальным послам – боярам и дворянам – пристава прокричали царское повеление немедленно отбыть в Москву, чтобы дела не остановились в приказах.

Вскоре и сам Иван Васильевич торжественно въехал в Москву, встречаемый радостными восклицаниями народа,

ожидавшего возвращения царя у заставы.

Провожаемые пушечными салютами и ботами «Московской компании», русские корабли, подняв штандарты, вышли из лондонского порта в открытое море.

Керстен Роде стал еще строже, еще требовательнее к своей команде. Во время стояния на рейде московские корабли были вновь окрашены, подремонтированы, а команда запаслась одеждою, обувью. Керстен Роде позаботился и об усилении вооружения: накупил ружей, сабель, копий, прибавив к тому, что было; достал даже две дальнобойные, приведшие в восторг Андрея Чохова пушки. Продовольствием запаслись изобильно.

Купцы ликовали. Путь их теперь на родину! Своими торговыми делами они остались очень довольны. Товар продали и английского накупили вдосталь. Будет чем поважничать на московскому торгу.

Андрей со своими пушкарями снова принялся за дело: вычистили орудия, наготовили снарядов, расставили орудия в боевом порядке, чтобы каждую минуту быть готовыми к бою.

Море было спокойное. Ветер не сильный, попутный. Паруса приятно шуршали на реях, как бы нашептывая о родине, о Москве, об Охиме... Так казалось Андрею. То-то будет о чем порассказать Охиме! Но так ли она, как и прежде, любит его, Андрея, не полюбился ли ей еще кто? Ну, а если

и разлюбила, то... Бог ей судья! Он, Андрей, переживет это легче, нежели то случилось бы раньше, ибо много повидал он всего и знает, что мир велик, богат, чудесен.

Священник каждый день служил молебен в образной каюте, то на «Иване Воине», то на «Державе», то на других кораблях о том, чтобы благополучно вернуться в Нарву. Северное море, через которое лежал путь в Балтику, беспокойное море. А дальше – пираты, военные корабли враждебной Польши, Швеции, Германии.

Керстен Роде, несмотря на тихую погоду, внимательно, как-то озабоченно посматривал на небо. Он всегда неодобрительно отзывался о Северном море. Туманы, переменчивость ветров, множество разбойничьих флотилий, охотившихся у берегов Англии, Нидерландов и Дании, – все это было теперь менее всего желательно царскому атаману, жаждавшему как можно успешнее завершить свое первое московское плавание, чтобы заслужить расположение царя.

Суток через трое после отплытия из Англии перед глазами Андрея раскинулась мрачная, серая водяная пустыня, изрытая беспокойными, пенящимися волнами. Когда поплыли близ европейского побережья, начали попадаться маленькие островки. Два голландских матроса, бывшие на корабле «Иван Воин», сказали, что эти островки называются «галличами». Кое-где на них виднелись крохотные рыбацьи домики.

При подходе кораблей к галличам из порослей кустарни-

ков на побережье с пронзительным визгом и шумом вылетели огромные стаи гусей. Кое-где виднелись рыбацьи лодки и сети, растянутые по берегам. Стада коров паслись на серых, еще не зазеленевших лугах.

На одном из таких островков глазам московских людей представилась далеко не мирная деревенская картина. Берег острова при появлении кораблей покрылся массой народа, вооруженного пиками, вилами, ружьями, саблями... От берега быстро отделилось десятка два лодок наперерез кораблям. С лодок давали знаки, чтобы корабли замедлили ход.

Вскоре на борт корабля «Иван Воин» взобралось человек двадцать бедно и пестро одетых поселян. У каждого было какое-либо оружие, а некоторые держали в руках простые рогатины.

Один из них, высокий, бравый, выступил вперед. На нем была широкая шляпа с пером, а на шляпе надпись: «Лучше будем турками, чем папистами». Он по-английски спросил, откуда идут корабли.

Ему ответили, что из Англии.

Тогда он, назвавшись Альбертом Курцем, вождем одного из отрядов нидерландских гёзов, спросил:

– Не везете ли вы с собою из Англии оружия для гёзов? Ее величество королева Елизавета помогает бороться с испанской тиранией... Нидерланды хотят быть свободными!.. Они хотят мира и тишины на своей земле, а король Филипп присылает к нам чужестранцев, испанских рыцарей; они несут

стране огонь и меч... Мы не хотим быть католиками! Испанские инквизиторы бросают в тюрьмы и присуждают к смерти честных мирных граждан. Тюрьмы не вмещают уже арестантов. Там томятся дворяне, горожане, поселяне... Все добро наше присваивают себе испанские разбойничьи власти. Хорошая жизнь у нас только палачам и тюремщикам. В городах вы увидите повешенных на виселицах, на фонарях, на деревьях. Вы увидите людей, сжигаемых на кострах. Вы увидите казнимых страшным колесованием. Тысячи людей погибли от руки испанских правителей. Мы хотим видеть свою родину свободной. Помогите нам. Заступитесь за нас.

Гёзы сняли свои шляпы и низко поклонились Керстену Роде, Совину и всем находившимся на палубе московским людям.

– Спасибо королеве Елизавете!.. Она позволила скрываться в английских гаванях судам «морских гёзов»... Испанские моряки знают хорошо, что значит встреча в море с кораблями гёзов! – продолжал Альберт Курц. – Будьте же и вы добры к нам!.. Пожалейте нас!

Еще раз низко поклонились гёзы московским людям.

Посоветовались между собою Петр Совин, Алехин и Керстен Роде и решили отделить часть купленного в изобилии оружия и боевых припасов для нидерландских повстанцев. Гёзы пришли по душе всем им.

– Государь наш также не честит Филиппа... Испания – папская страна и заодно с Польшей. Папа благословил Поль-

шу на борьбу с Москвой, – сказал Совин. – Правда, Филипп требует у Швеции свободного пропуска товаров, идущих в нарвскую гавань, да пользы что из этого, когда он втайне недружелюбен...

Андрей Чохов с большим усердием помогал гёзам погружать оружие и припасы в лодки голландцев.

Альберт Курц, заметив это, крепко пожал руку Андрею, сказав что-то на своем языке, поминутно повторяя слово «русс».

– Ладно... Бог вам в помощь! – произнес Андрей. – Наша рука счастливая.

Керстен Роде подарил две пушки, снятые им в свою пользу, по договору с царем, с кораблей пиратов, разбитых им на Балтийском море.

Гёзы со слезами благодарили Совина и Керстена Роде...

Находившиеся на «Иване Воине» голландские матросы, принятые на корабль в Англии, поведали немало печального о судьбе их родины.

Испанский король Филипп Второй, насильственно овладевший Нидерландами, в союзе с папой поднял католиков против протестантов. Став властелином в Нидерландах, Филипп сделал своей нидерландской наместницей побочную сестру свою Маргариту Пармскую, усердную католичку; духовником ее был Лойола, основатель ордена иезуитов. Самовольство иезуитов стало невыносимым для народа, и оттого многие голландцы отложились от католической церкви, под-

держивавшей произвол испанских начальников. Народ знал, что выше всякого правительства в Нидерландах кардинал Гранвелла, ставленник папы и Филиппа. Протестанты полюбились народу, и чем сильнее их преследовали, тем больше народ ожесточался против католической церкви. «Морские гёзы» бьют не только католиков-испанцев, но и своих единоплеменников, что держат сторону испанцев. «Морские гёзы» поклялись сбросить испанское иго с плеч своей родины. О московском государе хорошая слава в Нидерландах. Наши голландские купцы охотно плавают в Нарву. Их хорошо принимают в Московии. Поэтому и мы поступили матросами на русский корабль... «Если Балтийское море останется навсегда вашим, слава государя московского разнесется по всем морям и океанам... Он будет самым могучим королем на свете!...»

Последние слова особенно по душе пришлись московским людям. Да! Все они, побывавшие в заморских странах, понимают, какое счастье обладать морским плаванием... иметь свои корабли, возить в чужие страны свои товары и покупать там все, что необходимо родине.

И каждый купец чувствовал в душе некоторую долю угрызения совести, когда вспоминал, что его почти силою отправили за море, что некоторым посылка торговых людей царем Иваном Васильевичем казалась пустой затеей самодура-деспота. Но нет! Хоть и непривычно и страшно ходить за море, однако нельзя не сознаться самому себе, что зря осуждали

царя, зря роптали на него.

...Недалеко от Нового моря, вернее, огромного залива у берегов Нидерландов, именуемого Зюдерзее, московским кораблям пришлось выдержать борьбу с необыкновенно сильным штормом. Корабли на волнах бросало, как щепки. Громадные валы вздымались над кораблями, обдавая их обильными потоками воды, грозя смыть все с палубы. Были сняты фок- и грот-мачты. Само небо, казалось, ополчилось на флот московского царя. Молнии, рассекая острыми стрелами бурную мглу, падали в море около самых кораблей. Громовые раскаты, сливаясь с ревом морской пучины, потрясали воздух.

Андрей соблазнился, глядя на матросов, лазивших по мачтам. Ему самому захотелось забраться туда и полюбоваться сверху на бушующее море. С высоты не снятой еще мачты он увидел вокруг корабля и на далекое расстояние впереди мрачную волнующуюся серо-свинцовую поверхность, а над ней сплошь покрытый низко нависшими темно-синими тучами небосвод. Все вокруг корабля ходунном ходило, двигалось, бурлило. Пенящиеся волны, остервенело налезая одна на другую в дикой свалке, с ревом ударялись о борта кораблей. А вдали волны казались прыгающими грядами холмов, над которыми метались, будто разрываемые ветром, хлопья белой шерсти, пенистые гребни; вдали тонкая завеса водяной пыли затуманивала горизонт. Чем ближе к кораблю подходила волна, тем страшнее станови-

лось Андрею держаться на мачте, – вот-вот она подкосит корабль, пробьет его бока и сгубит все находящееся на корабле... И когда это ей не удавалось, тогда она бессильно свертывалась в гневный, бурлящий свиток пены и откатывалась назад с грохотом, похожим на злобный, негодующий вздох разъяренного зверя. Андрею сразу становилось легче. И сразу обдавало холодком и влагой его, прижавшегося в страхе к мачте. Не в силах далее держаться, он осторожно спустился вниз на палубу.

Керстен Роде бегал по палубе, большой, сам как буря, с длинным рупором в руке, отдавая распоряжения.

Много труда стоило мореходам отстоять корабли от гибели в этом хаосе водяной стихии. Все до единого матроса были на ногах.

Но вот стало затихать: ураган вдруг ослаб. Темные, зловещие тучи, постепенно бледнея, потянулись на север... Исполинская грудь водяных просторов вздохнула облегченно, поднимаясь ровно, устало после пережитой бури.

Только теперь стало ясно положение с другими судами. Некоторые из них со сломанными мачтами представляли жалкий вид. «Держава» накренилась набок. Керстен дал сигнал всем кораблям сблизиться. Он радовался тому, что все суда налицо. Похвалил и холмогорских мореходов. Они показали большое искусство в кораблевождении. Их корабли почти не пострадали.

Приятно было, выйдя на палубу, смотреть на утихающее

волнение только что грозного, разъяренного моря, похожего на гигантского зверя, жаждавшего безжалостно поглотить корабли со всеми людьми, с их радостными надеждами и ожиданиями, с их драгоценными грузами...

После бури, когда все обитатели корабля «Иван Воин» собрались на палубе, Керстен Роде через переводчика рассказал московским людям о разрушительной силе морской волны. Рассказывал он об этом с каким-то особым восхищением, то и дело торжественным, величественным жестом указывая в сторону моря. Оно еще продолжало гудеть, в сильном волнении покачивая корабль. Керстен Роде торжественным, полным благоговения голосом говорил:

– Волна – великая сила! Смотрите, как разбиваются о камень утесов буйные гребни волн... Вы видите пену, вы чувствуете злость, с которой море набрасывается на свои каменные оковы.. Его ничто не может остановить, сам творец мира не может помешать его разрушительной мощи... Глядите, волны бегут к берегам, перескакивают через подводные камни. От их ударов дрожат исполинские каменные стены... Снизу доверху они дрожат, и шум волн перекатывается, словно гром, во всех извилинах и ущельях прибрежных утесов... Вода врывается в щели и трещины каменных берегов, подтачивает, разбивает их в мелкий песок. И часто я не узнаю недавно только виденных берегов. Море сбросило в воду то, чем я часто любовался. Там, где был утес, я зачастую вижу теперь ровное место, залитое водой. Море обладает си-

люю, которая губит то, что создал сам Бог.

Керстен прошептал про себя молитву. А затем, обратившись сияющим лицом к своим слушателям, сказал с гордостью и самодовольством:

– И вот мы, моряки, хотим побеждать даже эту дьявольскую силу волн. Ваш царь приказал мне вести корабли в западные страны, я должен быть победителем морей и океанов, мы должны поспорить с водяным демоном. Морскому царю не помогут никакие пираты... Керстен Роде клянется вам, мои московские друзья, в этом!..

Андрей Чохов с уважением и любопытством слушал слова Керстена Роде.

Один из холмогорских матросов толкнул Андрея Чохова в бок, прошептав:

– Эх он хвалится! Наши поморцы Ледовитое море послушным сделали. Плавают, будто лебеди! А уж то-то море побойчее этого. Где уж тут! Пожалуй, там все эти дацкие люди петухами бы запели. Беломорский морячок так понимает: вынесет – наш, не вынесет – Божий! Аминь! Што уж тут говорить – все время воюем со смертью!

Андрей после этого стал внимательно приглядываться к берегам, где представлялась возможность их видеть.

Наслушавшись рассказов своих и чужих матросов, он теперь уже многое начал понимать из того, что раньше его ставило в тупик; жизнь моря становилась ему интересной, близкой.

Вот, например, невдалеке виднеются одинокие, торчащие из воды острые скалы; окруженные бушующим морем, они возвышаются, опираясь на основание из подводных камней в виде башен или разрушенных мостов. Андрею понятно теперь, что действием воды здесь была разрушена большая скала, разделена водою на отдельные каменные глыбы... Но морские волны на этом не успокоились. Они продолжают с яростью, настойчиво нападать на эти обломки бывшего берега, стремятся добить их окончательно.

Солнце, жгучее, ослепительное, вырвалось из-за обрывков туч, осветив серое, пенящееся море и видневшийся вдали берег.

Керстен Роде приказал снова поставить фок, грот и брамсели.

Датчанин, штурман «Иван Воина», радостно перекликался с Керстеном Роде, указывая рукою на солнце.

Андрей Чохов вместе со своими пушкарями заботливо обтирал тряпками и куделью пушки. Снова были открыты наглухо запертые люки, и снопы свежего воздуха и света ворвались в душный кубрик. Купцы вылезли на палубу, усердно крестясь на все стороны. Теперь они уже не те, что были, когда отправлялись из Нарвы в плавание. Среди них даже в самый разгар бури уже не было паники, они с упорным терпением, молчаливо дожидались в своей каюте конца шторма.

Моряки распознали в полосе земли берега чудесного залива Зюдерзее.

Когда-то, в эпоху древних римлян, когда они проникли сюда, вся эта местность, окружавшая залив, была покрыта густым лесом, но все это со временем было смыто Северным морем, и вместо лесов и холмов на большом пространстве образовалась ровная поверхность из мелей и подводных кос. Гладкие, вечно зеленеющие берега радовали глаз, манили на отдых.

Московские путешественники сразу почувствовали, как успокоительно, целебно действует на душу эта зеленеющая, озаренная солнцем ровная полоса земли. Клонило в дремоту, в розовый полусон, сквозь который светлым, золотистым призраком проступала опять она... Москва!

Бросили якоря в полуверсте от острова Маркен, у громадной косы земли.

Голландские поселяне, жившие на острове, встретили московских людей радушно, гостеприимно.

После передышки корабли поплыли дальше.

Впереди еще много всего придется пережить. Об этом и сказал Керстен Роде своей команде на палубе. Один Бог знает, удастся ли благополучно проплыть мимо Дании, воюющей со Швецией, мимо берегов немецких земель, мимо Данцига, где кишат польские пираты... мимо Ревеля и ливонских портов. Везде московский флот подстерегают опасности, и надо быть готовым к боям и смерти... Это сознавал каждый человек на московских кораблях, ибо теперь-то, после того что русские слышали о Москве в иных странах, им

стало ясно, что немало имеется в Европе людей, которые боятся Москвы, не желают иметь с ней дела. Они не хотят, чтобы московские люди плавали по западным морям. Везде приходилось слышать фантастические рассказы о хитрости русского царя, об его лютости, бесчеловечности, жадности... Приезжие из Польши и Германии в Англию купцы и воинские люди болтали невесть что. У русских, гостивших в Англии, волосы поднимались дыбом, хотя они и не верили болтовне польских и немецких проходимцев. Одно было ясно – Европу нарочно пугают царем.

Когда обо всем этом задумывались русские, сидевшие на кораблях, еще любимее, еще дороже становилась для них родина. Вдали от родины лучше всего познается величавая простота, стыдливая и некичливая силушка матушки-Руси! И чем больше слышишь судов и пересудов о родной земле, чем больше видишь враждебности к ней в иных странах, тем правдивее, чище и добрее представляется она закинутому на чужбину русскому человеку.

Раздумывая об этом, Андрей прижался к своей любимой пушке, которую сам он и отливал впервые из меди; тихо, про себя, запел протяжную старинную русскую песню о Волге.

Андрей многого не понимал из того, что творилось в иных государствах; неведомо ему было и то, зачем все короли встают один против другого. Андрей знал хорошо только одно дело – пушкарское. Как бы он ни был неучен, в одно он твердо верил, что Бог создал моря и суши для всех государств,

для всех людей... Чего ради моряки иных стран в иноземных гаванях смотрят недружелюбно на московский караван судов? Особенно испанские, шведские и Сигизмундовы мореходы!

К Андрею подошел Алехин:

– Ну, брат, раньше весны не прибыть нам в Нарву. Придется постоять в датских водах... Сейчас Керстен Роде об этом говорил... Опасается он стоянок в датских гаванях... Короля своего боится... Ему хорониться там придется. Немцы требуют, чтобы король захватил его, Керстена Роде, и казнил.

Андрей сказал серьезно:

– Наш ноне он человек... Никому его не отдадим. Кирилка Беспрозванный и Ерофейка Окунь – понимающие люди... Сами заядлые мореходы, однако хвалят Керстена... И разбойничьи хитрости знает...

VI

В Большой палате Кремлевского дворца происходил отбор людей в особую дружину. Царь решил набрать ее для личной своей безопасности.

Отбор воинов совершался в торжественной обстановке. Государь на троне, в золотых одеждах, окруженный новыми советниками, опрашивал тех, кто был допущен к смотру. А всего приказано было пройти через палату шести тысячам человек.

Утомленное, исхудалое лицо царя привлекало внимание тех, кто его близко знал. У некоторых воинов выступали слезы на глазах, особенно у побывавших вместе с государем в походах. Кипела злоба к недругам государя, к тем, на кого он гневался, кого держал в опале. Измена Курбского и дьяков, убежавших с ним в Сигизмундов стан, открыла людям глаза на непостоянство боярской знати в службе государю. Невольно возникало желание у малых людей помочь царю, быть верными его слугами. Тяжело Иван Васильевич перенес известие об измене Курбского; с тех пор поднялась буря в его душе, с тех пор царь стал неузнаваем.

Теперь он обращается к помощи незнатных слуг и воинов, и всяк из них готов ему служить, не щадя своей жизни.

Бояре втихомолку подсмеивались над новой затеей царя.

Генрих Штаден в кругу своих друзей-немцев с язвительной улыбкой говорил: «Окружили великого князя новодельные господа, которые должны были бы быть холопами прежних».

Но посадский, простой люд был на стороне царя. К слуху о наборе царем особого полка верных людей низкого звания на посаде отнеслись сочувственно.

Алексей Басманов и Афанасий Вяземский, стоявшие около трона, опрашивали каждого: какого он рода-племени, из каких его жена, а ежели в походах участвовал, то под рукою какого воеводы, с какими князьями или боярами дружбу вел?

Когда была отобрана тысяча воинов, князь Вяземский велел им в присутствии митрополита, всего кремлевского духовенства и бояр дать клятву царю в верности, которая гласила:

«Я клянусь быть верным государю и великому князю и его государству, молодым князьям и великой княгине и не молчать обо всем дурном, что я знаю, слышал или услышу, что замышляется тем или другим против царя или великого князя, его государства, молодых князей и царицы. Я клянусь также не есть и не пить вместе с земщиной и не иметь с ними ничего общего. На этом целую я крест!»

Клятва была произнесена.

Молодым воинам, набранным царем в телохранители, не показалось ничего нового во всем этом. Они всегда служили верою и правдою государю, всегда дорожили славою царства, и коли услыхали бы они или узнали бы о чем-либо недобром, о каком-либо злоумышлении против царя, они тогда же пошли бы и доложили о том Малюте либо своею рукою порешили бы изменника. И за князей молодых и за царицу они всегда готовы в огонь и воду.

После принесения клятвы Алексей Басманов объявил отобранным воинам, что государь по великой своей царской милости жалует их имением во сто гаков³⁸ земли, и чтобы они принуждали мужиков ту землю обрабатывать, чтоб больше хлеба и иных злаков ко благу его и государя она про-

³⁸ Не равная мера земли, зависящая от качества почвы

изводила и чтобы в Москву малая толика на торг привозилась. Тут же, объявив всем тысячникам о награждении их земельными участками, Алексей Басманов сказал:

– Блюсти землю вы должны безубыточно, доброхотно, а не как некие ленивые богатины, коим было бы токмо себе, а што царю и Богу и всему народу, в том и заботы не имут... И службу государю тож справлять должны рачительно, чтоб служба из земли не выходила, што положено по достатку, то и должно быть для войны посажено на коня. Не грешно ли, когда из двухсот семидесяти двух вотчин в Тверской области старым обычаем пятьдесят три помещика никакой службы не служили государю? Одни служили князю Владимиру Андреевичу, иные князьям Оболенским, Микулинским, Мстиславским, Голицыным, Курлятевым и даже просто боярам. Не оскудеет ли житница царства от того порядка?

Во время речи Басманова Иван Васильевич внимательно вглядывался в лица своих новых слуг.

Далее держал речь князь Вяземский.

Он прочитал грамоту о разделении Русской земли на «земщину» и отделенную от нее часть, которую царь назвал «опричниной». В той части государства, которая отходила к земщине, должен был сохраниться прежний строй и старое управление. Там по-прежнему оставались воеводы, наместники, старосты и судьи, вместе с вотчинниками и помещиками. Во главе земщины государь поставил бояр Ивана Дмитриевича Бельского и Ивана Федоровича Мстиславского.

Когда дьяки выкликнули имена этих бояр, оба они, спокойные, важные, подошли к трону и низко поклонились царю: затем приблизились к митрополиту и склонили перед ним свои головы. Митрополит благословил их, втайне удивившись, что царь облек таким великим доверием Мстиславского, дочь которого осталась вдовою после казни ее мужа Александра Борисовича Горбатого. Мстиславский, сильный духом, славный воевода, бывший друг Курбского, не раз наедине высказывал митрополиту Афанасию свое недовольство жестокостью царя, и вдруг... он – глава всей земщины! Мстиславский, словно поняв его мысли, слегка улыбнулся.

Царь объявлял своею собственностью города Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Тихвин, Ярославец, Суходровью, Медынь, Суздаль, Шую, Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюг, Старую Руссу, Каргополь, Вагу, также волости московские и другие с их доходами.

В самой Москве он взял себе в опричнину улицы Чертольскую, Арбатскую с Сивцевым Вражком, половину Никитской с разными слободами, откуда царь велел выселить всех дворян и приказных людей, не записанных в царскую опричнину.

Потные, раскрасневшиеся от волнения, сидели бояре на своих местах с убитым видом, слушая грамоту, переглядывались между собою, вздыхали: уж не перед концом ли света такое беззаконие!

А царь, когда все окончилось, вдруг быстро поднялся

с трона, несмотря на утомление, обвел всех пристальным взглядом и при воцарившейся в палате тишине громко произнес:

– Коли Господь Бог соизволит прибавить вашему государю добрых верных слуг, и те будут взяты сверх одной тысячи в опричнину... Господней добродетели нет пределов! И я верю: многие исправятся и поймут государеву волю и покаются в грехах, небрежении и лени. Царь сумеет найти свою милостью каждого.

Бояре разъезжались по домам, тихо переговариваясь о том, что в опричнину царем взяты те владения, в которых наиболее живы удельно-княжеские порядки. Владения князей ростовских, стародубских, суздальских и черниговских, а также заокские вотчины князей Одоевских, Воротынских, Трубецких – все это стало опричниной. Царь нанес удар в самое сердце древнего княжества.

Втихомолку бояре ругали князей Федора Трубецкого и Никиту Одоевского, вступивших тоже в опричнину по своей доброй воле, обвиняли их в своекорыстии и лести.

Михаил Иванович Воротынский впал в горестное уныние. Взамен родного Одоева он получил землю на несколько сот верст дальше, к западу. Другие тоже были поражены страшным горем, когда узнали, что им придется покинуть родные гнезда и переселиться в иные уезды. Царь хочет стереть самую память в народе об удельном княжении былых времен.

Кому радость, а кому горе!

VII

Сильный стук в наружную дверь разбудил Феоктисту Ивановну. Отец ее, стоявший двое суток в Кремле на охране дворца, спал крепко, не слыша все возрастающего грохота в дверь. Феоктиста, накинув на себя халат, побежала в его опочивальню.

– Батюшка... Батюшка!.. Очнись... Стучат... Ой, ой! Господи! Да что же это такое? Дверь ломают, батюшка!.. Дверь!..

Истома открыл глаза, вскочил с ложа и, не понимая, в чем дело, схватился за саблю. Анисья Семеновна спрашивала в дверях, кто стучит. Раздался знакомый голос Григория Грязного: «Отворяй, старая ведьма!»

В открытую дверь ввалилась ватага опричников. Топот сапог, грубые голоса нарушили сон стрельцкого дома. Поднялась суматоха.

– Истома! – прозвучал в темноте пьяный голос Григория Грязного. – Одевайся. Государево дело есть до тебя.

Анисья Семеновна пришла из кухни с зажженной лучиной. Осветила озлобленное лицо Грязного.

– Полно тебе, Григорий, чай, не глухие! – сказала она укоризненно.

– Видать, глухие, коли мешкотно дверь государевым слугам растворяете, – проворчал Грязной. – Скажи-ка старине, штоб поторапливался... Малюта Скуратов его требует.

– Не шуми. Поостерегись! – послышался голос рассерженного Истома. – Одеваюсь.

Вскоре в переднюю комнату вышел одетый по-походному, как бы собираясь в караул, Истома Крупнин.

– Оставь саблю-то... Не нужна тебе она! – усмехнулся Грязной.

– Ты мал чином, штоб мною повелевать. Щенок неразумный! Государь-батюшка единственно может лишить меня сабли...

Истома поцеловал рыдавшую Феоктисту, перекрестил ее, облобызал и Анисью Семеновну и спокойным голосом произнес:

– Ладно. Идем.

Долго стояли обе женщины на крыльце, дрожа от страха всем телом, прислушиваясь к топоту удалявшейся грязновской стражи. Совершилось это все так быстро и неожиданно. Дома они стали на колени, вознося Богу молитву о благополучном возвращении Истома домой.

Грязной и его стражники ехали верхами, Истома шел пешком, то и дело скользя и спотыкаясь в темноте. Он был спокоен, уверен в том, что тут или какая-то ошибка, или злоумышление его недругов. И в том и в другом случае Истома полагал легко оправдать себя. Он не чувствовал за собой никакой вины. С юных лет был верным рабом и слугой великих князей как Василия Ивановича, так и Ивана Васильевича; готов в любую минуту умереть за царя; нередко приходилось

ему охранять царя в его разъездах по богомолям. Сам царь Иван Васильевич не раз награждал его за верную службу. Чего же ради теперь ведут к допросу? Диву давался Истома, размышляя об этом, но шел смело и бодро на таинственный допрос. Все же... там, где-то в глубине, сосало сердце чувство острой обиды. За что? Кому понадобилось издеваться над седовласым стрелецким сотником?! А что скажут стрельцы его сотни? И что подумают посадские люди, когда узнают... Нет, уж лучше не думать. Позор! А главное, уже второй раз в его дом врываются Грязные... Мстят за Феоктисту? Надо поведать о том государю... Надобно подать на них челобитье!

Григорий Грязной всю дорогу смеялся, шутил, перекидываясь пустыми разговорами со своими товарищами, как бы стараясь этим показать свое небрежение Истома. Он хотел выглядеть веселым, беспечным – человеком с чистой совестью. Шутя он сказал: «Опять нас сегодня дурным ветром в кучу сбило!» – «Ветер будет дуть, покуда не выдует всех врагов государя», – сказал один из опричников в угоду своему начальнику.

И много других обидных для самолюбия слов услышал Истома от грязновских молодцов.

Стрелецкого сотника втолкнули в подземелье к Малюте, туда, где допрашивали и пытали самых опасных преступников.

Истома недоумевал: неужели и его обвиняют в измене?

Грязной, выйдя наверх после того, как оставил Истома в

подземелье, громко рассмеялся:

– В сети сей, юже скрыша, и увязе нога его!

Словно из-под земли появился Василий Грязной. Ласково поглаживая одного из коней и прижимаясь к нему щекой, Василий спросил:

– Неверную душу привели? Давно бы так.

– Знамо: душа согрешила, а тело в ответе!.. – громко, с усмешкой в голосе произнес кто-то в темноте.

Своими злоречивыми шутками и насмешками над обвиняемым они усердствовали один перед другим, стараясь казаться неумолимыми к заподозренным в измене людям. И теперь с большою охотою издевались над своею новою жертвою, соперничая друг с другом в ядовитости своих шуток.

Истому охватил в подземелье холод, сырость, какой-то неприятный смрад, напоминающий запах паленого мяса. В большом сводчатом каземате, в углу которого тлели кучи углей, у стены, на широкой скамье, неподвижно, будто истукан, вырубленный из дерева, сидел Малюта. Лицо его рассмотреть близко невозможно. В отсвете жаровни жили одни его большие, искоса улыбочатые глаза.

Истома огляделся по сторонам, перекрестился. В каземате, кроме Малюты, никого не было.

– Здоров, сотник! Аль не узнаешь? – вдруг ласково проговорил незнакомым голосом Малюта. – Начадили, надымили, словно тараканов, нехристи, жгли!.. Посоветуй. Сижу тут, как в геенне огненной. Шестую неделю варева не видал и за-

был, каково оно есть. Едим тут с ребятами всухомятку. Колотья в животе ежедень не переходят. Тяжела служба у Ивана Васильевича. Не так ли?

– Не тяготился я службою государю и не тягошусь никогда, – скромно ответил стрелец.

– Добро. Не от лести словеса твои. Да как же иначе доброму дворянину на свете жить? И то сказать – с кем греха не бывает! Один Бог без греха. А бес не дремлет... Нешто не знаешь – сатана и святых искушает. Силен бес! И горами качает, и людьми, что вениками, трясет. Не так ли?

– От бесовской проказы оберегаюсь Христовым знаменем. К тому же поведай мне, Григорий Лукьяныч: пошто меня привели к тебе?

Малюта медлил с ответом. Вздохнул. Уперся взглядом в землю.

– Не торопись, дружок. Отгадай, в каком ухе звенит?

– Не знаю, – покраснев от досады, буркнул Истома.

– Нет. Скажи.

– В левом.

– В левом? – Малюта захихикал тоненьким, дьявольски ехидным голоском. – Когда так... приступим к делу. Угадал. Спасибо! Невесело хороших людей за жабры хватать, однако мое такое дело, што и отца родного, коли вина есть, отделал бы. Не гневайся, Истома, а скажи-ка мне без кривды: в каких мерах ты с князем Курбским? Помнится, в Черемисии, в походе, будто... не знаю: правда ли то... вы в одном шатре

с ним жили. Не так ли?

Малюта поднял тяжелый, оловянный взгляд на Истому.

– В те поры кто не дружил с воеводою Курбским, возвеличенным высоким боярским саном самим батюшкой государем? И я почитал за честь жить с ним в едином шатре и дружбою его гордился и похвалялся.

– Это так. Правильно. Но, как говорится, друг мой: «Козла выжили, а все псиной воняет!» Почитателей и друзей немало осталось у князюшки на нашей святой земле. Вот хоть бы вассиановцы! Кто того не знает: Курбский дружил и с заволжскими старцами, помогал им. А теперь оных еретиков и смутьянов прячут у себя на куту друзья Курбского. По какой причине, скажи, у тебя укрывался Зосима? Кто, как не бес, внушил тебе мирволить оному злодею, пожегшему Печатную палату? Спрятали вы его у себя, да напрасно. От нас не укроешься... Со дна окиян-моря достанем. Из земли выроем.

Брови Малюты сурово сдвинулись, глаза сверкнули, зашевелились ноздри, и вздрогнула широкая борода от внезапно вытянувшейся вперед нижней челюсти. Весь он, Малюта, как-то разом перекривился.

– Не укрывали мы его. Меня не было и дома в те поры. Прикинулся старче замерзающим, мои бабы сдуру и ввели его в избу, пожалели. А кто ж его знал, что он за человек? Мало ли по Москве шатаются безвестных нищих.

Малюта прошипел:

– И через царскую грамоту ты убил человека в лесу тоже по незнанию. Не так ли?

– Того человека, Ваську Кречета, убил я по приказанию Никиты Васильевича Годунова. Разбойник он был и царское имя порочил!

Малюта встал, отошел в угол и, пригнувшись, как будто собрался прыгнуть на Истома, проговорил:

– Кто бы ни был тот человек, убивать его через цареву грамоту не дано тебе. Ко мне приволок бы, а не убивал. Кому вручена государева грамота, тот государев человек. У нас морской разбойник с нашими кораблями ушел в море по государевой грамоте, так ты и его бы порешил? Ой, неверный Истома! Нагрешил ты знатно. Умножаются беззакония и без того. И не лишне было бы тебе открыть здесь всю истину, без понуждения. Чью прихоть ты исполняешь? Кто надоумил тебя кривить душою и преступать закон за спиною государя? Отвечай! Кому в угоду нарушил ты крестоцелование? Расскавайся. Нелегко мне выводить измену наружу, ибо действие сего злого духа глубоко в душе человека таится. Облегчи мне тяготу мою, поведай чистосердечно, чью волю ты вершишь? Без боярской ехидцы тут дело не обошлось... Ну, говори!

– Не вижу я вины своей, совесть моя чиста, и лжеучение Вассиана не по душе мне, и Курбского князя я проклял с той поры, как узнал об его измене, и разбойника убил за то, што, прикрываясь именем царя, он грабил народ. Нередко государевой грамотой во зло государю же вершат свои дела

неверные слуги.

– Истома, смирись. Не мудри. Долой гордыню! Признавайся! – выпучив глаза и сутуло съежившись, подскочил к стрельцу Малюта. Вытянув голову, сжал кулаки. Казалось, он вот-вот набросится на Истома.

– Помилуй, Господи! Григорий Лукьяныч, чего ради мне наговаривать на себя, – спокойно, с улыбкой, ответил Истома, пожав плечами. – Не лукавил я перед тобою, говорил правду. Не дорога мне голова моя, дорога честь. Коли моя душа лишняя на белом свете, возьмите ее, убейте меня, но лгать не буду!

– Знай же, Истома, как ни хорони концов, а правда сыщется! – погрозился на стрельца Малюта, сразу приняв вид спокойный, невозмутимый, тяжело вздохнул и снова уселся на скамью.

– Правда чище ясного солнца, Григорий Лукьяныч, а коли так, спокоен я. Не пугай меня. Не боюсь. Видит Всевышний Творец – чиста совесть моя. Горд я тем, что малодушия ради не сказываю ложно на себя вину.

Малюта хлопнул в ладоши.

Вбежали двое верзил в красных рубахах, схватили за руки Истома.

– Устройте! – мотнул в сторону Истома Малюта. Вскоре Истома понял, что дело плохо: его отвели в темную земляную нору под железную дверь, куда сажали тех, кто обречен на казнь.

Придет беда – отворяй ворота! На другой же день после увода Истома в дом стрелецкого сотника явился приходский священник, отец Сергей, и стал упрашивать Феокисту, чтобы она вернулась к своему мужу Василию Григорьевичу Грязному. Того требует митрополит, коему принес свою жалобу обиженный бегством жены, убитый горем супруг.

– В послании к коринфянам сказано: «Жена своим телом не владеет, но муж», – тихо, вкрадчиво говорил старичок священник. – Муж и жена по закону составляют одну плоть. Апостол Павел, будучи девственником, по долгу учителя христианского, говорил мужу и жене: «Не лишайте себя друг друга!» Коли ты, матушка, сделалась женой, то и должна выполнять обязанности жены, вот што, милая Феокистушка! Вернись, не гневи Бога.

Долго уговаривал отец Сергей Феокисту. Она твердила в ответ: «Лучше руки на себя наложу, но не пойду к тому надругателю и мучителю! Да и не могу я в таком горе оставить свою матушку».

Священник, покидая стрелецкий дом, низко поклонился Анисье Семеновне и ее дочери:

– Не обессудьте, государыни вы мои! Святитель наказал мне побывать у вас, а каков конец дела, повинен я доложить его святейшеству и боюсь, не учинили бы вам горшего худа грязновские похлебцы... Царь-батюшка сторону опричников по вся дни держит. Дай-то вам Господи невредимыми быть...

боюсь, страшусь за тебя, жено. Благословение Господне на вас!... Аминь!

После его ухода еще тоскливее стало на душе и у Феоктисты, и у ее матери. Страшно! Теперь некому за них заступиться. Беззащитные, одинокие, сразу ставшие чужими для всех своих не только соседей, но и для родных и друзей. Вот и Никита Годунов перестал навещать. Не ходит. И он... Стыдится, опасается опалы, людской молвы... Даже попик постарался выйти из их дома незаметно, через сад. Одно утешение – в молитве. Да и то ненадолго. Как помолятся да взглянут одна на другую, так и слезами зальются... Вот того и гляди нагрянет грязновская ватага и силою уведет Феоктисту в Васькин застеночек-дом, и надругается над нею ее лютейший истязатель, и насмеется над ней своим дьявольским смехом, без стыда, без жалости.

Но не в этом дело. Великие муки, всякие страдания готова принять Феоктиста, лишь бы освободили из тюрьмы ее ни в чем не повинного отца, лишь бы пощадили его седины, его честь...

Особенно тоскливо и нестерпимо жутко в стрельцком доме при наступлении сумерек, когда на улицах в настороженной тишине поднимают вой бездомные голодные псы да грызуны в подполье пищат и возятся... Лампады освещают скорбные глаза Спасителя в терновом венце, кровавые слезы на его желтых ланитах... И хочется плакать, бежать из дома, но куда? Кругом черная, грозная московская ночь, и кто

знает – спаси Господи! Может быть, в этот час там, где-то в подземелье, пытаются огнем отца-батюшку, старенького, добренького, хорошего...

Нет. Нет! Не надо думать о том. Не может быть! Государь справедлив, государь знает Истому Крупнина как честного своего слугу. Он не допустит...

Анисья Семеновна шепчет молитвы. Ее в темноте не видеть, но слышны ее слезы. Слышны ее слова: «Царь-батюшка не ведает, что творят его слуги... Ох, ох, чую беду! Чую нашу гибель».

Феоктисте хочется утешить матушку, но увы... как и чем? Да и сама-то она, Феоктиста, того и гляди будет уведена. Она сама несчастна вдвойне. Она сама видит один исход – в смерти... Где же ей утешать свою матушку?

Митрополит Афанасий, взволнованно отдуваясь, поправляя прилипшие от пота ко лбу волосы, на носках приблизился к государевой приемной палате. Попросил Вешнякова доложить о себе. Услыхав ласковый голос царя, бодро вошел в палату.

Иван Васильевич склонился под благословение.

– Радуюсь, что пожаловал ко мне, святой отец, – приветливо сказал царь. – Всегда готов слышать мудрые слова первосвященника. Богопочитание есть главнейшая из причин величия царств.

Митрополит не сразу решился высказать свою просьбу.

– Так уж повелось, государь наш батюшка, что пастырь духовный печалуется о чадах своих, и то было в прежние и предпрежние времена.

Царь сразу нахмурился. Афанасий продолжал:

– Сильна твоя держава, и нет в мире более мудрого и справедливого владыки, дозвожь же мне принести тебе, батюшко Иван Васильевич, челобитье мое слезное, дозвожь иноку смиренному слово молвить в защиту некоего опального человека...

– Говори! О ком? Кто он? – нетерпеливо перебил митрополита царь, поднявшись с кресла.

– О сотнике стрелецком, Иваном Истоною Крупниным зовут! Помилуй его, государь! Неповинен он. Верно служил он тебе, батюшко, от юных лет и до сих дней...

Царь холодно ответил:

– Не проси попусту. Казню я его. В изменных делах замешан он.

– Государь... – начал было, низко поклонившись, митрополит, но царь перебил его:

– Иное дело – свою душу спасти, иное дело о многих душах и телах пещись... Иноческое, постническое правление – быть подобным агнцу, царское же правление требует страха, запрещения и обуздания и конечного истребления злейших человек лукавых. Ты, мой духовный отец, больше того пользы принесешь, помолившись о прегрешениях государя... Твоя молитва наиболее угодна Богу! Помолись же Богу

и о прощении казненных изменников, не слушающих помазанника Божьего, своего государя. Они грешнее царя. Грешнее презренного ката. Грешнее изменников никого нет. Подтачивая государев трон, они подтачивают веру Христову и благоденствие народа Божьего...

– Но, государь...

– И слушать мне недостойно о том. Истома – изменник, и нет ему прощения! Давай обсудим, как бы мне не посрамить имени своего в веках, чтоб не проклинали меня дети и внуки. И как бы нам изменные дела извести да и царство наше сберечь.

Царь жаловался на непрекращающееся коварство бояр и их прихлебателей. Вотчинники и монастыри все еще норовят Москву голодом морить – хлеба не везут в Москву на торг, землю обрабатывают, чтобы только им самим и их людям сыту быть, а до прочих им дела нет. Чем труднее Москве, тем больше радости им. Боясь опалы, вотчины свои они жертвуют монастырям, чтоб царю не давать. Всем им поперек горла стала Москва. Никак не могут примириться они с ее властью над собою. За Новгород, за Псков хватаются. И Печатную палату сожгли из ненависти к Москве – не печатай-де никаких указов нам, не печатай единую для всех науку и книги церковные, апостольские по единому для всех образу...

– Этого старца Зосиму, вассиановца, лютого врага нашего, медвежьей потехе подвергли, – сказал Иван Васильевич. –

И дивное дело! Ни одного своего покровителя он не выдал даже под великою пыткой. А на лобное место взойдя, рассказывал мне Малюта, сам голову свою на плаху положил и косицу на шею приподнял. Вот какие они. Силен бес!

Иван Васильевич покачал головою, улыбнулся какою-то для него несвойственной, растерянной улыбкой и сказал:

– Какой человек! А? Мне бы таких! И слуга Курбского, Васька Шибанов, тож... Пытали его. Отрекись, мол, от своего князя. Нет. Не отрекся. Мальчишка ведь, юнец! Казнил его Малюта, хотя и не нахвалится им. Крепок был. Побольше бы и мне таких. Правда, есть у меня много верных слуг. Они дороже жизни почитают мою правду. Но старое все еще крепко. Во все монастыри послал я синодики, чтоб молились о казненном Ваське! О подобных ему помолимся. Господь примет их на лоно свое, ибо не своекорыстны были они, но, заблуждаясь, стали слепыми слугами врагов родины. Любо мне видеть твердость и прямоту. Вот и сотник Истома такой же, а ты захотел, чтобы я его отпустил...

Афанасий слушал царя молча, опустив голову, не поддакивая, не лстя, с тяжелым чувством обиды видя, что его заступничество не увенчалось успехом, что лют стал государь и трудно теперь с ним ужиться ему, митрополиту.

Царь сказал митрополиту, что, во имя блага царства, он попробовал разделить Русь на две части: земщину и опричнину. Поместному приказу велено написать грамоту: какие города и уезды отойдут в опричнину и какие в земщину. Мо-

жет быть, такое деление пойдет на пользу государю и народу. Царь должен искать лучшего.

– Велика ли заслуга государя, коли он топчется на месте?

Афанасий продолжал молчать, слушая царя и удивляясь его словам. Старцу непонятно было, зачем все это нужно? А когда Иван Васильевич объявил, что он из Кремля уедет в новый дворец, построенный по его приказу за Неглинкой-рекой, близ Сивцева Вражка, по щекам митрополита потекли слезы.

Царь, заметив это, сказал с улыбкой:

– Что? Иль не по душе тебе, святитель, мои дела? На весь мир и сам Бог не угодит!

Афанасий, смахнув ладонью слезы, тяжело вздохнул:

– Малоумен я, батюшка государь, стар делаюсь... Коли бы на то была твоя воля, ушел бы я в обитель, на вечное смирение...

– Обожди, святой отец, не время! В оные дни твоя твердая молитва, твое крепкое стояние за царя наипаче необходимы... Война не утихает, но более того прибывает; подобно морскому прибою, полчища врагов ползут к берегам нашего царства, а ты говоришь об уходе в монастырь. Молитве места не искать... Есть о чем молиться. Покажи твердость, но не малодушие...

Митрополит помолился на иконы.

– Дай, Господи, мне сил исполниться мужеством и разумом достойным, чтобы стать полезным моему монарху.

Иван Васильевич поднялся с кресла:

– Благослови меня на благополучное совершение новых дел.

Митрополит встал и широким быстрым движением руки благословил царя.

– Да будет благодать Господа Бога над твоею державою!

VIII

Непогода – ветры, мокрый снег; над приземистыми хибарками на берегу Москвы-реки мутно-серая мгла. Канун весны. Порывистые холодные вихри подсекают, словно топором, почерневшие от сырости сучья деревьев: у корневищ проталины; рухнули многие тыны, загромоздив улицы, и без того едва проходимые от грязи.

Малюта только что вернулся домой из церкви от вечернего бденья, заботливо прикрывая ладонями огонек свечи, который он сумел уберечь от ветра. Под мышкой у него завернутая в полотенце «своя» икона, перед которой постоянно молился он. Икона Пантелеймона-великомученика. Волосы Малюты тщательно расчесаны и густо смазаны маслом. На лице – богомольная кротость. Щедрою лептою наделил он в храме нищих, калек и юродивых.

Дома застал Бориса Годунова, который тихо беседовал о чем-то с Прасковьей Афанасьевной. При появлении Малюты оба встали, большим поклоном приветствовали его.

Малюта помолился на иконы, зажег от своей свечи лампады.

– Бог спасет! – тихо молвил он.

– Спаси Христос! – хором ответили ему жена и вышедшие из соседней горницы обе дочери с Годуновым.

– Вот пришел проведать тебя, Григорий Лукьянович, – смущенно произнес Годунов, переминаясь с ноги на ногу.

– Добро пожаловать. Такому гостю всегда рады.

Дождавшись, когда сядет хозяин, расположились на скамье вдоль стены и все остальные.

– Батюшка Григорий Лукьянович, государь мой, дело у него до тебя есть... – вкрадчивым голосом сказала Прасковья Афанасьевна. – Ну, што ж ты... батюшка Борис Федорыч... Говори! Суров наш Лукьяныч, да без норова. Выслушает тебя.

Годунов встал, вышел на середину горницы, еще раз низко поклонился Малюте и смело сказал:

– Не гневайся, Григорий Лукьянович, дозволю слово молвить бескорыстное, от чистого сердца идущее.

Малюта насторожился, сощурил глаза.

– Бескорыстное слово – куда как заманчиво. Ну-ка! Дерзай!

Борис спокойным, твердым голосом рассказал Малюте об издевательствах Василия Грязного над своей женой и о том, как она ушла от него, испугавшись его угроз. Рассказал, как Грязной посылал толпу бродяг-разбойников похитить из мо-

настыря, что близ Устюжины-Железнопольской, вдову покойного Колычева Никиты инокиню Олимпиаду. Если бы не Ермак, то пришлось бы Москве пережить великий позор от такого бесчинства ближнего к царю человека. Никита, его, Бориса, дядя, совершал объезды дорог и столкнулся с грязновским наемным вором Василием Кречетом и его шайкой. Грабили и убивали они черных, посошных людей. Деревни опустели, крестьяне все попрятались в лес. Никита приказал сотнику ИстOME Крупнину застрелить Ваську Кречета как государева врага. Теперь Василий Грязной мстит ему, стрелцкому сотнику ИстOME, отцу его, Василия, жены. Тяжкая несправедливость постигла несчастного, но едва ли найдешь среди государевых слуг человека, более преданного царю, нежели воин ИстОма. А особо важно то, что Васька Грязной разбойника облек властью государева слуги... Он ему дал государеву грамоту ради своих похотливых затей...

Долго говорил Борис Годунов, доказывая невиновность сотника Крупнина.

Малюта, слушая его, часто, в хмуром раздумье, покачивал головою в знак удивления и укоризны:

– Так ли оно, Борис Федорович? Уж больно складно ты говоришь. А правда – не речиста. Нет!

– Так, родной Григорий Лукьянович! Незачем мне кривить душой. Я и государю-батюшке Ивану Васильевичу говорю всю правду без боязни, ибо несть большего греха, чем тот грех, когда ради своей выгоды спасешь государева недру-

га, вора и предателя! И еще того горше грех, когда из боязни царского гнева не говоришь государю правду, умалчивая о кривде, особливо ежели хотят загубить слугу, преданного царю... Подлинные враги потешаются истреблением преданных царю слуг... Известно. Уж не обессудь меня, Григорий Лукьянович, голову сложу на плахе за правду своих слов. Не допусти позора и гибели сотника Истома!

Малюта потер ладонью лоб, тяжело вздохнул:

– Все то дело ведомо царю. Как же быть мне, коли сам я осудил Истома? Стало быть, Малюта государя-батюшку в соблазн ввел? Обожди два дня, а может быть, раздумаешь и отступишься? Срам ведь мне! Пущай уж сложит свою неповинную голову сотник, а мне штоб не срамиться. Не ты будешь в ответе, а я! Неладно мне на попятную-то идти. Сам Господь Бог не разберет теперь тут, кто виноват, а кто неповинен в изменах.

– Грех так-то, Григорий Лукьяныч... Не одному тебе грех, но и мне, и дядюшке моему. Как же это? Знали мы ту неправду и промолчали. Выходит, и мы ту голову срубим? Грех ляжет не только на меня, и на будущую жену мою, и детей моих... Не так ли? Боюсь кары Божьей!

Малюта задумался.

– Упрям ты! А што греха боишься, то гоже... Надобно думать и о потомках своих, штоб Бог их не покарал... И то истинно! Ладно. Уж покаюсь перед Иваном Васильевичем... Свалю вину на проклятого Ваську Грязного... Што будет, не

знаю, но попытать – попытаю... доложу царю. Дюже осерчал государь на Истому.

– Попусту, отец мой, Григорий Лукьянович, обманули государя Грязные-братья. Они виноваты в обмане!

– К лихоимству и лжи Грязные зело способны. Говорил я уже не раз о том государю.

– Так заступись же за Истому, не губи неповинного стрелецкого начальника!

– Знаю я тебя, Борис, и люблю тебя. Молод ты, но наделен разумом, приличным людям достойнейшим. И дело то решим мы по чести. Не верь, кто винит меня в суетном душегубстве. Правду скрывать не стану: изменников не жалую, пыткам предаю и казню лютыми казнями без пощады и в том раскаянья не имею. Мое имя проклинают, знаю... Вижу страх в глазах и лицемерное уважение к себе; невесело быть пугалом, страшно умерщвлять людей... Страшно, Борис! Сам я боюсь кары Господней, руки мои в крови, не скрою. Но сердце во мне человечесье, русское, хочется мне жить, нельзя отдать земли нашей в руки врагов... Грешно идти на поводу у изменников. Все рухнет тогда! Рухнет и церковь Божия, бусурманы осквернят веру Христову, обратят в пепел наши города и деревни, а женщин и детей в полон угонят. Гроза немалая: Жигимонд, забыв крестоцелование свое, вкупе с изменниками – отъехавшими в Литву боярами – умыслил великое нападение... Курбский уже пошел с панами разорять Русь, подбивает к тому же и крымского хана... сжег Великие

Луки! Государю все то ведомо. Свейский король тоже напал на нас... Ливонские немцы точат мечи об ерманские камни, чтоб напасть на нас... Пущай меня проклинают! Не откажусь я от греха истребления! Так самим Господом Богом устроено: кого-то нужно людям проклинать при переменах в царстве. И кто-то должен в аду гореть. За Истому стану бить челом государю. Иван Васильевич лют иной час, но и милостию тароват... Он лишает жизни, он же и о душах убиенных молится сам и монастырям приказывает, шток простил Господь им их измену, их великие преступления против родины и царя.

Немного помолчав, Малюта вдруг со всею горячностью произнес:

– Коли государь воинским обычаем пошлет меня на поле брани – и там буду биться с врагами до той поры, пока голову не сложу! На полях брани не терялся я... Слыхал, чай? Воинское дело более по душе мне.

Борис Годунов смиренно кивнул головой: «Слыхал». Затем поднялся, помолился и с почтительной улыбкой на красивом молодом лице отвесил поклоны Малюте и Прасковье Афанасьевне.

– Спаси Христос, Григорий Лукьянович!.. Прошу прощенья, коли не в раз пришел.

– Ты у нас во всяко времечко желанный.

Малюта ласково взглянул на Бориса.

– Будьте здоровы. Прощайте!

– Бог спасет!

На ветке вишневого дерева, у самого оконца, покачивалась птичка-малиновка, зорянка красногрудая. Тепло. Солнечно. Она весело насвистывала, расправляя перышки, вертя головкой, бойко осматриваясь по сторонам.

Феоктиста, затаив дыхание, следила из своей светелки за дивной птичкой. Мысли ее опять стали горькими. Ах, отец, отец! Жив ли он: вот уже третью неделю о нем ни слуху ни духу. Кто нашептывает, будто его уже и в живых нет, кто – будто он отослан на покаяние в монастырь; болтают, что услан он на Студеное море; кто пытается утешить: будто он жив, и здесь, в Москве, но сидит окованный железами у Малюты в подземелье. А правда никому не ведома. Кто может раскрыть тайну, кроме кровожадного зверя Малюты? Мало ему крови! Бог его накажет за всех! Сколько он народа замучил, того и сам он сосчитать не в силах. Анистья Семеновна и она, Феоктиста, утром и вечером на молитве проклинают Малюту, просят Господа Бога, чтобы покарал он любую казнию самого Малюту. Да и царь-батюшка тоже... Окружил себя душегубами!.. Тысячу душегубов собрал в свою опричную дружину. Черные, страшные, с собачьими головами у седла, скачут они по улицам, пугая всех. А зачем? Мало, что ли, разбойников на Руси? Все в округе шепчутся, и есть слух, будто государь «ума рехнулся». Тогда уж не жди доброго! Погубит он бедного батюшку, оклеветанного врагами, коли

не сгубил уж.

Никита Годунов тоже... Словно в воду канул. Бросил в несчастье ее, Феокисту, и, будто прокаженной какой, всячески ее сторонится! Вот они, нежные, ласковые его слова. И он, как и все другие, от отца родного отречется, боясь навлечь на себя опалу.

– Бог им судья! – говорит Анистья Семеновна. – Каждый человек о себе помышляет. Может статься, и жалеют нас, а своя одежда ближе к телу. Кабы не было страха – не было бы и власти.

Феокиста никак не могла примириться с опричниками, в душе продолжала жестоко осуждать и даже презирать как трусов и ничтожных людей тех, кто, страшась мести царя, избегал ее и мать и кто дружил с опричниками.

Глядя на стайки птичек, порхавших в саду у окна, Феокиста с тоскою завидовала этой птичьей беспечности, и ее толкало унести куда-то в иную жизнь, где нет опричнины, темниц, дыбы, плетей и цепей... Но может ли быть так? Одни ангелы достойны беспечальной жизни и святые праведники в царстве небесном. Если батюшка казнен, то и он, страдалец, будет стоять у трона Всевышнего как праведник.

Вдруг Феокиста увидела подъехавших к дому двух «черных» всадников. «Они!» В ужасе бросилась к матушке в опочивальню.

Раздался сильный стук в дверь, а затем в дом вошли два взрослых опричника.

– Василь Григорьич Грязной приказывает своей супруге Феоктисте Ивановне вернуться к нему в дом, – громко провозгласил один из них.

Анисья Семеновна и все вышедшие в переднюю горницу сенные девушки и дворовые люди залились горячими слезами, подняли вой.

Феоктиста спряталась в чулане. Ее заперла одна из девушек засовом.

– Увольте, православные воины, не принуждайте мою доченьку к тому, чтоб вернуться ей в нелюбезный тот дом... Изобидел ее, надругался над ней Василь Григорьич, Бог ему судья... и хоть бы...

– Веди ее сюда! – злобно крикнул рыжебородый опричник с рыбьими, навывкате, глазами, со всею силою толкнув Анисью Семеновну.

Лицо его испугало сенных девушек. Они взвизгнули и убежали.

– Коли не выведешь ее к нам, так мы сами ее найдем...

– Убейте меня, злодеи вы окаянные, но не отдам я вам на поругание моей дочери!

Эти слова взбесили опричников. Оттолкнув старушку, они принялись обшаривать все углы в доме.

Поднялась суматоха. Девушки выбежали на улицу, стали кричать в голос, призывая соседей на помощь. Собаки подняли неистовый лай. Кто-то из темных сеней бросил поленом в опричников.

И вдруг все стихло.

Опричники добрались до чулана. Феоктиста слышала, как они начали шарить в темноте, ища дверь в чулан. Она похолодела от страха.

В это время в дом вошли неизвестные люди, сопровождаемые сенными девушками.

Через силу поднялась со скамьи Анисья Семеновна.

– Что вам нужно, добрые люди? – едва слышно, убитым голосом спросила она.

– Кто хозяйка? – спросил один из вошедших.

– Я и есть...

– Вот слушай... Мы – дьяки Земского приказа. Государевым повелением надлежит дочери твоей Феоктисте с нами идти в палаты к митрополиту... Дело есть государево! А тех людей, что к вам приехали, мы отошлем туда, откуда они прибыли... Где они?

Анисья Семеновна проводила дьяков в сенницу. Опричники старались открыть чулан.

Дьяки крикнули:

– Именем государя и царя всея Руси Ивана Васильевича приказываем вам, верные слуги государевы, оставить этот дом, а тоё Феоктисту Крупнину мы по приказу государя повинны отвести на митрополичье подворье.

Опричники опешили, растерялись, но подчинились приказу царя.

Дьяки вывели Феоктисту и крикнули ей строго, чтоб шла

с ними в Кремль, к митрополиту.

Анисья Семеновна, рыдая, отпустила дочь с земскими дьяками.

Опричники, устыженные, растерянные, вышли вон из дома тихо, боязливо оглядываясь по сторонам, вскочили на коней и быстро ускакали.

Василий Грязной никогда не испытывал такого страха, как в то утро, когда к нему явился стрелец с государева двора и передал ему царское приказание тотчас же явиться в Опричный двор за Неглинку-реку. В последние дни Грязной заметил что-то неладное... При нем перешептываются дьяки, искоса поглядывая в его сторону, от него сторонятся; свысока стали смотреть на него и стрельцы, которые приставлены охранять государев дворец. Малюта как будто умышленно избегает разговоров с ним, но прислушивается к его словам. Он даже смотрит на него теми, другими, глазами – страшными, подозрительными глазами, а в чем дело, трудно понять: у Малюты на уме что-то есть, и то «что-то» направлено именно против него, Грязного. А главное, смущали Василия хмурые взгляды Годуновых, любимцев Ивана Васильевича. Это уж совсем плохо. Диво-дивное: всех тысячников, государевых верных слуг, записали в опричину со строгим допросом и с записями, а Годуновых без допроса и без опричных записей. Царь окружил их ласкою и доверием и поручает юнцу Борису многие тайные государевы дела. Не брал с Бориса и памяти, в коей он отрекался бы от своих родных и

друзей, и опричного крестоцелования не давал он государю. Не делал сыска, с кем в родстве кто стоит и кого имеет друзей. Можно ли после того не бояться Годуновых?

Василий Грязной, окунувшийся с головою в придворную жизнь, научился чутьем разгадывать всякие дворцовые перемены из слов, из улыбок и повадок окружающих царя людей, и всегда он оказывался правым в своих предположениях. Привыкнув раскидывать сети интриг вокруг других, он теперь сразу понял, что и сам попал в чьи-то сети. Ничего не случилось; все как будто идет своим чередом, и однако... все же ему не по себе. Словно чего-то ожидаешь, что-то должно произойти, что-то очень неприятное...

И вот произошло: сидел дома в ожидании своей жены, которую должны были привести к нему посланные им в дом Истома опричники, а прискакал государев гонец. Чудно!

Государь за ним посылает гонца, но ведь сам же государь отпустил его на богомолье, сказав, чтобы он помирился с женой и поехал с ней в Троицкий монастырь замаливать грех домашней междоусобицы.

Быстро оделся Василий, вскочил на коня и помчался во дворец. Неистово нахлестывая лошадь, вспотел весь – в то же время легкий озноб проходил по его спине.

Когда Грязной вошел в государеву палату, сопровождаемый молчаливым, каким-то деревянным на этот раз Игнатием Вешняковым, его сердце замерло от страха. Иван Васильевич стоял посреди комнаты в белой простой рубахе и

простых серых шароварах, всклокоченный, лохматый, с плетью в руках.

Василий низко поклонился ему. Царь взмахнул плетью и со всею силою ударил ею Грязного по спине, затем еще раз и еще.

Грязной стиснул зубы, пересиливая боль.

Лицо царя было перекошено от злобы.

– Доколе ты, собака, будешь меня обманывать? Голову срублю, ярыжка злосчастный! Разбойников с моей грамотой посылаешь? Тать лесную прикрываешь?

Опять свистнула в воздухе плеть.

– Людей бесчестишь? Поклеп возводишь? Ярыжничаете с питухами кабацкими? Совесть потерял? Вор! Собака! Прочь! Прочь, скот!

Василий бросился к двери. Царь за ним.

– Стой, пес!

Грязной упал на колени, моля пощады.

Иван Васильевич плюнул ему в лицо:

– Убью, казню! Пошто порочил сотника Истому? Жигимонд надоумил?! Сатану тешил? Царя обманывал? Червяк поганый!

– Виноват, батюшка государь, винюсь!.. Прошу прощенья! Будь милостив, великий...

Злая усмешка скользнула по лицу Ивана Васильевича.

– Виноват? Проваливай к Малюте... покайся ему! Ну! Прочь, собака! Скажи ему, штоб Гришку, твоего брата, в ле-

дяной воде искупали и тебя тож! Горячи больно, остудить вас надобно!

Грязной поднялся с пола, намереваясь скорее покинуть покои царя, но Иван Васильевич снова крикнул: «Стой!»

Остановился Василий, растерянный, весь в слезах.

– Ах ты, дьявол! Как же ты смел, лиходей, морочить голову своему государю? Стой! Не вздрагивай!

Царь снова стал хлестать плетью Грязного.

– Блудить вздумал. Обманывать царя. Вот тебе! Вот тебе! Неверный раб! Лукавый раб!

Едва дыша от боли и ужаса, Василий повалился на пол.

Толкнув его ногой, Иван Васильевич плюнул на него и удалился в соседнюю горницу.

Избитый, растрепанный, Грязной вышел из палаты в коридор, где его дождался вооруженный Никита Годунов.

– Батюшка государь приказал отвести тебя к Григорию Лукьяновичу. Искупать тебя приказано. Тяжкий грех твой смыть. Опричному надобно чистым быть! – с недоброй улыбкой проговорил Никита.

Малюта, задумчиво оперевшись головою на руки, сидел за столом в Съезжей избе. Около него стояли четыре бадьи. Когда в избу вошел Грязной, сопровождаемый Никитою Годуновым, Малюта встал, вынул из кармана черную монашескую скуфью, надел ее на голову и, подойдя к Грязному, перекрестил его:

– Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна, не вреди ближнему твоему, как и самому себе, ибо мнози лжесвидетельствоваху и на Иисуса Христа в синедрионе иудейском. Еже извет сотворишь на ближнего, да не пощадит коли его око твое, впадешь если в тяжкий грех перед Богом и государем, а посему прими от ны омовение грешной души твоей!..

Малюта велел Грязному раздеться донага и стать на колени, и когда тот исполнил, Малюта поднял бадью с пола и с размаху окатил Василия водою.

– Будь отцом-восприемником! – смеясь, крикнул Малюта Никите Годунову. – Да поведай там Истоме: Малюта-де омыл грешную душу клеветника Васьки. Больше врать не будет. Пушай больше не серчает на него.

Со словами «Господи благослови» Малюта опрокинул и другую бадью на Грязного.

– Опричнику, согрешившему перед царем, либо плаха, либо духовное покаяние... благодари Бога – тебе государь присудил духовное покаяние... Опиши мне свои окаянства и утресь ту память отдай мне. А теперь одевайся и домой иди и больше не греши. Аминь!

Малюта снял скуфью с головы, указав Грязному на дверь, и, обратившись к Никите, строго сказал:

– Гони сюда Гришку Грязного!

IX

Московские корабли вошли в нарвскую гавань, таща за собою шесть каперских судов. Все население Нарвы собралось на берегу, узнав о возвращении царевых кораблей. Год прошел, как они снялись с якоря. Гости и купцы, ступив на родную землю, стали на колени, растроганно помолились на церкви. Как-то даже не верилось, что опять дома. Слезы застилали глаза.

– Неужто родина?! – плаксиво, с улыбкой, всплеснув руками, воскликнул Иван Тимофеев.

Андрей растерянно оглянулся на него. «Неужто и впрямь Русь?» Голова закружилась и у него от радости.

Все прочие купцы переглядывались с веселым недоумением. Юрий Грек глупо рассмеялся, неизвестно для чего погрозившись Керстену Роде, все еще стоявшему на палубе. Он кричал что-то матросам. Те суетились на палубах, свертывая паруса, приводя в порядок заполнявшие корабли грузы.

Беспрозванный и Окунь весело перекликались со своих судов с толпившимися на мостках новгородскими гостями, которых они знали еще по Студеному морю.

На берегу, кроме боярина Лыкова, находился юрьевский воевода Михаил Яковлевич Морозов. Он приехал совет держать с нарвскими властями по приказу государя, как бы побольше русских товаров вывезти в это лето в Англию да как

бы побольше купцов аглицких в Нарву привлечь.

Московские гости низко поклонились воеводе Морозову.

– Здорово, купцы-молодцы! Ладно ли за морем побывали?

– Бог милостив, не в убытке! – крикнуло несколько голосов. Лица самодовольные, загорелые, бороды еще длиннее стали за время плавания. Кое у кого и седина прибавилась: страха немало натерпелись. Два сражения с польскими и шведскими каперами на обратном пути выдержали при входе в Балтийское море. Едва не утонули.

– То-то!.. – крикнул боярин Морозов. – Зря упирались, не хотели плыть!

– Уж больно сердито море-то... – замотал головою старик Тимофеев. – Страсти! Всего и не перескажешь, батюшка Михаил Яковлевич. Никак невозможно... Совсем с толку сбились...

– Полно тебе. Такому молодцу нечего бояться...

Купцы дружно рассмеялись.

– Он у нас всю дорогу внутри сидел!.. – крикнул Юрий Грек. – От своей тени прятался...

– Да ладно уж, ребята, смеяться. Прошел окияны и пера не оставил. Вот как! – добродушно откликнулся старик. – Доволен будь милостью Божьей и не требуй ничего.

Пошутили торговые люди, погалдели да в Таможенную избу. Купцу попусту время терять не рука. К тому же и Нарва не своя деревня – тянет домой, к семье, в гнезда наси-

женные.

Андрей отбирал у Керстена Роде по приказу Совина обусловленные царевой грамотою в пользу царя пушки, отбитые у пиратов. Керстен Роде смотрел на него и диву давался его смышлености.

– Молодец, не зевает! – улыбнулся он, указав на пушкаря Совину.

– Вот какие у нас есть!.. – с гордостью произнес Совин.

Керстен сказал:

– О его службе я доложу государю. Да и мореходы ваши ловки и смышлены. Не знали мы, что у вас есть такие.

Пушкари мыли и чистили орудия на кораблях.

Денек выдался теплый, весенне-солнечный.

Волнуется поверхность Наровы, покрылась как бы золотистой чешуей; бороздили воду челны и лодки вокруг кораблей.

Совин, толмачи, дьяки и пушкари стали готовить обоз, чтобы выступить в Москву. Весь день, до глубокой ночи, разносился веселый гул людских голосов, свирелей, гудошников, песни матросов.

Иван Васильевич поселился в своих новых хоромах за Неглинкой-рекой. Из Кремля царев обоз вышел ночью при свете факелов. Стрельцам и опричникам приказано было стрелять в каждого, что осмелится полюбопытничать и подсматривать, как царь переезжает в новый дворец. Медвежат-

ники держали наготове медведей, чтобы ими травить провинившихся людей всякого звания.

Дворцовые постройки окружены были опричной усадьбой, занимавшей громадную четырехугольную площадь. Двор был обнесен стеной, сложенной на одну сажень от земли из тесаного камня, а выше – из обожженного кирпича. Стены без бойниц и крыш, верхи остроконечные. Двор растянулся на сто тридцать саженей в длину и на столько же в ширину. Одни ворота смотрели на восток, другие – на юг, третьи – на север. Северные ворота находились против Кремля, были окованы железными полосами, покрытыми оловом. На воротах красовалось изображение двух львов: вместо глаз у них сверкали зеркала. Над ними распростерли крылья резные из дерева черные двуглавые орлы.

У северных ворот теснились поварни, хлебни, мыльни и погреба.

Посреди двора раскинулись три огромные дворцовые постройки. Над каждым из теремов торчали длинные шпили, на вершине которых распростерли свои крылья насаженные на острие двуглавые черные орлы из дерева, с грудью, обращенной к земщине.

Обилие крытых ходов и переходов, разрисованных снаружи резными цветными узорами, придавало дворцовым постройкам сказочную таинственность.

...Посланные нарвским воеводою боярином Лыковым гонцы принесли весть царю о возвращении московских ко-

раблей.

Иван Васильевич с огромной радостью встретил это известие. Вот то, чего он добивался с такою настойчивостью! Вот то, ради чего он принял на себя бремя войны, злобы, клеветы, ради чего принес в жертву дружбу и почитание многих достойных людей.

Море! Вот когда над твоей страшной пучиной зазвелят русские мужицкие песни и стяг московского государя будет победоносно реять над твоими безбрежными просторами. Наконец-то корабли московские богатырской грудью своею пробили себе дорогу на запад и смело прошли по морям, полонив разбойников, разметав их преступную орду.

Да будет благословен сей желанный день!

Иван Васильевич быстрыми шагами вошел в светлицу Марии Темрюковны с веселым восклицанием:

– Царица! Щедра рука Всевышнего. Приплыли! Атаман правдою послужил нам. Радуйся, молись! Сегодня будут у нас во дворце!

Иван Васильевич стал на колени перед иконами; опустилась на колени и царица. Оба усердно помолились, благодаря Бога за благополучное странствование русских кораблей.

– Увы! Найдет ли в себе силы царь быть паки и паки страшным для врагов?.. Курбскому ответу на его лаянье. Отвечу, как достоин государю... Молчать не вмоготу мне.

Царица недовольно сказала:

– Государю ли отписывать ответ своему холопу, изменни-

ку? Голову рубить ему... Срамно царю писать изменнику! Не спеши, государь!

Иван Васильевич задумался.

– Не соромь себя! – Тонкие брови ее гневно сдвинулись.

– Добро! Подумаю. Однако и умолчать негоже. Клевещет он. Правды нет в его собачьем лаянье... Ну, Господь с тобой! Мне надо бы идти, принять Совина с его людьми.

В рабочую палату, сопровождаемые дьяками Щелкаловым, Висковатым и Писемским, вошли Совин, Алехин, гости – Степан Твердиков, Иван Тимофеев, Смывалов и другие купцы. Позади всех тяжело шагал великан Керстен Роде. Беспрозванный и Окунь были в толпе купцов.

При появлении царя все находившиеся в палате положили земной поклон. Датчанин опустил на одно колено. Иван Васильевич милостиво приветствовал всех, приказав встать.

Совин доложил о Керстене Роде, об его усердной, прямой службе и о том, как водил он корабли на морских разбойников и как немилосерден был он к ним.

Царь одобрительно кивал головой, слушая рассказ Совина.

Керстен Роде догадался, что разговор идет о нем, скромно, с не соответствующей его наружности стыдливостью потупил взор. Царь бросил в его сторону ласковый взгляд. Он приказал послать за дьяком Гусевым Ильей, что в Наливках, в Дацкой избе, изъявив желание побеседовать с атаманом на-

едине. То же сказал он и торговым людям – с ними будет особый совет, а потому и попросил их удалиться пока в соседнюю палату.

Когда остались с царем только Щелкалов, Писемский и Совин, он приказал Совину доложить ему, что спрашивали о России и о русском царе в иноземных государствах и что он, Совин, отвечал им; везде ли спрашивали о здоровье его, государя, и что болтают о бегстве Курбского и иных бояр в Литву. Но больше всего государю хотелось знать, что думают в иных странах о войне с немцами и о нарвском плавании; удобнее ли оно, нежели плавание через Студеное море?

Совин ответил, низко поклонившись царю:

– По вся места, великий государь, спрашивали о здоровье твоего величества и матушки государыни и детушках твоих царственных, а называют тебя, отец наш, мудрым и славным правителем и хозяином нашей земли.

– Боятся ли нас? – перебил Совина Иван Васильевич.

– Опасаются, батюшка государь... Позволь мне, отец наш родной, молвить сущую правду: не верь ерманскому кесарю... Мутит он Европию супротив тебя. Пугает всех. И Данию запугал... А в Польше будто есть сильная партия, склонная к союзу с Москвой. И даже пришлось слышать от одного шляхтича в Лондоне, будто тебя, великий государь, после смерти болящего старого короля Жигимонда, прочат посадить королем у себя на престол либо кого из царевичей твоих...

Иван Васильевич улыбнулся:

– Слыхал и я такое же. Ну что ж!

– Будто есть польские люди, требующие мира с Русью.

Совин хотел еще кое-что сказать, но царь Иван перебил его:

– Бойтся ли нас аглицкая королева, моя любезная сестра Елизавета?

Совин отрицательно покачал головою:

– Велика сила той государыни, широко разошлась слава о ее могуществе, повсеместно. Она не боится никого... Самых лютых противников своих, латынжан-католиков, королева без колебания возвышает и облакает их государственной властью... Ей многие вельможи мешали сесть на престол, а короновать даже все епископы отказались... Хитроумно она заставила католиков все же покориться ей... Католику сиру Филиппу Стэнли дано управление городом Девентерпом, да еще – в военное время!.. Многие разбойники и воры, и те служат ей.

Иван Васильевич пытливым взглядом уперся в лицо Совина. Насторожился: «Не намекает ли на что хитрец Совин, уж очень расхваливает аглицкую королевну».

– Ее величество аглицкая королева милостиво принимала меня, и вельможи ее честили послов твоих. Не слушает государыня та ни Жигимонда, ни Фредерика, ни Эрика, ни кесаря... Выгоду от дружбы с нами она ставит выше дружбы с теми королями. Сильна своею державою королева Елизавете-

та и всяко покровительствует своим торговым людям, чтоб вели торг с нами. Изменника Курбского почли иудею по вся места, и нигде не слыхали мы доброго слова о нем, ибо каждый государь, любящий свой народ, опасается таких же изменников и предателей... И у каждого короля их не меньше, чем у русского, Богом венчанного владыки.

Вздых облегчения вырвался из груди Ивана Васильевича: «Коли не врет, слава Богу!»

– А касаясь нарвского плавания, доложу, государь, повсеместную радость торговых немецких, французских, аглицких, голанских и иных людей... Студеное море не всем доступно мореходам, однако ловкие аглицкие мореходы не отрезаются от Студеного моря, не надеются на благоприятство балтийских разбойничьих вод... Их не пугает свирепство ледяных штормов, ничего не останавливает их в намерении торговать с Москвой...

Царь задумался. Тяжело вздохнул, спросил:

– В каких мерах аглицкая власть с ерманским кесарем?

– Ерманский кесарь с завистью и страхом взирает на могущество державы ее аглицкого королевского величества. Королева то знает, но забота ее ныне – об одолении гишпанского Филиппа, нападающего со своими латынскими попами на слабых и строящего козни, поднимающего смуты в королевствах сильных.

– Велика ли власть того гишпанского Филиппа?

– Падает она. Война разоряет и его торговлю, и его народ,

а вассальные царства короля бунтуют против него и против папы Павла... Грозная свара идет в голанской земле... Всюду католики-латыняне проливают лютерскую кровь, и нет дерева, на котором святые отцы не вешали бы неугодных себе людей, и многие мужики и посадские побивают католических попов, разбивают папские церкви, истребляют книги и утварь и уходят в леса и на море... А што будет дальше, Бог весть, народ бушует, прокликает Филиппа и папу Павла...

Иван Васильевич нахмурился.

– Ты сказал: народ бушует, а кто ж у них голова? Без головы народ подобен сухой грозе... Окаменелой от бездождия земле мало пользы от сверкания молнии и ударов грома.

– Есть там лыцари, кои заодно с народом...

– Кто они?

– Не ведаю, государь, слышал о лыцаре Эгмонте и Вильгельме Оранском. Прославился Эгмонт как именитый вождь в войне с франками. Хотя и католик он, да заодно с народом, не идет на поводу у Филиппа... любит свою родину, верен ей... Плохой конец ждет и его, хоша он и католик...

Подозрительный взгляд Ивана Васильевича не укрылся от Совина, и вдруг он услышал тихий, усмешливый вопрос царя:

– А тебе по душе ли было жить за рубежом?

Совин смело и громко ответил:

– Хоть бы голову мне на родине срубили, не остался бы я все одно в чужих краях, великий государь. Чужое там, не на-

ше, не привычное... да и воровского народа там тьма-тьму-ща...

Царю понравился ответ Совина.

– А вот собака-дьяк Сидоров оказался коварнее разбойника Керстена... Мои бояре говорили мне, будто обманет меня, продаст мои корабли, ограбит моих торговых людей тот Керстен, но он честно послужил мне. Татары, мордва, черкасы, как и мой народ, служат мне преданно, а кое-кто из русских служилых начальников из стороны в сторону шатаются, словно хрупкие стебли, что способны от малейшей бури сломиться... Есть такие. Но, благодарение Господу Богу, коли глубоки корни да крепок ствол, на месте опавших листьев вырастает новая зеленая листва. А ну-ка, поведай мне: какие случились перемены в иных царствах? И где воюют попы?

Совин напряг память.

– В Ермании, батюшка государь, неладное с попами... Инквизиторы-монахи добивались, штобы сжечь еврейские ученые книги, а кесарь Максимилиан воспротивился... Позвал одного ученого еврея и посоветовался с ним... После того папа обозлился на ерманца... Лютерская ересь по вся места столкнулась с латынской ересью... Кровь христианская в великом разлитии.

Совин умолчал о том, что нашлись во Франции люди, которые пошли против неограниченной власти монарха – «монархомахи»... Они говорят: один Бог правит неограниченно, земные же государи – Божьи вассалы; когда государь стано-

вится тираном – свергнуть его! Уже во Франции есть тайные общества защиты народа от тиранов. Ну разве можно сказать государю, что «Московию и Турцию, – учат „монархмахии“, – не следует считать государствами, надо их почитать соединениями разбойников?»

Обо всем этом будет особый разговор с друзьями из бояр и дьяков, но не с государем. То, что можно сказать наедине Висковатому, не скажешь государю. («Борьба с тиранами. Любопытно!»)

– Ты что-то задумался, Петр? – нетерпеливо кивнул царь Совину, шлепнув ладонью по локотнику кресла.

– Хочу, государь, слово верное молвить еще о том, што повсюду, где бы ни был я, по вся места народы и правители почитают и боятся тебя и наше царство, и нет человека, который бы хулил твое мудрое правление. А папа римский спит и видит олатынить и нашу святую Русь.

Иван Васильевич насупился: «Лжет! Коли страшатся меня, значит, не почитают, а хулят».

– Напиши-ка ты обо всем память да отдай вот ему. – Царь указал на Щелкалова. – Избегай лести, побольше чести!.. Не ври нисколько. Увижу ложь – берегись, Петрушка! Мне надо знать правду. А теперь иди с Богом. Покличьте дьяка Гусева.

Совин поклонился и вышел из палаты.

– Что скажешь, Василий Яковлевич? – кивнул царь своему любимцу, опричному дьяку Щелкалову.

– Дивные дела, великий государь...

– Море! В Книге Царств сказано: «Царь Соломон сделал корабль на берегу Чермного моря, в земле Иудейской. И послал на кораблях своих подданных корабельников, коим ведомо море. И отправились они в Офир, и взяли оттуда золота четьреста двадцать талантов, и привезли царю Соломону». А мне дороже золота плавание наших судов по морям. Праздник сегодня у меня на душе. Мои люди побывали в англицкой земле... Видели ихние порядки... завидовать нечему нам!

– В Книге же Царств говорится, батюшка Иван Васильевич: «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь, по вечной любви своей к Израилю, поставил тебя царем – творить суд и правду!» Счастлива наша земля, имея мудрого владыку.

Царь погладил в раздумье бороду, вздохнул:

– Многие ли слова Библии можно приложить к нам? Не будет ли то суетумудрием?

Щелкалов хотел поддакнуть: «Многие», но раздумал и произнес:

– Любящие тебя твои рабы так, как сказал яз, думают о тебе.

– А те, коим не люб я? – хитро скосив глаза на Писемского, стоявшего в сторонке у окна, спросил царь.

– О тех и думать яз не хочу!

– Но подумать о них надобно. Постоянно я думаю о них.

О таких-то больше думайте.

В это время вошел толмач Илья Гусев.

Стал на колени, поклонился царю.

– Харя у тебя красная! – рассмеялся царь. – Видать, с похмелья! Смотри у меня, Илюха, остановись. Уразумись. Надобность в тебе есть.

– Болит, батюшка государь, голова, не скрою.

Иван Васильевич стукнул Гусева посохом по плечу.

– Помни, ярыжник, много пить – добру не быть. Приведите атамана...

Гусев исчез в дверях и вернулся с Керстеном Роде.

– Гляди, каков великан! – с восхищением оглядывая с ног до головы Керстена, указал жезлом на датчанина Иван Васильевич. – Спроси, почему он не обманул меня, как мои изменники, а вернулся к нам?

Гусев перевел вопрос датчанину. Тот весело рассмеялся.

– Всех королей не обманешь! Достоянейшему из них поклялся я честно служить, не щадя своей жизни. Пускай плачут обо мне палачи и обольщенные мною красавицы, но во всякий час готов я сложить голову за его величество московского государя.

Широкая добродушная улыбка осветила лицо Ивана Васильевича.

– Красно говорит. Спроси: чего ради он служит мне честно? Царь-де удивляется тому.

– Морскому разбойнику, такому, как я, никто не доверяет,

и никто дела не хотел иметь со мной. Даже акулы уходят от меня на дно моря. Важничают. А московский государь, его величество, не погнушался мной.

– Скажи ему: московский государь много обид видел от своих вельмож – содеянное иноземцем зло уже не страшит его. Да спроси: как служили службу на кораблях мои люди?

Керстен Роде ответил:

– Выше всяких похвал, государь. Особенно московские пушкари. Они ловко умеют пропарывать животы неприятельских кораблей. Морские разбойники боятся таких шуток. Морского разбойника надо знать. Он там храбр, где ему опасности нет... Морской разбойник не любит тяжелого труда. А ваши пушкари подобны небесной грозе... – Он назвал имя пушкаря Андрея Чохова.

Царь остался доволен ответом корсара.

– Того пушкаря надобно одарить. Добрый пушкарь! Знатно приметлив. Побольше бы мне таких. Передай ему мою, государеву, благодарность, – сказал он Гусеву. – Скажи, награда будет ему от меня щедрая.

Выслушав это, Гусев почтительно поклонился.

– А корабленники холмогорские, ваше величество, – бедовые мореходы, ловкие и смелые... Они поспорят с любыми европейскими моряками.

Иван Васильевич совсем развеселился.

– Ну-ка, Гусев, угости мореходов у себя в Дацкой избе... А ты, Василий Яковлевич, возьми от сего корабленника па-

мать. Описал бы он подлинно: что было к делу и что не к делу на наших кораблях и как к лучшему плаванию старание приложить...

С торговыми людьми Иван Васильевич пожелал беседовать наедине. Он подробно расспросил их о том, что они видели в чужих странах, чем торговали, прибыльно ли, не обижали ли их свои люди и чужеземцы. На все вопросы гости дали ответы самые благоприятные. Лица их сияли счастьем.

По всему видно было, что купцы в убытке не остались.

Царь задал им вопрос о том, что давно его волновало: следует ли Нарву сделать гаванью для одного какого-либо народа, или оставить ее открытою, как теперь, для всех?

Гости задумались, хитро переглянулись друг с другом.

Твердиков сказал с какою-то виноватою улыбкой:

– Торг любит тесноту, пестроту и веселье. Негоже мешать людям съезжаться. Пушай всяк свое торгует... Куплей и продажей торг стоит. Чем больше разного народа, тем лучше.

– Добро, – приветливо кивнул государь. – Так и я думаю. Московская власть не кичлива. Пускай плывут к нам всякие корабли и везут, с Божьей помощью, побольше нам своих заморских товаров. Спасибо, торговые люди, на правдивом слове!

Торговые люди, побывавшие в Англии, подарили государю несколько ящиков дорогого вина, купленного в Лондоне.

– Не скучали вы там о родине?

– Чуть было с тоски не засохли, батюшка государь, – слез-

ливо проговорил старик Тимофеев. – Нет лучше нашей русской земли. Благодарение Богу, что на ней родились.

– Беда в том, батюшка государь, попов наших там нет, еретики одни, и благовест не тот, што у нас. Соскушнулись о своей обедне. Да и о бане о своей тоже. Попариться и веничком себя побаловать не пришлось.

– Ну, а еще что видели там?

– Не спрашивай, батюшка государь... говорить больно... Торговлю людьми видели...

Купцы рассказали о невольничьем рынке.

Царь выслушал рассказ об этом с брезгливым выражением на лице. Перекрестился.

Отпустил гостей он милостиво, пригласив их к столу на вечернюю трапезу – в честь возвращения московских кораблей из-за границы.

В соседней палате купцов поджидали Висковатый и Писемский, сгоравшие от любопытства узнать, о чем с ними беседовал царь. Купцы на слова оказались скупы.

– Полно, бояре хорошие, о чем с нами, малоумными, можно государю речь вести. Что наш разговор! Начнешь говорить, получается, как мерзлую кочку носом долбишь. Беда, – отмахнулся Тимофеев, смиренно улыбнувшись.

– Вы долго там сидели – был же там разговор? – удивленно пожал плечами Висковатый.

– Растрогал меня государь – говорить не могу, будто гость в горле. Так колом в глотке и стоит, окаянная! – вздохнул

Твердииков, показывая с мучительным видом на горло.

А Смывалов и вовсе – хлопнул по плечу Висковатого, громко проговорив:

– Одно скажу: спасибо государю. Напьюсь пойду я на радостях и на печь залезу, вспоминать буду одну заморскую девицу-молодицу... Говорить по-нашему не умела, а скорее наших смекнула! Век помнить буду. Гуляй, ребята, поколе живы!

Посмеялись дьяки на торговых мужиков, так ни с чем и отошли.

– Сукины дети! – прошептал вслед купцам Висковатый. – Хитры, как черти.

– Ладно, Ваня, и мы Богом не обижены! Кто уж хитрее нас с тобой! Недаром говорят, что дьяка черт родил!

– Тише. Государь идет.

Оба дьяка вытянулись в ожидании царя.

Иван Васильевич с царицею Марией отстояли службу в дворцовой церкви Спаса на Бору. Совершал ее митрополит Афанасий по случаю возвращения московских кораблей в Нарву.

В храме, кроме обоих царевичей, князя Владимира Андреевича и боярина Бельского, никого не было.

Еще отслужили большой молебен без царя в Успенском соборе в присутствии Совина и торговых людей, вернувшихся из плавания. На эту службу было приказано явиться всем

ближним боярам и опричным вельможам во главе с Малютою Скуратовым, Басмановым и Вяземским.

Бояре усердно молились, в душе не разделяя с царем его ликования по поводу возвращения невредимыми снаряженных им кораблей. Малюте казалось, что он видит насквозь каждого из этих бояр. Вот Фуников: разве Малюте не известно, что этот боярин осуждал царя за то, что государь попусту якобы бросает деньги на эту «разбойничью затею»? Разве не он как казначей прижимал в деньгах строителя нарвского пристанища Шастунова? И вся земщина боярская не так ли думает о морском походе государевых кораблей под началом Совина и Керстена Роде?

Купцы молятся со слезами радости – они видят благорасположение к их торговым делам со стороны царя Ивана Васильевича, они рады благополучному возвращению на родину и успеху своих дел. Они глядят бодро вперед... Им можно быть уверенными в счастливом будущем их торгового дела... Они видели в чужих краях почет и внимание к себе... Они равнодушны к презрительным усмешкам, бросаемым в их сторону боярскою знатью. Они горды тем, что с ними царь.

После службы в церкви Спаса на Бору царская семья проследовала через внутренние переходы во дворец. Владимир Андреевич шел рядом с государем, обласканный им в последние дни. Государь, как бы в знак особого расположения, расширил его земельные угодья, увеличил ему расходы на его придворные нужды. И теперь, идя рядом с князем, он с

восторгом рассказывал ему об успехах, увенчавших плавание Совина в Англию.

– Слушай, брат, – говорил царь. – В Европе идут неслыханные смуты... Филипп гишпанский с папой хотят весь мир олатынить, то бишь объярмить своей властью... Лютеранские попы помогают другим королям. И, как я вижу, вера им не для души, но ради умножения земли. Латынские попы идут в одном ряду с их воеводами... Проливают заедино христианскую кровь. Вера у них вроде верхового коня, чтоб легче было в чужие земли въезжать. Лукавцы!

Царь рассмеялся.

– Наша вера крепка... Нерушимая застава для монастырских и латынских воров. Еретические тайны заморских владык разгадал я... Навязывают нам латыняне свою веру, да токмо не для нас она, не удастся им обмануть нас.

За трапезой Иван Васильевич с большою ласкою угощал князя Владимира вином, а потом вдруг поднялся и указал рукою на икону:

– Коли и ты не еретик и не враг, клянись мне, что не замышляешь ничего на меня, государя своего...

Только что Владимир Андреевич сделал движение рукою, чтобы положить крестное знамение, как царь Иван остановил его:

– Постой! Целуй крест в присутствии царевичей.

Войдя в соседнюю горницу, он вышел оттуда, ведя за руки царевичей Ивана и Федора.

– Князь Владимир Андреевич крест целует мне, своему государю, в том, что не замышляет он против меня, своего брата, никакого зла и не дерзнет учинить никакой порухи нашему государскому здоровью и жизни – ни мне, ни царевичам, ни царице...

Владимир Андреевич стал перед иконами на колени и вслух поклялся, что не имеет никаких коварных и злых умыслов против своего законного государя Ивана Васильевича, против царевичей и матушки царицы.

– Добро! – радостно улыбнувшись, сказал царь и крепко обнял и поцеловал князя Владимира.

После этого царь рассказал ему о том, что задумал он собрать всенародный Земский собор, на котором и обратится к народу за советом о дальнейшей борьбе за Ливонию. Царь просил до самого открытия собора никому ничего не говорить об этом, крепко хранить тайну.

Владимир Андреевич дал слово царю молчать, держать все это при себе.

Затем Иван Васильевич сообщил брату и о том, что вскоре после Земского собора, коли решено будет продолжать войну, он сам поведет войска в Ливонию, что тоже надо держать в тайне.

Расстались царь Иван и Владимир Андреевич дружески, по-братски обнялись и облобызались.

Х

В Дацкой избе – разливанное море.

Илья Гусев угощал датских моряков, вернувшихся в Нарву вместе с Керстеном Роде. Государь сам велел отпустить Дацкой избе вина «без утеснения».

Тут был вместе со своим атаманом угрюмый, черный от загара, Ганс Дитмерсен, про которого говорили, что он бывает весел, только когда берет на абордаж купеческие корабли, а еще когда топит в море попавших ему в руки немцев. Тут же находился и нарядный весельчак Клаус Тоде. Он мало пил, но с великим торжеством предавался воспоминаниям о своих победах над женскими сердцами. Он был так молод и так красив, что ему нельзя было не верить.

Пили старательно. Керстен Роде чувствовал себя героем дня. Он распахнул окно. Сказал товарищам:

– Друзья, распускаются почки... Весна!

Все притихли, приготовились слушать обычно молчаливого атамана.

– Мы встречаем весну в удивительной стране. Вчера московский царь рассказал мне: «Один мужик уронил топор в воду, но там, на дне, оказались еще два топора – золотой и серебряный. Мужик не польстился на них – взял себе только свой железный топор. Он получил в награду три топора». Государь чествует нас по Евангелию: «Над малым ты

был честен, над многим тебя поставлю!» У нас будет большой флот: царь уже посылает семнадцать кораблей. Весна улыбается корсарам, как юным девушкам. Выпьем за то, чтобы нам сохранить непорочность и впредь. Трудно это! Вижу по вашим лицам, что тяжело вам приносить такие жертвы... Знаю, что из этих трех топоров каждый из нас взял бы самый дорогой, золотой.

– Нет! – раздался голос одного пирата. – Я взял бы все три... Зачем другие оставлять в воде?!

– Истинно, друг. Так выпьем же за наше единомыслие!

Все корсары мигом вскочили со своих мест и дружно опустошили свои чарки, а Гусев сумел в это время опорожнить даже две, чем несказанно рассмешил своих приятелей датчан.

– Все побеждает любовь, выпьем за прекрасных русских девушек! – воскликнул в диком экстазе Клаус Тоде. Голубые глаза его горели восторгом.

Гусев удивленно покосился на него: «Чего ради ему наши девушки?! Не нуждаются они в заморских разбойниках». Однако поспешно налил себе опять две чарки.

Затем все вышли в сад. Красновато-ветвистая чаща слегка зеленеющих деревьев и кустарников, озаренная теплым весенним солнцем, поразила хмельную толпу датчан. Около самого дома в кустарниках расположилась стайка свиристелей, нежно-розовато-серых хохлатых птичек. Хмельные, горластые мореходы притихли, с добродушными улыбками и пья-

ным любопытством принялись разглядывать птичек; особенно растрогали их крылышки одной птички: ярко-желтая краска с черными и белыми полосками.

– Видите, на суше тоже хорошо, коль вы так залюбовались моим садом и моими пичужками! – с гордостью произнес Гусев.

Керстен Роде рассмеялся, дружески хлопнул Гусева по плечу.

– Поплывем с нами в Данию. У моего отца есть и сад, и тоже птички... Ах, как они поют!.. И вино есть бургонское... – Немного подумав, он добавил: – Но мне нельзя ехать туда. Кроме птичек, там есть и палачи. Они вздыхают обо мне больше, чем мои родители.

Клаус Тоде где-то поодаль, на берегу Яузы, в кустарниках, заметил женщину.

– А ну-ка, пойдете, полюбуемся на московскую красавицу. Она, вероятно, там рыбу ловит... Это – рыбачка. Посмотрите, как она стройна, какая грудь! Боже, дух захватывает!

Все пришли в восторг от предложения румяного гуляки. Осторожно, стараясь не выдать себя, стали прокрадываться, куда указал Тоде. Но, увы, к общему разочарованию, они, кроме женщины, увидели еще и мужчину. Однако могло ли это остановить хмельных мореходов?

– Кто этот счастливчик? – мечтательно закатив глаза к небу, воскликнул Тоде, всплеснул руками., и вдруг... о боги! Заслышав шум и голоса людей, мужчина сердито оглянулся.

Керстен Роде расхохотался на всю рошу:

– Пушкарь Чохов. Смотрите. Это он!

Гусев рассмеялся. Пояснил, равнодушно прожевывая сушеную рыбу:

– Это их любимое местечко. Еще в прежние годы они сюда хаживали. Баба та – его любовь. Мордовка. Красавица! Нагляделся я на них тут... Грехи тяжки. Только я не завистлив. Спокоен. А ну-ка, пойдем в избу, изопьем государеву чашу...

– А я завистлив, гер Гус-сев! Посмотрим! – подхватил дьяка под руку Клаус Тоде. – И не спокоен... Да ведь это же настоящая Венера! Как вы можете...

Охима, увидев быстро приближающихся к ним мужчин, бросилась бежать. Андрей поднялся с земли, недовольно посмотрел на толпу датчан.

Гусев сказал:

– Хвалят тебя дацкие люди. Хороший пушкарь, говорят.

– Государь-батюшка принял меня в царских покоях... Одарил конем и сбруей. В Александрову слободу поеду.

– Э-эх, парень! А как же свою зазнобу оставишь?

– Печатную палату перевозят туда же... Хочу жениться на Охиме.

– Бог не забывает вас... Плодитесь и размножайтесь!

– Государь в Слободе будет жить... В опричнину взял и меня, пушкарем. Лучший народ отобрал в опричнину государь.

Подошел Керстен Роде. Сказал по-своему Илье Гусеву:

– Зови его в избу. Полюбили мы его. Поднесем ему чарку.

– Слышишь, пушкарь, полюбили тебя дацкие люди. Зовут в избу, испить государеву чашу.

– Зовите и его подругу! – вступил в разговор Клаус Тоде. – Нам будет веселее!

– Нет, ей не подобает с мужчинами, – хмуро сказал Андрей.

В это время к Дацкой избе подошла, закутавшись в большую пеструю шаль, полная женщина. Она спряталась за углом, как бы испугавшись чего-то. Это была Катерина Шиллинг. Она не первый день ходит по пятам за Керстеном Роде, но поговорить ей так и не удастся. Обида, причиненная Керстеном, была слишком велика, но разве ради возмездия она хочет поговорить о перстне? Не в этом дело! Она бы подарила ему еще и другой перстень, если бы он опять... О Боже, долой воспоминанья! Разговор этот нужен, чтобы испытать: питает ли он какие-либо к ней чувства или совсем забыл ее? Перстень она возьмет, но тотчас же заплачет и снова вернет ему. Возможно, это благоприятно подействует на датчанина.

«Боже, Боже, надоумь его выйти в сад. Сжался надо мною!»

Вдруг позади кто-то окликнул ее.

Оглянулась – Штаден! Вот черт его принес не вовремя.

– Вы так озябли, фрау Катерин?

– При вашем появлении я и совсем замерзну. Зачем вы пришли? Кто вас сюда звал?

– Я не решился из скромности задать вам этот же вопрос. Я просто гуляю, любуюсь московскою весной.

– Вы, кажется, любуетесь на все московское. Не слишком ли выдаете вы себя, герр?

– О, не беспокойтесь! Меня московский дюк в отборную дружину за верность взял. Я отныне опьришнык. Смешное слово.

– Повторите по-русски.

– Опьришнык!

Штаден громко расхохотался и, как показалось фрау Шиллинг, нарочито, преднамеренно громко.

И в самом деле вскоре, услышав его хохот, к ним вышли дьяк Гусев и Керстен Роде. Они удивленно осмотрели Штадена и Шиллинг.

Генрих Штаден хотел вызвать ревность у Керстена Роде, зная о том, что было между атаманом и фрау Катерин, и вдруг увидел добродушную, спокойную усмешку на лице корсара.

Шиллинг, возмущенная равнодушием датчанина, быстро подошла к нему и строго сказала по-немецки:

– Покажите вашу левую руку.

Он, смеясь, протянул ей свою руку.

Она с ужасом отшатнулась, схватившись за голову:

– Где же тот перстень?

– В Лондоне.

– Зачем он там?

– Он украшает теперь не такую грубую руку, как моя. Моя рука недостойна такого украшения. О, этот пальчик! – блаженно закатив глаза к небу, воскликнул Керстен. – Наконец-то ваш перстень нашел свое настоящее место.

Лицо фрау Шиллинг позеленело.

– Разбойник! – взвизгнула она. – Что ты сделал? Я спасла тебе жизнь...

Керстен расхохотался. Гусев невольно зажал уши. Большие сильные зубы Керстена напоминали что-то звериное.

Штаден схватил фрау Шиллинг и зажал ей рот:

– Вы –немка! Не унижайтесь. Я не позволю смеяться над вами... Уйдем!.. Скорее уйдем отсюда. Несчастливая!

Керстен Роде с презрением плюнул в их сторону и вернулся обратно в избу. За ним, пошатываясь, последовал и Гусев.

– Немка с ума сошла! Что она болтает? Жизнь! Она мне жизнь спасла. Дура!

Генрих Штаден с силою увлек подальше от Дацкой избы барахтавшуюся в его объятиях Катерину.

– Вы обезумели, фрау? – трусливо шептал он. – Мы убьем вас. Вы не умеете держать тайну! Вы предаете нашего императора. Вы преступница! Я подошлю к вам тех, кто покарает вас. Трепещите!

Окунь и Беспрозванный сидели на берегу Яузы, в тенистом месте, оба хмельные, оба веселые и разговорчивые. Сидели в обнимку.

– Кирилка, никакое море нам нипочем!.. Нагляделся я на заморских мореходов. Шлепают они в спокойных, ровных водах... кричат много, без толку...

– Правдивое слово молвил, Ерофей... Волну горлом не возьмешь... Ледяные горы на них бы напустить... Поглядел бы я...

– Хотел сказать я тому Керстену: «Указчик Ерема, указывай дома. Обидно мне под твоей рукой быть». Ужли государь не нашел своих людей? Да кликни он клич на Поморье – што народу набежит, корабленников своих, поморских... Не всеу Осподь Бог оставил на нашу долю Студеное море. А тут выходит: не наше дело сделать, а наше пересудачить. Обидно, брат. А в Дацкую избу нас и не позвали, будто мы не стоим, будто мы последние люди...

– Ладно, Кирилка, грешно на батюшку осударя роптать... Как он укажет, пускай так и будет. Дай Бог ему когти, только бы не нас драть. Мы еще ему пригодимся.

– Бояр да князей, скажу положа руку на сердце, Ерофей, ей-Богу, мне нисколь не жалко. Вон у нас был из Москвы боярин, в Холмогорах. Коли ему говорят «дай», так он ни за што не услышит, а коли «на», так услышит сразу. Собрал он себе казну не малую, а дело государево так и не справил. Одной армяжины³⁹ воза увез... Сам я видел. Не жалею я оный род лукавый, лицемерный... Пускай царь истребляет их... Бог ему в помощь!

³⁹ Серое сукно из овечьей шерсти.

– Благо, благо, друг. На Руси должен быть большак! Бояре царство кренят набок, того и гляди захлестнут его... Кругом буря, пучина играет, тянет слабых на дно... Польский король в чужой прудок закидывает неводок, но у русских Бог силен, не даст в обиду...

Ерофей перекрестился: «Накажи, Господи, всех владык заморских, а нашего подвигни на доблесть ратную».

С блаженной улыбкой стали вспоминать Беспрозванный и Окунь о своем любимом Северном море.

«Э-эх, как завяжется попутный ветерок, да как наберут гребцы весла на карбас, да наладят косые паруса, вместо прямых, тяжелых, несподручных парусов, зарочат-закрепят шкот и дадут по воле и прихоти ветра бежать карбаску по широкому, неоглядному морю, так все на свете забудешь, легко, прохладно станет – будто не по воде плывешь, а лежишь по воздуху, на ковре-самолете... Весело смотрится тогда и на море, по которому гуляют белые пенистые волны: пускай брызжут за борт, пускай сильным броском оболют грудь и заслепят глаза – не страшно. Все свое! Свое море, свое небо, свои труды! Не страшится мореходец-помор плыть в ветреную темень, когда небо сплошь покрыто бегущими облаками – „свинками-ветрянами“, как зовет их народ. Не пугает черная даль небосклона, авось опять рассветет и ветры охлябнут... Накренившись набок, мчится карбас, разрезая волны в бешеной скачке над пучиной... А как приятно проплывать мимо крохотных гранитных островков...

Увидишь на них и медведя, сосущего лакомую ягоду, и целые стаи крикливых, докучливых чаек, робких уток, ныряющих в воду и долго не высывающихся при приближении карбаса...»

– Ах, Кирилка, как хорошо у нас!

– Ах, Ерофейка, истинную правду изрекаешь! Наше счастье с тобой, што государь междоусобь истребил, а то и не вернуться бы нам из московских земель к себе на Север...

– Верно и то, Кирилка. Вона мужики што говорят: «Туго нам с новыми хозяевами, с помещиками, да только головы мы ныне не режем друг дружке, как то было при князьях... Бары ссорились, а с холопов головы летели». Старики такие страсти Господни рассказывают о междоусобице удельной: уж на што я не труслив, и то уши зажимаю... Ни одной ночи спокойно не спали, говорят старцы... все пашни со злобы конским копытом вытаптывали князюшки друг у друга... Впустую ратаи⁴⁰ робили... А ныне того уже не будет. Ныне всякому зерну своя борозда. Засевай пашню спокойно. Другой князек напасть на суседа рад бы душой, да хлеб ишь ныне на земле государевой... на земле царства русского... Защита есть! Благо. Благо, Кирилка. А все же я добыюсь, штоб наших на корабли посажали атаманами... Добыюсь! Мы тоже сумеем с разбойниками драться!

– Дай обლობызаю тебя, друже... Ну, ну, оботри усищи.

Беспрозванный обнял Окуня и поцеловал:

⁴⁰ Крестьяне.

– У ты, лешак, уж как я полюбил тебя...

– Полно! Чай, я не баба! Давай-ка лучше споем песню.

Продуй горло да затягивай. Экий ты, дрыгало! Сиди смирно. Ну же, запевай... В монастыре пел, а тут не можешь.

Беспрозванный обтер рукавом усы, бороду, откашлялся и низким голосом затянул:

У сыра дуба скрипучева

Нет ни корня, ни отросточка,

Мне ль, бродяге, сиротинушке,

Не искать себе друга доброго...

В море вольном, на просторушке,

Нам ходить бы с ним, песни петь вдвоем...

И только Ерофей стал подтягивать тоненьким голоском Беспрозванному, как раздался сильный конский топот. Оглянулись и сквозь деревья увидели скачущих прямо к берегу всадников.

– Гляди-ка, Окунь, все черные, будто демоны, – в страхе прошептал Кирилл.

– Вижу, – пролепетал Ерофей. – Как огнем меня охватило.

Впереди всадников на громадном коне скакал человек в черном шлеме и в каком-то черном одеянии – не то кафтан, не то ряса. Присмотревшись, холмогорцы узнали царя Ивана Васильевича. Тут только заметили они, что у всадников, провожавших царя, на каждом седле висели собачья оскаленная голова и метла.

Царь остановил коня около холмогорских мореходов. Оба они вскочили и, став на колени, стукнулись лбом о землю. Лежа таким образом, они услышали над собой насмешливый голос царя:

– Видать, бродяги! От приставов укрылись, а от царя не упрячешься... Эй... Эй вы, голуби, вставайте да ответ держите: чьи вы и отколь пожаловали, да и куда путь держите?

Окунь и Беспрозванный поднялись на ноги.

– Мореходы мы с Поморья, великий осударь наш, батюшка... С Керстеном-атаманом ходили мы в аглицкую землю.

– Глядите, какие забавники! – рассмеялся царь, указывая на холмогорцев. – Слыхал о вас... Похвальные речи сказывал тот Керстен... Что же вы молвите о Керстене-атамане?

Окунь и Беспрозванный замялись, переглянулись.

– Ну, не тяните... Сказывайте! Смелее. Иной раз холопья робость и не похвальна... Не лезь впереди старшего, но и не молчи, коль то на пользу государю.

Заговорил Беспрозванный, взлохматив пятерней свою бороду. Расхрабрился.

– Великий осударь! – громко и смело воскликнул он. – Господь Бог не забыл наш народ. Да мы сами себя забываем.

Ерофей Окунь чуть-чуть не крикнул: «Не надо нам Керстена!» Он с трудом подавлял свое волнение. Беспрозванный сердито покосился на него.

– И наша копеечка не щербата, батюшка Иван Васильевич, – продолжал Беспрозванный. – Обошлись бы мы и сво-

ею силою, без иноземца... Немало наших мореходцев бороздят великое Ледовитое море и обходят землю округ всего северного края земли – и Лапландию, и Свейскую землю, и Норвегию... Да на плохих, неоснащенных суденышках... Без страха, с молитвою побеждают поморцы в окияне бури, и льды... и ветры, и зверя морского...

Иван Васильевич снял шлем, провел в задумчивости рукою по голове. Он с глубоким волнением слушал Беспровозанного и, видимо, остался доволен слышанным.

– Добро! – весело кивнул он. – Бог спасет моих поморских людей... Студеные воды дороги нам. Берегчи их надобно... И мореходцы на том море пригожие надобны. Чего ради ездил я, ваш государь, в Вологду и велел сложить в том граде великий кремник из белого камня? Того ради, чтоб караваны со Студеного моря пристанище здесь находили и шли бы на благо государево в Поволжье и Москву. Да и Ярославль и Устюг – и те грады – поставил я на «судовом ходу» от Студеного моря и до сих мест... И торговым людям ведомо то, что в Вологде сараи построены великие и суда морские там же нами строены... И не токмо нашим торговым людям то ведомо, и иноземным мореходам... На Западном море великие утеснения терпят наши корабли от морских разбойников... На разбойников надобно мне и посылать разбойников... Керстен Роде такой и есть... Он знает повадки морских воров, ибо и сам он – вор. А мои люди с Поморья христианскою торговлею промышляют с христианскими же купцами,

без кроволития... и да благословит их Господь в будущих и предбудущих временах на такое же мирное дело. Не ропщите, холмогорцы, ваше дело от вас не уйдет... Наступит день: корсара отпустим, а вас посадим вожаками... Не гонюсь я за чужеземцами!.. На своих людей моя надежда!

Иван Васильевич спросил холмогорцев: помолились они Богу по возвращении из плавания или нет?

– Помолились, батюшка осударь, в Успеневом соборе помолились.

Тогда он кивнул одному из провожавших его всадников:
– Отведи их на государев двор, чтоб напоили и накормили их знатно... Надобно и Малюте порасспросить их.

В сводчатых углублениях северной стены митрополичьей кельи, сложив на груди руки, застыли гробовые старцы⁴¹, толстые, дряхлые, безмолвные – веяло холодом смерти от них. В сумраке мутно желтело шитое гладью украшение их черных ряс: черепа на двух сложенных крестом костях. Среди кельи – обитый парчою аналой с Евангелием. Свет лампы в душном от ладана воздухе излучался зелеными стрелками.

Феоктиста, дрожа от страха, стояла у входа в келью, не смея шевельнуться. Ее втолкнул кто-то сюда, прошипев в темноте коридора: «Блудница!» Этого человека она не видела.

Гробовые старцы медленно повернули головы в ее сторо-

⁴¹ Схимонахи, затворники, спавшие в гробах.

ну, приглядывались острыми впалыми глазами. Феоктиста невольно попятилась назад, но кто-то держал дверь, не пускал.

За дверью слышались шаги, протяжное пенье. Дверь распахнулась, и в сопровождении монахов в келью, опираясь на посох, мелкими шажками вошел согбенный митрополит Афанасий.

Феоктиста земно поклонилась первосвятителю.

Митрополит благословил ее. Лицо его было строгое, озачерченное. Прошептав над ней молитву, Афанасий мановением руки удалил сопровождавших его чернецов.

Гробовые старцы оставались в углах, сухие, неподвижные, словно выжатые из воска подобия людей...

Митрополит, кряхтя и отдуваясь, опустился в кресло, печальными глазами осмотрел Феоктисту.

– Слушай, юница! Государь наш батюшка, Иван Васильевич, указал мне, смиренному старцу, наставить тебя, яко заблудшую овцу, на путь благодный, праведный, отвратить тебя от всеконечного греха. Ум женский не тверд, аки храм непокровен. Мудрость женская, аки оплот не окопан; до ветру стоит – ветер повеет, и оплот рушится, тако и мудрость женская – до прелестного глаголения и до сладкого увещания тверда есть... немощна плоть женская, неустойчива бо... Покайся же, горькая, кем прельстилась еси, ради кого внесла в дом свой ту поруху?

– Не прельстилась я, батюшка государь, и не от меня та по-

руха супружескому счастью. Повелитель мой, батюшка Василь Григорьич, знать, сам того так похотел... Великая стужа, тяжкая неправда вползла в нашу жизнь. На смех и позорище соромит Василь Григорьич жену. Бог ему судья!

– Но ведомо ли тебе, жено, что судить тебя станут, коли не вернешься ты вспять, в мужнин дом; строгим уставным церковным судом судить и будто вдовицу либо непотребную женку пошлют тебя на покаяние в монастырь? И будешь ты в опале государевой всеконечно.

Феоктиста не могла ничего ответить митрополиту. Ее душили слезы. Разве кто-нибудь поймет ее? С древних пор в обычае женским словам и слезам не верить. Только муж умен, а жена «слаба, малодушна, шатка». Она всегда во всем виновата. Буде нет никакой вины за нею, и тогда муж все одно волен наказывать ее. Женщину боятся; ей не верят, недаром болтают: «Женская мудрость – звериная лютость», «Красоты женской ради многие погибоша».

Афанасий тихим, усталым голосом говорил:

– Жена добрая – венец мужу своему! Жена добрая любит справу⁴² и воздержание от всякой нечисти. Жена добрая – состав дому и имению спасение. Жена добрая печется о муже своем. Жена добрая трудолюбива, молчалива, покорлива... Жена добрая подобно кораблю плавающему: куплю в нем делают и великое богатство набирают, а у купца сердце веселится, тако и жена добрая и разумная и послушная мужу

⁴² Работу.

своему в дом много добра собирает: встает рано и утверждает локти свои на дело...

Сколько уже раз и в девичестве, и в замужестве приходилось ей слышать эти речи! И теперь Феоктиста с трудом сдерживалась, чтобы молча слушать нудные поучения митрополита.

– Помни, Феоктиста, – с укоризной, покачивая головою, продолжал Афанасий, – мужа надобно бояться и во всем ему честь воздавать и повиноваться... О жена-христианка! Помни о промысле Божиим – он же управляет целым миром. Мужа надо почитать как бы небесного посланника... В твоих очах вижу непокорливость и холод... Негоже. Вернись в дом свой. Образумься!

Слышно было, как скорбно вздыхает митрополит, как едва уловимо для слуха вздыхают гробовые старцы.

– Нет! Не вернусь. Уволь, владыка государь! – тихо, но твердо ответила Феоктиста. И, упав на колени, с рыданием проговорила: – Легче мне в гроб лечь живой, нежели вернуться к мучителю моему ненасытному!

Афанасий с сердцем постучал посохом о каменный пол.

– Бог покарает тебя. Умерь гордыню. Несчастливая!

– Нет! Нет! Нет! – упорно повторяла Феоктиста.

– Ожидай после того кары Божьей и государевой... Удались и жди своего часа.

Низко поклонилась Феоктиста и быстро вышла из кельи.

– Согрешил, прогневал я государя, куда же мне теперь идти со своею повинною головушкой, где смогу я искупить свою вину? Или сгинуть мне, как сгинула она без следа, моя голубка? Да и что мне жизнь, коли нет ее, коль пропала без вести она, моя ненаглядная?

Борис хмуро смотрел на Никиту Годунова, который стоял перед ним растерянный, с блуждающим взором, растрепанный, непричесанный...

– Стыдись, друг Никита! – сказал Борис тихим укоризненным голосом. – Тебе ль ныть? Пристойно ли о чужой жене сокрушаться? Позоришь ты не токмо себя, но и всех Годуновых. Государь неровен в своем сердце, и горе будет всем нам, коли он отвернется от нас. Забудь о ней. Пускай Господь укажет ей путь ко спасению... А ты будь в стороне. Время грозное. Ранее удельные князья вели борьбу с московскими великими князьями на полях сражений, отбиваясь от Москвы... Ныне, побежденные прежде бывшими великими князьями, став боярами, войну втащили в стены дворца... Сия война страшнее прежних. Ты на чьей стороне?

– На царевой...

– Так к лицу ли Годуновым убивать время на блудную заботу о чужих женах? Дорог каждый час.

Никита, как бы не слыша слов Бориса, повторял, схватившись за голову:

– Нет ее! Не приходила она домой... Отец искал и не нашел ее... Вторые сутки ее нет... Господи, что же это? Куда

она делась?

– А коли нет – и не надо! – рассердившись, ударил кулаком по столу Борис.

– Но ведь и ты, Борис... Разве не грешен и ты в любви к Марии Григорьевне?

– Она девица, а не чужая жена, да и не потерял я головы ради нее, подобно дядюшке... И не потеряю. Коли не будет к тому воли государевой, отойду и от Марии... Воля государева превыше всего. Хныкать не должны Годуновы. Старые деревья сильны и высоки. Но громы и молнии разят не поросль, а громадные дубы... Годуновы должны устоять. Э-эх, Никита, смешно мне смотреть на тебя, будто ты малый ребенок, а не дядя мой! Иди в мою опочивальню, отдохни... В жизни, опричь девок, много великолепия... Развеселись! Вон наши корабли в Нарву вернулись. Праздник в Москве... Аглицкая королева – союзница наша... Радуйся!

– Пушай лучше уж Васька Грязной, проклятый, возьмет ее, нежели... Не могу жить без того, чтобы не видеть ее... Скорее...

Никита, не договорив, выбежал вон из горницы.

Борис метнулся было за ним, но опоздал. Никита скрылся из виду. Борис с сердцем, шумно, прикрыл дверь.

XI

В полдороге между Троице-Сергиевой обителью и Пере-

яславлем, на ста верстах от Москвы, раскинулась Новая, или Александрова, слобода, полюбившаяся царю Ивану Васильевичу.

Красивое гористое место на крутом берегу реки Серой. Течение ее тут делает прихотливый, извилистый поворот, по-древнему – «переверт». Лесисто было это местечко, цветисто, обильно красным зверем и охотною птицею: соколами, кречетами, которыми так любил потешаться царь. Единственными обитателями тех лесных мест испокон века слыли звероловы-охотники, медведи да рыси, лоси и олени.

На самом возвышенном месте, прозванном Александровой горой, с годами вырос обширный великокняжеский, сказочной красоты двор, с чудесными, словно из пряников сложенными, теремами.

Предание гласит, будто Александр Невский, навещая отца в Переяславле, в одну из своих поездок раскинул здесь свой стан. Не отсюда ли и повелось название – Александрово?

Так ли было, нет ли, но предание это бережно передавалось из поколения в поколение.

Прежде жившие московские великие князья тоже любили бывать в слободе. Они отдыхали здесь душою и телом от военных и государственных трудов и забот. Вот почему и великокняжеская усадьба выглядела такою уютною и благоустроенной, обвитая плющом и диким виноградом. Окруженная белою каменной стеной, горделиво красовалась она великокняжескими хоромами и службами.

Дворец состоял из многих строений, носивших название «изб»: «средняя» изба, «брусаяная», «постельная», «столовая»; над ними высились гридни, повалуши и башенки-терема, украшенные золотистыми, зелеными, красными шатрами наподобие кокошников. Избы соединялись глухими переходами, многоцветно застекленными, и сквозными коридорами на дощатом помосте с серебристыми перилами.

В этих строениях и пристройках было много затейливой игривости, веселого задора. Всюду красочная живопись, петушиная резьба, цветистое кружево искусно вырезанных из дерева оконных и дверных украшений. Среди яркой зелени, да еще в солнечные дни, самый дворец выглядел каким-то сказочным, воздушным замком...

Самый главный, нарядный переход вел к храму Покрова Богородицы. Он был покрыт богатыми коврами; этим переходом обычно шел царь на богомолье.

Службы вокруг царского жилья носили название «дворов»; в житном дворе хранились хлебные запасы на случай приезда царской семьи; конюший ввещал множество конского поголовья степного пригона – ногайских, татарских, горских коней и аргамаков, приобретенных в восточных странах; коровий двор был набит рогатым скотом; быки стояли в особых хлевах, носивших название «волозни».

Были дворы и для диких зверей; там в клетках царь Иван Васильевич держал вывезенных по его приказу из Москвы любимых им львов. Тут же, на этом дворе, содержались мед-

веди, волки, лисы, олени... Царь любил свой зверинец, любил он и птичник, где сидели в клетках орлы всяких пород, певчие птицы свои и заморские. Иван Васильевич нередко сам ходил кормить зверей и птиц. Он строго следил за тем, чтобы зверинец его содержался в порядке.

Против царского дворца по крутобережью реки Серой расстилался широкий, густолиственный сад. Столетние дубы, березы и осины мешались с соснами, елями, с могучими кедрами. Любили древние князья украшать свои жилища садами!

В зелени и цветах утопала Александрова слобода. Весело и привольно жилось здесь, потому-то и выбрал царь Иван Васильевич для себя и своей семьи это местечко. Сюда же была переведена и часть опричной дружины, некоторые дьяки Иноземного приказа, Печатная палата и многие другие, необходимые царю службы.

Вместе с Печатной палатой перебралась в слободу и Охима. «Мордовский Бог», как она верила, не забывал ее. Андрея тоже вместе с пушками пригнали сюда же – а что же можно придумать лучше? Одно грустно: Иван Федоров и Мстиславец, боясь смерти от недругов царя, преследовавших их на каждом шагу, и почувствовав себя лишними, нецененными, отъехали в Литву, к князю Острожскому. Государь сильно горевал о них, но что же делать? Тайные враги царя держали в страхе не только друкарей, но и ближних к царю людей. Сам царь неспроста удалился из Москвы. Кру-

гом страх!

В Печатной палате наибольшими были теперь ученики Ивана Федорова – Невежа Тимофеев и Никифор Тарасиев. Они устраивали типографию в новом помещении. Сам Иван Васильевич навещал их и приказывал поторапливаться.

Охима с Андреем беседовали обо всем этом в погожий осенний день, расположившись среди золотистой листвы прибрежных кустарников, около места, где царь держал бобровые гоны. Место глухое, тенистое, уютное – для любовных бесед куда как удобное. Воздух здесь был наполнен благоуханием отцветающих водяных лилий.

Андрей с сияющим лицом поведал Охиме, что государь пожаловал его, Андрея, землю и находится она, та земля, недалеко от Ярославля, в вотчине, принадлежавшей ранее князю Курбскому. Около него получили землю и дворянин Кусков, и стрелецкий сотник Истома Крупнин, которого царь обласкал, вписав в опричнину. И дочь его Феоктисту простил царь. Оставил при отце; митрополит благословил Никиту Годунова на брак с нею. Вот как все обернулось!

– Чудеса не колеса – сами катятся. Кто б то мог думать, попаду я в помещики! Не во сне ли то, моя горлица? Наяву ли? Хожу я теперь, будто медом опился... Я ли это? Ущипни меня! Ну, ну, еще, еще... Будя! Обрадовалась. Я самый, я – пушкарь Андрейка... Ну, чего ты панихидой смотришь?

– Эка невидаль! – небрежно махнула рукой Охима. – Не диковина, что кукушка в чужое гнездо залезла, а вот то б ди-

ковина, кабы она свое свила. Не радуйся, дурачок, царскому подарку. Блажит он. Надолго ли то?

– Ладно, не каркай! Богу, Охима, не угодим, так хоть людей удивим... Государева воля. Видать, так уж Господь Бог его надоумил. У всех ныне в слободе радость великая... Всю тысячу испоместили! Послужим мы батюшке государю прямоком, без хитрости.

Сквозь кустарники стало видно, как по дороге к дворцу верхами на конях пробирались дьяк Гусев и Керстен Роде.

– Вон, гляди, атаман идет... Опять, слышь, скоро поплывет за море... Семнадцать кораблей снарядили наших. Э-эх-ма! – тяжело вздохнул Андрей. – Мне уж теперь не плыть, не пускают. На войну хотят услать. Наши мореходы поведут корабли те. Керстен будет в товарищах у них.

– Иль опять задумал уплыть от меня?! Беспокойная головушка! Не пущу я тебя никуда.

– Глупая! Пушки я видел в чужих странах. Совесть моя успокоилась – не хуже мы льем и куем наряд... А может, и лучше. Завистлив я! Думал перенять кое-што, да нет... В ином у них, а в ином и у нас лучше... Корабельная снасть наша тоже лучше заморских. Верь мне. Завистливое око видит далеко. Уж так, знать, меня Господь Бог зародил. Э-эх, девка, жить мы начинаем... У них воины шляются по чужим царствам, нанимаются, а наш нешто пойдет? По милости батюшки государя я уж не Андрейко-пушкарь, беглый мужик колычевский, я – хозяин, помещик я! Не буду после того бо-

яться плети и палки!.. Да и людей своих жалеть буду! Сердце-то у меня у самого мужичье. Не гожусь я в хозяева. Был воином-пушкарем, таким в опричниках и останусь!

– Все одно ты мой... Чего дрожишь? Чего зарумянился?

– Уж больно чудно, – задумчиво произнес Андрей. – Но об этом молчи... Я до смерти мужик, а пришлось клятву дать не знаться с земщиной... А ты кто? Не земщина ли?

Глаза Охимы еще более почернели, гневом расширились.

– От меня не отречешься! – грозно сказала она. – Убью!

Ты у меня не мели, чего не след. Знай меру!

– Неужто поверила? От тебя я не отрекаюсь. Ты – не земщина, ты – наша, опричная, в государеву усадьбу пущена. А коли так, ты и не земщина. От бояр и дворян, што в земщине, я отрекаюсь, и говорить с ними не хочу, и глядеть на них не стану – там измена... А с тобой... Нам ли с тобой считаться?

– Ты стал каким-то другим... – укоризненно покачала головой Охима.

– Што дальше будет – не ведаю, – вздохнул Андрей. – А за землю повинен я государю двух ратников на конях и в доспехах поставить, и для того надобно мне хлеба вырастить и намолоть вдоволь, штоб было мне без немочи тех ратников обрядить и на коней посадить. Надобно мне руку свою на ту землю твердо наложить, штоб плоды давала, штоб прибыльток государю был, да и нам с тобою тож.

Андрей принялся шепотом что-то считать на пальцах.

– Буде. Опомнись! – толкнула она его.

– Не мешай, – хмуро огрызнулся он.

– Как хорошо мы прежде с тобою жили, – грустно вздохнула Охима. – Ужели я тебе докукой стала?

– Полно!

– Ты уж не такой ласковый...

– Заботы у меня теперь, ласточка, больше...

– Ну, обними меня.

– Дорогая ты моя, зорюшка ясная!.. – сказал он, обняв ее. – Садовая ты моя, медовая, наливчатая! Услада на всю жизнь ты теперь моя!

– Раньше ты крепше обнимал... а ласковых слов меньше говорил.

– Заботы той не было... – вздохнул Андрей.

Расстались, нежно облобызавшись, но Охиме все же показалось, что Андрей стал каким-то другим.

Вечерело.

В лощине, внизу, у подножия холма, среди дикого величия окружающей слободу природы раскинулось большое, круглое Дичковское озеро. Андрей, остановившись на тропинке, по которой пробирался домой, залюбовался водяною, будто из вороненой стали отлитую, поверхностью озера, обрамленного вековым сосновым бором. Над болотами всплывает и стелется тонкий вечерний пар... Тихо, тепло, таинственно кругом: ни звука, ни шороха, словно вся природа озабочена тем, чтобы окружить покоем вечерний досуг хозяина сих мест – царя Грозного. Только зяблик где-то побли-

зости пытается затянуть свою печальную заревую песню да запоздалый чирок просвистит крылами над чашей и свалится, будто обессилевший, в темную гладь озера.

Вот уже и месяц выглянул, усевшись на макушках столетних сосен. Андрей все еще ощущает в себе теплоту и ласковость тела Охимы, а в его душе еще сильнее дает себя знать пламень давнишней любви к ней.

– Да. Настала пора нам повенчаться, – прошептал он, двинувшись далее по тропинке.

В Брусняной избе Александровой слободы Иван Васильевич принимал только что прибывших со Студеного моря английских купцов, которых привел во дворец старый знакомый царя Антоний Дженкинсон. Царь спросил англичан, как им удобнее возить свои товары: через Нарву или через Студеное море. Купцы отвечали: оружие и боевые припасы – селитру, свинец, серу – удобнее возить в северные гавани. Ее величество заверила иностранных государей, будто она не позволяет возить оружие и боеприпасы в Россию. Балтийское море и проливы при первом неудовольствии Швеции, Польши или Дании могут стать опасными для прохода английских судов. И было бы нежелательным, чтобы ввозимое в Россию оружие было захвачено балтийскими каперами и чтобы иные государи упрекнули ее величество в нарушении данного им ею слова.

– Мы свято оберегаем честь ее величества нашей короле-

вы...

Улыбка одобрения скользнула по лицу царя.

Иван Васильевич велел передать толмачу, чтобы его дорогие гости, английские купцы, привозили побольше петухов, кур, бобов, цветной капусты, тыквенных семян, сахара.

Англичане, низко поклонившись царю, дали слово выполнить его волю.

– Добрая ли торговля у вас нашими мехами? – приветливо спросил царь.

Встрепенулся длинноволосый, коренастый, с пухлыми, красными щеками купец; вышел вперед, скорбно покачал головой:

– Закупленные в прошлый приезд у московских купцов меха трудно продавались, дороги они, и я не нашел на многие меха покупателей... И теперь я отказываюсь покупать их.

Пот градом покатился по лицу смутившегося от собственных слов купца.

Иван Васильевич нахмурился.

– Какой наш гость продал те меха?

– Коробейников.

Царь повернул лицо к стоявшему около него дьяку Якову Щелкалову: «Попомни!»

Ивана Васильевича в особенности интересовало канатное дело. Он одобрительно кивал английским купцам, слушая их восторженные отзывы о канатах, которые «благодаря его царской милости» производятся на фабриках в Холмогорах

и Вологде. Покровительство царя и дешевизна русского сырья дали возможность английским торговым людям продавать их дешевле данцигских, и теперь, чтобы окончательно победить Ганзу и Данциг, необходимо еще немного улучшить добротность канатов. Тогда во всем мире у англичан не будет соперников в торговле канатами.

Английские купцы с особым, торжествующим выражением на лице заявили: «Недалеко то время, когда „Московская компания“, улучшая и расширяя канатное дело в России, будет поставлять канаты на весь английский флот. Ее величество с особою благосклонностью изволит взирать на это дело. У „Компании“ есть намерение и мачты для английского флота делать в России. Они тоже обойдутся дешевле данцигских. И это будет неслыханной победой „Компании“!

Иван Васильевич рассказал англичанам о разделении своей земли на земщину и опричнину. Он заявил, что все английские дома он берет в опричнину, ибо в опричных владениях будет больше порядка. Суд при тяжбах англичан с русскими или иностранцами будет скорый и беспристрастный. Англичанам предоставляется право чеканить свою, английскую, монету на русских монетных дворах; пользоваться ямскими лошадьми; нанимать русских рабочих; проезжать свободно через Россию в другие страны.

И о многих других, особых для англичан, новых льготах поведал государь английским купцам. Но запретить прочим иностранцам торговлю через Нарву царь никак не соглашал-

ся.

– Однако, – сказал он, – передайте вашей королеве, что не могу я Нарву и Студеное море предоставить для вас... Пускай с нами торгуют все, кто пользу нам дает.

Щелкалов объяснил англичанам, что государь питает самые дружественные чувства к великой морской державе своей сестры, мудрейшей из земных владык, к ее величеству королеве Англии Елизавете, но... стало бы ущербом для Русского царства, которому с таким трудом удалось вернуть извечную вотчину русских великих князей Ругодив – Нарву, – лишиться посещения Нарвы другими иноземными гостями. Каждый государь-де хочет блага своей земле. Ради чего же и кровь русскими воинами пролита, как не ради того, чтобы Нарва та была «для всех купцов»? Государь уважает английскую державу, но было бы вопреки чести и правде московскому царю пренебрегать дружбою других государей!

Иван Васильевич велел толмачу передать его царскую благодарность «Московской компании» за усердие в плавании по северным морям, за хороший прием московских мореходов. Царь никогда не думал и не думает отказываться от Студеного моря. Напротив, он послал туда розмыслов и мастеров, чтобы построить там целый город – новое, большое, богатое пристанище для кораблей на устье Северной Двины. Царь напомнил, что прежде приезжавшие аглицкие торговые люди говорили, будто привоз товаров через Студеное море обходится дешевле, нежели через Балтийское; в се-

верных морях они пользуются полною свободой и не платят никаких пошлин; при проходе же через Зунд и мимо Ревеля приходится платить большие пошлины Дании, Швеции и Лифляндии. Северные воды у него, московского государя, пользуются особой заботою. На веки вечные студеные воды будут русскими, и никому государь не позволит посягнуть на свободное плавание по ним.

Царь прослушал с большим вниманием рассказы Дженкинсона о его путешествиях по Европе, Малой Азии и Северной Африке. Расспрашивал о слонах и других животных. Иван Васильевич не без гордости заявил Дженкинсону, что ему персидский шах Тахмаси подарил слона, который ныне находится у него в московском Кремле.

Антоний Дженкинсон перед расставанием с царем, как бы между прочим, заговорил о недавно посещавшем государя итальянце Барберини. Англичанам известно, что-де сей Барберини доказывал царю и его советникам, будто товары, привозимые англичанами, не суть английские и могут быть более выгодно приобретаемы самим царем и у голландцев и немцев.

Дженкинсон удивленно пожал плечами. Громко, с негодованием заявил он, что итальянец Барберини обманным образом получил от английской королевы рекомендательную грамоту к царю и что королева нисколько не желает, чтобы какие-либо иностранцы, кроме англичан, были допущены к устьям Северной Двины и что вообще этот итальянец лжец

и обманщик.

Иван Васильевич успокоил английских купцов, убедив их, что он не верит итальянцу Барберини.

Царь вручил английским купцам дарственную грамоту на беспошлинный провоз их товаров в Шемаху, Бухару, Самарканд и Китай⁴³.

Взамен этого царь просил передать «Московской компании», чтобы она помогла вести торг посылаемым в Англию русским гостям...

После английских купцов Иван Васильевич принял уже не раз гостившего в Москве флорентинского гостя Джиованни Тедадьди.

Одетый в голубой, шитый золотом камзол, в синие шелковые чулки и в туфлях с пряжками из драгоценных камней, статный, широкоплечий пожилой человек, он пришелся по душе царю еще в прошлые встречи с ним. Царь был расположен к опрятным, богато одетым иностранцам, жизнерадостным, каким выглядел этот седовласый флорентинец.

Толмачил простолюдин, рязанец. Будучи у турок в плену, он долго жил вместе с пленными итальянцами на галерах; там и научился он говорить по-итальянски. Царь выкупил его, сделав толмачом в Посольском приказе.

Первым вопросом Ивана Васильевича было: как о нем, о московском царе и великом князе, судят за рубежом?

Тедальди просто и откровенно передал различные мне-

⁴³ Китай.

ния, которые приходилось за границей слышать об Иване Васильевиче: кто называет его подлинным христианином и мудрым государем, кто, наоборот, считает его язычником, варваром, пожирающим жареных младенцев.

Иван Васильевич от души посмеялся.

– В каждой христианской стране должна быть власть, – сказал царь. – А у нас власть от Бога и его вселенских патриархов... Мы поклялись Господу Богу нашему Иисусу Христу защищать всех людей греческого вероисповедания... Можем ли мы позволить еретикам и изменникам расшатать нашу державу? Кто же в те поры будет защищать греческое вероисповедание? Наша совесть чиста перед Всевышним... Мы казним лютою казнию еретиков, колдунов и изменников, тем самым творим волю нашего небесного отца... Я вчера велел повесить на улицах Москвы два десятка крамольников. Но мы не грешим, коль губим нечестивых. Так им и надо! Они грешат, хотяще поколебать святую Русь. О грешных людях, нами убиенных, мы заставляем монастыри молиться, дабы Господь Бог простил им земные их прегрешения перед Богом и царем. Сначала трудно казнить, а потом страшно не казнить. Чтобы князю покойно править, ему следует быстро сразить своих врагов, а я не сумел этого... Упустил время. Теперь тороплюсь наверстать упущенное.

Тедальди почтительно, с плохо скрываемым изумлением слушал речь царя Ивана. Щеки царя горели ярким румянцем, и все лицо его выражало горячую убежденность в

правоте его, царевых, дел. Тедальди принадлежал к тем из иноземцев, посещавших Россию, которые почитали московского царя, славили его как умного и гостеприимного государя. Флорентинец искренне любил его и теперь с нескрываемым восхищением любовался могучею фигурою царя, в страстном порыве поднявшегося со своего трона. Царь угадывал в этом пожилым итальянце дружеские чувства к себе и потому, поманив его, подал ему свою руку, которую с глубоким поклоном Тедальди и поцеловал.

Этот самый Тедальди однажды заявил римскому папе, что московский царь вовсе не такой, каким его изображают польский король и паны. Многое из того, что в Польше и в Ливонии обыкновенно рассказывают про Московита, небывлицы. Он решительно отвергал, что этот государь по взятии Полоцка утопил всех монахов ордена святого Франциска – «бернардинов». Одинаково лгут и про то, будто он утопил евреев. Польский гость, по имени Адриан, оклеветал евреев, уверяя царя, что они развозят по всем странам тайную отраву для христиан. Напуганный этим, царь по совету польского купца сжег все товары евреев, чем и воспользовался тот же польский купец Адриан, обманувший царя. Он продавал после этого свои товары по какой угодно цене и сколько угодно. Царь, когда понял коварство Адриана, тотчас же с позором изгнал его из Москвы. Тедальди рассказывал за границей и о том, что поляки, которые были в послахе в Московии, отнюдь не были обижены царем. Слухи о том, что он обращал-

ся с ними дурно, выдумка. Наоборот, царь выучил польский язык, так как постоянно ищет сближения с Польшей и Литвою. «Мы и они одной крови», – говорит он. А те послы и по дороге в Москву, и при дворе государя вели себя нагло, заносчиво, насмехаясь над русскими, что и дало царю основание изменить к ним отношение.

Далее в беседе с царем Тедадьди сказал:

– Король Сигизмунд так много наговорил мне худого про ваше величество, что, будучи в Полоцке, я уже хотел вернуться обратно во Флоренцию, но меня один литовский воевода успокоил, уверив, что московский царь вовсе не такой, как о нем принято думать.

– Как же имя того литовского воеводы? – спросил царь.

– Пан Несецкий.

– Добрый человек, спасибо ему! Я знаю: есть у нас друзья в Польше! И немало. А что другие паны говорят обо мне?

– Вас называют немного жестоким.

– Это правда. Я – зол. Каюсь! Но я таковым бываю, как уже сказал тебе, для злодеев, а не для добрых. А вот веронец Гаваньи пишет обо мне, что я – кровопиец, ненасытный хищник... Зачем мне кровь? Мне верная служба нужна. Нельзя в царстве добиться порядка, не быв жестоким. Нелегко проливать кровь своих людей! Глупцы, кто болтает, будто то царева прихоть!

– Ваше величество, я уже писал у себя на родине противное этому веронцу. О том знает вся Италия. Меня смущает

лишь одно: почему вы, ваше величество, не позволяете выезжать из своей страны иноземцам?

Иван Васильевич пожал плечами с усмешкой:

– Боюсь, выпустишь, и они больше уже не возвратятся к нам. Хотя они и желали бы вернуться, но им помешает королус Жигимонд. Когда иноземцы просят у него пропуска к нам через его страну, он говорит: «Я бы пропустил, но пропустят ли мои сенаторы литовские?» Ныне через Нарву не чиню я препятствия к отъезду домой иноземцам... На море я завел свою охрану от морских татей. На службу взял дацкого корсара... На разбойников напустил разбойника же!

Долго еще длилась беседа царя с Тедальди, наконец флорентинский гость заметил на лице царя Ивана утомление и низко поклонился ему, благодаря за милостивый прием.

Царь, отпуская Тедальди, пригласил его пожаловать вечером во дворец на ужин, где и хотел познакомить его со своими опричными воеводами.

На площадке широкого дворцового перехода из одной избы в другую, с резными столбиками под золотистой широкой кровлей, расположились певчие царского хора. День теплый, погожий. Желтеющая зелень кустарников, обволакивающая перила перехода, не шелохнется. Время послеобеденное, солнечное. Воздух чистый, легкий, прозрачный: сквозь звездную ткань клена озеро своим блеском бьет в глаза, словно зеркало, играющее с солнцем. Запахи рубленой ка-

пусты, мятой рябины и вареных яблок попеременно исходят из окон поварни.

Московский священник Федор Христианин и певчий новгородского полка Иван Нос расставили людей по голосам, наказав всем стоять тихо, а при появлении государя дружно, громко, согласно «знаменитому пенью», по мановению руки Христианина пропеть государю «встречу».

Федор Христианин, высокий, худой, с быстрым беспокойным взглядом человек, напряженно приглядывается к двери государевой половины. Косичка его, черная с проседью, слиплась от масла, длинная борода лежала на груди, постепенно суживаясь книзу «стрелой». На нем темно-синяя ряса. Иван Нос, наоборот, низенького роста, широкий, коренастый, с прищуренными хитрыми глазками. Он одет в нарядный кафтан, обшитый позументом. Певчие – разных возрастов, начиная с юных отроков и кончая седовласыми старцами. На них на всех серые длинные охабни.

Собраны певчие из многих городов. Московским человеком был один Федор Христианин. Иван Нос – новгородец, ученик прославленного новгородского знатока пения Саввы Рогова.

О Христианине говорили, что он «славен и пети горазд знаменному пению и мнози от него научашася».

Иноземные гости приходили в восторг, слушая его пение, и даже переманивали его к себе, но не таков он был. Ни за какие деньги не желал покинуть родину.

Об Иване Носе было известно, что он «роспел в слободе и исчленил⁴⁴ триодь постную и цветную, многим святым стихеры».

Хотел Иван Васильевич выписать из Ростова брата Саввы Рогова, бывшего белоозерского игумена Василия, «зело способного к написанию роспева притчей евангельских», да не вышло. Был избран он церковным собором в Ростове митрополитом под именем Варлаама.

В государевом хору подрастали и свои талантливые певуны, как, например, ученик Христианина – Степан Гольш.

Все здесь было крепко слажено у государя в хору: «молодые отрочата» переписывали крюковые ноты; «певчие мужики» наблюдали за тем, чтобы при переписке не было искажений. Не то они свирепо колотили провинившихся отрочат. Христианин и Иван Нос вместе с царем Иваном Васильевичем перекладывали молитвы и сочиненные самим царем стихиры на ноты.

И вот теперь царь изъявил желание прослушать, как то звучит, над чем он трудился вместе со своим хором уже несколько недель. Правда, ему недосуг было уделять много времени хору, но за всеми другими делами он все же постоянно посещал «певчую избу».

Иван Васильевич вышел из своих палат в сопровождении царевича Ивана, которого он тоже приучал к пенью. На царе был красный с серебряными парчовыми узорами кафтан,

⁴⁴ Снабдил пояснительными знаками.

опоясанный голубым кушаком. Волосы его были гладко расчесаны на прямой пробор. Лицо приветливое. На глубокие поясные поклоны певчих он ответил ласковым кивком головы.

Хор многоголосо, во всю мочь, ахнул: «Воспойте, людие...»

Окрестные рощи огласились мощным взлетом басов и звонкими голосами юнцов.

Царь с явным удовольствием в выражении лица, неподвижно стоя, выслушал «встречу».

После этого подозвал к себе Христианина.

– Слыхал я, – молвил он, – в Новгороде зело мудреную грамоту к распеву надумал некий Иван Якимов Шайдуров... Сам Бог, знать, открыл ему ту премудрость... Сказывал мне один игумен, будто великое удобство ныне от той выдумки последует к пенью.

Иван Васильевич рассказал Христианину, что вместо крюков у того Шайдурова в нотах «онты», или еще их зовут – «пометы». Они должны показывать повышение или понижение голоса. Скорость должна обозначаться крюковой нотой, именуемой «чашкой». А коли гораздо низко петь, надо ставить две буквицы: «гн», а коли мрачно – «м». Шайдуров все указал: где петь «борзо», где «ровным гласом», где «тихо».

– Честь и хвала тому новгородцу... Надо его вызвать в Москву. Не от иноземцев взял он ту премудрость, а сам умудрился. И слышу я, глядя в его распев, русскую, сель-

скую нашу песню, христианскую. Слава Богу, обошлись мы без немецких мудрецов и в сем деле! Лютерского попа, что навязывал мне своих певунов, изгнал я со двора. Беру я от иноземцев то, что помогает нам растить свое, московское. Чужие, хилые подпорки для нашего великого царства не надежда... Не ими оно держится и крепнет, а своими вековыми дубами... Вот и мореходы нашлись у нас свои, знатные... люди Студеного моря... Песни пели мне холмогорские вчера... во хмелю голосисты... Ныне они поведут мои корабли на запад.

В это время дверь отворилась, и гуськом стали выходить боярыни, нарядно одетые в шелковые красные, голубые и желтые шитые серебром кафтаны.

– Царица! – громко сказал царь, почтительно вытянувшись для встречи супруги.

Федор Христианин, по мановению руки царя, дал знак хору. Грянула новая «встреча».

А вот и сама царица. Стройная, чернобровая, какая-то вся сияющая, в осыпанном алмазами кокошнике, одетая в малиновое, с блестками, платье, – она была прекрасна.

Иван Васильевич с нежною улыбкою ответил на глубокий поклон супруги.

И царь и царица сели в заранее приготовленные для них кресла.

– А ну-ка, Федька, заставь молодых отрочат спеть стихирь, что из Троицкого монастыря я привез тебе...

В наступившей тишине звучные молодые голоса ровно, дружно запели:

Боголюбна держава самовластная,
Изваянная славою паче звезд небесных,
Не токмо в русских концах ведоми,
Но и сущим в море далече...

Вслушиваясь в слова стихиры, Иван Васильевич окидывал всех присутствующих торжествующим, веселым взглядом; он с видом самодовольства поглаживал обитые бархатом локотники кресла.

Из-под густой бахромы ресниц сверкали лукавою улыбкой черные, томные глаза царицы, искоса обращенные к царю.

Да, она одна только знает, что сам царь нашел у древнего летописца эти строки и велел их переложить на голос. Он хотел, чтоб эту стихиру пели повсеместно в Московском государстве. Царь вчера сказал ей:

– Бог учит человека добру, дьявол злу, а царь и в том и другом самовластен...

Прослушав до конца стихиру, пропетую одними отроческими голосами, царь велел ее повторить всем хором. При этом он вскочил с кресла и сам стал управлять.

Певчие, вперив в него глаза, со всем усердием старались угодить царю. Пот лился градом с их лиц и от волнения, и от напряжения.

Когда стихира кончилась, Иван Васильевич, тяжело дыша, снова сел в кресло и тихо, устало сказал:

– Спойте теперь, как «Антон козу веде...».

В толпе певчих началось оживление, на лицах и у старых и у малых появились веселые улыбки.

Бедовыми голосами начали пение малыши, затем последовала дружная волна могучих басов. Протяжно пропетые слова вдруг сменились скороговоркой, жалобный мотив – веселым, удалым припевом...

И царь и царица громко смеялись, слушая эту шутейную песню. Боярыни сдержанно улыбались, ибо в присутствии государя смеяться им не положено.

День клонился к вечеру. Пахло липовым цветом, было тепло и тихо, безветренно. Только иногда с озера доносились голоса лебединой стаи.

Иван Васильевич поблагодарил певчих, принял их поясной поклон и спустился с царицею в сад в сопровождении толпы боярынь.

На обширном месте, огороженном высокою бревенчатою стеною с железными зубцами по верху, шло приготовление к назначенной на сегодня царской потехе. По дороге к смотренной вышке, плечом к плечу, до самых ворот дворцовой усадьбы, вытянулись шеренги стрелецкой стражи в красных охабнях, с секирами на плечах.

Малюта Скуратов и Василий Грязной озабоченно обска-

кали на конях место, на котором должна совершаться предстоящая потеха, отгоняя плетью от стены толпы любопытных слобожан.

Невдалеке от царевой вышки – места для вельмож, духовенства и чужеземцев, желавших полюбопытствовать на царскую забаву.

Конные трубачи огласили воздух протяжным, грозным гудом, возвещавшим выход царской семьи из дворца.

Вскоре толпившийся в лугах народ увидел выехавшего верхом из дворцовых ворот государя Ивана Васильевича. На нем был зеленчатый, парчовый с бархатными узорами кафтан. За царем в повозке следовали царица и царевичи Иван и Федор под охраной опричной стражи.

Затем потянулись ближние, опричные и земские, бояре, которым было объявлено, что сегодня царю угодно наказать лиходеев-бродяг и чернецов заволжского толка, коих уличили в пожоге Печатной палаты в Москве.

Когда государь, его семейство и вельможи заняли места, Малюта Скуратов приказал литаврщикам бить в литавры, а трубачам и гудошникам гудеть в трубы и рожки что есть мочи.

К этому невообразимому шуму присоединились еще медвежий вой и лай собачьей стаи.

С потешного поля быстро разбежались заканчивавшие свою работу метельщики. Едва успел скрыться в воротах последний из них, как из клетки, стоявшей под навесом, пере-

валиваясь на четвереньках, выбежал громадный медведь. Он остановился, обнюхивая воздух. Но вдруг на него наскочила стая озверелых псов. Началась горячая схватка между собаками и пришедшим в ярость, поднявшимся на задние лапы зверем.

Царь Иван спокойно, с добродушной улыбкою наблюдал за этой схваткой.

Царица Мария неподвижно, затаив дыхание, следила за тем, как собаки рвали клочья шерсти у медведя.

– Их много, а он один... Какой сильный! – тихо шепнул на ухо царице Иван Васильевич и, подозвав к себе Григория Грязного, сказал ему:

– Помогите псам...

Через несколько мгновений во двор вбежали татарские стрелки и стали осыпать медведя стрелами. Обливаясь кровью, медведь рухнул на землю. Собаки принялись терзать обессилевшего зверя, пока псаря не загнали их бичами на псарню.

Царь и царица весело рассмеялись, видя трусливое бегство псов.

– Так им и надо! Не возомнили бы о себе, будто они медведя свалили... – тихо сказал царице Иван Васильевич. – Собачье хвастовство, и то трудно снести без гнева... А теперь, государыня, хамово отродье губить будем. Не мешали бы царю лиходеи. Того для и наказываю их.

Медвежью тушу убрали сбежавшие сюда лапотники.

Прицепили испуганно к двум коням и побежали долой с поля. Кони, фыркая, галопом понеслись к воротам.

Когда опустело, выведено было восемь бродяг, одетых в изодранные монашеские рясы. У каждого из них в правой руке было копьё. Они были разных возрастов. Среди них находился и старец Зосима. Он, обратившись искаженным от злобы лицом к царскому шатру, что-то стал выкрикивать и грозить кулаком. Остальные, в растерянности, ежились, крестились, переглядывались недоуменно, не понимая ничего. Вид их был жалкий, убогий.

Прошло несколько минут необычайной тишины, и вдруг потешное поле огласилось страшным ревом и диким раскатистым рычаньем. Кучке бродяг пришлось сражаться с четырьмя медведями.

В паническом ужасе заметались растерзанные, потерявшие человеческий облик бродяги.

Царь внимательно следил за происходящим на поле, одергивая иногда беспокойно вскакивавшего со своего места царевича Ивана.

– Григорий! – обернувшись к Малюте, сказал царь Иван. – Вели записать имена оных злосчастных в синодики, чтоб в монастырях молились о спасении их душ, о прощении им согрешений против меня и царства... Медведей, испивших христианскую кровь, прикажи казнить. Пускай татарские стрелки покажут нам свою приметливость...

Малюта снова спустился с вышки и приказал царевичу

Кайбуле от имени царя пустить на медведей татарских наездников.

Вскоре на потешный двор с гиканьем и свистом прискакали три десятка татарских всадников. Сидя на своих косматых низкорослых конях, они пустили сотни стрел на копошившихся около своих жертв зверей.

Ловко перескакивая через трупы бродяг, они добивали медведей саблями.

– Шкурами зверя одари моих верных бусурман... Никому не дай, токмо им. Заслужили...

Возвратившись во дворец, царь и царица помолились об упокоении душ наказанных им, царем, бродяг.

– Печатный двор святого Апостола печатал и многие молитвы, а несчастные лиходеи сожгли его... Они сожгли слово Божие, и кому же было, как не мне, покарать их?.. Они нанесли обиду не токмо царю, но и Всевышнему... Грех их неизмеримо велик. Не простит их Господь и там... – Царь скорбно, со вздохом, указал рукою на небо. – В Книге Царств сказано о нечестивых, не почитавших Господа людей в Самарии: то послал Господь Бог львов на них, и те львы умерщвляли их... Так будет и у нас!

ХII

Курбский, разгоряченный вином, развалившись в кресле, говорил польским вельможам Радзивиллу и Ходкевичу да

двум приедем немецким князьям из Померании:

– Коли царь продвинется на запад и овладеет Вильной, гибель станет и немецким землям... Он приблизится к границе немецкой земли. Не полагаете ли из того, мои вельможные друзья, что немцам и полякам надо бороться вместе?

Радзивилл Николай Янович, воевода виленский, слушал князя в глубоком раздумье. Гетман, пан Троцкий Юрий Александрович Ходкевич, с досадой кусал себе губы. Проклятый вопрос: «Москва или немцы? С кем дружить?»

И Радзивилл, и Ходкевич много чернил извели на переписку с московским царем, много посольских бесед учинили с Иваном Васильевичем. При жизни митрополита Макария просили его, чтобы он помог прекратить взаимную вражду Москвы и Литвы, дабы жить им меж собою дружно, по-христиански, но ничего паны отрадного от Москвы тогда не добились. Ладит великий князь, что-де «не нами разливается христианская кровь».

Радзивилл теперь старался больше молчать, прислушиваясь к речам Курбского. Это тот самый Радзивилл, который совершал свой поход в Ливонию, чтобы вытеснить из нее войска царя Ивана. Это он заключил договор с условиями Ливонии в Риге на занятие ливонских крепостей польскими войсками. Правда, он, хотя и верный слуга Сигизмунда, не был, однако, уверен в прочности овладения захваченных им без боя крепостями ливонских рыцарей. Пока Москва не покорена или хотя бы не обессилена, Польша не может считать

себя хозяйкой, собственницей Прибалтийских провинций.

Иногда вельможи многозначительно переглядывались. Кому, как не им, знать, что трудно опровергнуть доводы царя – король Сигизмунд Август действительно спит и видит, чтобы вместе с немцами двинуться на восток, в глубь России. Но можно ли с Курбским говорить об этом; изменив своему монарху, он легко может изменить и королю, совершить злое дело против Литвы и тем искупить свою вину перед царем. Радзивилл и Ходкевич – искушенные в политической игре польские магнаты. Недаром они устроили и сегодняшнюю встречу с Курбским при немцах. Они явно гордились своим «приобретением». Оно – большая победа польского правительства.

Курбский (в который уж раз!) хотел уверить ясновельможных панов, что русские князья и знатное дворянство при дружном натиске Литвы и Крыма на Россию отколются от царя и примкнут к польско-литовскому правительству. Он говорил о тяжелом положении русских князей. Царь «запер их в московской норе», связал их денежными поручительствами: за побег какого-либо князя поручители его должны платить царю сотни тысяч и миллионы. Царь отнимает у князей вотчины великие и делит их между опричниками, людьми недостойными, низкого звания.

– Но что же молчит народ? – спросил с небрежной усмешкой Радзивилл.

– Люди хотят жить... Умирают за правду, за свою честь, за

прямое слово только герои. А героев на Руси мало осталось... Народ молчит, боясь кнута и плахи... Я описал царю все, что думал... Осудил его...

– Вы герой!.. – похлопал Курбского по плечу Радзивилл.

Курбский втайне считал себя оскорбленным этим снисходительным похлопыванием по плечу, но притворился сильно охмелевшим и громко рассмеялся:

– Полно, какой же я герой... Я московский мытарь, жертва тирана. Мне горько, что я родился русским!

– На вас, князь, его величество и наш народ возлагают большие надежды... Вы должны написать историю тирана. Европа обязана знать о Московии больше, чем знает она из писаний иностранцев. Вы – обличитель, справедливый мститель. Ваше имя будет увековечено в истории. Потомству вы оставите ценный памятник о себе.

Курбский слушал Радзивилла, опустив в раздумье голову. Он бы с большим удовольствием сейчас сидел у себя дома, в ярославской вотчине, в кругу семьи, молился бы Богу в домово́й церкви, ездил бы на соколиную охоту. И теперь ему захотелось уединиться и помолиться о своей семье, о скором возвращении на родину, которая должна процветать без царя Ивана... с Боярской думой, с «царем Владимиром Андреевичем»...

Немецкие князья перевели беседу на взаимоотношения, установившиеся между царем и королевою Елизаветою.

– Королева пишет одно, а делает другое, как видно из ва-

шего доклада, князь, – обратился к Курбскому один из них.

– Николай Янович должен подтвердить истину моего до-
несения, – пожал плечами Курбский. – Она не хозяйка сво-
его слова.

Радзивилл рассказал немецким князьям, как несколько лет тому назад ему удалось задержать в Польше возвращавшегося из Москвы сухим путем в Англию члена «Московской компании» Фому Алькок. Он был закован в кандалы и два месяца просидел в тюрьме. Сознался он, что ввозил в Россию оружие.

– Он нас хотел обмануть! – рассмеялся Радзивилл. – Говорил, будто англичане ввозят в Россию только старое, никуда не годное оружие. Мы были бы не прочь получить из Англии это «никуда не годное оружие»! Господь затуманил глаза королеве... Кого она вооружает?

– Врагов всего просвещенного человечества, разбойников, нехристей, – с язвительной усмешкой поддакнул Курбский. – От такого лютого зверя, как царь Иван, там, где он побывает, остаются только мертвецы и пепел. Я хорошо знаю его, мы когда-то были друзьями, в те времена он слушал своих добрых советчиков... он был другим.

– Наш император, его величество Фердинанд, уже запретил немцам плавать в Россию и возить в Москву оружие и боевые припасы! – с видом крайнего самодовольства проговорил один из немецких князей. – И от королевы император потребовал, чтобы ее подданные подчинились его прика-

зу. Нидерландской правительнице Маргарите он послал такое же письмо...

– Верить королеве Елизавете нельзя. Она заверяла всех, что сочувствует лифляндцам и не радуется успехам «ужасных московитов» над Тевтонским орденом, а в Гамбурге в это же время были задержаны английские корабли с оружием для московитов... – возмущенно произнес другой немецкий князь. – Королева двулична. Она обманывает и царя и нас.

– Наш король устал писать ей о том. Кому, как не нам, опасаться лютости Московита? Но королева не желает считаться с истиной... Она хитрая, лукавая баба, – проворчал угрюмый Ходкевич.

– И развратная... – усмехнулся один из немцев.

Он рассказал несколько непристойных анекдотов про королеву и ее фаворитов.

Все от души посмеялись.

Курбский сообщил все, что знал, о готовящемся нападении царя на Литву. Будто бы сам царь развивал перед ним свои воинственные планы. Он хочет сам и войско повести, но... это будет его последним походом.

– Почему последним походом? – удивленно спросили немцы.

– Мною учинен боярский заговор против него. Его выдадут королю.

Радзивилл обратился к померанским князьям:

– Слыхали?

– Любопытно!.. – оживились те. – Не лишне довести о том и до сведения нашего императора... Но возможно ли это?

– Возможно.

Курбский продолжал:

– Царь нанял морского разбойника... Керстена Роде... датчанина... Он любит таких людей...

– Ведь он и сам разбойник, – засмеялся Ходкевич. – Как же ему не любить разбойников?

Курбский, оглядевшись с опаской кругом, тихим голосом продолжал:

– Князь Василий Сухотин прислал мне письмо с бродяго-чернецом – семнадцать кораблей будто бы теперь снарядил царь под началом сего разбойника... Поплывут в Голландию.

Радзивилл оживился.

– Когда выходят в море?

– На днях.

– Надобно поторопиться известить магистра Данцига.

– Королю я уже писал.

– Императору также следует сообщить. И шведам тоже.

Немецкие князья засуетились. Один даже вскочил, воскликнув: «Как же это может быть? Почему ваши друзья не убили того датчанина? О, если бы там были мои немцы!»

Курбскому противно стало смотреть на этих рыжих, вертлявых немецких князьков, еще противнее было выслушивать их восклицания: «Глупый русский народ!», «Варвар-

ская страна!», «Давно бы пора покончить с ней!»

Но выслушивать приходилось терпеливо, с угодливой улыбкой на губах, чтобы не выдавать себя, чтобы казаться преданным союзником врагов России.

Радзивилл прямо сказал, хлопнув ладонью по столу:

– Утопить те корабли надо. Немало на море у нас удалых молодчиков. Подстережем царского наймита!

Курбский знал, что ему говорить.

Князю хорошо было ведомо, что Сигизмунд поклялся стать полным хозяином Балтийского моря. Россия и Швеция мешают этому, но опаснее всех, конечно, царь Иван. Участие его, Курбского, в борьбе с царем щедро оплатила польская шляхта. В этом разговоре довольно помянуть князей Семена Ростовского и Михаила Репнина, а остальных пока побережь. Огонь, им зажженный, разгорается. Крымский хан уже завел сношения с Литвой. Скоро, скоро царь изведает всю силу мести князей природных, ярославских. Он, Курбский, положит на весы самую судьбу Русского государства, лишь бы сбросить с престола царя Ивана.

– Вы слишком задумались! – улыбнулся Радзивилл. – Вы не слышали, что сказали сейчас наши немецкие друзья?

– Да. Не слышал! – пожал смущенно плечами Курбский.

– Император назначает особого адмирала на Балтийское море для наблюдения за торговыми интересами Германской империи... Два меча повиснут над московскими мореплавателями: наш и германский.

Радзивилл умолчал о том, что Керстен Роде однажды уже отразил Сигизмундов меч, утопив пять каперских кораблей и взяв несколько судов в полон.

– Надеюсь, вы одобряете действия императора, князь? – произнес Радзивилл, не глядя на Курбского и усердно выколачивая трубку о бронзовую пепельницу.

– Верьте, вельможный пан, мне приятно слышать об этом. Давно пора. Да и на Севере не лишне помешать московской торговле...

– Вы идете дальше планов императора. Bravo! Это хорошо! – засмеялся Ходкевич, все время исподлобья, молча следивший за выражением лица Курбского.

...Вернувшись в свое жилище, Курбский нашел у себя на столе письмо, привезенное из Москвы польскими гонцами.

Оно было от царя Ивана Васильевича.

Курбский схватился за сердце, побледнел, развернул около свечи дрожащими руками письмо и стал читать.

Царь писал:

«...Ты, тела ради, душу погубил и, непрочной славы ради, приобрел славу незавидную, ты возмутился не против человека, а против Бога. Пойми, несчастный, с какой высоты и в какую пропасть ты сошел душою и телом. На тебе сбылось сказанное: „И еже имея мнится, взято будет от него“. Твое благочестие таково, что довело тебя до гибели не ради Бога, а ради самолюбия. Все, имеющие разум, могут понять твое преступление, что ты убежал, желая брэнной сла-

вы и богатства, а не спасаясь от смерти. Если ты, как сам говоришь, праведен и благочестив, то почему же ты побоялся смерти неповинной, которая не есть смерть, а желанное благо? Ведь в конце концов все же придется умереть! Если ты убоился ложного смертного приговора по лживым заявлениям друзей твоих, слуг сатаны, то это служит доказательством ваших изменнических намерений, проявляемых с давних пор и доныне. Зачем и апостола Павла ты презрел? Он говорит: „Всякая душа владыкам предвластвующим да повинуется, никакая же бо владычества, еже не от Бога учинена есть, тем же противляйся власти Божию повелению противится“. Смотри и пойми: сопротивляющийся власти – Богу противится, а противящийся Богу именуется отступником, что составляет величайший грех. И это сказано о всякой власти, даже о такой, которая устанавливается кровопролитием и бранью; мы же не насильно добились власти, а следовательно, сопротивляться нашей власти еще более значит сопротивляться Богу. И в другом месте говорит апостол Павел, слова которого ты презрел: „Раби! Послушайте Господей своих, не пред очима точию работающе, яко человекоугодници, но яко Богу, и не токмо благим, но и строптивым, не токмо за гнев, но и за совесть“. Если, творя добро, пострадать, то, значит, такова уже воля Господня!

Как ты не устыдился раба своего Васьки Шибанова? Он умел соблюсти свой долг и пред царем, и пред всем народом; в предсмертный час, верный своему крестному целова-

нию, он не отрекся от тебя, хвалил тебя в готовности принять смерть за тебя. Но ты не пожелал поступить с подобною верностью долгу: по причине одного гневного слова моего ты погубил душу не только свою, но и душу всех твоих предков; ведь Божьим соизволением деду нашему, великому государю, они были отданы в подданство; и они до смерти ему служили и вам, детям своим, приказали служить детям и внукам деда нашего. И все это ты забыл, как собака, преступил крестное целование, присоединился к врагу христианства и к тому же, не обращая внимания на свое преступление, подобные скудоумные слова говоришь, будто мечешь в небо камни, не стыдишься своего раба, верного долгу, и отказываешься сделать относительно своего повелителя то, что сделал он...

Как выше я сказал, сколько зла перенес я от вас (бояр) в юности и переношу доселе! Этим теперь тебя пространно изобличу. Вот что было (хотя ты был в то время юн, но можешь знать): когда Божьим соизволением отец наш великий государь переселился в лучшую жизнь, оставил тленное и земное царство, перешел в царство небесное, которому нет конца, и предстал перед царем царей и господином господ, я остался с одним братом покойным Георгием. Мне был тогда третий год, брату же один год. Родительница наша благочестивая царица Елена осталась в бедственном вдовстве и будто в пленении пребывала, окруженная иноплеменными народами, ведшими непримиримые войны, как-то: с литов-

цами, поляками, крымцами, татарами, ногаями, казанцами. И в то же время от вас, изменников, беды и скорби она испытала, так как, подобно тебе, бешеной собаке, князь Семен Бельский и Иван Лятский бежали в Литву и оттуда ездили в Царьград, в Крым, к ногаям, везде возбуждая войну против православных. Они, однако, не добились успеха, так как, при заступничестве Бога и Пречистой Богородицы, молитвами великих чудотворцев и родителей наших, все сии злые намерения распались в прах. Потом изменники подняли на нас дядю нашего князя Андрея Ивановича, и с этими изменниками (восхваляемыми тобою и готовыми, по твоим словам, положить жизнь за нас) он пошел к Новгороду. И многие в то время от нас отстали и пристали к дяде нашему князю Андрею, а во главе их был твой брат князь Иван. Но и эти злые намерения, с Божьею помощью, не имели успеха. Не это ли есть доброхотство восхваляемых тобою? Не так и полагают за нас свою душу, когда имеют намерение погубить нас и возвести на престол нашего дядю? Затем, обычаем изменников, они стали отчизну нашу, Радогощь, Стародуб, Гомель, нашему врагу, Литве, передавать. Вот какие это доброхоты!..

Когда, по Божьей воле, родительница наша, благочестивая княгиня Елена, перешла из земного царства в небесное, мы с покойным братом Георгием остались сиротами, уповающими на Пресвятую Богородицу, молитвами святых и родителей наших. Мне был тогда восьмой год, и те, которые должны быть подданными нашими, стали самоуправничать,

ибо государство было тогда без владетеля. Они ничего подобного с нашим благом не делали, сами предались достижению богатства и значения, ссорились друг с другом. И что они наделали! Сколько бояр, воевод, доброжелательных отцу нашему, избили; дворы, села и имения дядей наших присвоили себе и водворились в них; казну нашей матери перенесли в большую казну, неистово топча ее ногами и толкая колыями, а иное разделили между собою! Все это сотворил дед твой Михайло Тучков. Князя Василий и Иван Шуйские самовольно взяли меня под свою опеку и, таким образом, воцарились, выпустив из заключения и пристроив при себе всех тех, которые были главными изменниками относительно отца нашего и матери нашей... Нас же, то есть меня и моего родного брата, покойного Георгия, воспитывали, будто чужих или убогих детей. Не удовлетворялись даже наши потребности относительно одежды и пищи...

Ты пишешь о крови своей, пролитой в сражении с иноплемениками за нас, и в своем безумии полагаешь, что она вопиет против нас перед Богом. Но ведь это смеха достойно! Кто пролил эту кровь, против того она и вопиет. Если кровь твоя и действительно пролита врагами, то ведь этим ты исполнил лишь свой долг относительно отечества; не сделай ты этого, и ты бы не был христианином, а варваром. Таким образом, этот упрек нас не касается. Гораздо в большей степени наша кровь вопиет перед Господом против вас, кровь, пролитая благодаря вам. Она струилась не из ран, не крова-

выми пятнами, но потом и усталостью от множества трудов, которыми вы меня преступно, выше сил моих, отягощали. По причине вашей злобы и вашего утеснения много слез наших, вместо крови, было пролито, много было вздохов и стонаний, происходящих из глубины сердца. От этого я получил боль в пояснице. Я у вас никогда не пользовался любовью, к царице моей и к детям нашим вы никогда не относились с искренним вниманием. Таковое мое моление вопиет пред Богом против вас больше, чем ваше безумие, потому что пролитие крови вашей за православие не то, что пролитие крови из-за самолюбия и богатства.

Ты призываешь верховного судью Бога. Воистину! Он праведно воздаст каждому по делам, и добрым и злым; но только всякий человек должен рассудить, какого и за какие дела он должен ожидать себе воздаяния? Пишешь, что лица своего нам не покажешь до дня Страшного суда Божия; но кому же желательно видеть столь эфиопское лицо?»

Прочитав письмо, Курбский сначала вскочил со скамьи, растерянно осмотрелся по сторонам, как бы чего-то ища. Но вот, тяжело дыша, опустился на скамью и, облокотившись головою на руки, окаменел в глубоком раздумье над только что прочитанными строками царицы ответа.

В каждой строке, в каждом слове он видел, чувствовал самого царя... Вот, вот он!словно царь вошел сюда, в горницу, стоит около него, Курбского, гневный, дрожащий. Казалось, он, Курбский, слышит тяжелое дыхание Ивана Васильевича.

ча, видит его судорожно сжимающую рукоять меча большую, жилистую руку... Но самое страшное: он, князь Курбский, видит недоуменный, острый, полный мучительного страдания взгляд своего вчерашнего венценосного друга, взгляд, тихо вопрошающий: «Так ли, Андрей? Правда ли оно? Не изветы ли твоих недругов?»

Слезы потекли по щекам князя. Горница наполнилась золотистым туманом воспоминаний о днях тесной дружбы с царственным юношей, когда в походных шатрах даже спали рядом, ели из одной чаши, а в роскоши дворцовых торжеств сидели бок о бок, как братья, как самые близкие люди в Русском царстве...

«Так ли, Андрей? Правда ли оно? Не изветы ли твоих недругов?»

И сквозь слезы, тяжело дыша, Курбский прошептал:

– Правда, Иван Васильевич... правда... Прочь! Уйди! Не мучай!

ХІІІ

Июль тысяча пятьсот шестьдесят шестого года.

Жестокая битва с врагами за Балтийское побережье в самом разгаре.

Над полями и лесами величественное, горячее летнее солнце, не радующее одинокие села, деревушки и починки, обездоленные, разоренные войной.

Сторожевой службы станичный голова из-под Тольсбурга, что на Балтийском море, Герасим Антонович Тимофеев с товарищами пробирается в Москву – вызван на Земский собор. Герасим, как и его товарищи, не знает, что это такое и зачем понадобился царю он, порубежник, закинутый службою в глушь на морской берег.

Порубежный страж твердо знает одно – всякий час быть начеку, чтобы вороги не напали на сторожу врасплох. Конь всегда оседлан, пищаль всегда заряжена, сабля турецкая отточена – все наготове. А Земский собор... чудо новое, неслыханное!

«Когда Господь судил мне быть бедным сошником, крепостным мужиком, – о таких делах в деревне я и не слыхивал. Ныне, хотя и испомещен я сотником над прибрежной охраной, но так же несведущ в делах государских, как и прежде. Пошто я царю?» – думал Герасим, пробираясь в Москву.

Восемь воинов вызваны с Балтийского побережья в Москву, чтобы быть на государевом совете. Чудно! «Герасим», «Гераська» – на государевом совете. Будто в сказке! Просто не верится.

«Скоро опять увижу Москву», – думал с волнением Герасим.

Вспомнил старого товарища, земляка, с которым некогда бежал из колычевской усадьбы в Москву. Где-то теперь он, Андрей Чохов? Жив ли? Расстались в самое горячее время

Ливонской войны, по взятии Нарвы. Всего шесть лет минуло с тех пор, а будто было это так давно. Все изменилось. И море стало иным. Бороздят его иноземные корабли: то держат путь к устью реки Наровы, то уплывают из нее на запад. Плывут и свои, московские, суда с высокими мачтами, с двуглавым орлом на стягах. Теперь никто не осмеливается нарушить покой занятого Русью Балтийского побережья, охраняющего нарвское плавание. И он, Герасим, уже не тот. Государь хоть и в Москве, на престоле, но «государев глаз далеко сигает»: много всяких подарков получил он, Герасим, от его царской милости. И землей наделен на побережье, и денежно не забыт, и звание станичного головы получил. Все по государевой воле. Уравнен ныне в правах со служилыми людьми, дворянами.

Герасим взволнованно оглядывается по сторонам.

Дорога знакомая. Когда-то по этой дороге скакал из Москвы служить на ливонский рубеж. Время такое: иной раз – не шесть лет, а день один – и вся судьба человека меняется. Не по роду, слышно, и не по званию возвышает государь слуг своих, а по службе.

Шесть лет назад все эти леса и перелески, луга и поля, села и деревушки видели робкого, едва обученного копейщика, ехавшего, не зная толком куда и какова его будет судьба, а ныне тот же парень, не торопясь, едет на быстроногом вороном коне во главе своих помощников не простым ратником, а сотником сторожевой службы.

«Царь Иван Васильевич – смелый на „новых людей“, об этом знают все, и каждому хочется заслужить его милость. Дай Бог ему и здравствовать многие годы!»»

Герасим снял шапку и перекрестился.

Вот они опять – высокие, взъерошенные сосны, вот они, опрятные елочки и богатыри зеленого царства – дубы, а вот и прозрачные бледно-зеленые березовые перелески, речушки, позолоченные солнцем, украшенные осокою и кувшинником. После песчаных дюн и унылых громад приморских камней все это с небывалой силою наполняло душу еще более сильной и нежной любовью к родине, к русской земле.

А там – Москва. Святое слово.

«Э-эх, конь, мой верный Гедеон! Знаешь ли ты, ведаешь ли, по какой земле ты идешь и куда ведет эта долгая, прямая дорога?!»»

В государевой палате опричного двора на маленьком подносе золотая чаша с благовонным курением. Час ранний. Опричная слобода, что за Неглинкой-рекой, еще не пробудилась. Только у северных ворот, против Кремля, суета: посыпают песком дорогу, по которой должен проследовать государь в Кремль; усердно обрамляют березками своды ворот. Конюхи готовят коней для вельмож царевой свиты.

Коней пригнали к самым воротам. Один царь мог ехать по опричному двору. Ни один князь, ни один боярин не должны были садиться на коня во дворе. Только за воротами.

Сегодня особенный день, второй такой день за все время царствования Ивана Васильевича – день открытия Земского всенародного собора. В Москву съехались знатнейшие сановники духовного звания, князья, бояре, окольные, казначеи, дьяки, дворяне первой и второй статьи, гости, купцы, помещики новгородские, незнатного рода люди.

Иван Васильевич поднялся с ложа задолго до утренней зари. Не спалось. Он долго ходил по палате; иногда останавливался перед иконами и усердно, на коленях, молился.

С девятого июня по двадцать первое июля – сорок три дня в Москве шли переговоры царя и бояр с послами короля Сигизмунда Августа – панами Юрием Александровичем Ходкевичем, Юрием Васильевичем Тышкевичем и писарем Михайлой Гарабурдой. Никогда так не утомлялся Иван Васильевич, как в этот приезд в Москву королевских послов. Хотелось и мира, отдохнуть от войны, хотелось дружбы с Польшей, дать возможность оправиться разоренному войною народу, несшему все военные тяготы, и не хотелось уступать Сигизмунду завоеванных в Ливонии своих же древних городов, невыразимо страстно желалось владеть хоть кусочком Балтийского побережья, чтоб нерушимо было «нарвское плавание».

Великие послы королевские требовали Смоленска, возвращения ливонских городов немцам; своим боярам царь приказал требовать: Киева, Белоруссии и Волыни, называя их древними русскими вотчинами. Сигизмунд уже уступал

Полоцк, незадолго до того завоеванный русскими; царь сделал тоже уступку, не настаивая больше на том, чтобы польский король признал его и титуловал царем.

– Любя спокойствие христиан, избегая кроволития, я уже не требую признания царского титула от короля. Довольно с меня того, что все иные венценосцы признают меня царем всея Руси.

Так заявил московский государь. Тяжело было ему, московскому царю, отказываться от этого требования. Уже бояре втихомолку хихикают над этой уступкой его. «Король заставил», – фыркали они за спиной Ивана Васильевича. Они были всегда рады, когда в угоду соседним государям царь шел на уступки. Рады оттого, что можно было у себя на дому позлословить на этот счет, пускать слух в народе, что-де царя «заставили»...

Это хорошо стало известно царю. Так ехидничал будто бы даже брат Владимир Андреевич, а с ним, конечно, и его друзья, похлебцы.

Но... море ему, царю, дороже всего. Прочь честолюбие!

Можно уступить королю Озерище, Лукомль, Дриссу, Курляндию и двенадцать городков в Ливонии, но море... никогда!

Можно освободить всех королевских пленников безденежно, а своих выкупить за золото, но... море... Царь требует Риги, Вендена, Вольмара, Ранненбурга, Коккенгаузена!

Увы! Царю Ивану Васильевичу ведомо, что вельможная

знать Польши вместе с королем на поводе у германского императора, а тот пытается оттеснить русских от моря. Император пугает Польшу Москвою, Москву – Польшею, желая, чтобы они обессилили друг друга, тем самым думая помочь ливонским рыцарям сбросить власть и Польши и России, которые одинаково ненавистны немцам.

Царь не верит Сигизмунду и его шляхте. Ведь вот не хочет король выдать Курбского. Стало быть, он нужен ему. А зачем ему лютый враг, изменник законному государю?

Покровительство московским изменникам выдает с головою короля Сигизмунда и вельможную шляхту.

Можно ли после того верить перемирным королевским словам?

Война тяжела... Война разоряет народ... но хуже будет, коли уступишь вражеской силе. Всем хуже станет.

Неотразимо стоит перед страной вопрос: война или мир «без моря»?

Кто может ответить на этот вопрос?

Духовенство? Но митрополит на днях оставил митрополию. Собор должен состояться без главы церкви. Не обидно ли государю? Невольно вспоминаешь покойного Макария.

Бояре? Но ведь они уже давно против войны в Прибалтике; они, напуганные казнями, угодничают перед царем. Трусам мало веры... Трус – не советчик.

Опричники? Но им не доверяет земщина, их считают припешниками царя, преторианцами... Да и сам он, царь, знает,

что они скажут то, что желает царь... От них прямого слова не услышишь... Они – слепые рабы царя.

Дворяне, мелкие помещики, гости, купцы, мещане и другие незнатные люди?!

Он, царь, должен признаться самому себе: плохо знает он их. Кто они? Как они мыслят? Сам Бог велит прислушаться к их голосу. Они – сила. Ими держится царство.

Не ради архиереев, не ради князей и бояр, не ради ближних сановников и опричников созвал царь этот Земской собор... Вельмож царь видит постоянно около себя, он знает их хорошо, но ему неведом голос толпы незнатных людей.

Иван Васильевич открыл окно. Прислушался к рожкам опричников, собиравшихся для охраны царского выхода к народу. Пели петухи, лаяли псы, где-то стучали топоры плотников, достраивавших хоромы на опричном дворе.

Вот-вот сойдутся в Кремле: царь и народ...

Что скажут «они»? Война или мир?.. Вот уже пономари влезли на колокольни, готовясь ударить в колокола, возвестить Москве о выходе царя...

Иван Васильевич тяжело вздохнул и закрыл окно, словно боясь этого колокольного звона... Прошел на половину царицы. Застал ее за молитвою. Обождал. Затем приблизился к ней и крепко ее обнял:

– Мария, благослови меня! Слышишь? Колокола звонят. Зовут царя. Скоро увижу их!

Царица быстрым движением руки перекрестила Ивана

Васильевича:

– Не торопись, батюшка!

На заре того же дня в покоях митрополита – тихая беседа, вздохи и молитвенный шепот. На высоких пуховых постелях в опочивальне владыки, под одеялами, украшенными шелковой зеленью и златоткаными узорами, лежат митрополит Афанасий и новгородский архиепископ Пимен.

– Батюшка родной ты мой, понять того невозможно, чего ради тиранство сие; вспомни, владыко, слово Апокалипсиса: «Убийцам часть в езере горящем огнем и жупелом, еже есть смерть вторая»... Помысли, владыко, – не един ли Бог как творец, может отнять у человека жизнь, когда захочет? Убийца восхищает себе Божеское право, убивая ближнего.

– Помолчи, добрый пастырь, не услышали бы, – погрозились на Пимена пальцем митрополит. – Ныне везде уши. Трепещу каждодневно. Просил отпустить меня, по древности лет, в монастырь. Осерчал! С нехотью отпустил. А то самое истинно – жизнь есть первое счастье для человека. Узнику, сидящему в тесной и смрадной темнице, однако же, приятно дышать, лепо глядеть на свет Божий и сознавать, что он еще жив... Господи, Господи, прости нас, грешных! До чего же мы дожили?

– Нарушено все законное, отеческое, все правила христианские. Синодики с поминовением душ убиенных множатся. Изверг адов – Малюта – уже и на свет Божий не кажется.

ся. Недосуг ему. Душегубством занят. Волк. Сыроядец! Саул говорил своему оруженосцу: «Убий мя, яко объяла мя тьма лютая»... И царю пора бы...

Митрополит приподнялся на пуховиках, слегка наклонился в сторону новгородского архипастыря и едва слышно произнес:

– Привыкли мы к тому, братец мой духовный, привыкли и уж говорить о том перестали... Видно, так Господу Богу угодно.

– А нам все то, што на Москве видим, кровавым самодурством представляется... Великий Новгород – гордая твердыня. Он шею перед царем не склонит. Хоть и нарушено у нас вече, но душа осталась вольной... Не побороть ее палачам московским. – Говоря это, и Пимен приподнялся с ложа. Его глаза были гневны, он потряс кулаком, громко сказав: – Не поддадимся! Не склоним головы. Не надейся, великий князюшка!.. Устоим. Коли сами не справимся, нам помогут. Москва – щенок перед древним Новгородом.

Афанасий испуганно замахал руками на новгородского архиепископа:

– Тише, тише! Веслом море не расплещешь. Полно горячиться!

– Не трепещи, любезный владыка, кто нас тут подслушает? Запуган ты, ой как запуган. Ты – митрополит, по-нашему, чином выше царя... Выше!

– Ныне я уже не митрополит, а смиренный инок Чудова

монастыря... Буде! Выбирайте себе другого митрополита, – сказал с каким-то торжеством в голосе Афанасий.

– Добро. Угодное Всевышнему дело – сложить с себя сан, чтоб не покоряться тирану. И каюсь аз – пошто приехал в Москву? Не верю я в собор, не верю. Желаемое царю и рекут на соборе. Видимость одна. Как царь похочет, так оно и будет. Кто же осмелится стать поперек? Не найдется того человека. Новгородское вече основалось на радость свободных суждений, на крайнем разумении всякого инакомыслящего... Московские великия князья – единомышленники, гордецы, себялюбцы. И Земской собор будет сходбищем рабов, бессловесных холопов...

Афанасий внимательно слушал Пимена.

– Господь Бог смилостивился надо мною... На том Земском сборище не быть мне... И не надо, Христос с ними! Пущай собираются... Грех один. Суета сует!

Пимен задумался. Вздохнул.

– В Новгороде же получен от московского великого князя строгий наказ – быть мне чтобы на том соборе... Уговорили меня архиереи наши, гости да купцы новгородские исполнить наказ великого князя. Вот и приехал я в ваш грешный град.

Совсем тихо заговорил Пимен о Курбском, о том, что он в Польше хорошо принят королем, стал большим вельможей на Литве, хозяином и воеводою ковельских земель... «Умная голова нигде не пропадет».

– Чужой край милостивее к нашим князьям, нежели свой, – с грустью закончил свою речь Пимен.

– Господь с ними, как там хотят. Омываю я руки. Удаляюсь от суеты земной... не лежит душа моя к порядкам земным. Уйду подале от греха... Как токмо мог батюшка Макарий терпеть такое? Царство ему небесное, милостивцу! – перекрестился Афанасий.

Кабачки в Москве закрыты.

Строго-настрого заказано, чтоб в честь великого Земского собора не было ни хмельных забав, ни гусельного гудения, ни скоморошских юродств, никакого иного «беснования», но чтобы дни соборных бесед царя с народом протекали как дни строгого христианского праздника, украшенные добродетелью, смирением, благоговейною тишиной и взаимным дружелюбием...

Генрих Штаден тайно созвал в свою корчму самых близких друзей-немцев, его союзников и советников, среди которых находились Фромгольц Ган, Эберфельд, Вейт Сенг, ливонские немцы, принятые в опричнину, – Таубе и Крузе и уроженец Померании, слуга государева врача, Альберт Шлихтинг. Все собравшиеся здесь немцы знали русский язык, и почти все несли по мере надобности службу как толмачи.

За кружкой доброго российского пива немцы обсуждали вопрос, как наилучшим способом помочь императору захва-

тить Россию.

– Надобно, чтобы император своею дружбою обманывал царя, – сказал Штаден, – чтобы перехитрил его. Великий князь давно склоняется к тому, что следует поддерживать дружбу с римским императором... Мы не будем обманывать себя: дружба эта нужна царю, чтобы переманить на свою сторону всякого рода мастеров и воинских людей. Его мысль подбить Германскую империю на войну с Польшею. Когда же немцы напали бы на Польшу, великий князь взял бы тогда город Вильну в Литве, чем приблизил бы свою границу к немецкой земле.

Иоганн Таубе, худой, жилистый, безволосый немец, постукивая пальцами по столу, ухмыльнулся:

– Зачем великий князь созывает этот шумный депутационстаг?

Элерт Крузе, его неразлучный друг, обтирая рыжие усы, смоченные пивом, вытянул свое лисье с раскосыми глазами лицо и произнес нараспев:

– Разве вы не знаете, что он «народный» царь?... Его величество пожелало держать совет с мужиками.

Все весело рассмеялись.

– Вот слушайте, что мы написали на всякий случай...

Таубе вынул из кармана лист бумаги.

– Мы все записываем для польского короля, что видим и что не видим, о Московском государстве и об его деспоте, – сказал с двусмысленной улыбкой Крузе.

– Слушайте, – провозгласил Таубе. – «Многие из вельмож, которые могли прежде выступать в поход с двумя-тремя сотнями лошадей, которые обладали состоянием во много тысяч гульденов, должны нищими бродить по стране и питаться подаяниями, а те, кто были их слугами и не имели ни одного гульдена, посажены в их города и имения, и одному нищему или косолапому мужику было столько дано, сколь десять таких имели прежде. И случилось так, как поется в старой песне: „Где правит мужичье, редко бывает хорошее управление....“ Таким образом, состоятельные люди превращены в нищих и ограблены природными нищими, и у многих из них не осталось ни одного коня...»⁴⁵

– Понравилось ли вам, что вы слышали? Будет ли это справедливо? – спросил Крузе.

Началось общее оживление. Все подтвердили правдивость записи Таубе. Каждый хотел высказать и свое слово о великом князе и о его правлении. Штаден хвалил царя за то, что, «расшатывая старые устои, Иван Васильевич разоряет страну, обессиливает ее».

– Пускай мужики лезут к трону, а головы бояр катятся им под ноги... Пускай они друг друга перережут – легче будет тогда с ними справиться... Сам сатана не сумел бы так навредить московскому дюку, как сам он вредит себе. Хулить царя не следует, он делает то, что нужно... немцам! Императору.

⁴⁵ »Послание Таубе и Крузе« (Русский исторический журнал, Петроград, 1922, кн. 8-я).

Немцы, переглянувшись, усмехнулись: «Великий политик Генрих! Однако с ним все же следует держать ухо востро: немного больше, чем следует, любит он политическую игру. Такие могут, в случае, если окажется нужным, предать и своего друга. Подозрительны его прогулки в тайную избу Малюты Скуратова и дружба его с братьями Грязными».

– Ну, а как ты думаешь?.. – спросил Генриха Таубе. – Что скажет этот царский депутационстаг? Хуже будет Ливонии или лучше?..

– Хуже или лучше – не знаю, но скажет он то, что заставит его сказать царь...

– А что заставит сказать его царь?

– Ну разве я волшебник? Откуда мне знать!.. – холодно произнес Штаден. (О своей записке императору он никому не скажет, нет! Даже от родной матери скрыл бы это.)

Никто не остался доволен его ответом. Все ждали от него каких-то откровений, так как кто же ближе него стоит ко двору?

Штаден много знает. Он многое недоговаривает.

Он все расскажет своему императору, когда наступит его время.

Дьяк Никита Шилепин да дьяк Богдан Ростовцев, прибывшие из Новгорода для участия в Земском соборе, донесли царю, что новгородцы не выполняют грамот царя о наделе земель князей черкасских Асаналея Ахметева, Ислама

Ильбиюкова, Ромодана Амахашикова да Гамдем Чимофа, а также Ислама Алеева с товарищами. Три грамоты, посланные от имени государя-царя всея Руси Ивана Васильевича дьяком и печатником Иваном Михайловичем Висковатым и казначеем Никитою Афанасьевичем Фуниковым, остались без исполнения. Более года тянется то дело. Никак не хотят новгородцы выделить землю черкасским князьям, приехавшим в Московское государство из горской страны. По царевой грамоте положено наделить их землею в Шелонской и Вотской пятинах⁴⁶ из выморочных поместий боярина Гурия Бутурлина. Но власти новгородские мешают этому.

Иван Васильевич, выслушав дьяков, сердито стукнул посохом об пол:

– Так-то новгородцы правят свое крестоцелование! Горе будет им, коли не послушают моей новой грамоты, вы ответе ее им. А с тою грамотой пошлю я в Новгород и сотню опричников, да цепей изобильно, чтоб на всех непослушных хватило. Цепей нам не жалко, их хватит на весь Новгород. Князья те стали людьми государевыми, и почет им оказывайте как бы моим друзьям. В том царстве родилась и наша возлюбленная пресветлая государыня, царица московская, Мария Темрюковна!.. Горские люди дороги мне! Казнь лютая падет на головы обидчиков!.. Запомните и огласите в своих местах! Из Кавказских гор едет еще именитый князь Егупов, а с ним мурза Чешкан... Их мы также испоместим в Новго-

⁴⁶ Древняя Новгородская область делилась на пятины (пять частей).

родской земле. Упредите там! Дружбу с горскими народами нам сам Господь Бог заповедал. Он послал мне в супруги горскую княжну. То была святая его воля.

– Высокий владыко, батюшка государь наш Иван Васильевич! Можем ли послушаться твоего, государева, наказа, – упав не колени, воскликнули дьяки. – Будучи поставлены тобою на службу в Новгороде, мы – московские дворяне – счастливы быть твоим царским оком в тех государственных вотчинах, чтобы бороться с непокорливой гордынею новгородских щеголей!

Далее царь Иван строго наказал вернуть дворянину Роману Перхурову отобранное у него Разрядным приказом поместье за неявку на службу в государево войско.

– Недужен он, Ромашка, – сказал царь, – болен, ранен из пищали напролет по левому боку да по ноге, по берцу, ядро в нем. И впредь ему служить немочно... Да и сын его малолетен... Господь с ними!.. Грамоту возьмите в Разрядном столе Съезжей избы... Туда я отослал ее. Попусту потревожили сего дворянина... Знайте меру. Усердствуйте, не нарушая чести. С правдой не шутите. Правду сгубите – и сами с ней пропадете... Где праведные судьи, там и жалобщики переведутся... А ныне мне челобитья на судей, дьяков и воевод возами везут... Не к добру то. Челобитья мыкаются из Поместного стола Съезжей избы в Поместный приказ, а отоль в Боярскую думу, а из нее в Комнату государя... недосуг мне разбирать дворянские тяжбы. Вон Плещеева обвиняли

в воровском насилиестве, а на деле того и не было... Неправедных судей Малюта заковал в цепи. Из новгородских моих земель наиболее засыпают приказы жалобами... Неладно с Новгородом!

Далее царь Иван сказал новгородским дьякам о том, что задумал он перевести из Великого Новгорода «многих бояр и их людей и гостей, всех голов больше тысячи, и пожаловать их на Москве поместьями, а в Новгород, на их поместья, послать москвичей лучших многих, гостей и детей боярских, и из иных городов также детей боярских и гостей – и всех пожаловать их поместьями в Новгороде Великом».

– Хотел бы знать я, верные мои слуги, что вы о сем думаете? Поможет ли Господь Бог нам в смирении, любви и согласии с новгородцами то дело порешить?

– Как и во всех твоих, государь, делах, справедливая и неиссякаемая благодать Божия осенит и тут дело рук твоих, отец наш!.. – низко поклонившись царю, ответили дьяки.

Иван Васильевич остался недоволен их ответом. Он поморщился, хмуро улыбнулся, покачал головою:

– Не будьте лежковерны. Не будьте и угодливы перед царем ради своего спокойствия. Ссылаться на благодать Господню можно во всем, но... добиться той благодати своими трудами не всегда дано царям. Предвижу великую муть... нелегко пойдут новгородцы со своих земель... Нелегко и московским вельможам стать новгородцами. Чую недоброе! Ну, а как епископ Пимен?

– Не надежен, государь!

Царь Иван задумался. Через некоторое время, вскинув сбившиеся на лоб пряди волос, с улыбкой произнес:

– Послушаем, что он скажет на соборе. Слышите! Колокола. Ну, уходите. Уходите скорее!

С отъездом царя и опричнины на особый двор бояре, оставшиеся в Кремле, стали чувствовать себя посвободнее: не так на глазах у царя и у его опричников.

Открытие Земского собора в Большой дворцовой палате, в Кремле, сильно взволновало боярскую знать. Стало быть, уже Боярская дума и не нужна теперь? Без нее царь обойдется? Так, что ли? Люди низкого звания, видать, царю нужнее бояр? Опять государь нарушил древние обычаи.

Владимир Андреевич прибыл в хоромы к Ивану Петровичу Челяднину-Федорову, где и застал многих бояр. Тут были князья Бельский, Мстиславский, Иваны Васильевичи Шереметевы – большой и меньшей, Михаил Репнин, князья Ростовские и многие другие.

Князь Владимир несказанно обрадовался, когда увидел среди бояр архиепископа новгородского Пимена. Принял от него благословение и дружески облобызался с ним.

– Сколь счастлив я, видя перед собою новгородского святого! – сказал князь Владимир, обратившись к боярам.

После обычного приветствия начался совет, как держаться на соборе и что говорить.

Князь Владимир тайно сообщил боярам то, что поведал ему про секрету Иван Васильевич, – царь решил искать поддержки в народе в столь трудный для государства час. На соборе он спросит всенародство: продолжать ли войну с Польшей за Прибалтику, за море, или нет?

– Не море, а наше горе, вот что есть сие, – вздохнул Челяднин.

– Пользы-то от него вам тут, в Москве, нет, а мы, новгородцы, и без того по морю много веков плаваем, – проговорил Пимен и, подумав, добавил: – Да и жили мы перед тем дружно, хлебно, весело и с немцами, и с Литвою, и с свейскими государями... А што война сулит? Голод, междоусобицу, недуги...

Выслушав с подобострастием речь архиепископа, бояре озабоченно переглянулись.

– Дюже смелой ты, святитель. У нас за такие речи языки рвут, – сказал вполголоса приблизившийся к Пимену Челяднин.

– Истинно, батюшка Иван Петрович, мы стоим на своем. Иван Васильевич Третий покорил стены и плоть, но не наши мысли о первенстве Новгорода Великого. Мы и монету свою особую чеканим.

– Увы, святой отец, убиты в Москве и плоть и дух, – махнул рукой князь Владимир. – Все убито!.. Все покорено... А ныне и Боярскую думу убить задумали...

– Москва в слезах, в рубище и стенаниях, – проговорил

Шереметев-младший.

– Молимся мы о вас, добрые бояре, вздыхаем и плачем, но помочь не способны, – сказал на это архиепископ. – Своею рукой себя спасайте.

– А коли так, и голосу давать на соборе нам не след. Перечить государю не сильны покудова мы. Не пришло наше время, – произнес князь Владимир. – Но вижу: скоро-скоро покарает Господь моего брата. Близок час.

– Будем говорить то, что угодно тирану... Строптивость пагубна, коли не у места. А пойдет в поход, то наши люди знают, што им делать, – вмешался в разговор Михаил Репнин.

– А что они будут делать? – спросил с наивным видом сын князя Ростовского.

Все с улыбкой переглянулись.

– Э-эх, молодость! Чистотою украшаешь ты души и светлую правдою наполняешь мысли, – произнес растроганно старик Мстиславский.

– Государю нужно море... чтоб плавали по вся земли его славолюбие, алчность, жестокая ненасытность... А благо подданных, своих ближних бояр, ему не надобно. Кто же будет виноват, коли то совершится? – проговорил угрюмо Челяднин.

– Сам он! Пущай такое и будет... Не сильны мы отвратить ум его от сей химеры... Не сильны отвратить и судьбы его. Господь, помоги нам всем благомысленно, в смирении,

быть свидетелями сего ужасного. Благословляю вас, бояре, на подвиг христианского смирения и достодожной мудрости в сей опасный час.

Пимен благословил склонившихся перед ним бояр.

На Кремлевской площади встретились давнишние друзья и земляки: Андрей Чохов и Герасим Тимофеев. Обнялись, облобызались.

Много времени минуло с тех пор, как они расстались под Нарвой, после ее взятия русскими войсками. Герасим рассказал о том, как он живет на побережье моря, где расставлены его сторожи. Он ведь теперь стал отцом – у его жены Параша родился сынишка, а назвали его Алексеем.

Андрей сообщил Герасиму, что царь определил его с товарищами-пушкарями в опричнину и что его наряд перевезен в Александрову слободу...

В Архангельской церкви был отслужен в присутствии царя торжественный молебен.

Из церкви во дворец пропускали князя Бельский и Вяземский. Они опрашивали: кто, откуда и был ли зван грамотою на собор.

Впереди всех вошли в Большую золотую палату девять архиереев, пятнадцать архимандритов, настоятелей монастырей, семь игуменов. Шли они попарно, направившись к особому столу, недалеко от трона. Строгие, хмурые, в черных, темно-зеленых и серых шелковых рясах. Среди них своею

богатою рясою и своим высоким ростом, самоуверенным и важным видом выделялся новгородский архиепископ Пимен.

За духовенством, предводимые Челядниным, Мстиславским, прошли князья и бояре.

Большая палата Кремлевского дворца наполнилась людьми так, что дышать стало трудно.

В наступившей тишине послышались шаги царя и сопровождавших его.

Все присутствовавшие в палате, стоя, склонили головы.

Позади царя шли князь Владимир Андреевич и царевичи Иван и Федор, которые и сели пониже царя по обе стороны его трона.

Царь Иван Васильевич поведал Земскому собору о тех переговорах, которые велись с польскими послами, о тех обидах, которые нанес Московскому государству польско-литовский король. Царь заявил, что враги Руси добиваются вновь отторгнуть города и земли великих князей в лифляндских краях и тем оттеснить Русь от Западного моря.

Свою длинную речь, произнесенную горячо и страстно, Иван Васильевич закончил вопросом: надо ли продолжать войну с польским королем и иными державами, посягающими на древние приморские русские прародительские вотчины, или положить войне конец, отказаться от своих приморских земель и признать себя побежденными?

По окончании этой речи наступило общее тяжелое мол-

чание. Глаза царя, строгие, пытливые, казалось, проникали в душу каждого; он вытянул слегка вперед лицо, обводя взглядом толпу своих подданных.

И вдруг... дрогнула Большая палата от внезапно грянувшего грома восклицаний и криков сошедшихся у трона царя людей:

– Смерть врагам! Не хотим мира! Веди нас на лютых врагов! Отстоим наши земли!

Много было шума, крика, волнения, и над всем этим четко и твердо прогремел голос дворян:

– За те города в Ливонии стоять государю крепко, а мы, холопы его, для государева дела готовы!

Гости и купцы воскликнули:

– А государю нашему, царю и великому князю как тех своих городов в Ливонской земле отступиться? Не мыслим то!

Бояре и духовенство также дали свои приговоры в пользу продолжения войны за Ливонские земли.

В этот же день бирючи торжественно объявили всей Москве:

«Земской собор благословил царя Ивана Васильевича воевать за Ливонскую землю, за море. Никому не отдавать исконных русских городов, отнятых у немцев! Молитесь же, московские люди, о победе над извечными врагами Руси – ливонскими рыцарями и их бесчестными защитниками!»

XIV

Прошел год после Земского собора. Царь за это время приготовился к новому большому походу в глубь Ливонии.

Кроме ливонских рыцарей, русское войско поджидал король Сигизмунд Август, ставший во главе польско-немецких полков.

Предстояли жестокие бои.

Иван Васильевич сам лично следил за работой Пушечного двора, где день и ночь горели горны, окрашивая красным заревом осенние облака над Москвою. Пристава стогнали коней со всех уездов. Обряжали воины конницу. Опричные дьяки вместе с земщиной трудились в Разрядном приказе над сбором вотчинных и помещичьих дружин. Строились туры, телеги, сани. В Москву съезжались татарские, мордовские, чувашские всадники, раскидывали шалаши на площадях и в рощах, играли на трубах, дудках и свирелях, а по ночам молились, каждый народ по-своему.

И вот 21 сентября 1567 года царь под оглушительный звон всех московских колоколен повел огромное, хорошо вооруженное и богато оснащенное войско в поход.

Одетый в кольчугу и латы, с нарядным, в перьях, шлемом на голове, Иван Васильевич имел веселый и бравый вид воина, который шел на бранные поля, как на праздник. Под ним был крупный красавец конь, покрытый голубой бархатной,

с золотым шитьем, попоной. Бок о бок с царем гарцевал на коне князь Владимир Андреевич, с которым царь дружески перекидывался словами.

Позади царя следовали князья: Бельский, Мстиславский, Михаил Репнин, Воротынский и Вяземский.

Войско растянулось на огромное пространство, представляя красивое, величественное зрелище. Иван Васильевич при подъемах на возвышенные места поворачивал коня и, шурясь от солнца, с выражением боевой гордости на лице любовался своими полками, над которыми реяли бесчисленные знамена, овеянные славою былых побед.

Сердце царя горело отвагою, неукротимым стремлением скорее сразиться с врагом, наказать его за коварство и обиды, причиненные русским окраинным городам и селам. Очарование воинской доблестью с юных лет владело Иваном Васильевичем. Он был природный воин, хорошо владевший мечом и копьем и обожавший превыше всего полководческую находчивость и смекалку, чем и прославил он себя в казанском походе, решившем судьбу Казанского ханства.

Князь Владимир Андреевич был задумчив и невеселыми глазами оглядывался по сторонам.

– Брат!.. Скажи-ка, чего ты пригорюнился, аль неохота тебе на брань идти? – спросил его Иван Васильевич.

Владимир Андреевич приободрился, улыбнулся:

– Полно, государь! Не дорога мне моя голова, когда надобно ее за царя сложить. И не видал ли ты, как сражался

твой брат в прежде бывших походах? Я не трус. То ведомо тебе, брат.

– То-то! Мы с тобой вожаки... На нас смотрят воинские люди. И горе тому воеводе, что нос повесит, еще не видя боя... Подтянись!

Иван Васильевич, гарцуя на своем коне, отъехал в сторону, стал под кущей золотистой осенней листвы дубняка, пропуская мимо себя горских наездников. Смуглые, черноглазые, они добродушно посматривали на царя, который отвечал им приветливой улыбкой.

Владимир Андреевич оглянулся назад и, увидев Ивана Васильевича, тяжело вздохнул.

Осень, а солнце греет по-летнему.

Не доезжая до Ржева, войско расположилось на ночлег.

Опричники раскинули царский шатер на поляне соснового леса, совсем недалеко от дороги. Басманов расставил вокруг царского шатра стражу и опричников.

Ночь была тихая, прохладная. Золотистым дождем рассыпались в безветренном воздухе брызги лунного света; поля и леса, овеянные изумрудным покоем, говорили о славе и величии русской земли. Иван Васильевич, выйдя из шатра, с гордостью осматривал окружавшие его просторы. Он любовно сжимал рукоять своего меча, вспоминая последние минуты расставания с царицей и детьми. Он дал слово царице вернуться с победой. «Жигимонд – не хозяин у себя на земле, – говорил он ей. – Его теснит вельможная шляхта...

Он связан по рукам и ногам ее причудами».

Ведь недаром же пришлось написать королю: «Ты посаженный государь, а не вотчинный, как тебя захотели паны твои, так тебе в жалованье государство и дали; ты в себе и сам не волен, как же тебе быть вольным в своем государстве».

Царь московский полный хозяин своей земли, стало быть, и войско его сильнее Сигизмундова, а тем более ливонского... Никто как Бог и государь; только их на Руси народ слушает.

Царица сказала на это: «Зачем же ты сам ведешь войско?» Царь ответил ей: «Свой глаз дороже родного брата, да и воину веселее идти в поход с царем, и на воевод своих посмотрю, сколь искусны они и ревностны в боях за родину». Царица перекрестила его, тихо, со слезами, произнеся: «Сердце мое чует беду...» В ответ на это царь рассмеялся: «На полях брани безопаснее мне, нежели в своем дворце; там окружают меня мои воины, а здесь льстецы и обманщики». Мария Темрюковна сказала: «А в твоём войске разве нет льстецов и обманщиков?»

Вспоминая обо всем этом, царь отошел в сторону от шатра. С благоговением шепча молитву, стал всматриваться в звезды, как бы ища в небе ответа.

Три века, почитай, русский народ находился в монгольской кабале, да не потерял себя, не изменил своей вере! Из поколения в поколение передавал ненависть к поработите-

лям. Настал час – и сбросил русский народ с своей спины татарское иго, и воздвиг московскую несокрушимую мощь.

Будет ли счастлив этот поход? Хватит ли у народа сил?

Он, царь всея Руси, понимает, в чем сила его земли, он преклоняется перед Москвой, перед ее древними святынями, перед лесами и рощами, ее окружающими... Все священно в Москве, все – залог будущего счастья родины... Москва – бездонный источник славы и богатырства... Прах Дмитрия Донского, Ивана Калиты, Ивана Третьего, Василия Ивановича – незыблемая основа царской державы. И он, царь Иван Васильевич, как и предки его, призван самим Богом еще сильнее укрепить эту силу, поднять силу Москвы на еще высшую ступень. Пускай прах его будет достоин покоиться под одними сводами, в одном ряду с гробницами предков.

Обратившись лицом на восток, Иван Васильевич помолился...

По дороге к своему шатру он спугнул вылетевшую из кустарников птицу. Тяжело шлепая крыльями, она огласила протяжным, тоскливым визгом ночную тишь.

Царь вздрогнул, остановился: «Сова. Вещая птица! К добру ли?»

Мрачное чувство сомнений вдруг овладело им, но он постарался подавить его. Взглянув на тысячи шатров и шалашей, растянувшихся грозным станом на равнине, он снова приободрился, быстро подошел к шатру. Опричная стража, отдавая честь царю, опустила наконечники копий.

Постельничий помог царю умыться, раздеться.

– Меча не тронь... Оставь около меня... – тихо проговорил

Иван Васильевич, помолившись Богу и укладываясь спать.

Вдруг он вскочил с постели, стал прислушиваться.

Около шатра кто-то спорил со стражею.

– Погляди, кто там? – приказал он.

– Князь Владимир Андреевич, – вернувшись, доложил постельничий.

– Вели пустить... А сам выйди. Не гаси огня.

В шатер вошел князь Владимир. Помолился и земно поклонился царю.

– Садись, княже... Что скажешь, друг? Аль тебе не спится?

– Не спится, государь... – понуриив голову, едва слышно ответил Владимир Андреевич.

– Дивуюсь я, брат, с чего бы тебе сон терять? Аль беда какая, аль совесть нечиста? Будто и беды у тебя нет, и совесть будто твоя чиста... Не так ли? – сказал царь, зевая и потягиваясь. – Да и забот у тебя тех нет, что у меня.

Ответом ему было молчание.

Царь ждал. При свете огонька, потрескивавшего в плошке, видно было, как передергивается его лицо от волнения, блестят глаза. Заметив это, Владимир Андреевич, заикаясь, сказал что-то невнятное.

– Владимир! Ты похож на отравленного... Будто яда хлебнул... Видел я таких... Они давятся собственной слюной... – Царь рассмеялся.

– Государь, – набравшись сил, заговорил князь Владимир. – Коли уж пришел я, так тому и быть... Стало быть, так Богу угодно... Боязно мне, да што делать?

– Теперь я узнаю тебя... Подлинно ты: и робкий, и нерешителен, и что-то сделать либо молвить хочешь, и язык у тебя не поворачивается... Вот если все мои бояре были бы такими, как же царю в ту пору править?

Вдруг Владимир Андреевич стал на колени и заплакал.

– Полно! – всполошился Иван Васильевич. – Иль приключилась беда какая? Не будь бабой. Говори смело! Ведь ты мой брат.

– Беда не приключилась, батюшка государь, Бог не допустил... Я не допущу! – вдруг во весь голос завопил князь. – Не веди казнить, веди миловать.

– Вставай! Негоже князю, да еще государеву брату, пластаться передо мной... Вставай!

Владимир Андреевич поднялся, отдуваясь, провел рукой по голове, как бы вспоминая что-то.

– Ну! – нетерпеливо толкнул его рукой царь.

Князь Владимир вынул из-за пазухи бумагу и подал ее Ивану Васильевичу.

– Прими, государь... Список... самолично взял я его у Ивана Петровича Челяднина-Федорова.

Царь удивленно посмотрел на князя.

– Боярин мог бы и сам... Хватит ему там нежиться... Война!

Владимир Андреевич всхлипнул, проговорив сквозь слезы:

– Государь... Заговор против тебя. Вернись!.. В Москву вернись. Не ходи с войском!

Иван Васильевич быстро вскочил с постели, дрожащей рукой ухватившись за меч. Охрипшим голосом переспросил он:

– Заговор? Брат!.. Скажи... кто? Кто еще?

– Гляди в список, государь, гляди... Холопы твои... Успокойся, сядь, государь... Буде не веришь – поклянусь!

– Ох, душно... Господи!.. Время ли теперь?! Родимый!.. Рассказывай... Садись, садись, садись... Владимир, садись рядом, около меня... Говори. Возьми список... Погань здесь... Погань... Проклятье!.. Чужало сердце царицы!

– Государь... молю тебя... успокойся.

– Да, да, да! Царю нельзя... Мы в походе!.. Читай, кто?

– Челяднин Ванька... Пимен новгородский... Микита Фуников... Мишка Репнин... Ростовский Семка...

Царь вырвал список у князя Владимира и, указав на дверь, сказал:

– Уходи, оставь меня одного! – Но, когда князь повернулся, чтобы уйти, он вдруг окликнул: – Куда ты? Стой! Поведай, что задумали неверные псы?

Владимир Андреевич, бледный, трясущийся от страха, рассказал царю о том, что бояре и воеводы, чьи имена в списке, изменным обычаем задумали, когда войско зайдет в глубь

Ливонии, выдать его, царя, польско-литовскому королю Сигизмунду Августу. В войске у них есть скрытые государевы враги воровского рода, кои и самой жизни государевой могут учинить погибель.

Отпустив князя, Иван Васильевич склонился к огню и стал читать список. Лоб его покрылся холодным потом; грудь тяжело дышала; руки дрожали; строки списка прыгали. Поймав то или иное боярское имя, царь вонзал в него раскаленные стрелы гневных, горевших огнем ненависти глаз. Среди мрака ночи, среди желтой мути душевного хаоса вдруг начало выплывать льстивое бородатое лицо то одного, то другого боярина... В ушах начинали звучать сладкие, льстивые речи... В них – страстные заверения, клятвы в верноподданных чувств... в том, что великое благо – сложить голову свою за царя и его род... И вот ныне... Да! Это они же, все тут! Может ли это быть? Не поклеп ли какой? Не происки ли Сигизмундовых воров, бежавших за рубеж изменников? Бывало и это... Позорили они жестоко честных людей.

– Господи, да минует мя чаша сия! – прошептал Иван Васильевич, сползая с постели на пол и положив глубокий поклон перед иконою Спаса Нерукотворного.

Утром царь Иван велел отслужить молебен в присутствии бояр и начальных людей дворянского звания, а после того собрал ратный совет на лесной поляне, вблизи своего шатра. Никому и в голову не могло прийти, что царь всю ночь не

спал, страдав от великой обиды, ведя борьбу со страхами и предчувствиями.

– Враги наши, – сказал государь, – растут многолюдством и добреют ратной силой и многими заморскими выдумками. Их зависть, коварство и лютость обволакивают нас. Почитай, дня нет, чтобы кто-нибудь и где-нибудь не тешил себя думою о нападении на святую Русь. Земля наша велика, но еще больше врагов округ наших рубежей. Не они ли прилагают усердие отторгнуть и наши извечные вотчины и города в Лифляндской, названной ими, земле? Оное многие из вас забыли, как будто и не в нашем царстве они живут. Забыли они, что не причуда государя, а воля всенародства – продолжать войну с Литвой и немцами... Вспомните же прошлогодний собор... И теперь как нам не устыдиться, ежели мы не пойдем стеною на врага? Слушайте же! Дела моего царства требуют, чтоб вернулся я в Москву – стольный град, там ждут моего прибытия митрополит и ближние бояре, а о том, какие то дела, одному Богу да государю то ведомо. Войско оставляю я на совесть и доблесть своих славных воевод. А начало над всеми возлагаю на боярина Ивана Федоровича Мстиславского и князя Владимира Андреевича... Господь поможет вам!.. Москва будет молиться о вас!

После ратного совета царь Иван Васильевич стал собираться в дорогу, отобрав себе сотню телохранителей из подарева полка.

После молебна, распрощавшись с войском, он помчался,

окруженный всадниками, по дороге на Москву. Печальными глазами проводили ратники государев караван; тяжело вздыхали, а многие и слезы пролили.

Когда военный табор исчез из глаз Ивана Васильевича, он с горечью почувствовал себя совсем одиноким. Больно и тяжело было покидать войско, еще большее сознавать, что его, царя, заставили бежать из собственного стана и что он, царь, подобно изгнаннику, должен скакать обратно домой, как бы недостойный чести предводительствовать своим войском, которое он любил, которым гордился, с которым совершил славные походы на Казань и Полоцк.

Иван Васильевич впервые так ясно, так до ужаса ощутимо почувствовал силу своих домашних врагов. Разве не горел он желанием сразиться с немцами и их покровителем королем Сигизмундом? И не был ли он уверен, когда отправлялся в поход, в том, что король будет побежден, позорно бежит от русского войска? Вышло иначе: побежденным оказался он, царь! Позорно бежит от русского войска сам же его предводитель, царь всея Руси...

Такой обиды никогда не забыть, ее даже пережить трудно.

Что скажет народ, так торжественно провожавший в поход своего государя? Что скажут бояре, князья и служилые люди в Москве? Что скажет митрополит Филипп, и без того осуждающий каждый шаг его, царя? А царица?.. Разве не болело ее сердце при расставании с ним, Иваном Васильевичем? Нет, он не послушал ее. Он, как неразумный отрок,

уверял ее, что на бранном поле ему безопаснее, нежели во дворце. Теперь стыдно смотреть в глаза даже царевичам, что ответишь им, малолеткам?

А что будут говорить и писать в Польше, Ливонии, у немцев, в Свейском государстве?.. И без того повсюду злорадствуют, слыша о распре царя с боярами.

Мучительные мысли тяжело наваливались одна на другую, давя мозг, заставляя холодеть сердце царя Ивана.

На «ямах» выходили мужики и бабы, падали в ноги царю, прославляя его имя, но ему стыдно было слушать их униженные причитания. Ведь они не знали... не знали о том позоре, который окутал его царское имя. Они не знали, что царь – беглец, спасающийся от собственных холопов.

Иван Васильевич с досады приказывал разгонять народ плетями. Крестьяне в страхе убегали в леса, прятались в оврагах и кустарниках, не понимая, за что их бьют. Но, видя слезы и слыша крики и стоны мужиков и баб, царь еще более ожесточался. Им все более и более овладевало мрачное торжество мстителя от сознания, что велика его сила и что добьется он и устрашения своих вельможных холопов, сделает еще более страшным путь от плетей до плахи.

Слезы потекли из глаз царя, когда он увидел издали Москву.

Что он скажет царице?

Список врагов у него в кармане, всех он их хорошо знает и каждому воздаст по их нраву. Он придумает такие казни,

о которых раньше и не слыхивали на Руси...

«Малюта! Хватит ли тебя, чтоб угодить царю? – усмехнулся сквозь слезы царь, въезжая на окраину Москвы. – Только бы не было благовеста. Не надо встречи!»

Около первого же храма, ставшего ему на пути, Иван Васильевич слез с коня и горячо возблагодарил Бога о благополучном прибытии домой...

Подземелье Малюты целиком раскрыло заговор. Однако не сразу на всех заговорщиков царь обрушил свой гнев, но с тайным расчетом, чтоб не развалить приказы и войско, в разное время казнил главарей заговора. Казнив Челяднина-Федорова вскоре после неудачного похода, он казнил Никиту Фуникова лишь через пять лет, а князя Владимира Андреевича с женой и сыновьями, участие в заговоре которого было доказано его же друзьями, подвергли казни через два года после того, как он передал список заговорщиков царю.

XV

Умирал бездетный король Сигизмунд, столь упорно призывавший всех королей к крестовому походу на Москву.

Династии Ягеллонов приходил конец. Наследников после короля не оставалось.

Утихли бои.

В томительное раздумье впали королевские люди.

И вдруг Европа была потрясена ужасным известием: польская шляхта, особенно мелкая, неродовитая, и простой народ заговорили о желании видеть у себя на престоле либо царя Ивана Московского, либо его сына царевича Федора.

Стало даже известно, что это обсуждалось и в Польской, и Литовской радах.

По рукам европейских дипломатов уже распространилось обращение польских послов к царю Ивану:

«Рады государя нашего, короны польской и великого княжества Литовского, советовались вместе о том, что у государя нашего детей нет, и если Господь Бог государя нашего с этого света возьмет, то обе рады не думают, чтобы им государя себе взять от басурманских или иных каких земель, а желают себе избрать государя от славянского рода по воле и склоняются к тебе, великому государю, и к твоему потомству».

Московские послы писали из Польши:

«В Варшаве говорят, что, кроме московского государя, другого государя не искать; говорят, что паны и платье заказывают по московскому обычаю и многие уже носят, а в королевнину казну собирают бархаты и камни на платье по московскому же обычаю; королевне очень хочется быть за царем».

Польскую шляхту привлекало могущество московского царя, сходство языка, обычаев и, наконец, опасения нападения со стороны общих с Москвою врагов: Турции и Герман-

ской империи.

Царь Иван, выслушав польских послов, приглашавших его на престол, глубоко задумался. Он никогда никакого дела не решал, прежде чем обсудить его со всех сторон со своими ближними боярами и посольскими дьяками.

И, обдумав все, сказал он с хитрой улыбкой Богдану Бельскому:

– И то правда, что одной крови мы с поляками, и что моя покойная матушка полька же, и что ссориться нам не из-за чего, но не умышляют ли польские вельможи удержать за собою захваченные Жигимондом лифляндские земли?.. Не ради того ли они зовут меня, чтоб остаться хозяевами неправомерно отторгнутых у нас приморских земель?.. – А затем сердито добавил: – Непостоянны королевские вельможи!.. Не надежны! Мелкая шляхта не указ им, а черный люд и того меньше... Ради власти и своего самовольства они готовы по вся дни торговать своим народом... Верные люди тайно донесли мне, что уже идет у них торг и с французским, и с немецким, и с свейским королями... Ох, не верю я, не верю им! А приморских земель никому не уступлю, даже своему царевичу Федору, коли он и впрямь станет польско-литовским королем.

Не ошибся царь Иван в своих сомнениях.

Много раз сходились московские послы с польскими, много раз самому царю случалось беседовать с польско-литовскими послами о том, чтобы быть ему или царевичу Фе-

дору королем Польши.

Уж и титул был выработан:

«Божиею милостию господарь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Киевский, Владимирский, Московский, король Польский и великий князь Литовский и великий князь Русский великого Новгорода, царь Казанский, царь Астраханский...»

Московскими дьяками и польскими панами были выработаны обширные условия, которыми следовало бы руководствоваться при принятии царем Иваном королевской короны на Польше и Литве.

И однако...

Испуганная, завистливая Европа, приложившая все силы к тому, чтобы не допустить объединения восточных славянских государств, возвела на польско-литовский престол «своих королей»: сначала Генриха Анжуйского, француза, брата Карла IX и сына Екатерины Медичи; затем, после скорого отречения Генриха, – венгерского воеводу, семиградского князя Стефана Батория...

Царь Иван не ошибся и, глядя на суетню вокруг польской короны, сказал боярам:

– А всему тому причиною – море!.. Радзивиллы, Замоиские и все иные польские князи не хотят, чтобы мы владывали на Лифляндии, не хотят того и немцы, и шведы, и многие иные короли... Так знайте же! Море будет нашим! Никому не отдадим Нарвы!

Время течет, все меняется; не стало многих людей, о них служат панихиды, усердно рассылаются о них царские синодики по монастырям, в которых величают их «преставившимися».

Опустошила русскую землю страшная моровая язва. Коекого придавила мысль об обреченности, о близком конце света. Митрополит Филипп пугает царя, что «по грехам его все то приключается!» В умах – смятение и ужас! На полях бранных не умолкает звон мечей, не стихает огневой бой... Со всех сторон лезут враги на древнюю Русь... Кажется, вот-вот пришла конечная гибель государству, все шатается... но одно свежо и незыблемо: мечта царя – удержать пристанище на Балтийском море, мечта сделать Русь великою. Ради того непрерывные походы в Литву и Ливонию, опалы и казни; преждевременные морщины на лице царя, седые волосы и душевные бури, разрушающие веру в людей, самых близких людей. Но ничто не может заглушить горячей веры царя в богатырское будущее Руси, в утверждение ее на берегах Балтийского моря.

«Пределы твои – в сердце морей».

Это напутствие митрополита Макария часто в сумраке длинных, скучных вечеров наедине у себя в рабочей горнице тихо произносит царь Иван, когда приходят усталость и тоска; эти слова сообщают бодрость ему, и заветное слово «море» произносит царь гордо и радостно, хотя его тут ни-

КТО НЕ СЛЫШИТ.

1942–1944 гг.